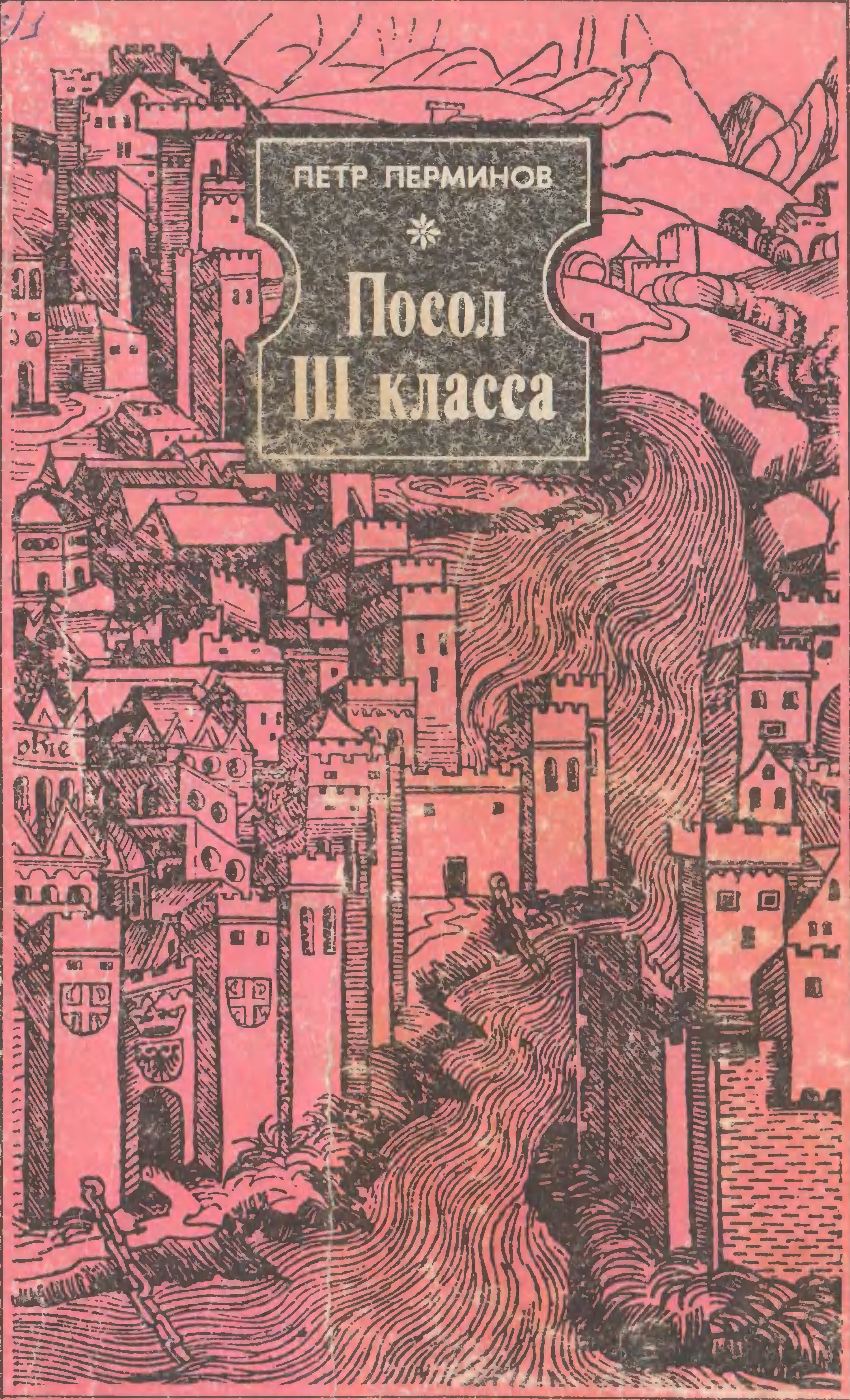


№ 27
1911



ПЕТР ПЕРМИНОВ



Посол
III класса

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ



Серия
основана
в 1957 году

ПЕТР ПЕРМИНОВ

Посол III класса



*Повествование
о российском дипломате
Алексее Михайловиче
Обрескове,
содержащее подлинные известия
о заточении чинов нашего посольства
в Константинопольском Едикуле,
лишениях и скитаниях их
в бытность при арьергарде турецкой армии,
с приобщением дипломатических документов
и поденных записок о военных баталиях,
мирных конгрессах
и достопамятных происшествиях русско-турецкой войны,
случившейся в царствование
императрицы Екатерины Алексеевны*



Москва
«НАУКА»

Главная редакция восточной литературы
1 9 9 2

· ББК 63.3(2)46
П 27

Редакционная коллегия

К. В. МАЛАХОВСКИЙ (*председатель*), Л. Б. АЛАЕВ,
Л. М. БЕЛОУСОВ, А. Б. ДАВИДСОН, Н. Б. ЗУБКОВ,
Г. Г. КОТОВСКИЙ, Р. Г. ЛАНДА, Н. А. СИМОНИЯ

Редактор издательства

Э. О. СЕКАР

Перминов П. В.

П 27 Посол III класса.— М.: Наука. Главная редакция
восточной литературы, 1992.— 296 с.: ил. (Рассказы
о странах Востока).

ISBN 5—02—017160—3

Книга посвящена выдающемуся деятелю русской дипломатии XVIII в. Алексею Михайловичу Обрескову. 30 лет он провел в Турции, причем 18 из них — посланником России в Константинополе. Впервые приводятся документы дипломатической переписки послов в различных странах и иностранных послов в Петербурге, шифрованные донесения А. М. Обрескова и П. А. Левашова из турецкого плена.

П 1805030000-020 89-91
013(02)-92

ББК 63.3(2)46

ISBN 5—02—017160—3

© Главная редакция
восточной литературы
издательства «Наука»,
1992



Алексей Михайлович Обресков

ВСТУПЛЕНИЕ

Припудренный парик с немецкими буклями и косицей, забранной черной шелковой лентой, обрамляет лоб, тяжелая складка на переносице, брови барские — поседевший соболь, из-под них — застывший в печальной мысли взгляд, в подглазницах набрякли темные мешки — следы усталости, одутловатые щеки подпирает туго повязанный шелковый галстук, уголки рта опущены, выдавая характер крутой и надменный.

На сером бархатном кафтане два ордена — Александра Невского и Анны I степени — и пурпурная лента через левое плечо.

Таким предстает Обресков на портрете кисти Федора Рокотова, хранящемся в Третьяковской галерее. Потемневший от времени холст в золоченом багете — в верхней части стены, сплошь завешанной портретами екатерининских вельмож.

Григорий Никитич Теплов, сын истопника, воспитанник Феофана Прокоповича, — и многолетний покровитель его, баловень и пасынок фортуны, последний гетман Малороссии Кирилл Григорьевич Разумовский сошлись здесь, словно на вечере в гостиной Малого Эрмитажа. Тут же Петр Васильевич Бакунин, едва ли не единственный, кто мог бы приподнять завесу тайны над одним из самых загадочных эпизодов славного и трагичного екатерининского ве-

ка:— заговором Панина-Фонвизина; секретарь Екатерины Григорий Козицкий, талантливый литератор, доведенный кознями завистников до попытки самоубийства; «сфинкс» Иван Иванович Бецкий. Судьба каждого — глава в истории великого царствования. Надолго останавливается экскурсовод перед каждым из этих портретов.

Впрочем, в основательно изученной летописи эпохи просвященного абсолютизма есть пробелы, и немалые. Жизнь и судьба Обрескова — один из них.

— Посол в Константинополе... В конце жизни — член Коллегии иностранных дел, — так ответит на ваш вопрос экскурсовод.

Ну и еще, быть может.

— Проявил мужество во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов, находясь в заточении в Семибашенном замке.

И все.

Вглядимся пристальнее в человека на старинном портрете. Странное, неживое лицо. Восковая маска.

И лишь блики люминесцентных ламп, отражаясь в мелких трещинках лака, оживляют его.

Зрачки зорко поблескивают из-под полуопущенных век.

Алексей Михайлович Обресков, человек государственный, действительный тайный советник, сенатор, дипломат, всю жизнь трудившийся во славу Отечества, в повседневной жизни — человек тяжелый и неуживчивый, не любимый современниками и полузабытый потомками, смотрит на нас из далекого осьмнадцатого века.

Трудна была его фортуна: двадцать лет — треть жизни — прошли на берегах Босфора, на ответственнейшем для русской дипломатической службы посту резидента в Константинополе. Но и прекрасна: мало кому выпадает счастье увидеть на склоне лет дело всей, без остатка, жизни осуществленным.

Тернист и долог был путь России к Черному морю.

Утвердившись на берегах Балтики, империя налилась силой, окрепла. Наступил черед подумать о восстановлении юго-западных границ русского государства, о выходе к Черному морю.

Дело наитруднейшее. По пяди собирали землю русскую, возвращаясь на пределы Олеговы и Святославовы.

Через сколько войн пройти пришлось — не счесть. Воевать не хуже других научились быстро, а вот искусство высокой политики доставалось труднее.

Первое русское посольство появилось в Константинополе еще в конце XV в. Возглавивший его стольник московского великого князя Ивана III Михаил Андреевич Плещеев имел твердый наказ: выговорить облегчение для русской торговли на Черноморском побережье, в Кафе, Азове и Аккермане, где крымцы — потомки Золотой Орды — и степняки-ногайцы чинили обиды и притеснения московским купцам.

В выполнении приказа великокняжеского Плещеев не преуспел — надменные потомки ордынцев продолжали разорять обозы московских торговых людей, — но дорога из первопрестольной в Царьград была проторена. Долог список послов, прошедших по ней в XVI—XVII вв.: Алексей Голохвастов (1499 г.), Михаил Алексеев

(1513 г.), Василий Коротов (1515 г.), Борис Голохвастов (1520 г.), Алексей Адашев (1534 г.), Иван Новосильцев (1569 г.), Андрей Ищеин-Кузьминский (1571 г.), Григорий Нащокин в царствование Федора Иоанновича, Иван Кондарев (1622 г.), Василий Коробкин (1634 г.), да всех и не упомнишь. Поручения, с которыми они отправлялись ко двору турецкого султана, были самые разнообразные: извещать о вступлении на престол нового великого князя, а затем — государя всея Руси, успокаивать турок, взволнованных известиями о завоевании Казанского и Астраханского царств, трактовать по польским делам (и после смутного времени, и в связи с Переяславской Радой, и по случаю перехода гетмана Дорошенко со всем Запорожьем в русское подданство). Приходилось и о статьях мирных трактатов до хрипоты с турками спорить после чигиринских походов 1677—1678 гг. или неудачной крымской кампании князя Василия Голицына.

Но в наказах московских послов первым пунктом неизменно значилось: настаивать на равноправном участии России в черноморской торговле.

Задача эта, однако, оказалось не по плечу допетровской дипломатии. И главная трудность — как ни парадоксально — заключалась не в том, чтобы найти общий язык с южным соседом. В оттеснении России от Черного моря оказались заинтересованы силы куда более могущественные: Франции, Англии, Венеции, Пруссии не нужны были конкуренты в левантийской торговле. В письмах с Карловицкого конгресса 1698 г. дьяк Прокофий Возницын, один из замечательнейших русских дипломатов, жаловался Петру на «себялюбие» бывших союзников по антитурецкой коалиции — Австрии, Польши, Венеции, которые «все себя удовольствовались, а русского царя оставили».

Но уже пал Азов под ударами войск Петра I и в устье Дона поднимали паруса свежестроенные, пахнувшие сосной, смолой и морским ветром корабли молодого российского флота...

Петровская эпоха занимает особое место в истории русской дипломатической службы. Великий реформатор России не просто заменил посольский приказ Коллегией иностранных дел — он решительно порвал с многовековой традицией Московского государства, послав первые постоянные посольства в европейские страны, Турцию. Он дал российской дипломатии направление деятельности на долгие годы: утвердить за Россией статус великой державы.

Эту задачу не решить без развития русской торговли на Востоке. Думному дьяку Емельяну Украинцеву, посланному Петром осенью 1699 г. в Константинополь для переговоров с турками, велено было требовать свободы русского мореплавания в Черном море.

46-пушечный корабль «Крепость», на котором Украинцев прибыл в турецкую столицу, бросил якоря напротив султанского дворца — сераля.

Но недаром говорится, что первая ласточка весны не делает.

— Османская Порта бережет Черное море как чистую и непорочную девицу, к которой никто прикасаться не смеет, — заявил великий визирь Украинцеву.

Задача, однако, была поставлена. Россия открыто объявила о своей решимости встать на берегах Черного моря — своих естественных южных границах.

Претворить ее в жизнь предстояло в нелегкой борьбе, на передний край которой выдвинулись дипломаты: Украинцев добился от турок согласия принять в Константинополе постоянного дипломатического представителя России. Первых русских дипломатов «ко двору турецкому в характере резидента» отбирал и наставлял сам Петр. Какие это были люди! О каждом из них можно рассказывать бесконечно долго. Настырные, до работы охочие. И главное — душой и телом преданные Петру и Отечеству.

Иван Иванович Неплюев до конца жизни вспоминал, что, когда подошел он к Петру благодарить за назначение в Константинополь на резидентскую должность, царь сказал ему:

— Видишь, братец, я царь, да у меня на руках мозоли, а все от того: показать вам пример и хотя под старость видеть достойных помощников и слуг Отечества.

Первым постоянным дипломатическим представителем России в Константинополе — резидентом — стал Петр Андреевич Толстой. Произошло это в 1700 г., в самом начале галантного и жестокого осьмнадцатого века, века великих революций, великих философов и великих дипломатов.

При царях Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче П. А. Толстой — стольник, затем стал было сторонником царевны Софьи, но вовремя одумался — перешел в лагерь Петра. Царь использовал его для разнообразных дипломатических поручений, в том числе в конце жизни довелось ему гоняться по Европе за царевичем Алексеем, следствие над которым он лично возглавил. В 1697 г. П. А. Толстой совершил двухгодичное путешествие по Австрии и Италии, добрался и до Мальты, внимательно изучая все увиденное в чужих краях.

Личность П. А. Толстого, горячего сторонника петровских реформ, особым, ярким светом озаряет первые шаги новой русской политики на Востоке. В Константинополь Петр Андреевич прибыл 55 лет от роду, будучи уже отцом и дедом. Худо жилось ему в турецкой столице. Послы Англии и Франции ужасами вились перед турками, чтобы выжить из Константинополя русского посланника, в котором сразу увидели умного и опасного конкурента.

Особенно усердствовал посол Людовика XIV граф де Ферриоль. П. А. Толстой слезно молил Петра позволить ему вернуться на Родину, но шла Северная война, и он нужен был в Константинополе. «Г. Амбасадер!..— отвечал Петр на просьбы Толстого о замене.— Для Бога не поскучь еще некоторое время быть, большая нужда вам там побыть, которых трудов господь Бог не забудет и мы никогда не оставим».

И подпись: «Piter».

10 ноября 1710 г. султан, наущаемый шведским королем Карлом XII, нашедшим после разгрома под Полтавой пристанище в Константинополе, объявил России войну. П. А. Толстой был посвящен в Семибашенный замок Едикуле, где пробыл полтора года.

Война сложилась для России неудачно. Только слава недавней полтавской победы да дипломатическое искусство вице-канцлера Шафирова спасли Петра от катастрофы. Весной 1712 г. в Константинополь заложниками исполнения кабального для России Прутского мира были посланы Петр Павлович Шафиров и Михаил Борисович Шереметев, сын знаменитого фельдмаршала. П. П. Шафиров и М. Б. Шереметев тоже не избежали Едикуле (побывали в нем даже дважды), но достоинство русских представителей блюли крепко.

Адрианопольский договор, заключенный при их посредничестве в июле 1713 г., стоил русским дипломатам поистине героических усилий. П. П. Шафиров вряд ли преувеличивал, когда в своих реляциях из Константинополя писал: «Многokrатно живот наш в опасности был, понеже нынешний визирь Али-паша, зять султанский и нынешний его фаворит, зело человек прегордый и пресвирепый, многokrатно при нынешнем трактовании смертью нам угрожал, как аманатам».

Однако и после подписания договора все три русских посла вынуждены были оставаться в турецкой столице, ожидая размежевания границ и «испражнения Азова», переходившего во владение Турции. Лишь в конце 1714 г. П. А. Толстой и П. П. Шафиров возвратились в Москву. М. Б. Шереметев скончался в Киеве.

Адрианопольский договор лишил Россию права иметь постоянного представителя в Константинополе. Только в 1721 г., через семь лет после отъезда Толстого, в турецкой столице появляется новый русский резидент — Иван Иванович Неплюев, человек умный и решительный. В Константинополе он вел дела твердой рукой. Этого требовал и окрепший после Ништадского мира международный престиж России.

В июне 1724 г. Неплюев подписал договор о разграничении владений России, Турции и Персии в Закавказье — Дербент, Баку, области Гилян, Мазандеран, Астрабад влились в состав Российской империи. Однако И. И. Неплюев решительно противился планам уничтожения некогда могучей, но одряхлевшей Персии. «Давно мы уже твердим Порте, что Россия не может допустить Персию до падения», — заявил Неплюев великому визирю.

Турки вынуждены были отступить, но с осени 1731 г. начались столкновения между Россией и Портой из-за Кабарды, за которую «вступился» крымский хан — давний вассал османов.

К недоразумениям по поводу персидских и кабардинских дел добавились калмыцкие, а впоследствии и польские. Французский посланник Вильнев стремился обеспечить поддержку турок ставленнику Версаля на польский престол Станиславу Лещинскому. Вильнев открыто требовал объявления Портой войны России, пугая тем, что «кесарь, Россия и креатура их польский король Август выгонят турок из всех европейских провинций».

Словом, русско-турецкие отношения довольно сильно накалились. Сменивший И. И. Неплюева в 1735 г. Алексей Андреевич Вешняков находил уже возможным силой оружия добиваться обеспечения интересов России. «Страх перед турками держится одним преданием, — доносил он в Петербург. — Теперь турки совершенно

другие, чем были прежде. Все как будто предчувствуют конец своей незаконной власти, и да сподобит всевышний Ваше Величество ее искоренить».

Однако русско-турецкая война 1736—1739 гг., стоившая России 100 тысяч человеческих жизней и огромных денежных средств, сложилась для нее неудачно. Австрия, выступившая в качестве союзника русских войск, заключила сепаратный мир с Турцией. Условия Белградского договора, подписанного — ирония судьбы! — при посредничестве все того же известного своим недоброжелательством к России Вильнева, оказались для нее неблагоприятны.

В такой обстановке в Константинополь для размена ратификационных грамот Белградского мира прибыло посольство во главе с генералом Александром Ивановичем Румянцевым. Ему не в первый раз приходилось выполнять сложные дипломатические поручения. Вместе с Толстым он участвовал в «царской охоте» на царевича Алексея, помогал Шафирову и Шереметеву, возглавлял чрезвычайное посольство в Константинополе в 1724 г.

В веке осьмнадцатом послы передвигались неспешно, строго соблюдая сложный дипломатический церемониал. Выехав из Петербурга в мае 1740 г., лишь в августе следующего года Румянцев вступил в Константинополь.

В его свите в скромном звании пажа состоял двадцатидвухлетний подпоручик Алексей Михайлович Обресков.

В Константинополе Обресков оказался, можно считать, случайно. Несмотря на молодость, личные дела его оказались столь запутанными, что ему было до крайности необходимо срочно покинуть столицу. Проучившись всего два года в Сухопутном шляхетском корпусе, Обресков тайно от родителей женился, но ранний брак оказался несчастливым. Устав в корпусе был строгий, дисциплина немецкая, и если бы корпусное начальство узнало о женитьбе — не миновать бы Обрескову суда и разжалования в солдаты. Помощи ждать было неоткуда, ведь Обресковы — род древний, но захудалый: от отца досталось Алексею в наследство всего 40 душ крестьян.

Выручил товарищ по корпусу Петр Румянцев, будущий знаменитый фельдмаршал. Он упросил отца, Александра Ивановича, взять Алексея с собой в Турцию. Румянцева-старшего уговаривать не пришлось. Ему самому не раз приходилось испытывать на себе превратности судьбы. Петр II отобрал у него имения, пожалованные за безупречную службу Петром Великим, а при недоброй памяти Анне Иоанновне Румянцев, не ладивший с Бироном, и вовсе был приговорен к смертной казни, от которой чудом спасся.

В Константинополе Обресков сразу оказался в гуще острейшей политической борьбы. Послы Швеции и ее союзника Франции делали все возможное, чтобы еще более ужесточить статьи Белградского мира, по которому Россия не могла иметь кораблей в Черном море и обязывалась скрыть укрепления в возвращенном ей Азове. Однако в то время туркам было не до Европы — они с беспокойством ждали нашествия персидского шаха Надира. Это позволило Румянцеву достойно завершить свою миссию.

Обресков же заявил желание остаться в Константинополе. Он уже почувствовал вкус к дипломатической карьере, да и все получалось вроде неплохо. Перед отъездом Румянцев дал ему чин поручика драгунского полка.

Штат посольства был невелик: драгоманы Пиний, грек-фанариот, и Буйдий, выходец из Янины (Западная Греция), служитель Коллегии иностранных дел капитан Г. Лесли, обрусевший шотландец, да поручик Александр Никифоров, будущий консул в Крыму. Одновременно с Алексеем Михайловичем его пополнил и товарищ Обрескова по корпусу Александр Тырков, вскоре скоропостижно умерший.

Обресков быстро сделался незаменимым помощником посланника*, должность которого занял возвратившийся из Петербурга Алексей Андреевич Вешняков.

В корпусе он получил не ахти какое образование, но языки немецкий и французский, на которых велось преподавание, знал хорошо. Вскоре Обресков выучился сносно изъясняться на турецком и итальянском, который являлся официальным языком дипломатического общения в турецкой столице.

Многое Алексею Михайловичу дала также и работа под началом Вешнякова — опытного и мужественного дипломата, человека идеи. Излюбленным детищем Вешнякова был проект создания независимого славянского государства под покровительством России на Балканах. Он сумел заразить этой идеей и сотрудников посольства. До конца жизни Обресков выступал за освободительную миссию России в Греции и на Балканах.

Однако недолго пришлось Обрескову работать под началом Вешнякова. В конце июля 1745 г. тяжело болевший в последние месяцы посланник скончался. Похоронили Алексея Андреевича на греческом кладбище близ Буюкдере, где находилась летняя резиденция русских посланников.

Посольство оказалось в крайне тяжелом положении. Почти год русские интересы в Константинополе представлял австрийский посланник Пенклер. Однако все заботы о делах легли на плечи Обрескова. Трудно приходилось с деньгами: в кассе посольства после смерти Вешнякова оказалось всего 10 рублей наличных средств, и для служителей и учеников пришлось организовать «публичный стол», деньги на который ссудил Пенклер.

В ту пору Обрескову было 27 лет.

В преемники Вешнякову готовили статского советника Андриана Ивановича Неплюева, сына Ивана Ивановича. Впервые Неплюев-младший попал в Константинополь в девятилетнем возрасте с отцом. Через два десятилетия, получив хорошее европейское образование, он вновь оказался в Турции — на этот раз в свите Румянцева.

Андриан Иванович не походил на отца ни характером, ни убеждениями. Это проявилось сразу же после его приезда в Константинополь весной 1746 г.

* Помощник посланника — в дипломатической терминологии, принятой в XVIII в., постоянный представитель России в Турции назывался резидентом или министром-резидентом. С начала XIX в. министров-резидентов (или послов III класса) стали называть посланниками.

По заведенному на Востоке обычаю посол при первом посещении султана, великого визиря и других сановников Порты должен был преподнести богатые дары. Послы из Европы привозили в подарок зеркала, часы замысловатого устройства, показывавшие фазы луны, телескопы, больших собак, фарфоровые вазы и разную утварь. Из России везли соболей, моржовые клыки, которые не только шли на рукоятки сабель и кинжалов, но и употреблялись при приготовлении порошков, будто бы уничтожавших действие яда, кречетов, чай, ревеня. По приезде в Константинополь П. А. Толстой преподнес султану и великому визирю даров на семьдесят тысяч франков, сумму по тому времени весьма значительную.

Подарки полагались также и чиновникам рангом пониже. Например, Неплюев-старший, рекомендуя турецкого посла Мехмеда Саид-эфенди, выехавшего в начале 1731 г. к русскому двору с известием о восшествии на престол султана Мехмеда I, писал: «Он человек повадный и мало суеверен, говорит по-французски, и потому вице-канцлер может давать ему деньги непосредственно».

Поэтому неудивительно, что, проведав о приезде младшего Неплюева, турецкие сановники стали интересоваться, какие подарки привез им новый посланник. В свою очередь, Неплюев отвечал, что посланники преподносят дары лишь султану. Замечание переводчика Порты о том, что надо что-то дать в знак дружбы хотя бы реис-эфенди, Неплюев оставил без внимания.

Турки сочли нового посланника неучтивым и надменным. На деле же все обстояло значительно сложнее. За какие-то полвека Россия осуществила стремительный рывок и стала могучей европейской державой. На смену «птенцам гнезда Петрова» пришло новое поколение русских дипломатов. Если каких-то сорок лет назад П. А. Толстой в одном из своих донесений Петру I сетовал, что турки «в почтении меня презирают не только пред цесарским и французским, но и пред иными послами и житье мое у них зело им нелюбо», то Неплюев-младший не сносил ни малейшего ущемления своих прав по сравнению с представителями других европейских стран в Константинополе.

— *C'est le point de principe**, — настаивая на своем, говорил он, поджимая упрямые сухие губы.

Слово «принцип» произносили тогда на французский манер — «прэнсип», и было оно новым в устах русских дипломатов.

В принципах Андриан Иванович был тверд, да и характером крут. Ошибок не прощал, что однажды чуть не стоило Обрескову карьеры.

Случилось это в 1747 г. В ту пору в Константинополе объявился некто Федор Иванов, выдававший себя за сына соправителя Петра царя Ивана Алексеевича. Самозванца взяли под арест, и Обрескову было поручено доставить его в Россию. Но по дороге, в Айдосах, Иванов, усыпив бдительность охраны, поднял крик, будто он подданный султана и желает принять Магометанство. Турки отбили самозванца и стали угрожать самому Обрескову. Русскому дипломату

* «Это дело принципа» (франц.).

пришлось спастись от разъяренной толпы и возвратиться назад в Константинополь. Неплюев, понимая, что держать Обрескова в Константинополе небезопасно, отправил его в Россию.

С тяжелым сердцем возвращался Алексей Михайлович в Петербург. Однако в столице нашлись заступники — и уже в следующем году Обресков снова оказался в Константинополе в чине армейского капитана.

Не подумал он, что с этих пор не доведется ему побывать на родине целых двадцать лет.

6 ноября 1750 г. с Неплюевым, которому только что исполнилось 38 лет, на приеме у прусского посланника случился апоплексический удар. Андриан Иванович умер так же мужественно, как и жил. Его перенесли в посольство, но он отказался от исповеди. Служивший при посольской церкви иеромонах Иосиф в письме к псковскому архиепископу Симеону Тодорскому не преминул злорадно прокомментировать это событие: «И по приметам прежних лет жития его как в России, так и в Стамбуле не был он совершен христианин, но или лютер, или совсем атеиста, понеже имел великое обхождение с английским послом, а тот явный атеиста».

Через три месяца после смерти Неплюева Обресков был назначен поверенным в делах, а в ноябре 1751 г. — посланником в Константинополе, или, как значилось в его послужном списке, послом III класса. В докладе Коллегии иностранных дел о назначении Обрескова говорилось: «Сей майор Обресков для того способным к тому признается, что он уже тамо при здешних резидентах Вешнякове и Неплюеве около 10 лет и в тамошних поведениях довольноное знание имеет».

Читателя может сбить с толку путаница с наименованием должности Обрескова — резидент, посланник, посол III класса. Дело в том, что европейская дипломатическая практика в середине XVIII в. — в 1815 г. на Венском конгрессе это будет введено в норму международного общения — признавала послов трех рангов: чрезвычайного и полномочного посла, полномочного посланника (посла II класса) и министра-резидента (посла III класса). Послы первых двух рангов обладали более широкими полномочиями и могли принимать многие решения на месте. Министр-резидент же формально был не более чем передаточным звеном в общении своего двора с тем, при котором он был аккредитован, у него не было «полной мочи» на принятие ответственных решений самостоятельно, без соответствующих директив.

Конечно, ранг посла определял и уровень двусторонних отношений. Россия стремилась иметь в Константинополе посланника (посла II класса). В 1741 г. Вешнякову были присланы два комплекта «кредитивных грамот» на «полномочного посланника» и «резидующего посланника». Однако Порта отвечала (не без влияния западных послов, ревниво оберегавших свое первенствующее положение при турецком дворе), что «характер полномочного посланника здесь... не в обыкновении». Петербург разрешил Вешнякову использовать ранг резидента, признававшийся Портой. Согласно представ-

лениям турок, министры-резиденты были «капы-кетхудасы», т. е. доверенными лицами русских монархов при дворе султана.

В дипломатической переписке Обрескова называли то посланником, то резидентом. Формально он был послом III класса, неполномочным, но, по существу, действовал как лицо, облеченное достаточно широкими полномочиями. Этого требовали как характер русско-турецких отношений, так и быстро меняющаяся обстановка в турецкой столице. Вопросы, обсуждавшиеся на конверсациях с турецкими чиновниками, были порой так щекотливы, что требовали ответов быстрых и неуклончивых. Ждать инструкций из Петербурга не приходилось — путь из Константинополя до северной столицы занимал немногим менее месяца. Довольно часто Алексей Михайлович вынужден был действовать на свой страх и риск — «в силу слабого моего разумения» — не без доли некоторого кокетства, отписывал он в Коллегию иностранных дел.

К 1751 г. в послужном списке Алексея Михайловича значилось немало успешно выполненных ответственных поручений. Став к 34 годам главой русской дипломатической миссии в одной из важнейших в то время для внешней политики России столиц, Обресков соединял в себе энергию молодости с немалым дипломатическим опытом, приобретенным к тому же в сложный и ответственный период.

Переменились и личные обстоятельства Алексея Михайловича. В конце 1751 г. он женился и был счастлив в браке с Марией-Ангелиной, по отцу англичанкой, а по матери гречанкой из Карамании.

К несчастью, брак Алексея Михайловича длился недолго. Осенью 1767 г. Мария-Ангелина в одночасье скончалась, неосторожно приняв слишком большую дозу лекарства. Обресков остался с четырьмя детьми: сыновьями — Петром, Михаилом и Николаем — и дочерью Катенькой. Старшему сыну — Петру — было 15 лет, дочери — полтора года.

Дела в Константинополе Обресков вел решительно и умело. Он считал, что «задачей самокрайнейшей нежности» является заключение торгового трактата с Турцией. Этот вопрос давно уже попал в число главных. Еще в 1723 г. по указу Петра I была создана компания при темерникском порте, посредничавшая в доставке русских товаров и развитии торговли с Турцией. Однако дело не пошло. В 1762 г. компания прекратила свое существование.

Между тем русское купечество и набиравшая силу литейная промышленность были заинтересованы продавать в Турцию холсты, чугун, железо, канаты, свечи, масло, икру и меха.

Мытарства русских купцов, отваживавшихся на свой страх и риск вести торговые дела с Турцией, хорошо описал курский купец Михаил Однорядкин, шестнадцать лет торговавший в Турции, Польше, Молдавии, Архипелаге и на Средиземном море. В записке, поданной им в 1762 г. в Комиссию о коммерции, М. Однорядкин жаловался на плохое качество турецких судов, неумелых шкиперов, большие пошлины, взимаемые в Крыму. Свои товары — особенно железо, канаты, коровье масло и сало — русским купцам приходилось продавать по дешевке и в долг, в то время как цены

на закупавшееся в Турции сырье для русских суконных и шелковых фабрик были высокими.

Вешняков и Неплюев пробовали ставить перед турками вопрос о торговом договоре, но безуспешно.

Не преуспел в этом вопросе и Обресков, хотя и потратил на переговоры с турками немало времени и денег.

В тревожное время довелось ему работать в Турции.

Неспокойно было на границах. Еще в 1760 г. Россия начала строительство крепости св. Дмитрия, будущего Ростова-на-Дону. Турки, считавшие, что крепость строится в пределах так называемой барьерной зоны, которую по Белградскому миру Россия не имела права укреплять, предпринимали ряд резких демаршей перед Обресковым. Раздражение Порты вызвало и укрепление другого пограничного с Портой района — елизаветинского военного поселения Новая Сербия, переименованного в 1762 г. в Новороссию, а также предпринятое в 1758 г. по просьбе запорожцев перемещение Сечи на 15 верст выше по Днепру.

Крымские походы Миниха, стоившие России тяжелых людских и материальных потерь, имели одно положительное следствие. После них на три десятилетия, до 1769 г., татары прекратили набеги, опустошавшие южнорусские окраины. Тем не менее хан Крым-Гирей, заклятый враг России, неустанно искал повода для того, чтобы спровоцировать новые осложнения в отношениях между Россией и Турцией. Обрескову приходилось все время быть настороже.

В Семилетней войне (1756—1763) Турция участия не принимала, но громы сражений, разворачивавшихся в Европе, докатывались и до Константинополя. Обрескову не раз приходилось умерять воинственность султана, которую на этот раз настойчиво разжигали послы Пруссии и Англии.

В 1759 г. прусский король послал в Константинополь под видом шведского коммерсанта своего агента фон Рексина с поручением добиться заключения договора о военном союзе между Пруссией и Османской империей. В том, что этот союз так и не был заключен, немалая заслуга Обрескова.

Однако после воцарения Петра III и последовавшего за ним резкого поворота в русской внешней политике антипрусские действия Обрескова вызвали в Петербурге сильнейшее неудовольствие. В Константинополь полетело указание «стараться о том, чтобы Порта начала военные действия против Австрии».

Однако втягивать Порту в Семилетнюю войну на стороне Пруссии Обресков не стал и донес в Петербург, что считает это дело невозможным.

Несомненно, Обресков совершил поступок, который мог стоить ему по крайней мере карьеры, продлись царствование Петра III хотя бы на месяц.

Однако смелый ответ из Константинополя на сумасбродный приказ читала уже Екатерина. В полной мере оценила она мужество и патриотизм Обрескова. «За сохранение чести и благопристойности двора» Алексей Михайлович получил орден Анны I степени и прибавку к жалованью.

Звезда Обрескова взошла высоко. Все чаще на его депешах появлялись одобрительные резолюции императрицы. И кто знает, каких постов смог бы достичь, имей он характер чуть «эластичнее». Однако именно чуткости к придворным конъюнктурам у Алексея Михайловича не было и в помине. Скорее наоборот.

Если он видел, что фон Рексин, сменивший личину коммерсанта на почетную должность прусского посланника в Константинополе, ведет двурушническую политику, он так и доносил в Петербург, нимало не заботясь о том, что между Россией и Пруссией только что подписан союзный договор. «По моему слабому рассуждению и предвидению, — писал он, — нет той жертвы, какой бы прусский король не принес для приобретения турецкого союза».

Доброжелатели Алексея Михайловича в Петербурге пытались без лишнего шума как-то уладить разраставшийся скандал, но Обрескова словно заклинило. С каждым курьером он направлял в Коллегию иностранных дел депеши, в которых решительно требовал отзыва Рексина из Константинополя за деятельность, противоречащую союзническим обязательствам Пруссии перед Россией.

В конечном счете Алексей Михайлович добился своего — в Константинополе Рексина сменил Зегеллин, новый посланник, действовавший значительно более осторожно. С ним у Обрескова сложились неплохие отношения. Однако с того времени одобрительные отзывы в адрес Обрескова стали поступать из Петербурга все реже и реже.

Впрочем, у Алексея Михайловича не было времени задумываться над внезапным охлаждением к нему высоких столичных инстанций — приходилось заниматься новыми делами.

Поставленная Петербургом задача исключить Турцию из событий вокруг Польши, развернувшихся после внезапной смерти в 1763 г. короля Августа III и избрания на престол Станислава Понятовского, потребовала от Обрескова громадного напряжения сил. К тому же здоровье стало сдавать. Пользовавшийся Алексея Михайловича голландский врач Корнель поставил диагноз: ипохондрия и опасное разлитие желчи по всему телу. Левая рука практически не действовала, а правая так дрожала, что Обресков едва мог держать в руках перо. Алексей Михайлович направил Панину прошение о переводе в Петербург. Однако Панин и слушать не хотел. В 1766 г. с извинениями он вынужден был отказать Обрескову в очередном отпуске. Потом Алексей Михайлович уже и сам домой не просился, понимал — не время.

ПОСОЛ III КЛАССА

Глава I

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

25 сентября 1768 г.

На исходе осени в просторной гавани Золотого Рога всегда тесно. Чайки с гортанными криками долго носятся над лесом стройных мачт, прежде чем, описав дугу, сесть на воду и закачаться на мелкой волне. До двух тысяч больших и малых судов со всех концов света выстраиваются рядами вдоль длинных причалов Галаты. Купцы, промышляющие левантийской торговлей, спешат доставить товары до зимних штормов, небезопасных в Мраморном море.

К пристани Касым-паша скелеси причаливает трехмачтовый венецианский парусник. Торопятся венецианские гости. Только натянулись, заскрипели захлестнутые за тумбы толстые швартовые канаты, как по сходням, весело перекликаясь, уже сбегали обнаженные по пояс матросы, согнувшись под тяжестью тюков с неаполитанским бархатом и лионскими шелками. Из-за топота босых ног и хлюпанья воды за бортом не слышно, о чем неспешно беседует капитан с важным чиновником султанской таможни. Судя по тому, как турок отворачивается от трапа, поглаживая черную как смоль бороду, видно, что немалое количество золотых монет перекочевало из кошелька капитана в бездонный карман чиновника. На берегу, у растущей горы тюков, уже хлопочут расторопные приказчики греческих и генуэзских купцов, чьи лавки во множестве рассыпаны по узким уголкам Галаты и Перы. Там на вершине холма возвышаются белокаменные дома послов и посланников европейских держав.

Несмотря на раннее утро, на пристани — вавилонское столпотворение. Кого здесь только не встретишь! Островерхими разноцветными шапками выделяются в толпе старшины константинопольских торговых цехов — железного, мехового, рыбного; в ожидании пассажиров сидят чинные кайкджи с кожаными кошельками у пояса; без усталости мечутся рыжебородые евреи, дергая за полы торговых людей и перекупая всякую мелочь.

А вот и наш, российский купчина, судя по казакину — из нежинских. Он ошалело крутит нечесанной головой, прикидывая, куда ткнуться со своим товаром — пенькой, ситцем, парусиной. Тяж-

ко российским в Константинополе — где им тягаться с англичанами или французами, давно подмявшими под себя левантийскую торговлю. Вот подхватил-таки нежинский какого-то грека, уж и по рукам ударили.

В стороне в тени развесистого платана стоит, заложив руки за спину, какой-то важный господин в напудренном парике и форменном темно-синем кафтане с латунными пуговицами. Да это же сэр Френсис, представитель Ост-Индской компании в Константинополе, собственной персоной. Ему что — склады компании уже с лета ломаются от товара. Но и у него свои заботы — сильно потеснили в последние годы британских купцов предприимчивые французские коммерсанты.

На бесстрастном лице сэра Френсиса деланное равнодушие. Лишь выцветшие голубые глазки так и стреляют в сторону Галатской башни — там находится главная контора французской компании левантийской торговли.

Галатскую башню, древнее византийское укрепление, надстроили в XIV в. в память о крестовых походах генуэзские купцы. Так и высится она немым укором малодушию и алчности крестоносцев, памятником тем временам, когда новые торговые пути прорубались мечом и секирой.

Впрочем, и сейчас торговля и военное ремесло идут на Востоке рука об руку.

Рядом с французской компанией — Топхана — турецкий арсенал и литейный двор. У его кирпичных стен, увенчанных дюжиной маленьких куполов, лежат на бревнах разнокалиберные чугунные пушки, которые турки льют со времен Бонневаля — французского ренегата, реорганизовавшего османскую армию, — под надзором французских советников.

У Топханы расположен и главный причал Галаты. К нему пришвартованы только что спущенные со стапелей корабли «Победа» и «Завоеватель» — гордость турецкого военного флота.

140-пушечная «Победа» между купеческих судов словно Гулливер среди лилипутов. Ее зеленая корма с позолоченной резной фигурой рыкающего льва, олицетворяющего могущество Османской империи, надменно возвышается над щучьей мордой ошестинившейся двумя рядами весел галеры с Варварийского берега, на которой алжирские корсары — гроза Средиземноморья — привезли добычу, награбленную арматорским промыслом. Дальше, за галерой, насколько хватал глаз — сплошной частокол мачт. И уж совсем далеко, в бирюзовой горловине Босфора, опускает косые паруса хрупкое судно, очертания которого, казалось, не изменились с античных времен, когда аргонавты бороздили Понт Эвксинский на пути в Колхиду.

— Алла смаладык! — гнусаво пропел реис Анджело, и шесть пар тяжелых сосновых весел дружно вонзились в упругие воды Босфора.

Быстро набирая ход, каик отвалил от пристани. С каждым гребком все тише становился разноязыкий гомон Галаты. Покачиваясь, удалялись силуэты полуразвалившихся генуэзских фортов, у стен которых по-прежнему бурлила причудливая толпа.

Искусно маневрируя, каик вырвался из толчеи больших и малых судов и устремился туда, где на мысу, вытянувшемся клином в сторону Босфора Фракийского, утопали в густой зелени кипарисов, туй и пирамидальных тополей белые под красными черепичными крышами строения дворца султана — сераля.

Уключины не скрипели — весла были обернуты овчиной мехом наружу. Каик вплывал туда, где были лишь мерный плеск волн, соленый морской ветер да крики чаек, реявших над синью Золотого Рога.

На бархатной подушке, брошенной на дощатый настил, восседал российский посланник в Конставтинополе Алексей Михайлович Обресков в парадном кафтане, при шпаге и кавалерии.

Как описать тебя, утро на Босфоре? Как передать пронзительность лазури ясного неба, волшебные переливы палевых рассветов, очарование кипарисовых рощ, амфитеатром спускающихся к вечным водам Пропонтиды? Как выразить словами строгую гармонию дворцов, мечетей и древних акведуков, где слились воедино античность, древняя византийская культура и затейливая роскошь мусульманского зодчества?

Боязно даже приступать к описанию вечной красоты этих мест, помнящих еще воспоминания о них Овидия, Бунина, Базили.

В то осеннее утро Константинополь—Царьград—Стамбул казался, как всегда, прекрасным, поэтому оставим это неблагодарное занятие, тем более что нашему герою в тот утренний час явно было не до красот природы. Воспаленные от трех кряду бессонных ночей глаза Алексея Михайловича рассеянно следили за сновавшими по глади залива легкими босфорскими кайками, на дне которых неподвижно, словно мумии, сидели турки.

В то утро каких только суденышек не было на Босфоре! Грузные двадцатиместные базар-кайки, доставляющие торговцев из Скутари в Галату, двух- или трехвесельные шлюпки и ялики, яхты и баркасы бороздили Золотой Рог и Босфор в разных направлениях.

Однако ни одно из них не могло сравниться красотой и быстротой с кайком русского посланника. Его ореховые борта были выкрашены белой краской и покрыты затейливой резьбой.

Красить каик в белый цвет и иметь на нем шесть гребцов — привилегия дипломатов. По количеству гребцов сразу можно определить, кому принадлежит каик. Простой народ довольствуется старыми некрашеными развалюхами, на дне которых не просыхает вода, а кормчий и гребец едины в двух лицах. Послы и посланники путешествуют в шестивесельных кайках. И лишь султан имеет право держать на своем судне двенадцать пар гребцов. Только повелитель правоверных путешествует под балдахином пурпурного цвета — странная прихоть, унаследованная османами со времен багрянородных византийских императоров.

Алексей Михайлович с удовольствием оглядел ладную фигуру реиса Анджело. Лучшие кормчие на Босфоре — греки с Принцевых островов, но Анджело — лучший из лучших. Не один год требуется, чтобы научиться управлять легким, как яичная скорлупа, суденышком. Нос у него приподнят, словно у венецианской гондолы, к

тому же с острым железным копьём на конце. Стоит лишь зазеваться — и хрупкий борт встречной лодки затрещит, пропоротый в случайном столкновении.

Для моряка, как известно, добрый глоток рома — средство от всех болезней. Так уж повелось исстари — еще в древнем Риме тибрские гребцы состояли в ведении претора питейных домов. Тем более удивительна трезвость босфорских кормчих, которые в рот не берут вина. Зато уж ругаться они мастера. Иной раз Анджело такую тираду загнет, что даже старший драгоман русского посольства Пиний, для которого турецкий язык с детства стал родным, только глаза таращит и уважительно цокает языком. Громкая брань — лучшее средство избежать столкновения, так как здешние каики строят не только без киля, но и без руля.

Словно почувствовав взгляд посланника, Анджело улыбнулся. В расстегнутом вороте его белой полотняной рубахи просматривалась загорелая грудь, обнаженные по локоть крепкие, мускулистые руки уверенно сжимали сосновые весла. Казалось, годы не властны над греком. Вот уже семнадцать лет служит он у Алексея Михайловича; а все такой же красавец и балагур. Разве скажешь, что он ровесник Обрескова?

Алексей Михайлович вздохнул. Сегодня он чувствовал себя усталым и нездоровым. Да и возраст брал свое. Шутка ли, пятьдесят лет, из которых больше половины проведено в Константинополе. На душе у него было беспокойно.

На одиннадцать часов в большом зале Дивана назначена аудиенция у нового великого визиря — Хамза-паши.

— Что сие означает? — взвился советник посольства Павел Артемьевич Левашов, когда узнал о приглашении визиря. — Ведь наша линия между министрами седьмая? И почему в большом зале Дивана, а не в Порте? Насколько мне известно, великий визирь принимает послов в Диване лишь в исключительных случаях.

Алексей Михайлович и сам знал, что ни английский посол Муррей, ни прусский посланник Зегеллин, стоявшие по турецкому протоколу выше его, еще не были званы к великому визирю. Для столь серьезного нарушения дипломатического этикета у турок, несомненно, должны иметься веские основания.

И, надо признаться, они у них были.

Обресков вздохнул и потер занемевшую кисть левой руки — давала себя знать многолетняя подагра.

Взгляд Алексея Михайловича остановился на нескладной фигуре Николая Яблонского — единственного из приписанных к посольству студентов восточных языков, кого он взял с собой в каик. Кроме Яблонского в каике находились старший драгоман и советник Александр Пиний, грек-фанарийот, третий десяток лет служивший в российском посольстве, и секретарь Обрескова Степан Матвеевич Мельников. Остальным, в том числе драгоманам Круту и Дандрие, был дан приказ добираться до дворцовой пристани своим ходом.

Обресков, человек по натуре крутой и необщительный, питал к Яблонскому не до конца понятное ему самому теплое чувство. И дело здесь было, конечно, не в рекомендательном письме отца Яб-

лонского — Василия Семеновича, служившего в Коллегии иностранных дел по секретной части, которое Яблонский-младший, представляясь ему, робко положил на край стола. У Левашова заступники имеются покрепче, самому вице-канцлеру князю Александру Михайловичу Голицыну бумажные чулки дюжинами шлет, да не лежит к нему душа, и все тут.

Щуплый Яблонский устроился в самом неудобном месте — на носу каика. Он сидел, нахохлившись, как воробей, и придерживал от порывов свежего ветра потрепанную треуголку. Лицо юноши было бледным, под глазами проступали синяки — след бессонных ночей, проведенных за переписыванием набело поздравительной речи Обрескова и ее перевода на итальянский язык. С напряженным вниманием всматривался он в какую-то точку на только что оставленном русскими дипломатами галатском берегу.

Алексей Михайлович знал, куда смотрел Яблонский. Он сам в молодости не мог спокойно наблюдать Ясыр-базар — невольничий рынок. Со всех концов необъятной Османской империи, от далекого Магриба до непокорной Грузии, везли гяуров-невольников на Ясыр-базар, где содержали в деревянных клетках, как птицу в птичьем ряду. Случалось, слышали на страшном торжище и родной для Яблонского малороссийский говор. Крымские татары, совершая набеги на Южную Украину, захватывали в полон чернооких красавиц и продавали их в Стамбуле, получая огромные барыши.

Как-то Мельников сказывал Обрескову, что Яблонский мечтает выкупить из полона встреченную им на Ясыр-базаре прекрасную черкешенку. Тогда Обресков лишь усмехнулся. Пленницы с Украины или Черкесии славились своей красотой. Турки платили за них по две-три тысячи рублей, сумму, равную почти десятилетнему жалованью Яблонского в посольстве. Да разве в деньгах дело! Даже если бы он собрал необходимый выкуп, из этого все равно ничего бы не вышло. По турецким законам христиане не имели права выкупать невольников на Ясыр-базаре. Османским вельможам, погрязшим в роскоши и безделье, самим не хватало рабов.

Однако сейчас, припомнив слова Мельникова, Обресков посмотрел на Яблонского как бы новыми глазами. Ведь чего греха таить, у него самого даже тогда, когда 28 лет назад он впервые приехал в Константинополь, не возникало таких желаний. Он невольно сравнил себя, только что окончившего корпус, с Яблонским и подумал, что оно явно не в его пользу. Новое поколение русских дипломатов и образованнее, и деятельнее, и, к чему лукавить, благороднее в делах и помыслах.

Алексей Михайлович почувствовал желание подбодрить юношу, но не нашел ничего лучшего, как, указав на кожаную сумку, лежавшую на коленях у Яблонского, сказать:

— Смотри, Васильич, бумаги не потеряй. Коли пропадут — не сносить тебе головы.

Яблонский вздрогнул, покрепче обхватил сумку с копиями расшифрованных депеш барона де Тотта, которые Обресков на всякий случай велел взять с собой, и смутился до того, что на бледных щеках его вспыхнули неровные пунцовые пятна.

Но вот и берег. Повинуясь команде Анджело, гребцы разом за-табанили весла, и каик коснулся бортом причала. Алексей Михайлович, опершись на руку проворного кормчего, грузно шагнул на пристань. Постоял немного, привыкая к вновь обретенной надежности берега, поправил на груди пурпурную Анненковскую ленту.

На берегу уже ржали и выгибали шею шесть лучших посольских коней — четыре под французскими седлами и два под пышной турецкой сбруей, с султанами на голове. С неожиданной сноровкой Обресков бросил свое грузное тело в седло и взял шенкеля. Конь под ним заиграл, поднимая копытами пыль.

Место слева от Алексея Михайловича занял присланный из сераля мекмендар из янычарской гвардии. Свита посла была немногочисленной: Пиний и Мельников, за ними драгоман да Яблонский с другим студентом, Лашкаревым, все верхом на лошадях. Впереди четверка киевских рейтар из посольской охраны во главе с вахмистром Остапом Ренчкеевым и несколько пеших янычар. За свитскими в две шпалеры выстроился служилый люд рангом пониже — от толмачей до лакеев в парадных ливреях. Им лошадей не положено, и пешком дойдут, не господа.

Гнусаво запела флейта, захлопал глухой турецкий барабан — и процессия, вздымая пыль, двинулась в сторону мечети Ени-гами, за которой вверх по крутому косоугору убежал лабиринт крутых улочек, ведущих к сералю.

Насколько прекрасен вид Константинополя с моря, настолько неприглядны его узкие улочки вблизи: глинобитные мазанки, повернуты в сторону улицы глухими стенами, вонь, пыль и запустение. Исключение составили лишь мечети и общественные здания, на постройку которых денег не жалели. Только ближе к сералю стали появляться хрупкие, ажурные киоски, мраморные фонтаны, притаившиеся в тени густых лип. Справа осталась площадь ат-Мейдан, в центре которой возвышались испещренный иероглифами обелиск, привезенный из далекого Луксора, и «змеиная» колонна, отлитая из чистого железа в греческих городах в честь одной из бесчисленных побед городов-полисов Древней Эллады.

Поднялись крутой улочкой, по одну сторону которой высилась построенная еще в византийские времена стена, окружающая сераль, а по другую — массивный апсид св. Софии, увитый плющом до узких стрельчатых окон под грузными куполами, и медленно подъехали к выложенным из тесаного камня порталам Баба-Хамаюна внешних ворот султанского сераля.

Тяжелые дубовые створки ворот были распахнуты настежь — с раннего утра и до вечерней молитвы внешний двор сераля открыт для правоверных. Однако толпа любопытных, привлеченных громкой музыкой и диковинным зрелищем, осталась снаружи, возле увенчанного маленькими турецкими куполами киоска султана Ахмета III, опасливо поглядывая на кривые ятаганы замерших у ворот бостанджи — стражей дворцовой охраны.

По двору проследовали в чинном молчании, лишь громко цокали копыта по брусчатке. Шуметь здесь не дозволялось — рядом покоя султана. Алексей Михайлович старался не смотреть туда, где в

середине двора на мраморной ограде у фонтана были сложены отрубленные головы 50 черногорских повстанцев. Казнь приурочили ко дню, когда Хамза-паша отправился к султану с первым визитом. Над фонтаном вились черные мухи, а в воздухе дрожал сладковатый запах тления.

Во внутренний двор сераля вели обрамленные конусообразными остроконечными башнями ворота Топ-Капе. Туда допускались лишь министры Порты и иностранные дипломаты. Только султан имел право въезжать верхом в ворота Топ-Капе.

Алексей Михайлович не торопясь спешил и прошел вслед за мекмендаром во внутренний двор сераля. За воротами в тени кипарисов примостилась древняя византийская базилика св. Ирины, превращенная в оружейный склад. Справа находились приземистые палаты султанской сокровищницы, просторные конюшни, а дальше, в глубине двора, — парадные залы Дивана, где каждую неделю по вторникам османское правительство обсуждало государственные дела. Слева разместились поварни. В одной из них еду готовили только для султана, в другой — для его матери валиде-султан, в третьей — для жен султана, в остальных же стряпали харч для дворцовых сановников и челяди, которой в серале насчитывалось до 15 тысяч человек. Советник посольства Павел Артемьевич Левашов, большой любитель собирать всяческие, как он выражался, кюриозите*, сказывал Алексею Михайловичу, что ежегодно в серале съедается до 40 тысяч быков, а сверх того каждый день во дворец поставляют 200 баранов, 100 ягнят, более 200 кур и огромное количество другой живности.

У входа в Диван Обрескова встретил гофмейстер сераля чауш-паша, облаченный в длинную, до пят, соболью шубу. Приветствуя посла, он пристукнул о мостовую жезлом с серебряным колокольчиком на конце. Приноравливаясь к размеренной поступи турка, каждый шаг которого сопровождался мелодичным перезвоном, Обресков привычно направился в Мусафир-одаси — «светлицу отдохновения», где послы дожидались приглашения в большой зал Дивана.

Судя по многочисленным мемуарам европейских послов, в период расцвета Османской державы визит в султанский дворец нередко был церемонией, унижительной для посольского достоинства. Чего только не повидали стены сераля: послов толкали взащей, заставляя поклониться, а то и встать на колени перед великим визирем, который принимал посла перед аудиенцией у султана и угощал обедом. Иногда посол не успевал притронуться ни к одному из 50 блюд, которые подавали на стол и тут же убирали. Перед тем как вести к султану, посла облачали в турецкий кафтан с длинными рукавами.

— Вид гяурской одежды оскорбляет взор повелителя правоверных, — пояснял при этом чауш-паша.

На самом деле это было мерой предосторожности, нелишней в османской столице, где в результате бунтов янычар не раз сверга-

* От curiosités — «любопытные вещи» (франц.).

лись султаны с трона. Меры предосторожности ужесточились после того, как серб Милош Кобилич ударом кинжала убил султана Мурада*. С тех пор в продолжение всей аудиенции два янычара крепко держали посла за руки, не давая ему шага ступить по своей воле.

Ферриоль д'Аржантель, посол короля-Солнце, Людовика XIV, отправляясь 5 января 1700 г. на аудиенцию к султану, имел неосторожность без должного уважения отнестись к встретившему его чауш-паше. Затаив обиду, гофмейстер, как показалось послу, в неподобающих выражениях потребовал, чтобы при входе во дворец Ферриоль снял свою длинную, великолепной работы шпагу. Ферриоль отказался это сделать. Тогда по знаку чауш-паши дворцовая стража попытались силой обезоружить посла. Ферриоль отбивался ногами, положив левую руку на эфес шпаги, а в правой крепко зажав свои верительные грамоты, подписанные Людовиком XIV. Однако силы были неравными. Кольцо янычар смыкалось вокруг француза, когда он громко спросил главного драгомана Порты, не находится ли Турция в состоянии войны с Францией. Понимая, что дело зашло слишком далеко, чауш-паша счел за лучшее вернуть послу шпагу, но к султану его так и не допустил.

Уходя из сераля, Ферриоль снял подаренный султаном кафтан и приказал сделать то же самое своей свите. Чтобы не дать возможности обвинить себя в пренебрежении к дарам султана, французы складывали кафтаны правильными рядами. Трудные обстоятельства, в которых находилась в то время Османская империя, заставили султана Мустафу II оставить это дело без последствий. Однако за десять лет, которые Ферриоль провел в Константинополе, он ни разу не был принят султаном.

Впрочем, случай с Ферриолем был редким исключением. Не желавших подчиняться принятому у них церемониалу послов турки имели обыкновение выставлять за границы империи, а то и без лишних слов препровождали в константинопольскую Бастилию — Едикуле. Зная об этом, послы из Европы особо не ерепенились: и поклоны били, и по полу на животе ползали, и ручку целовали. Зато потом уж, стряхнув пыль с панталон, брали свое. Договоры о капитуляциях с Францией, Англией, Голландией опутывали османов по рукам и ногам.

Алексей Михайлович за долгие годы жизни в Константинополе бывал на аудиенциях у трех султанов — Мехмеда I, Османа III и нынешнего — Мустафы III. А уж скольких великих визирей и реис-эфенди повидал — и не упомнишь. Во дворец каждый раз шел как на сражение. Но достоинство представителя России нес высоко.

Впрочем, и турки относились к русским по-особому. Повелось это еще с конца XV в., когда Иван III, отправляя послом в Константинополь стольника Михаила Андреевича Плещеева, строго-настрого наказал ему, «пришедши, поклон править стоя, а на колени

* Большинство дипломатов, знакомых с особенностями принятого на Востоке протокола, с честью проходили ожидавшие их в султанском дворце испытания. Случались, однако, и исключения.

не садиться». Плещеев линию проводил твердо. Подарки, присланные к нему от великого визиря, отправил назад, на обед к главе османского правительства не поехал, сказав: «Мне с пашами речи нет, я пашино платье не надеваю и денег их не хочу — мне с султаном говорить». Конечно, подобный тон, составлявший резкую противоположность с тем, к чему приучили турок европейские дипломаты, вызвал неудовольствие султана Баязида II. После аудиенции султан без лишнего шума «отпустил» Плещеева, но дело было сделано. Русские послы заручились правом не становиться в серале на колени, не целовать пола и «говорить речи» самому султану, а не великому визирю или другим сановникам.

Однако, смирившись, османы брали реванш в мелочах. В «светлице отдохновения» Обрескова томили каждый раз не менее часа: то чауш-паша задержится на молитве в мечети, то у великого визиря оказывались неотложные дела.

На этот раз против обыкновения ждать пришлось недолго. Не прошло и четверти часа, как на пороге появился чауш-паша, и Обресков во главе свиты русских дипломатов торжественно проследовал в большой зал Дивана. Он был полон народу. Министры Великолепной Порты соперничали друг с другом богатством шуб и причудливостью тюрбанов. Великий визирь сидел в углу на низкой софе. Разноцветные витражи верхнего яруса окон да персидский ковер за спиной у Хамза-паши были единственными украшениями зала собраний османского правительства.

Приблизившись, Обресков сделал простой русский поклон (в отличие от принятого в Европе тройного венецианского поклона на Руси кланялись один раз) и опустился на приготовленный для него табурет. Свитские встали за спиной посла. Как всегда в минуты трудные и ответственные, Алексей Михайлович почувствовал, что приходит спокойствие, рожденное пониманием важности предстоящих событий. Перекрывая голосом шевеление, покашливание, шарканье ног огромного собрания, он принялся зачитывать по-итальянски поздравительную речь. Драгоман Порты Караджа толмачил. После каждой фразы он заученно кланялся, оглаживая рукой седую бороду.

Обресков не успел дочитать и первой страницы, как великий визирь резко вскинул руку и в мгновенно наступившей звенящей тишине произнес что-то по-турецки. Ноздри его тонкого носа трепетали, горящий взгляд был устремлен на русского дипломата.

Не поверивший своим ушам, Обресков в недоумении обернулся в сторону драгомана.

— Довольно, достаточно мы слышали от тебя лживых речей! — зачастил с переводом Караджа, отступая мелкими шажками за спину Алексея Михайловича.

Между тем, достав из-за пазухи смятый листок, Хамза-паша прерывающимся голосом продолжал:

— Предатель, клятвопреступник! Как не стыдно тебе перед Богом и людьми за зверства, которые чинят твои соотечественники? На Днестре потоплены барки, принадлежащие подданным Порты.

Балта и Дубоссары разграблены, и в них множество турок побито, а киевский губернатор, вместо того чтобы дать хану законное удовлетворение, гордо отвечал, что все сделано гайдамаками, тогда как нам доподлинно известно, что Балту и Дубоссары разграбили русские подданные. Вот письменное обязательство, что все войска из Польши будут выведены, которое ты дал реис-эфенди еще год назад. А они и теперь там! Ты говорил, что войска в Польше не более семи тысяч и без артиллерии, а мы знаем, что его там тридцать тысяч и с пушками...

Дальнейшее Алексей Михайлович слушал уже вполуха. Пытаясь стряхнуть с себя цепенящее безразличие, он отвечал что-то, отказываясь принять унижительный для России ультиматум, предъявленный великим визирем, но в голове пульсировала одна и та же навязчивая фраза из полученного накануне рескрипта Коллегии иностранных дел: «В польских делах ни слава, ни достоинство Ее Императорского Величества не могут сносить ни малейшей уступки».

Когда Хамза-паша наконец произнес слово «война», Алексей Михайлович тяжело поднялся с табурета и, глядя в глаза великому визирю, отчеканил:

— Россия не желает войны, но она всеми силами ответит на войну, которая была только что ей объявлена.

Лоб Караджи покрылся капельками пота, голос задрожал, Пиний, внимательно следивший за переводом, шепнул:

— Врет, подлец!

Алексей Михайлович и сам понял, что грек сплеховал.

Гневно взглянув на Караджу, он повторил:

— Россия не желает войны, но она всеми силами ответит на войну, которая была только что ей объявлена.

Пиний, запинаясь, как неверное эхо, забормотал по-турецки. Трижды Алексей Михайлович повторял свой ответ, пытаясь добиться от драгомана Порты точного перевода, но все было напрасно. Караджа от страха потерял голову.

— Россия неизменна в своей дружбе, но если от нее хотят войны, она будет действовать по-другому, — твердил он по-турецки.

Бросив в лицо растерявшемуся греку: «Traduttore traditore»*, Обресков резко повернулся и вышел из зала.

Из Мусафир-одаси его уже не выпустили. Чауш-паша объявил, что судьбу русских дипломатов будет решать султан.

Как только гофмейстер вышел, явился Караджа, принявшийся суетливо оправдываться. Руки старика дрожали. Поминутно отирая струившийся из-под собольей драгоманской шапки пот, он сказал, что войны еще можно избежать, если русский посланник немедленно примет ультимативные требования Порты. Больше для порядка Обресков поинтересовался, каковы были пункты ультиматума.

— Пункт единственный: под гарантии со стороны четырех союзных держав — Дании, Пруссии, Англии и Швеции — Россия долж-

* «Переводчик — предатель» (итал.).

на взять на себя обязательства никогда больше не вмешиваться в выборы польского короля, а также в религиозную борьбу в Польше,— сказал Караджа.

— Это не в моей власти,— спокойно отвечал Обресков.

Караджа еще говорил что-то, тыкал Пинию в лицо листок с ультиматумом, но в голосе его слышалась безнадежность.

Наконец он ушел. Потянулись долгие часы ожидания. Алексей Михайлович сидел, выпрямив спину и положив руки на колени. Взглянув на него со стороны, решительно нельзя было сказать, что он только что пережил самый трудный эпизод в своей дипломатической карьере.

* * *

Однако что же на самом деле произошло в Балте и Дубоссарах? (О каких потопленных барках, убитых турках говорил Хамза-паша? Почему великий визирь назвал русского посланника «клятвопреступником»?)

Оставим ненадолго нашего героя в «светлице отдохновения» — ему есть о чем поразмыслить — и попробуем разобраться в сложном сцеплении причин и обстоятельств, вызвавших войну между Россией и Турцией.

История поучительная, да и к нашему рассказу отношение имеет самое непосредственное. Началось все, как водится, с пустяка, мелочи, просто с банального анекдота.

Весной 1768 г. пан Любомирский, подстольник Литовский, проиграл за ломберным столом свои огромные имения заезжим варшавским шулерам. Это незначительное, в сущности, происшествие и повлекло за собой цепь событий, имевших последствия непредсказуемые.

Любомирский стал жертвой интриги, которую искусно направляла его жена вместе со своим любовником Сосновским, писарем литовским. В подробности ее мы входить не будем. Существенно лишь то, что, когда жена Любомирского совсем было собралась прибрать эти имения к рукам, выяснилось, что они уже не принадлежали ее мужу. Над всей недвижимой собственностью Любомирского давно уже была установлена опека, а опекуны отказались допускать в имения новых владельцев.

Обязанность бороться с опекунами приняли на себя два шляхтича, некто Бобровский и Волынецкий.

В Польше было неспокойно. Речь Посполитая доживала свои последние годы в смуте и междоусобице. В январе сейм в Варшаве под давлением России и Пруссии решил наконец-то так называемый диссидентский вопрос — уравнил в правах не католические меньшинства (православных и протестантов) с католиками. Католики увидели в этом потрясение государственных устоев и схватились за оружие.

В маленьком Подольском городке Бар пан Красинский, брат епископа Каменецкого, и известный адвокат Иосиф Пулавский образовали очередную конфедерацию. На белом знамени конфедера-

тов были начертаны распятие и образ святой Девы. Под ними девиз: «Aut vincere aut mori pro religione et libertate»^{*}.

В Константинополь и Париж поскакали посланцы конфедератов с просьбой о помощи.

Французские философы находили странным стремление новоявленных крестоносцев искать защиты католической веры в мусульманской Турции. Однако в Версале посмотрели на дело с другой стороны.

Неисповедима логика истории. По странной прихоти смешивает она порой в один клубок великое и мелкое, трагическое и смешное. Спор за ключи от храма Гроба Господня — и трагедия Крымской войны. Выстрелы Гаврилы Принципа — и мировая война, перемоловшая в своих жерновах миллионы человеческих жизней.

Так или почти так все обстояло и на этот раз.

Бобровский и Волынецкий были жалкими авантюристами. Разжившись бланками с официальной печатью пана Пулавского, маршала Барской конфедерации, они явились под стены Смилы, хорошо укрепленного замка Любомирского, с тысячей вооруженных казаков, обманутых их фальшивыми полномочиями. Разыгралась одна из многих трагедий многострадальной Польши в то смутное время. Казаки шли на штурм, прячась за спины жен и детей солдат крепостного гарнизона. Солдаты, верные присяге, плакали, но стрелять не прекращали. Поле перед замком покрылось трупами женщин и детей. Казаки, ужаснувшись страшного греха, покинули Бобровского и Волынецкого и перешли под Переяславлем на левый берег Днепра, на русскую сторону.

Однако всем уйти не удалось. Часть казаков попала в руки конфедератов, которые немедленно стали вершить суд. Случилось так, что среди посаженных на кол оказался и родственник переяславского архиерея. Тот, решив отомстить, задумал поднять бывших в то время на богомолье запорожцев против поляков. Архиерей показал атаману запорожцев подделанный им указ императрицы Екатерины Алексеевны проучить ляхов за то, что они устроили Барскую конфедерацию против православной веры. Фальшивка была сработана на совесть. Титул выведен на пергаменте золотыми буквами, а подпись и печать — как настоящие. Запорожцы перешли на правый берег Днепра и лавиной двинулись на Подолию, сокрушая все на своем пути. К ним присоединились уманьские гайдамаки во главе с сотником Гонтой.

Но недолго пришлось гайдамакам гулять по Польше.

Отряд русских войск под командованием генерала Кречетникова, гонявший по Подолии конфедератов, схватил Железняка и Гонту. Железняка, как российского подданного, отправили в Сибирь, а Гонту отдали полякам, которые и казнили его лютой смертью.

Гайдамацкий мятеж был подавлен, но искры от него полетели далеко. Один из отрядов Железняка и Гонты под начальством сотника Шилы направился к Балте, пограничному польскому селу, ко-

^{*} «Победа или смерть за религию и свободу» (лат.).

горое отделяла от татарского местечка Галты река Кодым. Гайдамакам было чем поживиться. Балта славилась своими ярмарками, на которые для закупки лошадей приезжали ремонтеры из Пруссии и Саксонии. Четыре дня жестоко грабили и беспробудно пили. Турки опомнились и, перейдя на польскую сторону, сожгли предместье Балты. Гайдамаки протрезвели, и началась канитель. То гайдамаки переправлялись через Кодым на татарскую сторону и жгли Галту, то турки с татарами разоряли и грабили жилища поляков, русских и сербов, живших в Балте. Под горячую руку сожгли и Дубоссары, городок, находившийся неподалеку от Балты. На шум явились конфедераты, принявшие «ревизовать схизматиков», иными словами, казнить украинцев и казаков.

В результате печального балтского происшествия меньше всего пострадали турки. Однако Порты пришла в сильнейшее волнение. 4 июля Обресков доносил в Петербург, что к русским границам придвинут 20-тысячный турецкий корпус.

Такой поворот событий казался странным. В Петербурге недоумевали. Однако вскоре многое прояснилось. Капитану Бастевику, служившему для секретных посылок в канцелярии киевского генерал-губернатора Воейкова, удалось перехватить депеши барона де Тотта, французского резидента в ставке крымского хана, дюку Шуазеля, руководителю французской внешней политики. Из донесения Тотта явствовало, что подкупленный им балтский паша Якуб намеренно преувеличил масштабы инцидентов в Балте и Дубоссарах, желая спровоцировать Порту вступить за своего обиженного вассала — крымского хана.

Первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел граф Никита Иванович Панин вздохнул облегченно. Интрига Версаля была столь явной, что он распорядился немедленно отправить копии депеш Тотта Обрескову. Никита Иванович был уверен, что посланник сумеет распорядиться доказательствами антирусских происков Шуазеля. Однако, пока возились с расшифровкой, доставляли депеши в Константинополь, время шло. Документы попали в руки Обрескова лишь 20 сентября, за пять дней до столь неудачно окончившейся аудиенции у Хамза-паши.

— Если бы сия бумага, — говорил он возбужденно Левашову, — была у меня хоть на неделю раньше, я бы выкурил этого презренного Тотта из Бахчисарая.

* * *

Итак, казалось бы, все ясно. Война была спровоцирована Версалем, давно мечтавшим сравнить Османскую империю с Россией.

Однако не будем торопиться.

Задолго до того, как в дипломатических салонах Вены и Парижа сделалось модным говорить о «больном человеке Европы», русские дипломаты доносили из Константинополя о том, что Османская империя больна давно и неизлечимо.

Внешне все обстояло вроде благополучно. Империя простирала свою власть на огромные пространства от Кавказа до Магриба и от

знойных пустынь Аравии до Балкан. Ее еще озаряли отблески былой славы султанов-завоевателей Мехмеда II, Сулеймана Великолепного, Селима I, прозванного Грозным. Дружбы владык мусульманского мира еще искали державы великие.

Однако болезнь уже начала свою разрушительную работу. После поражения под стенами Вены в 1683 г. османы, некогда наводившие ужас на христианский мир, вдруг обнаружили, что они далеко отстали от Европы. Не умея и не желая приспособить к требованиям времени ни свое архаическое государство, ни некогда совершенную, но безнадежно устаревшую военную машину, они лишились возможности продолжать территориальную экспансию, бывшую источником могущества и смыслом существования империи.

Тем не менее сабли османов не ржавели. Вся мощь военно-феодальной деспотии была обращена на безжалостную эксплуатацию поработанных народов. Из Болгарии и далекого Йемена, с островов Архипелага, из Западной Грузии шли в Стамбул караваны с награбленным золотом и благовониями, обозы с продовольствием, тянулись табуны лошадей и скота. Задыхались под бременем непосильных налогов турки-крестьяне Анатолии, исконной вотчины османов. Само слово «турок» стало ругательным в устах османской элиты.

Райя — так именовалось немусульманское население Османской империи — находилась еще в более тяжелом положении. На ее плечи ложились и налоги, которыми в империи облагались немусульманские народы.

Мустафа III, взошедший на престол османских султанов в 1757 г., остался в истории Турции как правитель властный и честолюбивый. Он стремился править сам. Нередко султан инкогнито отправлялся в Высокую Порту, где проводил долгие часы в беседах с великим визирем и реис-эфенди.

Однако ничто уже не могло сделать насквозь коррумпированную бюрократическую машину империи более поворотливой. Чиновники Порты и все эти фантастические фигуры сераля — главный астролог, хранитель парадной шубы, страж султанского соловья — давно уже были не частями единого целого, а существовали сами по себе, как сорная трава, занятая одной лишь заботой — урвать, что плохо лежит. Даже такие традиционные центры интриг в серале, как некогда могущественный кизляр-ага, действовавший через любимых жен султана, или мать султана — валиде-султан, уже мало что значили в обстановке нарастающей анархии.

Политика Османской империи определялась неумолимой логикой всеобщего разложения.

Мустафа III не мог не понимать, что происходит вокруг. Но как влить свежую кровь в жилы дряхлеющей империи, как заставить успокоиться этих бунтующих черногорцев, грузин, а также народы Египта, Аравии, Кипра?

Др того способа, кроме небольшой победоносной войны, он не знал.

Удобным объектом для нападения представлялась ему Россия, всего несколько лет назад вынесшая на своих плечах основную тяжесть Семилетней войны.

Еще в 1757 г., вступая на трон османских султанов, Мустафа III опоясался мечом Айюба, оруженосца пророка, хранящимся в одной из мечетей Константинополя как величайшая святыня мусульман, и провозгласил себя гази — завоевателем.

Однако решиться на войну было непросто. Далекое не все в османской иерархии разделяли честолюбивые планы султана. Одним из немногих турецких сановников, не терявших способность трезво смотреть на вещи, был великий визирь Мохсен-заде.

«За войну стоят султан и константинопольская чернь, против — Порты и муфтий Дурри-заде, без фетвы которого по исламским законам султан не может начать войну», — доносил Обресков в Петербург.

В ответ летело указание всемерно стараться о сохранении мира.

И Обресков старался.

По долгому опыту общения с турками ему было известно, что многие османские сановники были податливы на внушения. Собственных послов за пределами Османской империи они не держали и поэтому сведения о явных и тайных интригах европейской политики вынуждены были черпать из бесед с аккредитованными в Константинополе послами. Опытный дипломат мог из турок веревки вынуть. А опыта и сноровки Обрескову было не занимать.

Если бы не мастерство Алексея Михайловича в «политических софизмах», война могла начаться уже летом 1764 г., когда усилиями России и Пруссии на польский престол был возведен Станислав Понятовский.

Обстановка тогда складывалась тревожная.

Зная, что Турция давно засматривалась на польскую Подолию, французский посол в Константинополе Вержен, достойный соперник Обрескова, впоследствии министр Людовика XVI, разыграл «польскую карту» с блеском. С помощью австрийского интернунция Пенклера и польского посла Станкевича он распустил слухи, что Екатерина II собирается выйти замуж за Понятовского, своего старого фаворита, и таким образом соединить два государства — к очевидной опасности для Османской империи.

Подливал масла в огонь и крымский хан, доносивший, что в Хотин явился разбитый русскими войсками польский князь Радзивилл и, горько сетуя на Россию, отдался под покровительство Порты.

Султан пришел в ярость и велел великому визирю послать Обрескову записку, составленную «в терминах грубейших и неучтивейших». Алексей Михайлович, зная по опыту, что в Турции надо иметь, как он выражался, «волчий рот и лисий хвост», дал почувствовать великому визирю, что подобные выражения непристойны в отношениях между государствами, и напомнил, что последняя война между Россией и Турцией также произошла вследствие разных известий, которым турки слишком легко поверили, а между тем она стоила каждой из воевавших сторон более ста тысяч погибших.

Великий визирь (редкий случай в турецкой истории!) счел за лучшее принести извинения за «невольную резкость» выражений и просил Обрескова не сообщать о них в Петербург.

Екатерине понравилась оборотистость Обрескова. На его депеше об этой истории она собственноручно начертала: «Быть по сему; а

ревность, искусство и усердие Обрескова нахвалить не можно; да благослови Господь Бог и впредь дела наши тако».

Однако при всем искусстве Обрескова военного конфликта избежать уже было нельзя, лишь оттянуть. Особенно взволновалась Порта после того, как Россия, стремясь обеспечить православному населению входивших в состав Польши западноукраинских и белорусских земель равные права с католиками, увеличила численность своих войск в Польше. 3 декабря 1767 г. Обресков имел тайную конверсацию с реис-эфенди Османом, которая продолжалась четыре часа. Разговор принял столь острый характер, что, опасаясь немедленного разрыва отношений, Алексей Михайлович вынужден был дать письменное обязательство, что русские войска будут выведены из Польши в феврале следующего года.

Обресков прекрасно понимал, какую ответственность он на себя берет. Зная, как в Петербурге смотрят на польские дела, другой на его месте вел бы себя осторожнее и поостерегся бы давать обещания, не снесясь гредварительно с Петербургом. Однако заминка с ответом неизмеримо увеличила бы риск немедленного объявления войны. Курьер до Петербурга добирался не менее четырех недель, значит, ответа на запрос следовало ждать не раньше чем через два месяца. Турки же получали известия из Польши через пять-шесть дней, а обращаться всякий раз за советом в столицу значило, по мнению Обрескова, заведомо погубить дело. Если интересы России требовали от него, русского посланника, идти на риск — он шел на него.

В Петербурге Обрескова не поняли. Екатерина, еще недавно хвалившая посла, нахмурилась. Посол в Польше Николай Васильевич Репнин, сторонник решительных действий, писал Панину: «Меня менее удивила неумеренность Порты в ее требованиях, чем робкая уступчивость г. Обрескова, который еще этим и доволен, будто успехом».

Однако дело было сделано и следовало подумать, как быть дальше. «Надобно, — писал Панин, — для развязания так дурно затянутого узла сделать, по крайней мере наружные доказательства к исполнению обещанного, ибо, помазав турецкое министерство по губам, можем выиграть время, которое всего на свете лучший поправитель... Не время еще доходить нам с Портою до разрыва».

На том и порешили, благо дела в Польше пошли на лад. После того как в январе сейм принял наконец решение об уравнивании в правах католиков с православными, русские войска потянулись к своим границам. Однако в конце февраля явилась на свет барская конфедерация, и в Польше вновь поднялись смута и рознь, снова шайки конфедератов поскакали по городам и селам, грабя друга и недруга, поляка и украинца, разоряя монастыри и хутора.

Русские войска повернули назад. Между конфедератами отличался ротмистр Хлебовский, вешавший на придорожном дереве первого встречного, не разбираясь, кто он — католик, православный или иудей. Русским не нужно было проводников. Они настигали конфедератов по трупам их жертв.

С этого момента события стали развиваться стремительно и неустрожимо. Развязка близилась, и инциденты в Балте и Дубоссарах лишь ускорили ее наступление.

16 июля Обресков был вызван к Мохсен-заде, который напомнил об обещании, данном им полгода назад, и в категорическом тоне потребовал вывода русских войск из Подолии. Не успел Алексей Михайлович доложить об этом в Петербург, как разнеслись вести о том, что Мохсен-заде смещен и отправлен в далекую Кандию (остров Крит), определенную ему местом ссылки.

Султанскую печать — символ власти главы османского правительства — принял анатолийский бейлербей Хамза-паша, человек решительный и жестокий. В конце августа он прибыл в Константинополь и немедленно принялся смещать всех, кого Обресков считал людьми «благонамеренными и миролюбивыми».

«Через это, — сетовал Обресков в письмах к Панину, — я лучших своих друзей лишусь».

Панин сочувствовал — и только. В польских делах «ни слава, ни достоинство Ее Императорского Величества не могут сносить ни малейшей уступки», — предупреждал он Обрескова.

Правда, для возвращения дел «в обыкновенную и натуральную стезю» Алексею Михайловичу было ассигновано 70 тысяч рублей. Но как ими распорядиться? И великий визирь, и реис-эфенди — люди новые, подходы к ним еще не найдены.

Чем больше размышлял Обресков над создавшейся ситуацией, тем явственнее ощущал собственное бессилие. Однако и в этих крайних обстоятельствах посланник не позволил ни себе, ни другим опустить руки. Как только новый реис-эфенди, Риджави, ставленник Хамзы-паши, вступил в свои обязанности, Обресков вручил ему меморандум Панина и собственноручно писанную пояснительную записку об инциденте в Балте и Дубоссарах.

Документ

*Письмо графа Н. И. Панина в Константинополь
к резиденту А. М. Обрескову*

Санкт-Петербург, 4 августа 1768 г.

Следующее здесь, вследствие Вашего представления от 30 апреля, письмо мое к верховному визирю уже было изготовлено, как князь Николай Васильевич через нарочного доставил мне письма Вашего Превосходительства от 7 июля, в котором в подробности объяснено, с каковою чувствительностью Порты первые известия получила о учиненном воровскою шайкой запорожцев, соединенных с польскими мятежниками, разбое в татарском селе Балт* и разграблении одной ханской вотчины и какия потому она, Порты, строгие меры приняла. Я во всем пространстве понимаю, в какие крайние беспокойства** и заботы Ваше Превосходительство вверг-

* Здесь явная ошибка. Татарское местечко Галга располагалось на противоположном от польского села Балта берегу реки Кодым.

** В данном документе сохранены орфография и пунктуация подлинника.

нуты были таковыми нимало неожиданным приключением, и сколь велики быть долженствовали труды Ваши к некоторому успокоению раздраженных духов в Вашем месте.

Учиненные Вашим превосходительством убедительные представления и употребленные средства при сем случае, равномерно как и во всех других, по справедливости заслуживают достойную себе похвалу, и совершенно соответствуют полагаемой здесь на Вас надежде, что по доказанному Вашему в делах искусству и точнейшему всех обращений места Вашего проникновению, и особливо по испытанному Вашему к службе Ея Императорского Величества усердию и ревности, Ваше превосходительство при всяком нечаянном приключении в состоянии найдете в крайности отвратить и неприятные следствия предупредить. Наша всеавгустейшая монархия, всемилостивейше отдавая всегда тому справедливость, и с высочайшим своим благоволением признавая неусыпные Ваши по делам ее подвиги, несумненно надеяться изволит, что при сем никем неожиданном происшествии, вы с таким же успехом старания свои употребите к совершеннейшему Порты успокоению и приведению наших тамо дел в прежнее плавное течение, чем Ваше превосходительство увенчаете усердные и полезные свои Отечеству услуги.

По получении помянутого письма Вашего я приобщил поскрипт к визирскому моему письму, которое и с переводом при сем прилагаю, предоставляя Вашему превосходительству в оном переводе сделать такая перемены, какие сами вы по сведению склонностей турецкого министерства за наилучшее признаете, а при том и Ваше превосходительство изволит от себя препроводить то письмо запискою или инако как, что вышеозначенный учиненный беглыми запорожцами с польскими мятежниками разбой в слободе Балте и в ханской вотчине должен причитаться в число таких грабительств, каковые могут случиться в каждом государстве от своих собственных подданных, в подобное злодейство впадших и свое пропитание насильством и похищением ищущих, в котором случае никакое правительство за таких плутов ответственность не может, но все нации их себе равномерно за общих злодеев почитать должны, как подобное тому Вам справедливо заметил реис-эфенди, говоря с Вами о соединенных с конфедератами липских татарах. В доказательство чему еще послужит непременно и то, что как скоро пограничные здешние командиры и обретающиеся наши в Польше военные корпусы о сих разбойнических шайках уведомились, то немедленно для сыску и искоренения их знатные партии от себя разослали и от киевского генерал-губернатора Воейкова через наших пограничных комиссаров пограничному сераскер-султану знать дано о принятии потому в границах турецких надлежащие предосторожности. Посланные же от генерал-губернатора малороссийской губернии графа Румянцева партии, нагнав в двух местах те разбойническая шайки, бывшая в Польше по сю сторону Белой Церкви, оных разбили и, 137 человек тех злодеев поймав, окованных в Киев присылали, которым, равно как и взятым нашим в Польше находящимися войсками, достойное нещадное наказание по посланным генерал-губернатору Воейкову повелением может быть уже сделано

прежде, нежели сие дойдет до Ваших рук, в оказание тем Порте при сем полного и справедливого удовольствия прежде получения еще от нея о том требования. Для успокоения взбунтовавшихся польских крестьян, наших единовѣрных, немедленно по получении здесь о том известия послан был отсюда для публикования в польской Украине напечатанный манифест, в котором всем тамошним обывателям точно объявлено, что Ея Императорское Величество не токмо их в их возмущении защищать не намерена и что появившиеся у них запорожския партии за разбойничьи шайки и за здешних беглецов почтены быть должны, но и что если они, польские обыватели, от своего волнования не перестанут, то вместо прежняго им дозволеннаго от Ея Императорского Величества высочайшего покровна ожидать имеют от находящихся тамо здешних войск строжайшего преследования и неминуемаго своего истребления. Все сие Ваше превосходительство пространно усмотреть изволит из прилагаемых здесь по реэстру копий с нужных сведению Вашему пиес, и те Ваши Порте предъявления подтвердить торжественным, высочайшим Ея Императорского Величества именем, уверениями, что как прежде, так и ныне наша все милостивейшая государыня в твердом и непоколебимом намерении пребывает, в полной целости сохранять продолжающуюся с его султанским величеством добрососедственную дружбу и доверенность, также и во всей святости содержать находящийся между обеими империями вечный мирный трактат.

Я ласкаю себя, что все вышеописанные и другия употребляемые вами наилучше знаемая средства предупредят Порту совершенно успокоить и на прежнюю с нами дружественную степень привести. В достижении чего несомненно Ваше превосходительство воспользоваться изволит настоящим доброжелательством и податливостью к нам верховнаго визиря и реис-эфенди, к чему еще и непосредственную денежную сумму потребить можете, и когда все тако Вы в Вашем месте успокоите, то Ваше превосходительство еще от нее, Порты, о том требовании исходатайствовать не оставите, что она, Порта, получив себе тако нещадных злодеев при границе ее наказанием полное и возможное о нас удовольствие, вследствие того б повелела и марширующими ея в Бендеры и Хотин войскам обратно в прежния свои места возвратиться, а особливо что в том краю ныне совсем тишина уже восстановлена, и тем бы всему свету показала, что она продолжительно желает жить с нами в полном согласии и соседней доверенности, так как и вечный мирный трактат во всей целости содержать, — ибо в противном случае от пребывания упомянутых турецких войск в соседстве Польши непременно в Польской Украине хотя утушенное, но в тепле тлеющееся паки возгореться легко возможно, потому что злоумышленные тамо кроющиеся получают там себе сильное одобрение, и свои прежние коварные замыслы возобновить не упустят, что будет уже трудно утушить; вместо того, что все польские беспокойства мы надеемся уже в скором времени кончить, ежели Порта по-прежнему при своей похвальной системе останется, и на происхождения в Польше с индифферентностью смотреть будет.

Что же Ваше превосходительство упоминает о награждении убитков ограбленных пожитков и прочаго вышеозначенными злодеями в Балте и в ханской вотчине, то я Вас прилежно прошу все способы употребить сие утушить, хотя коррупциею в Диван некоторую умеренною суммой денег, дабы тем однажды избавиться дальних по сему делу с Портою неприятных сношений и хлопот, которая, как Вы сами себе представить можете, будут неизбежными от бесконечных и беспредельных счетов и разных притязаний претерпевших татар и турок.

Вследствие сообщения Вашего превосходительства к князю Николаю Васильевичу, что Порты хану крымскому предписала испросить от него изъяснения о причине запорожцами учиненнаго в турецких областях разбоя, и в каких синтиментах здешний двор находится в рассуждении ея, Порты, на то ему, князю, отсюда повелено в таком случае к хану ответствовать на основании всего вышеизображеннаго, и потому предъявля всю истину, уверить о непременных здешних намерениях пребывать навсегда с Портою в добрососедственной дружбе и ненарушимо сохранять настоящий между ними вечный мирный Трактат. В такой же силе к хану письменно с нарочным отозваться предписано и киевскому генерал-губернатору Воейкову. Впрочем, я всегда пребываю и т. д.

Гр. Н. Панин

Р. С. Я за нужно нахожу Вашему превосходительству примечать, что первое Порте известие о упомянутом в сем письме запорожцами разграбление татарской слободы Балты и ханской вотчины, думать надо, доставлено было через нашего мнимаго приятеля, известнаго Якуба, ибо по Вашему письму с ним точно и у тех разбойников переговоры происходили, при требовании им выдачи себе польских мятежников, а сей Якуб по разным достоверным известиям также подкуплен французским в Крыму находящимся консулом, потом и польскими конфедератами и им более нашего усердствует, как то отчасти Вы усмотреть изволите из приложенного при сем экстракта журнала капитана Бастевика бытности его в Бахчисарае; почему неудивительно, что известие, Порте доставленно, очевидно, крайне увеличено, потому что та партия разбойничья по всем околичностям тоже не могла превосходить ста человек, пушек же взять им неоткуда, а в том известии объявляется, что погублено теми разбойниками татар и турок 1800 душ — преужасное число противу ста человек! — на что на все немалое время надобно, хотя б сии люди и все произвольно на смерть себя представили; все же сии насильства по сказкам его, Якуба, помянутые разбойники спокойно и по своей воле производили внутри турецких владений, в весьма знатном расстоянии от своего гнезда и близ Бендерской крепости без малейшего за ними из оной преследования. Ваше превосходительство сами из сего рассудить изволите, сколь маловероятно все сие с истиной быть может, и потому Вам предоставляю по Вашему собственному рассмотрению Порте о всем том потребное внушение учинить.

Гр. Н. Панин

22 сентября меморандум Панина и записка Обрескова были зачитаны на заседании Дивана.

«Сколько можно было проведать из каналов, резолюция оказалась не совсем полезной», — доносил Алексей Михайлович в Петербург.

Двое суток кряду, запершись в своей резиденции, Обресков обсуждал с Левашовым, Пинием и Мельниковым план дальнейших действий.

— Пришла пора пускать в игру кавалера де Тотта, — решил он наконец и попросил великого визиря принять его для секретной конверсации.

На следующий день секретарь драгомана Порты, обасурманившийся венгр Ибрагим, давний и проверенный конфидент Обрескова, передал, что великий визирь ждет его не для приватной, а для официальной аудиенции в большой зале Дивана в четверг, 25 сентября, ровно в 11 часов утра.

Депешами Тотта воспользоваться не пришлось.

Об этих невеселых обстоятельствах и размышлял Алексей Михайлович, когда в четвертом часу пополудни в Мусафир явился чауш-паша и объявил арест Обрескову и Пинию. По повелению султана они должны были быть немедленно заключены в Едикуле.

Обресков отвечал, что такие поступки Порты суть тяжкое оскорбление России и нарушение международных прав. Помедлив, он спросил, можно ли взять с собой в крепость несколько слуг. Турки разрешили человекуам десяти по выбору Обрескова сопровождать его.

Обресков приказал следовать за собой в Едикуле кроме Пиния драгоманам Круту и Дандрие, Мельникову, Яблонскому и пяти слугам. Остальных, в том числе и студента Лашкарева, отпустил по домам.

Глядя на посланника, все старались вести себя достойно. Только у старика Пиния мелко тряслась голова в собольей драгоманской шапке, да повар Александр, оставлявший жену с малолетней дочерью на руках, засуетился было, да присмирел под строгим взглядом Алексея Михайловича.

Лашкарев, подсаживая Обрескова в седло, о чем-то тихо спросил его. Обресков ответил также шепотом. Лишь те, кто стоял рядом, уловили имя Павла Артемьевича Левашова.

Г л а в а II

БУЮКДЕРЕ

25 сентября 1768 г.

Много-много лет спустя, на склоне дней своих, настоятель по-сольской церкви в Константинополе архимандрит Леонтий, в миру Лука Иванович Яценко, с трудом вспомнит, как начался тот осенний день грозного 1768 года. В медной плошке будет догорать свеча, отбрасывая на стены длинные пугливые тени. На столе — труд

всей жизни, отрада души — воспоминания о четырех десятилетиях скитаний в чужих краях, озаглавленные в подражание сочинению знаменитого «путепроходца» Василия Григоровича-Барского «Младший Григорович».

Печальна будет судьба этой удивительной рукописи. В начале XIX в., уже после смерти Луки Ивановича, пятнадцать объемистых, в полный лист, тетрадей, переплетенных в кожу, будут отправлены из Константинополя в Москву, где и осядут, покрываясь архивной пылью, на полках библиотеки Азиатского департамента министерства иностранных дел. Только через век внимательно прочтет их историк церкви Василий Попов. Прочтет — и ахнет, пораженный необычно широкой для своего времени образованности автора, его пытливому уму, живости малороссийской речи, многообразию подробностей, с которыми запечатлены жизнь и быт русского посольства в Константинополе. Однако и книга Попова, изданная накануне революции, сразу же станет библиографической редкостью.

И еще на три четверти века ознакомительный лист, вклеенный в первый том «Младшего Григоровича», хранящегося на Серпуховке, в Архиве внешней политики России, останется девственно чистым.

К счастью, всего этого не предвидел Лука Иванович, а то, кто знает, хватило ли бы у него сил завершить многолетний труд. Может, он, как и другие подвижники русской истории, задолго до Михаила Булгакова знал, что рукописи не горят?

Как бы то ни было, но первый день войны Лука Иванович восстановил с превеликим трудом. И лишь имя Левашова привело в движение цепную реакцию воспоминаний. Память будет выхватывать из черного небытия все новые и новые подробности того дня. Вспомнился сладкий послеобеденный час, когда Лука Иванович, очнувшись от короткого, но словно обновившего его сна, вышел в сад и истово, от души, как и наставлял его в далекие послушнические годы отец восприемный Феофан Желтковский, помолился за царя и людей, не забыв, впрочем, и себя.

Много раз бросала судьба по свету беглого монаха Полтавского Крестовоздвиженского монастыря, но нигде — ни в иерусалимском храме Гроба Господня, ни на Афонской горе, ни в синайском монастыре св. Екатерины — не испытывал он такой легкости в душе, такого благостного подъема, как здесь, на берегу древней Пропонтиды, в летнем доме советника русского посольства в Константинополе Павла Артемьевича Левашова.

Лука Иванович пользовался гостеприимством Павла Артемьевича уже третью неделю, и эти дни стали одними из счастливейших в его многотрудной жизни. Дом Левашова хотя и стоял на бойком месте, у базара, но был просторен, с множеством комнат. Леонтию и хвостом таскавшемуся за ним и в скитаниях по святым местам, и здесь, в Константинополе, церковному служке Алексашке, нареченному в монашестве Наркиссом, отвели во флигеле чистые, уютные покои с верандой, выходящей в тенистый сад. Столовался Лука Иванович с хозяевами, Наркисса кормили в людской. Денег, по

русскому обычаю, не спрашивали, да если бы и спросили, то толку из этого не вышло бы. Лука Иванович с Наркиссом давно уже сидели без гроша в кармане: жалованье в посольстве платили крайне нерегулярно.

Собственно, это и привело Луку Ивановича в Буюкдере, живописную деревушку на берегу Босфора, в 16 верстах от столицы, куда на летнее время европейские министры выезжали подышать свежим воздухом, спасаясь от нестерпимой константинопольской жары. Если бы не крайняя нужда в деньгах, не рискнул бы Лука Иванович лишиться раз появиться на глаза Обрескову. Посланник в последнее время поглядывал на него искоса, с холодком — вот уже без малого полгода, как отправил он в святейший синод представление о назначении Леонтия капелланом константинопольского посольства, а ответ все не поступал. В душе Алексея Михайловича зародились подозрения...

14 сентября, сразу по окончании воздвиженского поста, который Лука Иванович в память о своем полтавском монастыре соблюдал свято, постучал он в ворота загородной резиденции посланника. Двухэтажный каменный дом с большой верандой и двумя флигелями по бокам стоял в тенистом парке на правом, европейском берегу Босфора.

Разговор предстоял деликатный, и начинать его, по разумению Луки Ивановича, следовало издалека, с подходом. Только осведомившись о здоровье самого Алексея Михайловича, деток, похвалив пространно погоду, принялся Лука Иванович по-полтавски цიცеронить, многозначительно моргая.

— Пришел я, Ваше Превосходительство Алексей Михайлович, искать подмоги духу моему, шатающемуся во все стороны.

Обресков, начинавший уже терять терпение, поднял в недоумении одутловатое лицо.

— Разнеслись по городу недобрые вести, будто султан окончательно решил разорвать мир с Россией.

Посланник, еле сдерживая закипавшее в груди раздражение, — не жаловал Алексей Михайлович паникеров, — оборвал священника на полуслове:

— Не тревожьтесь, батюшка, о том, чего не знаете и не можете по своему положению знать. Пока я здесь, войны не допущу.

Он поднялся с кресла, подошел к французскому окну, из которого открывался красивый вид на обширную бухту со стоящими в ней купеческими кораблями. Затем резко повернулся и, глядя Луке Ивановичу прямо в глаза, сказал насмешливо:

— Если же есть у вас нужда в деньгах, то извольте, я распоряжусь, чтобы дали вам столько, что станет на неделю, а на следующей жду курьера — и выйдет вам всем жалованье.

Слегка опешив от такой проницательности, Лука Иванович счел за лучшее ретироваться под крыло гостеприимного Левашова. Истекли две недели, пошла третья. Денег все не было, а слухи между тем приобретали все более зловещий характер. В конце сентября, как говорил Лука Иванович Левашову, все и в Буюкдере, и в столице, за исключением разве что хладнокровных и безрассудных, трубили о неминуемой между Россией и Турцией войне.

Однако в этот чудный предвечерний час не хотелось думать о суетном. Леонтий поднялся с колен, отряхнул налипшие на рясу травинки и огляделся вокруг.

Солнце клонилось к горизонту, и его косые лучи высветили границы крыш стройных домов, сбегавших уступами по зеленым холмам к густой синеве Босфора. Хрустально-прозрачный, словно переливающийся в такт с колебаниями волн воздух был напоен ароматом лавра, акаций и еще каких-то неизвестных Леонтию южных растений, от которого приятно кружилась голова.

Леонтий повернул навстречу свежему ветру разгоряченное лицо, набрал полной грудью воздух и уткнул в небо рыжеватую нечесаную бороду, намереваясь огласить акафист во здравие царствующей императрицы Екатерины Алексеевны.

Здесь, в Буюкдере, где резиденций европейских министров и богатых купцов оказалось не меньше, чем турецких дворов, можно было отправлять христианское богослужение, не опасаясь гнева басурман. Лука Иванович иногда нарочно, вроде из-за озорства какого норовил начинать службу в тот неуловимый миг, когда последний луч солнца исчезал за горизонтом и из окрестных мечетей раздавались призывы к вечерней молитве. Стройные звуки православного песнопения, перекрывая затейливый напев басурмана, воспаряли над островерхими турецкими минаретами, как крест над полумесяцем на маковках российских церквей. Это был момент сокровенного торжества. Георгий Победоносец попирали серебряным копьем поганого змия.

Наркисс, боявшийся собственной тени, начинал робко теревить Леонтия за рукав рясы и умоляюще морщил белесые бровки. Но тот словно забывал, как два года назад был бит на святой неделе в Иерусалиме нечестивыми, как здесь уже, в Константинополе, чуть не до смерти закидали его турки камнями.

Случилось это 11 мая нынешнего, 1768 года, в день памяти Кирилла и Мефодия, в седьмом часу утра, когда Леонтий заканчивал служить заутреню. Помянув мерным речитативом первоучителей славянских, он поднял голову от раскрытой псалтыри и обвел взглядом немногочисленный причт свой. Четверо рейтар и толмачей, пара лакеев, дворецкий посланника Алексея Михайловича Обрескова Федор да несколько дворовых людей, позевывающих соню, стояли в полутемной в тот ранний час посольской церкви. Из дипломатов был лишь секретарь посольства Степан Матвеевич Мельников, человек тихий и набожный.

Лука Иванович вздохнул и изготовился завершить службу. Набрав полную грудь воздуха, он задержал дыхание и, уловив чутким ухом, что муэдзин на минарете соседней мечети неспешно начал выводить призыв к утренней молитве, грянул натужным дьяконским голосом во всю силу легких:

— Многие лета!

Затрепетали свечи под образами. На тощей шее Луки Ивановича набрякли жилы, кадык судорожно заходил, зарываясь под бороду, в глазах вспыхнул фанатичный блеск.

— Эк насобачился наш батюшка,— толкнул в бок толмача Якова Сенченко кучер Прохор.— Поди, и в серале слышно.

Голос его, превысокий тенор, от чрезмерного напряжения как бы поблек, утратил малороссийскую бархатистость — и вдруг постыдно для бессменного речитатора Полтавского Крестовоздвиженского монастыря сорвался, дав петуха.

Лука Иванович с изумлением почувствовал, что земля под его ногами вздрогнула и заколебалась. Деревянные столпы, подпиравшие церковный свод, заскрипели, лампы под образами начали раскачиваться. Запахло пылью и известкой. Ужас затуманил разум, когтистой лапой вцепился в горло. Вскрипев, Лука Иванович рванул с шеи жесткий воротник золоченой епитрахили и бросился наружу. За ним, толкаясь, повалили прихожане.

Картина, открывшаяся перед ними с вершины холма Пера, на котором стояло посольство, была ужасна. Великий град Константинов, два века томившийся под игом басурман, погибал. Мечети турецкие падали, погребая людей, море без огня кипело, корабли в Золотом Роге разваливались и тонули. Стены глинобитных турецких домов складывались от подземных толчков, как карточные домики, образуя странные фигуры.

Истово перекрестившись на грузный купол Софии, праматери церкви русских, Лука Иванович вскричал:

— Спасение и слава, честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды его!

Душа его ликовала. Перед глазами будто сами собой вспыхнули огненными буквами вещие слова откровения Иоанна: «...и солнце стало мрачным, как власяница, и луна сделалась как кровь; и звезды небесные пали на землю, как смоковницы, потрясаемые сильным ветром, роняют незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись, как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих».

Однако толчки прекратились так же внезапно, как и начались. Пыль осела, и в Луку Иванoviча, застывшего с поднятой рукой в толпе кучеров и прачек, из-за невысокого посольского забора полетели камни и комья грязи. Турки из окрестных домов, наущаемые муэдзином, решили, что духов преисподней вызвал русский священник, и собрались вокруг посольства огромной, глухо ворчащей толпой.

Народ вскоре разогнали янычары, а Лука Иванович, пользуясь поднявшейся суматохой, скрылся в своей каморке и не выходил из нее до конца дня.

Переживал.

Большое константинопольское землетрясение 11 мая 1768 г. турецкий историограф Вассыф сочтет предзнаменованием неудачной для Турции войны с Россией, потрясшей до основания огромную империю Османов.

Знамением беды запечатлется оно в памяти турок.

Знамением грядущих испытаний останется оно в памяти Луки Иванoviча.

Вот и сегодня от одного воспоминания о пережитом конфузе стало неуютно. Лука Иванович откашлялся, набрал в грудь наполненного ароматом лавра теплого воздуха — и...

В ворота, свесившись с седла, бил кулаком всадник в турецком платье. Загнанный конь бил копытом, косил взглядом изпод всклокоченной, мокрой гривы. Всадник поднял лицо, и Леонтий узнал в нем Лашкарева. По измученному, припудренному дорожной пылью лицу его, поросшему густой бородой, струился пот.

— Дома ли господин канцелярии советник? — прохрипел Лашкарев, выговаривая слова с заметным грузинским акцентом.

Леонтий, не в силах преодолеть свои полтавские ухватки, пропел со значением:

— Здравствуйте, уважаемый Сергей Лазаревич.

В глазах Лашкарева сверкнул гнев:

— Не до церемоний сейчас, батюшка. Веди меня к Павлу Артемьевичу. Дело государственное, не терпит отлагательств.

Леонтий подошел к воротам и сказал:

— Нет его, к прусскому посланнику поехал. Да ты проходи в дом.

— Некогда, — махнул рукой Лашкарев и поворотил коня в сторону Терапии, где стоял самый красивый в округе дом, принадлежащий прусскому посланнику Зегеллину.

В душе Леонтия всколыхнулась тревога.

— Постой, сударь мой, погоди немного. Уж не беда ли какая стряслась? — крикнул он в широкую спину Лашкарева.

Студент, придерживая коня, резво взявшего с места, поворотился в седле и, глянув исподлобья, ответил:

— Война, батюшка.

* * *

Советник российского посольства в Константинополе Павел Артемьевич Левашов сидел в гостиной загородной резиденции прусского посланника Зегеллина. По четвергам у Зегеллина собирались альянты — дипломаты союзных дворов Северной Европы.

Только что отобедали, и на низком овальном столике, покрытом как бы светящимся изнутри нежно-бежевым с коричневыми прожилками алебастром, был сервирован к чаю. Лучи заходящего солнца играли в перламутровых изгибах саксонского фарфора.

Левашов сидел между английским послом Мурреем и шведским посланником Зельценом. Муррей весь вечер хранил молчание — его явно стесняло присутствие посла Венецианской республики Розини. Венецианские дипломаты в Константинополе традиционно держались в стороне от интриг французского посла Вержена и австрийского интернунция Броняра, но и противоположная сторона — Муррей, Зегеллин, Обресков — относилась к Розини с изрядной долей настороженности, подозревая его в тайных связях с хитрым Верженом.

Между тем Розини, экспансивный толстяк в цветном полукафтани, безраздельно владел разговором. Пользуясь отсутствием

дам, расположившихся по случаю душного дня на террасе, он уже рассказал несколько рискованных историй о нравах турецких гаремов.

— Вижу, мой друг, вам удалось проникнуть в самые сокровенные тайны сераля,— сказал скрипучим голосом шведский посланник Зельцен.

Все рассмеялись.

— Сейчас это не так сложно, как прежде,— вступил в общую беседу Павел Артемьевич.— У султана Мустафы III только четыре жены, число, предписанное ал-Кораном. Кроме них, как слышно, других наложниц нет. Какие уж тут тайны сераля. Вот у отца его было, говорят, несколько сот жен и наложниц.

Розини, чувствовавший себя в рискованной ситуации как рыба в воде, оживился и закатил масляные глазки:

— И сильны же турки в полях цетерских.

— Думаю, что господин Левашов прав,— прервал его Зегеллин.— Конечно, султанский гарем для нас terra incognita, еще никому из европейцев или... европейек,— помедлив, добавил он,— не удавалось побывать там, но мне кажется, что неограниченная власть, которой до недавнего времени обладали кизляр-ага и черные евнухи, основывалась на упадке нравов в серале, где, как говорят,— я не утверждаю, но слышал неоднократно — процветает разврат, которого не знала Римская империя в эпоху упадка.

— А какая же связь, как вы говорите, между упадком нравов в гареме и ростом влияния евнухов? — недоуменно поднял брови Броняр.

— Самая прямая, мой друг, самая прямая. Кизляр-ага всегда одним словом мог уничтожить любую из жен или наложниц, которым, конечно же, было что скрывать от гнева его султанского величества. И поэтому та из них, которая получала от султана платок любви, беспрекословно выполняла все приказы кизляр-аги и внушала султану то, что он требовал.

— Платок любви? — переспросил Броняр.— Простите меня, но я новичок в Константинополе. Вы не могли бы пояснить, что это такое?

— Если позволите, я могу рассказать об этом любопытном обычае поподробнее,— поклонился Павел Артемьевич Зегеллину.

— Извольте, мой друг, извольте,— отвечал Зегеллин.

— Все паши и другие правители, а также градоначальники и военачальники стараются дарить султану самых лучших девиц, покупая их за великие деньги, с тем чтобы, во-первых, получить через то благоволение от султана, а во-вторых, чтобы иметь себе друзей между теми женщинами, которые при случае в состоянии им помогать.

Как вы знаете, турки по примеру своего пророка Мухаммеда считают, что девушки вступают в брачный возраст с 9 лет, но на практике так редко бывает. Девушки, воспитывающиеся в гареме, проходят целую школу рукоделия: они учатся шить, ткать, а также музыке, танцам и другим подобным упражнениям, возбуждающим любовную страсть.

И вот сказывают, что, когда султан захочет выбрать одну из этих девиц себе в наложницы, он собирает всех своих жен и наложниц в одну палату или в пристойном месте в саду, где они употребляют все свое искусство, чтобы превзойти одна другую приятством. Одни поют, другие танцуют, третьи употребляют разные прелести, которыми возможно было бы пленить султана и овладеть его сердцем. Которая же ему угоднейшей покажется, той он бросает на грудь платок как знак своей любви и благосклонности. Счастливая избранница принимает этот платок с несказанной радостью и, стократно лобзая, прижимает его к своему сердцу. Прочие же девицы подходят к ней и поздравляют с величайшим счастьем.

— Дальнейший ритуал еще любопытнее, — подхватил Розини. — Избранницу отводят в турецкую баню, где ее обмывают и обривают или же известной туркам мазью очищают на ее теле волосы, кроме головы, бровей и ресниц. Затем, одев в богатое платье, препоручают кизляр-аге, который приводит ее в спальню султана и оставляет их наедине. По древнему обычаю, она входит к нему на постель с ног...

— А о том, что происходит потом, знает только пухлый проказник по имени Купидон, — вступил в разговор Зегеллин.

— Возражаю, возражаю, экселенц, — вскричал Розини. — Купидон — бог языческий и в любовные дела наместника Пророка на Земле посвящен быть не может.

Зегеллин невольно улыбнулся, но, посмотрев на постные лица Зельцена и английского посла Муррея, вмиг поскучнел. Строя планы на сегодняшний вечер, он рассчитывал прежде всего на Левашова. Союзники чутьем старых стервятников давно уже чужали, что в воздухе тянет запахом войны, и посматривали на Левашова с затаенным ожиданием. Однако Розини, чужак, лазутчик, а возможно, и шпион, путал все планы.

— Я знаю, что вы приготовили для нас музыкальный сюрприз, — не унимался Розини. — Позвольте перед тем, как мы присоединимся к дамам, рассказать вам историю, не последнюю роль в которой играет музыка.

Не дождавшись ответа Зегеллина, Розини продолжал:

— В прошлом году случилось мне быть на балу, который давал, ну, скажем, голландский посол. Я сидел рядом с одним знатным турком, имени которого не хотел бы открывать по соображениям, которые вскоре станут понятны. Бал открывал менуэт. Мой сосед принялся следить за танцем, который, несомненно, видел впервые, а затем осторожно поинтересовался у меня, кто это танцует. «Это шведский посланник», — отвечал я. «Как, — вскричал турок в изумлении, — министр двора, союзного Великолепной Порте? Это невозможно». — «Уверяю вас, я не ошибся, — отвечал я ему. — Я прекрасно знаком с ним».

При этом Розини самым учтивым образом поклонился в сторону Зельцена.

— Турок посмотрел на меня удивленно и, опустив глаза, погружился в размышления. Он молчал до конца менуэта. Когда же начался следующий танец, он вновь обратился ко мне с тем же са-

мым вопросом. «Это посол Франции». — «Ну уж нет, — отвечал турок, — я знаю, до каких пределов простирается власть голландского посла. Допускаю, что он достаточно богат, чтобы заставить танцевать посланника, но посла Франции, нет, это решительно невозможно».

При этих словах альянты одобрительно зашевелились. Один только Зельцен продолжал сидеть со скучным лицом, вперив отсутствующий взор в неведомые дали.

— Представьте, как удивился бы ваш знакомый турок, — сказал Зегеллин, — если бы ему, как нам с вами, было известно, что по турецкому этикету шведский посланник следует непосредственно за голландским послом.

— И выше всех других посланников, — поддержал Зегеллина Левашов.

Розини оглядел общество маленькими невинными глазками и, обратившись к Зельцену, спросил:

— Надеюсь, вы не принимаете эту маленькую шутку на свой счет? Швед кисло улыбнулся.

Вопросам этикета в XVIII в. придавалось огромное значение. Послы представляли царствующих особ, и поэтому вопросы дипломатического старшинства на официальных церемониях, порядок взаимных визитов и просто места за столом превращались в объект ожесточенных споров. На Вестфальском, Нимвегенском, Рисвигском конгрессах представители европейских дворов пытались договориться о единообразном, приемлемом для всех церемониале, но тщетно. Амбиции Бурбонов, Габсбургов, Стюартов умерить оказалось нелегко.

Английский король Георг III был, например, помешан на морском протоколе. «Британия — владычица морей», — твердили английские послы и требовали для своих судов салютов более почетных, чем те, которыми отвечали они сами. Мария-Терезия, цепляясь за давно ставшие анахронизмом средневековые традиции, согласно которым император Священной Римской империи считался первым среди государей Европы, не признавала альтернат, и австрийские дипломаты пускались в бесконечные дискуссии, настаивая, чтобы ее имя в текстах международных договоров шло первым.

Однако все эти казусы не шли ни в какое сравнение с выходками, которые позволяли себе французские дипломаты. Когда французский посол в Лондоне Шатле грубо оттолкнул русского посла графа Чернышева, чтобы занять за столом более почетное место, герцог Шуазель одобрил его действия, заявив, что предписывает французским послам «повсюду настаивать на первенстве перед русскими, добровольно или насильственно».

От дипломатов не отставали и их слуги. В 1661 г. в Лондоне челядь испанского посла графа де Страды поссорилась с лакеями французского посла графа Ваттевиля. Были пущены в ход шпаги, и несколько французов, испанцев и англичан погибло на месте.

В Константинополе дипломатический этикет имел свои особенности. Первенствующее место по давней традиции занимал посол Франции, еще в 1535 г. заключивший с Портой торговый договор,

по которому французские подданные получили ряд привилегий, так называемые капитуляции. Лишь через 58 лет, в 1593 г., Англия, основная соперница Франции в левантийской торговле, сумела заключить аналогичный договор с турками. С тех пор английский и французский послы вели самую настоящую войну.

В 1652 г. великий визирь Гюрджи Мехмед вызвал одновременно послов Англии и Франции. Английский посол сэр Бэндиш явился первым и не замедлил занять почетное место. Посол Франции де ля Гэ, увидев это, отказался входить в залу Дивана. Однако, когда Бэндиш сделал несколько шагов вперед, чтобы приветствовать великого визиря, де ля Гэ сел на его место, утверждая, что оно принадлежит ему. Бэндиш собрался было это оспаривать, но терпение великого визиря истощилось, и он ударом кулака выставил Бэндиша за дверь, назвав его при этом предателем. Упрек тем более обидный, что Бэндиш был прислан мятежным парламентом, только что казнившим короля Карла I.

В 1768 г. при Порте было аккредитовано одиннадцать дипломатов: послы Франции, Англии, Венеции, Голландии и Австрии, посланники Швеции, Дании и Пруссии, резидент или посол III класса Обресков, консул Рагузы и посланник Королевства обеих Сицилий. Объем привилегий, оказываемых иностранным дипломатам, строго соизмерялся с их рангом.

В первую очередь это касалось таина — так турки называли пособие, которое выплачивалось султаном послу, как только он вступал на турецкую землю. В 1700 г. австрийскому послу графу Эттингену отпускалось ежедневно в течение трех месяцев его пребывания в Константинополе сорок цыплят, три индюшки, десять гусей, тридцать голубей, сто пятьдесят ок лучшей муки, десять ок фруктов, тридцать ок овощей, три быка, теленок, десять баранов, тридцать мер дров, сто десять ок угля, пряности и сто пятьдесят пиастров деньгами.

Со временем размер таина сократился, и преемнику Эттингена, Броняру, стоявшему на последнем, пятом месте среди полномочных послов, приходилось довольствоваться двенадцатью пиастрами в день. Обресков же и вовсе получал пять пиастров.

Таким образом, неосторожная шутка Розини приобрела обидный для Зельцена смысл. Однако швед, к счастью, был тугодум. Пока он размышлял, что ответить обидчику, прусский посланник успел переключить разговор на вопрос, живо интересовавший всех присутствующих.

— Мне кажется, — сказал он, не обращаясь ни к кому в отдельности, — новый великий визирь не намерен строго придерживаться установленного протокола. Господин Обресков был приглашен к нему на аудиенцию вне очереди, ведь, если я не ошибаюсь, его превосходительство интернунций двора Ее Императорского Величества не имел еще возможности поздравить великого визиря со вступлением в должность. Как вы объясните это, господин Левашов?

— Господин Обресков сам просил великого визиря принять его для срочной аудиенции, — спокойно отвечал Павел Артемьевич.

— Аудиенция назначена в Порте или в Диване? — живо вмешался Розини.

«Лазутчик», — подумал Павел Артемьевич, но вслух сказал:

— Насколько мне известно, аудиенция назначена в большой зале Дивана, и господин резидент отправился на нее со всеми обрядами, соблюдаемыми при первом визите к великому визирю.

— Странно, — начал Розини, но тут уж Зегеллин перебил его без церемоний.

— Нет, все-таки, что ни говорите, господа, — заговорил он, постепенно воодушевляясь, — а много в нашей профессии забавного. Возьмите хоть такой случай, мне о нем рассказывал недавно драгоман Порты. Было это, если мне не изменяет память, еще при Августе Великолепном. А как вы знаете, по пышности с его двором не мог сравниться и Версаль. Польский посол Ян Глинский совершал торжественный въезд в Константинополь. Процессия протянулась через весь город. Ее открывали 37 повозок с личным багажом посла, затем ехали 4 великолепные кареты с посольским причтом. 40 посольских дворян в одеждах из розового шелка, шитого серебром, шли за отрядом янычар. За ними вели 28 лошадей в ярко-красных попонах, затем 4 трубача, 12 пажей в шитых золотом одеждах, рыцари и блиставшие серебром и золотом гусары. Сам посол был осыпан бриллиантами. Его окружали 12 гайдуков с султанами из павлиньих перьев на шапках.

Но все это детали. Главное — подковы лошадей Глинского были сделаны из чистого серебра и еле держались на двух гвоздях, чтобы во время шествия могли быть потеряны и подобраны любопытными зрителями, толпившимися на улице. Как и предвидел Глинский, его роскошь была замечена и одна из подков показана великому визирю.

Тут Зегеллин, как умелый рассказчик, сделал паузу и оглядел своих гостей:

— Реакция визиря, однако, была неожиданной. «Этот гяур, — сказал Кара Мустафа, — подковывает своих лошадей серебром, но надо думать, что его собственная голова из свинца, так как посланный государством бедным, он расточает то, что оно может дать ему лишь с большими усилиями».

Рассказ Зегеллина больше всего понравился Розини.

— Серебряные подковы! — хохотал он, всплескивая ручками. — Прелестно!

«Завтра же донесет Верженю, — подумал Павел Артемьевич. — А тот уж найдет так оповестить Александровича, что прусский посланник над спесивостью шляхетской насмехается».

Настроение Павла Артемьевича испортилось окончательно. Курьер, которого Обресков обещал направить в Буюкдере сразу же после окончания аудиенции, задерживался, и это все больше тревожило Левашова. Поэтому, когда Зегеллин, радушно улыбаясь, предложил гостям перейти в музыкальный салон, он первый встал и направился к двери.

Положение Павла Артемьевича при посольстве было двусмысленным и тяжелым для его самолюбия. Направляя его в начале

1765 г. в Константинополь в звании поверенного в делах, Коллегия иностранных дел рассчитывала, что со временем он заменит Обрескова, который давно уже жаловался на плохое состояние здоровья. Для этого, казалось, имелись все основания. Левашов считался опытным дипломатом. К 1768 г. за плечами у него было уже около 18 лет службы в различных европейских странах.

В Коллегию иностранных дел Павел Артемьевич был определен по ходатайству своего дяди, боевого заслуженного генерала Василия Яковлевича Левашова. Старик души не чаял в племяннике. В 1738 г. во время осады Азова он неотлучно находился при генерале. Однако военной жилки у Павла Артемьевича не обнаружилось, и в 1750 г. он был определен для обучения дипломатическим делам в Копенгаген, оттуда переведен в Стокгольм, затем в Дрезден. Молодого дипломата заметили, и вскоре он оказался в Вене кавалером при российском посольстве. К этому времени Левашов уже свободно говорил на нескольких европейских языках, прекрасно писал, но этих качеств вряд ли было бы достаточно для быстрого продвижения по службе, если бы не незримое покровительство дяди, ставшего первоприсутствующим в московской сенатской комиссии.

К несчастью, в 1758 г. Василий Яковлевич скончался, и так удачно начавшаяся карьера Левашова застопорилась. Около шести лет ему пришлось провести в скучном, провинциальном Регенсбурге на заштатной должности представителя при имперском собрании.

Перевод в Константинополь открывал перед Левашовым перспективу стать посланником, поэтому, вручая в феврале 1765 г. верительные грамоты великому визирю Мустафа-паше, он пребывал в самом радужном настроении.

Но надеждам Павла Артемьевича не дано было сбыться. Через месяц, в марте, великий визирь был объявлен «тираном мусульманского народа, разорителем разных провинций, мздоимцем и грабителем», что стоило ему не только должности, но и жизни. Его отрубленная голова долго лежала у входа в Диван в назидание прочим слугам наместника Пророка на Земле.

Преемник Мустафа-паши на первых порах пугался собственной тени. По его приказу драгоман Порты объявил Пинию, что грамоты Левашова были приняты неправильно и поэтому обещанный таин ему выплачиваться не будет. Какая нужда во временном поверенном, пока русский посланник находился в Константинополе?

Обресков счел за лучшее в объяснения пока не пускаться. Отправляясь в начале мая на первую аудиенцию к новому реис-эфенди, Осману, Левашова с собой не взял, объяснив, что он «в здорье имел некоторый припадок».

— Погоди немного, душа моя, — говорил он расстроенному Павлу Артемьевичу. — Время пройдет — и все образуется.

Однако вопреки ожиданиям Алексея Михайловича турки не оставили Левашова в покое. Вскоре Осман возобновил требования о немедленном отзыве Левашова, на этот раз в письменной форме.

Выражаясь современным языком, это означало объявление Левашова персоной нон грата. Донося Панину об этом, Обресков объяснял перемену в настроении Порты интригами французского посла, предполагая, что «наши недоброжелатели нашли способ представить перед султаном в черных красках характер Левашова».

Начались долгие, нудные объяснения. Обресков доказывал, что Левашов был вызван в Константинополь во время «известной всему свету жестокой его болезни для вспомоществования в делах, а не в преемники, как и было указано в кредитивном письме». Он писал даже, что в случае его внезапной кончины дела посольства пришли бы без временного поверенного в упадок, как это уже было в 1748 г. после смерти резидента Вешнякова. Тогда до приезда Неплюева российские интересы в Константинополе представлял австрийский интернунций.

Турки, однако, уступать не хотели. В конце июня Алексей Михайлович был предупрежден, что табурет для Левашова на аудиенции в Порте ставить не будут. Сообщая об этом Панину, Обресков вновь сетовал на интриги французов.

Впрочем, как обстояло все на самом деле, сказать трудно. Болезнь Обрескова была застарелой, но, очевидно, неопасной — он страдал перемежающейся лихорадкой, осложненной подагрой. Всю осень и зиму 1764 г. он чувствовал себя плохо, но с приездом Левашова Алексей Михайлович, прежде настойчиво добивавшийся разрешения вернуться на родину, внезапно почувствовал, что в здоровье его произошло улучшение.

В Петербурге этому обрадовались. В трудные времена, наступившие после осложнения польских дел, Панину необходимо было держать в Константинополе проверенного человека. По его представлению Обрескову был пожалован ранг тайного советника. Алексей Михайлович, сразу почувствовавший себя лучше, принялся хлопотать о придании ему посланнического характера, т. е. о переводе его в послы II класса.

Левашов занервничал и имел неосторожность отправить пространную докладную на имя давнего своего покровителя вице-канцлера Александра Михайловича Голицына, в которой намекал, что Обресков не способен к отправлению службы. Докладная смахивала на донос. С несколько лицемерным сожалением Павел Артемьевич вспоминал, как Обресков разлил кофе на аудиенции у реис-эфенди (дрожали руки), раскрыл туркам имя давнего конфидента (отправляясь на тайную встречу с ним, потребовал, чтобы к пристани была подана лошадь), да мало ли что еще он вспоминал.

Каким-то образом Обрескову стало известно о письме Левашова к Голицыну, и он в долгу не остался. Сообщая Панину о своем выздоровлении, он вложил в тот же конверт маленькую, в четвертинку листа веленовой бумаги, записку. На ней корявым почерком было нацарапано, что он (фамилия не называлась, но ясно, что речь шла о Левашове) — «человек тихий, пречестный, добронравный, но в обращении с Портой не горазд»; не учитывает «варварского

высокомерия турок, то и дело грозит репрессалиями, так дружбу на прочном фундаменте не построишь».

Одним словом, поссорились Алексей Михайлович с Павлом Артемьевичем.

Внешне, впрочем, все обстояло благополучно: когда осенью 1765 г. в доме Левашова умер от морового поветрия служитель, Обресков взял Левашова жить к себе в резиденцию на все время карантина.

Интрига, начавшаяся в Константинополе, «аукнулась» в Петербурге. Обресков был человеком Панина, а Левашов — креатурой вице-канцлера Голицына.

Приходилось мне держать в руках и записочку Обрескова, и письмо Левашова; думаю, что «походили» они в сферах немало.

Голова у Алексея Михайловича, слов нет, была светлая, но вот грамотности, как и многим его современникам, ему не хватало. Бумага же в том роде, что Алексей Михайлович сочинил на Павла Артемьевича, была по нужде писана им собственной рукой. И надо же такому случиться, что слово «добронравный» его угораздило написать на старомосковский барский манер — «доброндравный». В Петербурге же тот, кто читал записку Алексея Михайловича, был, должно быть, изрядно раздражен: лишнее «д» хлестко перчеркнуто, а на полях оставлена помета двойной чертой. Кто мог заметить эту ошибку? Граф Никита Иванович? Вряд ли. Голицын? Сама августейшая руководительница российской внешней политики? Но она тоже не сильна была в российской грамматике. Однако правка сделана разлапистым пером, которым обычно пользовалась Екатерина.

Как бы то ни было, Петербург уперся и ни в какую не соглашался отозвать Левашова из Константинополя. Екатерина, сама занимавшаяся этим делом, категорически отказалась тайно передать туркам отзывные грамоты Левашова. На письме Обрескова к Панину от 12 декабря 1765 г. собственноручно начертала резолюцию: «S'ils craignent de se brouiller avec nous, ils cesseront leur demande, s'ils ont pris cela comme une прицепка, il ne nous aidera pas; ainsi mon avis est de ne point faire la honteuse action d'envoyer cette lettre de recréance pour être rendu en secret, ce n'en serait pas et on se moquerait de nous»*.

Панин предложил соломоново решение: оставить Левашова в Константинополе, но на официальные трактования с турками не посылать.

На том и порешили. Для турок Левашов как официальное лицо российского посольства вроде бы не существовал. Положенного временному поверенному тайна ему не платили, но на званых вечерах у европейских послов Павел Артемьевич появлялся, обзавелся нуж-

* «Если они опасаются разрыва с нами, они сами откажутся от своих требований; если для них это только прицепка — ничего нам не поможет; поэтому я решительно против этого постыдного шага — секретного направления отзывных грамот, — в секрете этого не сохранишь, а над нами будут смеяться» (франц.).

ными знакомствами и регулярно направлял в Петербург толковые депеши с анализом турецкой политики.

Шли месяцы, годы, но Павел Артемьевич никак не мог свыкнуться со своим двусмысленным положением. Поэтому затеянный Зегеллином разговор о сегодняшней аудиенции у великого визиря был ему крайне неприятен.

Квартет Генделя, который исполняла заезжая труппа дрезденских музыкантов, Павел Артемьевич слушал невнимательно. Впрочем, наслаждаться музыкой ему пришлось недолго. Явился лакей Зегеллина и, склонившись над креслом Левашова, прошептал, что в передней советника ожидает по срочному делу господин Лашкарев.

Так закончилась мирная жизнь для Павла Артемьевича Левашова — дипломата и будущего русского литератора.

Через три дня по белградской дороге из Константинополя выехали два всадника, одетые в прусское платье. В одном из них можно было узнать прапорщика Ивана Шафирова. В его дорожной сумке лежали паспорт, выписанный Зегеллином, и шифрованное донесение Левашова о событиях, происшедших в Константинополе.

Г л а в а III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Октябрь — ноябрь 1768 г.

Долог путь от Константинополя до Петербурга. По печальным холмам Румейлии, мимо теряющих листву яблоневых садов Молдавии, через поля и перелески Подолии и Украйны скачут курьеры, загоняя коней. На груди под запахнутым кафтаном — дорожная сумка с запечатанными сургучом конвертами. Спят вполглаза, палец на курке, а чуть забрезжит в слюдяном окошке придорожного трактира желтый свет — снова в путь. Объезжают карантинны, хоронятся турецких начальников, уходят от разъездов конфедератов.

Скачут курьеры — вестники беды. Мчатся сквозь время — из пыльного турецкого лета в слякотную украинскую осень, в морозную русскую зиму. Скачут — и под дробный перестук копыт истекают, уходят последние дни призрачного мира, зыбкой тишины, обманчивого спокойствия.

Полтора месяца кружными, путаными путями шли в Петербург депеши, пущенные Павлом Артемьевичем, — и полтора месяца Россия еще не знала, что скоро снова заскрипят по ее необъятным степям рекрутские обозы, ударят пушки и потянет из-за Украйны сизым, прогорклым дымом.

Но беды ждали. С осени начались толки о предстоящем прохождении Венеры между Солнцем и Землей. Академик Паллас выехал наблюдать затмение Солнца в Сибирь.

Гвардейский офицер Афанасьев говорил, глядя в ночное небо:
— Вот как Венера-то пройдет, так что-нибудь Бог и сделает.
Венера, она ведь даром не проходит.

А пока жизнь катилась по заведенному испокон веков порядку.
Для крестьянина осень — желанная пора. Сжат и обмолочен хлеб, запасены дрова на зиму — и гудят по деревням и селам свадьбы. Забывается крестьянин в хмельном угаре после непосильного труда.

Глухое, унылое время года осень. Казанский губернатор доносит об усилившихся в Симбирском уезде разбое и смертоубийствах. Волнуются заводские на горных заводах графа Ивана Чернышева, заводчика Походяшина и покойного канцлера Воронцова. Второй год генерал-прокурор Вяземский разбирается с рукоприкладством на демидовских заводах. Московский главнокомандующий граф Салтыков пишет императрице, что в Москве и около нее воровство и разбой сильно умножились.

В воскресенье, 18 октября, на Красной площади толпился народ. Глазели на прикованную цепями к позорному столбу Дарью Николаеву, дочь Салтыкова, людей мучительницу. 132 человека крепостных извела страшная Салтычиха. Час стояла она на эшафоте, простоволосая, в одной рубахе, а в глазах все горела неуголимая злоба. Потом увезли проклятую в Ивановский монастырь, посадили в подземную камору на хлеб и воду.

Ливенский помещик поручик Мишков зверствовал не меньше, чем Салтычиха. Он собственноручно выколол сапожным шилом глаза однодворцу Писареву, который и умер через это спустя девять дней. Доведенные до отчаяния крепостные крестьяне отставного поручика Шеншина нагрянули ночью к нему в усадьбу. Шеншина, его жену и ненавистного старосту убили, а поместье сожгли.

В 1762 г., по данным третьей ревизии населения, крепостных в Великороссии и Сибири было 3 786 770 душ мужского пола, т. е. больше половины всего числа крестьян. А крестьян в России — трое из каждых четырех жителей.

Империя рабов.

Клещом впивалось в крестьянина освобожденное Петром III от тягот государственной службы дворянство. Непосильный оброк разорял целые деревни. Крестьяне тысячами уходили в Польшу, за Урал, но и там не было покоя.

Встрепенувшееся за шесть мирных лет купечество, зажиточные казаки требовали себе равного с дворянами права владеть крепостными.

Наиболее дальновидные из помещиков начинали обзаводиться культурным хозяйством. Серпуховской землевладелец Андрей Болотов, вернувшись из Восточной Пруссии, куда занесли его злые ветры Семилетней войны, поставил хозяйство на твердую ногу немецкой экономии. Его идеал — просвещенный помещик и прикрепленный к земле трудолюбивый крестьянин — был в духе времени. Только что начавшее действовать Вольное экономическое общество отметило его труды медалью.

Общество, заседавшее под председательством графа Григория Григорьевича Орлова, корень российских бед видело в обширности территории и скудости народонаселения.

Екатерина II была того же мнения, и вот из Пруссии на Волгу, под Саратов, потянулись немецкие колонисты. На их расселение было ассигновано девять миллионов рублей — треть годового дохода страны. Мыслилось, что немцы должны научить мужика хозяйствовать культурно, по-европейски.

Новгородский губернатор Сиверс уже выписал из Ирландии партию экзотического овоща — земляных яблок, или картофеля, не зная еще, что на нем долгие годы будет стоять крестьянское хозяйство.

Заканчивалось генеральное межевание. Управляющие имениями из мелкопоместных находили дорогу к приказным крючкам, красивному семени — и выходили в люди. Родовитые потихоньку вырождались.

И вновь распадалась связь времен.

Появились крепостные купцы, которые были не беднее своих господ; отпрыски аристократических фамилий начинали заниматься презренным ранее сочинительством; ярославское и костромское купечество впервые узнало смысл слова «депутат».

В Кремле проходили последние заседания Комиссии по выработке проекта нового уложения. Желтые лики святых с древних сводов Грановитой палаты удивленно следили за тем, что впоследствии А. С. Пушкин назовет «отвратительной фарсой».

Говорить пока не умели. «Мнения» читали по бумажке. В каждом не менее дюжины ссылок на «Наказ», в котором матушка Екатерина Алексеевна, как она потом полукокетливо, полугорделиво признавалась, «обобрала» Монтескье и аббата Беккариа.

Во Франции «Наказ» был сочтен опасным вольнодумством и запрещен.

В 653 параграфах «Наказа» — ответы на все вопросы, кроме одного: «Что делать с позорным крепостным правом?»

Журнал дебатов в комиссии держал поручик Николай Иванович Новиков.

Начиналась эпоха русского просвещения. В октябре «Санкт-Петербургские ведомости» — невзрачная на нынешний взгляд газета в осьмушку печатного листа — сообщали, что в книжной лавке Петербургской академии наук продается «Российская история с самых древнейших времен», сочинение астраханского губернатора, тайного советника Василия Никитича Татищева (часть 1, цена 1 руб. 65 коп.), а также новонапечатанные «Приключения Жил Блаза» (4 тома, 3 руб. 20 коп.), вторая часть «Приключений Робинзона Крузо».

Механик Кулибин в академической мастерской изобретал однопролетный мост через Неву. Для души. От него требовали только шутихи для фейерверков.

На берег Невы, к недавно заложенному каменному Исаакиевскому собору, на хитро придуманных салазках привезли огромный Гром-камень, который скульптор Фальконе избрал постаментом для своего памятника Петру Великому.

Денис Иванович Фонвизин заканчивал «Бригадира». Скоро он прочтет пьесу во дворце и тем нарушит тяжелую монотонность балов, молебнов и карточной игры.

Дворец — вершина громадной пирамиды, непомерно маленькая яркая точка на ее погруженном во тьму девятнадцатимиллионном теле.

Россия жадно доживала оставленные ей полтора мирных месяца — во дворце пресыщенно и равнодушно убивали время.

20 сентября праздновали день рождения наследника престола — Его Императорского Высочества великого князя Павла Петровича.

Через день, 22 сентября, по всей стране звонили в колокола в честь шестой годовщины высочайшего коронования императрицы Екатерины Алексеевны. По учиненным от двора специальным повесткам особы первого и второго класса (дамы в робах, кавалеры в орденских уборах) явились в парадные покои Зимнего дворца к одиннадцати часам утра, а министры иностранные — к двенадцати поздравлять Ее Императорское Величество с восшествием на престол.

Вечером столица украсилась фейерверком. Во многих домах окна были иллюминированы.

6 октября, в понедельник, во дворце был дан бал. После бала, как записал дежурный камер-курьер Герасим Журавлев, Ее Императорское Величество «изволила проходить в комнаты Григория Григорьевича Орлова и для дня рождения его сиятельства изволила там остаться при столе вечернего кушанья, и к тому столу приглашены были фрейлины и кавалеры, и изволили кушать в 31 персоне; заседание было по билетам. По окончании стола Ее Величество изволила возвратиться в апартаменты свои».

Ежемесячно давались маскарады для дворянства и купечества (дворяне пропускались во внутренние покои, купцы с женами и дочерьми старше 13 лет — только на галерею).

В остальные вечера в Зимнем играли в карты: в вист, рокамболь или бостон по полуимпериалу за фишку. Для игры собирались в бильярдной, в малой и в большой приемных. Играли и в Бриллиантовом зале, но редко: нелегко было протопить его так, чтобы ушла осенняя промозглая сырость.

Весь дворец был заставлен ломберными столиками под зеленым сукном.

На игру собирались свои. Чаще других приглашали фельдмаршала Кирилла Григорьевича Разумовского, вице-канцлера князя Александра Михайловича Голицына, генерал-прокурора Александра Алексеевича Вяземского.

Екатерина играла расчетливо, без азарта, несмотря на то что ставки были мизерные. Граф Александр Сергеевич Строганов, тоже постоянный партнер, проигрывая, горячился, кричал, что беден. Конечно, даже строгановские миллионы можно пустить по ветру, если без конца разводиться, вот жены все и растащили. Екатерина истерику строгановскую терпела, только губы скорбно поджимала, крест несла.

На обитых штофом стенах пришпилены записочки, запрещающие вставать перед Ее Императорским Величеством, даже если она изволит стоять.

Воскресный день 12 октября начался как обычно. В придворной церкви служили заутреню. Литургию отправлял протоиерей Дубинский, духовник императрицы. Екатерина и великий князь слушали службу из столовой — недавно отстроенный Растрелли дворец еще обживали, в церкви дуло. После того как новоположенный митрополит Варлаам произнес приличную речь, протодьякон Михаил Алексеев возгласил здравицу. Бас у Алексеева был знаменит. В соседнем Эрмитаже приставленный к антикам титулярный советник Попов вздрогнул. Когда Алексеев умолк, все присутствовавшие в церкви были пожалованы к руке.

После службы Екатерина удалилась на свою половину. Из кавалеров последовали с ней лишь ближайшие — фельдмаршал Разумовский, барон Салдерн, президент Медицинской коллегии барон Черкасов и Никита Иванович Панин.

В 10 часов в малой уборной доктор Димсдейл, специально выписанный для этой цели из Англии, привил императрице оспу.

Деяние историческое.

Звон об этом был поднят на всю Европу. Все российские послы за границей были извещены о благополучном исходе оспопрививания циркулярным рескриптом, иностранные корреспонденты императрицы — партикулярными письмами. Фридрих по своему обыкновению ломал комедию, восхищаясь и упрекая одновременно, Вольтер вдохновенно льстил, мадам Бьельке без умолку щебетала.

Между тем оспа была страшным бичом, опустошавшим целые города в Европе и Азии. Она оставляла свой черный след и в хижинах бедняков, и во дворцах. Трое детей императрицы Марии-Терезии умерли от оспы.

Долгое время против оспы не знали никаких средств. Поэтому, когда английские врачи начали в профилактических целях прививать «оспенную материю», на это нововведение смотрели скептически. После того как в июле 1768 г. доктор Эдиш привил оспу 38 воспитанницам московского странноприимного дома, на медицинской кафедре Московского университета это сочли безумием. Тем не менее эксперимент оказался удачным, и из Англии был выписан опытный доктор Димсдейл.

Убедившись, что бедные девушки живы, Екатерина с царственной простотой подставила руку под ланцет врача, а на следующий день с утра по первому снегу, выпавшему в этом году уже в начале октября, отправилась в Царское Село. По дороге завернули на Гатчинскую мызу, в имение графа Григория Григорьевича Орлова. День стоял ясный, морозный. Екатерина была в добром расположении духа и весело смеялась над тем, как ловко провела Орлова, второй день пропадавшего на любимой своей заячьей охоте.

Первые пять дней императрица чувствовала себя хорошо. 18-го к вечеру почувствовала легкий жар. Появилась небольшая сыпь, но преимущественно на руках. А через три дня и она исчезла. Стало ясно, что эксперимент удался.

Было решено немедленно привить оспу и Павлу, но у него началась легкая простуда, и прививку пришлось отложить.

Появилась мода на оспопрививание. Первыми сделали себе прививки Кирилл Григорьевич Разумовский и Григорий Григорьевич Орлов. Когда Димсдейл удалился, Орлов потребовал медвежью доху и, несмотря на пургу, отправился на охоту.

О тревожных вестях из Константинополя императрице пока не сказали: доктор Димсдейл запретил ей в течение трех недель заниматься делами.

* * *

Первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел Никита Иванович Панин получил известие об аресте Обрескова утром 29 октября. Первым сообщил об этом князь Дмитрий Михайлович Голицын, посол в Вене. Пробежав глазами депешу Голицына, Никита Иванович приподнял брови и сказал:

— Однако...

Такой разворот событий для него был неожиданным. К вечеру пришло подтверждение из Варшавы от Николая Васильевича Репнина. Переводчику региментаря графа Браницкого о том же самом поведал турецкий начальник.

Арест Обрескова означал войну. Это у Никиты Ивановича сомнений не вызывало.

Почти не вызывало.

В глубине души еще теплилась слабая надежда... На что? На добрые услуги альянтов — прусского и английского дворов — в освобождении Обрескова? Но императрица, конечно же, не пойдет на это. К одному унижению добавить другое. Да и турки хороши. Арестовать посла — что за варварство, право?!

Так размышлял Никита Иванович, меряя шагами свой обширный кабинет, располагавшийся в том крыле Зимнего дворца, где находились покои великого князя. Росту Никита Иванович был гренадерского, комплекции апоплексической, но при всем том сохранял вальяжность старого куртизана (полжизни — четверть века! — при дворе). Благоухал парижской парфюмерией, поблескивал голландскими бриллиантами, из-под желтых обшлагов голубого обер-гофмейстерского кафтана — белая пена брюссельских кружев.

Чтобы представить всю глубину охватившего его волнения, упомянем, что по натуре Никита Иванович был медлителен до чрезвычайности, чтобы не сказать ленив. Английский посланник Гаррис, которому явно нельзя отказать в проницательности, дал ему краткую, но точную характеристику: «Добрая натура, огромное тщеславие и необыкновенная неподвижность».

Сегодня Гаррис не узнал бы Панина.

В крайнем раздражении он подскочил к двери, из-за которой доносился скрипучий голос учителя великого князя немца Тимофея Ивановича Остервальда — у Павла шел урок русского языка, — и захлопнул ее.

Вмиг наступила тишина. Обретя способность мыслить логически, Никита Иванович — в который раз! — упрекнул себя в излишней податливости, с которой отнесся к требованию Репнина вести в Константинополе твердую линию. Прямолинейен князь Николай Васильевич, он и в Варшаве крутехонько берет, даже Чарторыйские начали жаловаться, просят отозвать.

Но что сделано — того уж не воротишь. Надо немедленно наметить план действий.

Задача первая, наиважнейшая — сообщить полученные известия императрице. Послать нарочного в Царское? Но там Орлов, он только и ждет повода, чтобы сделать каверзу. Здоровается сквозь зубы, на куртагах в Эрмитаже нос воротит, польские дела ему, видите ли, не по нраву. Трутень. Поехать самому? Никита Иванович совсем было решил так и поступить, но, поразмыслив, решил не торопиться, благо предлог для этого имелся более чем основательный: трепетная забота о здоровье Ее Императорского Величества, тем более что, как было известно Никите Ивановичу, через два дня, в субботу, Екатерина и сама собиралась пожаловать в столицу. Там, глядишь, и из Константинополя курьеры подоспеют, выяснятся подробности, тогда и докладывать будет сподручней.

Подумав так, Никита Иванович немного воспрял духом и принялся обдумывать ситуацию так, как любил — обстоятельно, со вкусом.

Военная сторона дела его беспокоила мало. Еще в середине октября командующий войсками, расквартированными в Малороссии, Петр Александрович Румянцев — умница и стратег — привел войска на границах с Турцией и Польшей в состояние повышенной готовности. Десять пехотных, четыре карабинерских и два гусарских полка были выдвинуты по Днепру и по линии. На первый случай достаточно, да и Обресков доносил, что раньше весны турки в поход выступить не смогут.

Тем не менее Никита Иванович распорядился безотлагательно, с нарочным, отправить записку Захару Григорьевичу Чернышеву, вице-президенту Военной коллегии. От мелькнувшей было у него мысли написать прямо Румянцеву он, поразмыслив, отказался. Захар Григорьевич обидчив, мнителен, обходить его никак нельзя.

Однако несравненно больше, чем конъюнктуры в военном ведомстве, заботило Никиту Ивановича другое.

В войну Россия вступала без союзников.

Неужели Северный аккорд, любимое детище, которое он пестовал столько лет, не выдержит предстоящего испытания, даст трещину? А то и совсем развалится? То-то будет радости Орловым и их прихлебателям.

Никита Иванович поудобней устроился в кресле и задумался. Как возник он, этот Северный аккорд? Беседы ли с Бестужевым, первым учителем на поприще дипломатии, тогда, еще до опалы, донесения ли барона Корфа из Копенгагена, которому англичане методично внушали, что фундаментом европейского мира должен стать союз держав севера Европы против бурбонского дома? Желчные ли рассказы брата Петра Ивановича, сетовавшего на коварство

союзников по Семилетней войне — Австрии и Франции — с их мелочными интригами и плохо замаскированным стремлением остановить солдат Фридриха в Силезии и Померании русским штыком? Польские ли дела, в которых Франция и Австрия выступали уже открыто враждебных России позиций?

Впрочем, Никита Иванович по опыту знал, что пытаться восстановить причудливые взаимодействия причин и обстоятельств, в которых рождалась политика, — дело бесплодное. Ясно одно: главная цель Северного аккорда состояла в том, чтобы — Никита Иванович неожиданно поймал себя на том, что произнес эти слова вслух, — «поставить Россию способом общего Северного союза на такую ступень, чтобы она как в общих делах знатную часть руководства имела, так особенно в севере тишину и покой ненарушенный сохранять могла».

Никита Иванович усмехнулся, вспомнив, сколько раз правилось это место из его письма к барону Корфу в Копенгаген. Собственно, с этого и началась работа по созданию Северного аккорда. В дипломатических гостиных европейских столиц разом, словно приведенные в действие неким невидимым сигналом, зажужжали веретена неспешных конверсаций. Мыслилось, что в окончательном своем виде Северный аккорд будет союзом, объединяющим Россию, Пруссию, Англию, Швецию, Данию, Саксонию и Польшу против католических государств юга Европы — Франции, Австрии и Испании.

Однако сейчас, на пороге войны, было особенно отчетливо видно, как мало удалось сделать. Союзнические договоры Россия имела лишь с Пруссией и Данией. С Англией с 1763 г. тянулись переговоры о возобновлении трактата о союзе, срок действия которого истек еще в 1759 г. Переговоры шли туго. Сент-джемский двор пытался заручиться поддержкой со стороны России против традиционного соперника Англии — Франции, но брать на себя обязательство помогать России в случае ее войны с Турцией отказывался.

Впрочем, не все складывалось так уж плохо. Главный противник в польских и турецких делах — Франция была ослаблена серией непрерывных войн первой половины века и прямо ввязываться в конфликт с Россией, надо думать, поостережется. Нелегкие времена переживала и империя Марии-Терезии, с трудом справившаяся с династическими неурядицами.

Кроме того, в последнее время в неспешном ходе русско-английских переговоров наметились кое-какие изменения. Чело Никиты Ивановича прояснилось. Он потянулся к колокольчику, стоявшему на краю стола. Появившемуся на его нежный звон лакею было приказано позвать секретаря Бакунина.

Петр Васильевич возник в кабинете мгновенно, будто стоял за дверью. Неизменный серый бархатный кафтан, прусский парик с буклями, уголки рта выжидательно приподняты вверх, в умных серых глазах внимание.

Никита Иванович с удовольствием окинул взором фигуру своего любимца, застывшего в приличествовавшей моменту позе. Петр Васильевич Бакунин был доверенным лицом и правой рукой графа

Панина. Сардинский посол де Парелло сообщал в Неаполь, что Бакунин обязан своим положением искусству в письменном изложении дел. Опытный дипломат не ошибался, Панин знал, что никто из его помощников не может так быстро, как Бакунин, схватить самую суть вопроса и замечательно изложить его на бумаге.

— Отправлены ли депеши графу Чернышеву? — спросил Панин.

— Вчера курьеры отбыли в Берлин, Ваше Сиятельство, — отвечал Петр Васильевич с вежливым полупоклоном.

Никита Иванович показал Бакунину на стул.

Иван Григорьевич Чернышев, средний из братьев Чернышевых, был назначен полномочным послом в Лондон еще зимой. Англичане, желавшие развивать торговлю с Россией, сами предложили поднять дипломатические представительства в обеих столицах до уровня послов. В июне Чернышев, дождавшись приезда в Петербург английского посла, тронулся с божьей помощью в неблизкий путь. Ехал, как и приличествовало персоне его ранга, неспешно и к концу октября добрался только до Берлина. Туда и направил ему Панин новые инструкции, связанные с важным поворотом, наметившимся в то время в российской внешней политике. Чернышеву предписывалось не настаивать более на включении турецкого вопроса в союзный трактат, но взамен добиваться поддержки Англией русской политики в шведских делах.

В сохранении в Швеции конституционной монархии видели в Петербурге лучшую гарантию нейтрализации этого традиционно сильного соперника. Но стоило ли исключать Англию из турецких дел?

Над этим вопросом и размышлял Никита Иванович, пока Бакунин устраивался у краешка стола.

— Пошлите сказать Кеткарту, что я хотел бы видеть его сегодня.

— Спешно?

— Дело может подождать до вечера. Я хочу просить его писать в Константинополь, чтобы Муррей оказал в случае надобности Алексею Михайловичу финансовую помощь. Боюсь, не арестовали наш курьер, пущенный 30 августа, с ним, помнится, переданы чеки. Позаботьтесь, Петр Васильевич, известить Маруцци о том, что мы их аннулируем.

Бакунин понимающе кивнул головой. Английский посол Кеткарт находился в Петербурге всего четыре месяца. Говоря о «Северной Семирамиде», он с хрустом заламывал сухие породистые пальцы и начинал декламировать Вергилия.

— Вчера Сольмс все выпытывал, отчего это в последнее время в Петербург зачастили английские курьеры, — сказал Бакунин.

Никита Иванович поднял округлые брови:

— Вы виделись с Сольмсом?

— Сразу же после окончания вашей конверсации.

Панин припомнил, как накануне прусский посол два часа мучил его с «ученой диссертацией» Фридриха о правах цвейбрюккенского дома на наследие баварского курфюршества, и поморщился.

Между Берлином и Веной, надеявшейся завладеть Баварией или Верхним Палатинатом, начиналась очередная свара.

Никите Ивановичу вовсе не хотелось вмешиваться в нее. Ответ его был неопределенен, но в высшей степени учтив. Недаром иностранные дипломаты при русском дворе говорили, что в словаре графа Панина отсутствует слово «нет». Даже реприманд он умел облечь в столь любезную форму, что собеседник, только выйдя из кабинета Никиты Ивановича, понимал, что его действиями недовольны.

До смешного педантичный Сольмс от напряжения даже пошевеливал кончиками ушей, пытаясь дословно запомнить ответ Панина. Никите Ивановичу сделалось скучно, и он не отказал себе в удовольствии поразвлечься. Потребовал письменный текст прусской позиции. Для изучения. Сольмс заюлил и принялся засовывать читанный им меморандум за обшлаг рукава. Обещал прислать копию на следующий день. Никита Иванович только усмехался про себя: «Осторожный, каналья, перепишет, чтобы, не дай Бог, не узнали тайны шифра».

И тем не менее Сольмса следовало немедленно включить в игру. В том, что известие о предстоящей войне для Фридриха будет неприятно, Никита Иванович был уверен. Прусский король вечно жаловался на нехватку денег, а по заключенному недавно русско-прусскому союзному договору ему придется выплачивать ежегодно 400 тысяч рублей субсидий России на ведение военных действий. Стало быть, уговаривать его выступить в роли медиатора не придется. Впрочем, торопиться не следовало. В делах прусских решающее слово принадлежало Екатерине.

Размышления Панина прервал вкрадчивый голос Бакунина:

— Вчера вечером из Берлина прибыл камергер Воронцов с посланием короля Ее Императорскому Величеству. Он просил меня выяснить у Вашего Сиятельства, следует ли ему немедленно отправляться в Царское Село или можно обождать до субботы.

— Пусть здесь ждет. И о более важных делах не докладываем. Димсдейл определил карантин в три недели. Извольте сами помнить и другим внушайте... Нет, это же абсурд, рваться в Царское при нынешних обстоятельствах, — Никита Иванович долго еще жужжал про подвиг неизреченного материнского милосердия, жертву искупительную, а сам на Бакунина глазом косил, понял ли, что сегодня уже во дворце должны про радение его о монаршем здоровье знать.

Наконец убедился — понял.

Враз помягчел лицом, улыбнулся по-доброму и принялся читать бумаги, принесенные Бакуниным.

* * *

Поиск европейского равновесия был *idée fixe** дипломатов XVIII в. Достаточно лишь бегло взглянуть на карту Европы, чтобы

* «Навязчивая идея» (франц.).

понять, почему крупнейшие умы столетия задумывались над тем, как обрести желанный баланс.

Карта Европы пестрела разноцветными заплатами, как лоскутное одеяло. Немецких государств, занимавших ее северную часть, имелось, как говорили тогда, больше, чем дней в году. Италии еще не было. Королевство обеих Сицилий, Сардиния, герцогство Тосканское соседствовали с томившимися вот уже четвертый век под османским господством Грецией, Балканскими государствами, Дунайскими княжествами.

Огромной кляксой растеклась по центру Европы империя Габсбургов, поглотившая Венгрию и Богемию, Словакию.

На протяжении всего столетия Европу сотрясали кровопролитные войны. Когда рассеивался дым сражений, выяснялось, что владения Бурбонов, Габсбургов, Гогенцоллернов приобретали новые очертания.

Век начался войной за испанское наследство. Пока Бурбоны и Габсбурги вели в Италии, Испании, Нидерландах и прирейнской Германии ожесточенную борьбу за богатейшее наследство умершего в 1700 г. Карла II Испанского, британский лев под шумок наложил лапу на Гибралтар и подчинил Португалию своему экономическому влиянию. Французские колонии в Америке захватывались бостонскими и нью-йоркскими колонистами.

Мир, подписанный в феврале 1712 г. в Утрехте, привел к новому переделу Европы. Бурбоны остались в Испании, но за это уступили Габсбургам Неаполитанское королевство, Сардинию, часть Тосканы, Миланское герцогство и испанские Нидерланды, курфюрсту Бранденбургскому — испанский Гельдерн, герцогу Савойскому — Сицилию, Англии — важный опорный пункт в Средиземноморье — Порт-Магон на острове Минорка.

Однако пушки не замолкали. Войны за польское (1733—1735) и австрийское (1740—1748) наследство, Семилетняя война (1756—1763) вновь изменили контуры Европы.

На карте континента появилась новая великая держава — Пруссия, еще вчера бывшая третьестепенным немецким княжеством. Поглотив Силезию и Бранденбург, Гогенцоллерны, наследники Тевтонского ордена, хищно посматривали в сторону Польши, ослабленной вековой смутой. Фридриха останавливало только одно: по другую сторону Польши стояла Россия, чей престиж неизмеримо возрос благодаря славным победам русского оружия в Семилетней войне.

Со времен Петра Великого краеугольным камнем русской политики считался союз с Австрией. Именно в нем Петр видел залог успешной борьбы с Турцией за осуществление важнейшей национальной задачи — выхода на побережье Черного моря и обеспечения свободы торгового мореплавания в нем. Держаться этого союза побуждали и польские дела. Однако Австрия была союзником ненадежным. Во время турецкой войны 1736—1739 гг. австрийцы самым коварным образом, не известив русский двор, заключили с Портой сепаратный мир, поставивший Россию в исключительно тяжелое положение.

Это привело к значительному охлаждению русско-австрийских отношений. С недоброй памяти правления Анны Иоанновны при дворе шла ожесточенная борьба двух партий — прусской, во главе которой стоял Миних, и сторонников австрийского союза, возглавлявшихся Остерманом.

Убежденным сторонником союза с Австрией был Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, «Нестор русских дипломатов», как называл его С. М. Соловьев. Он считал свою систему «древнероссийской и толи паче государя Петра Великого системой». Лучше других современных ему политиков понимал он опасность быстрого возвышения Пруссии. Союз России с Австрией и Францией в Семилетней войне — плод его усилий. Победы при Цорндорфе и Гросс-Егерсдорфе, взятие русскими войсками Берлина в 1761 г. могли в корне подрубить возрождение прусского милитаризма. Фридрих в своих мемуарах признавал, что после них Пруссия была поставлена на грань военной и политической катастрофы.

В конце декабря 1761 г. внезапно скончалась императрица Елизавета Петровна — и на русском троне оказался великий князь Петр Федорович, всю жизнь преклонявшийся перед Фридрихом. Мир с Пруссией, который он поспешил заключить сразу после своего восшествия на престол, вызвал огромное общественное возмущение и в конечном счете явился одной из главных причин его скорого падения.

Между тем этот шаг был не столь неразумен, как казалось. Из-за вероломства союзников — Австрии и Франции — основные тяготы Семилетней войны легли на плечи России. Война стоила стране огромных людских жертв и довела расстройство финансов до невероятных размеров. В мае 1762 г. правительствующий сенат представил императору доклад: из 15 350 636 рублей 93 копеек, составивших государственные доходы в последний год войны, 10 418 747 рублей 70 копеек израсходовано на содержание войска (особенно впечатляют копейки!).

Однако в силу одиозности личности Петра III, доходившего в своем преклонении перед Фридрихом до раболепия, дела с Пруссией велись так, что казались оскорбительным достоинству русского государства и народа. Немедленно были эвакуированы из Восточной Пруссии русские войска, а условия мира предложено было выработать самому Фридриху и затем прислать в Петербург. Прусский посланник Гольц сделался у Петра III первым человеком.

Долго так продолжаться не могло. 28 июня 1762 г. штыки гвардейских полков возвели на престол жену Петра III Екатерину Алексеевну, ставшую императрицей Екатериной II. Первый же манифест, с которым Екатерина II обратилась к народу, носил антипрусскую направленность. Прусский король был назван в нем злодеем. Гвардия, скинувшая с себя ненавистный прусский мундир, введенный Петром III, ликовала. Антипруссские настроения были настолько сильны, что Гольц счел за лучшее не явиться на представление императрице дипломатического корпуса, сославшись на отсутствие придворного костюма.

Однако Фридрих оказался дальновиднее своего посланника.

— Петр дал себя свергнуть как ребенок, которого прогоняют спать,— сказал он своему министру иностранных дел Финку фон Финкельштейну и поздравил Екатерину II с восшествием на престол.

Екатерина ответила — и в Берлине вздохнули облегченно, там всерьез считались с возможностью возобновления военных действий.

Так — ни шатко ни валко — тянулись прусские дела до осени 1763 г., когда произошло событие, внезапно накалившее несколько было поостывшую обстановку в Европе.

В конце сентября в Дрездене неожиданно скончался польский король Август III. Со смертью его пресеклась саксонская династия, царствовавшая на польском троне с 1697 г.

Наступившее безвластие обнажило всю глубину кризиса, который переживала Речь Посполитая. В конечном счете он привел к уничтожению независимого польского государства.

Противоречия социального строя и государственного устройства Польши уходят своими корнями в древние времена. Еще при исконно польской династии Пястов, правившей до 1370 г., шляхта и католическая церковь получили привилегии, подкосившие королевскую власть. В XIV—XVI вв. при польско-литовской династии Ягеллонов Польша окончательно становится шляхетской республикой. Польский трон становится добычей авантюристов королевских кровей из различных стран Европы. В 1572 г. после смерти последнего Ягеллона, Сигизмунда-Августа, кто только не претендовал на этот престол: герцог Эрнест, внук австрийского императора Максимилиана II; принц Генрих Валуа, брат французского короля Карла IX; предпоследний из Рюриковичей — Иоанн Васильевич Грозный; были также партии шведского короля, семиградского воеводы Стефана Батория, польская, требовавшая Пяста. Сейм выбрал самого податливого из претендентов — Генриха Валуа, но через год он тайно бежал из Кракова, променяв польский трон на вожделенный французский.

В дальнейшем на троне древних пястов сидели отпрыски шведской династии Ваза, саксонские курфюрсты, ставленник Швеции и Франции Станислав Лещинский. Славные имена Стефана Батория и Яна Собесского теряются в толпе коронованных проходимцев, пытавшихся править Польшей из Дрездена, Вены, Парижа и Стокгольма.

Вот и сейчас было очевидно, что ни одна из влиятельных группировок шляхты не могла рассчитывать на продвижение своего кандидата в короли без поддержки извне. Одна наиболее влиятельная из группировок — «фамилия» Чарторыйских — ориентировалась на Россию. Другая, во главе с гетманом Браницким, — на Францию.

Узнав о смерти Августа III (точно известно, что произошло это 5 октября 1763 г. в седьмом часу утра), Екатерина II от неожиданности подпрыгнула на стуле. Фридрих, получив аналогичное известие, вскочил из-за стола. Впоследствии Екатерина любила вспоминать об этих монарших подсакиваниях и находила их весьма многозначительными.

Вскоре в Берлин королю были направлены астраханские арбузы — первый знак внимания за год переписки.

Ответ пришел незамедлительно.

«Огромно расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным сеймом,— писал Фридрих.— Но Вы умеете соединить все в сфере вашей деятельности: та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе!»

Яснее не скажешь: Пруссия была готова действовать в польских делах сообща с Россией.

Однако в России далеко не все придерживались такого же мнения. Сама мысль о вмешательстве в дела соседнего славянского государства заодно с Фридрихом коробила многих. Бестужев, возвратившийся после четырехлетней ссылки, сразу же после воцарения Екатерины, говорил об этом. Так же были настроены и Орловы, опасавшиеся к тому же, что выдвижение приемлемой для Екатерины и Фридриха кандидатуры родственника Чарторыйских Станислава Понятовского, бывшего фаворита Екатерины, ограничит влияние, которым они пользовались при дворе.

Екатерина оказалась в затруднительном положении. С одной стороны, не хотелось упускать столь благоприятный, с ее точки зрения, случай для усиления русского влияния в Польше. С другой — царица понимала, что для достижения этой цели был необходим прусский союз, столь непопулярный в России. Дело осложнялось еще и тем, что в силу своего происхождения и обстоятельств воцарения Екатерина вынуждена была весьма щепетильно относиться ко всему, что давало повод заподозрить ее в симпатиях к Фридриху. В переписке с Вольтером — шедевр лицемерия с той и другой стороны! — она не упускала случая поиздеваться над Фридрихом («мой плосконосый сосед»). Никогда на официальных церемониях она не говорила по-немецки. (Уже в августе 1762 г. австрийскому послу Мерси д'Аржанто накануне аудиенции у императрицы было сказано, что если он заговорит по-немецки, то Екатерина ответит по-русски, если же посол предпочтет французский, то беседа будет вестись на этом языке, которым, кстати сказать, императрица владела в совершенстве.)

Тут и пробил час Никиты Ивановича Панина.

На совете, созванном для обсуждения польских дел, он высказался за кандидатуру Понятовского и уже через месяц, в ноябре 1763 г., был назначен первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел вместо Воронцова, отбывшего поправлять расстроившееся здоровье на воды.

В мае 1764 г. был заключен прусско-русский союз, а в августе конвокационный сейм в Варшаве единогласно избрал Понятовского новым королем Польши.

«Никита Иванович! — писала Екатерина II Панину.— Поздравляю Вас с королем, которого Вы сделали. Сей случай наивяще умножает к Вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все Вами взятые меры».

Панин — личность незаурядная. Екатерина ценила его трезвый ум и широкую образованность. Он интересовался самыми разно-

образными вопросами из области государственных знаний, был знаком со многими классическими произведениями философской литературы, блестяще говорил и писал на нескольких европейских языках.

Екатерина шутливо называла Панина «моя энциклопедия», намекая не только на его начитанность, но и на конституционные взгляды, которые он не стеснялся высказывать.

Всю жизнь вращаясь в придворных кругах, он тем не менее никогда не был «ласкателем», как тогда выражались. Для Екатерины не составляло секрета, что Панин накануне и после переворота 28 июня открыто говорил, что она должна быть регентшей при Павле, а по его совершеннолетию уступить ему трон.

Панин нередко бывал резок, капризен и неудобен. Случалось, что Екатерина не общалась с ним месяцами. Потом, однако, все налаживалось.

В чем тут дело? Может, в том, что Панин был идеальной вывеской для ее просвещенного правления. Современники сходятся во мнении, что он был в высшей степени порядочным, неподкупным человеком. Н. Д. Чечулин, глубокий знаток екатерининского времени, пишет: «Личность Панина возбуждает к себе горячие симпатии как личность честная, гуманная и высокообразованная. В мире бессовестных интриг таких личностей, как Фридрих II и Шуазель, в мире грубой лжи и обмана он был единственным политиком, рисковавшим говорить о сострадании и человечности».

Однако не только эти качества позволили Никите Ивановичу два десятилетия продержаться у руля русской внешней политики.

Было и еще нечто.

Есть люди угловатые, неудобные: что ни сделают — все невпопад, и правду режут как-то не к месту, и льстят неловко. Никита же Иванович был, по удачному выражению С. М. Соловьева, «эластичен», округл не только лицом, но и характером. Не обременяла его излишняя, так сказать, принципиальность, и достоинства его плавно переходили в недостатки, а недостатки в достоинства.

Если и случались в жизни Панина невзгоды, то были они, как правило, кратковременны. При Елизавете Петровне, после того как Бестужев в 1758 г. пал жертвой интриги, с Никитой Ивановичем, протеже канцлера, многие и здороваться было перестали — а он на следующий год объявился во дворце в голубом мундире обер-гофмейстера.

Благоволила к Никите Ивановичу фортуна и в недолгое, но сумбурное царствование Петра III. Он был пожалован чином действительного статского советника и орденом Андрея Первозванного. Да и в екатерининские времена сколько раз сгущались над ним тучи — вот-вот, казалось, сверкнет молния и в пепел уничтожит, — а нет, каждый раз грозу проносило мимо, а Никита Иванович вот он, живой и невредимый, смотрит ласково, улыбается приятно.

Словом, непростой человек был Никита Иванович, непростой.

Рано утром в субботу 1 ноября в придворной церкви Большого дворца Петергофа отслужили молебен по случаю избавления императрицы от оспенной болезни. Когда Екатерина подошла к кресту, за окном грянула пушечная пальба.

После молебна Ее Императорское Величество «изволили предпринять отсутствие в Санкт-Петербург».

В столице она направилась прямо в Казанский собор (старый, деревянный), где приложилась к святым мощам. В пятом часу прибыли во дворец. В сенях Екатерину встречал Павел, резвый мальчик двенадцати лет с ясными глазами и веселой улыбкой. Придворные подходили к ручке, поздравляли с благополучным прибытием.

Обедали во внутренних комнатах. После обеда оспа была привита наследнику. Ее Величество никого не принимали.

На следующее утро Екатерина по раз и навсегда заведенному порядку поднялась в седьмом часу утра. Оделась сама, слушая, как Мария Саввишна Перекусихина, первая камер-юнгфера, позевывая со сна, скучным голосом перебирала последние дворцовые сплетни. В туалетной уже ждала с кувшином теплой воды и льдом, мелко крошенным в серебряной плошке, молодая калмычка Екатерина Ивановна. Глянув в окно, выходящее на дворцовый плац, Екатерина увидела, что за ночь выпал обильный снег, устлавший двор мягким пушистым ковром. Наскоро умывшись, прополоскав рот теплой водой и потеряв щеки куском льда, Екатерина отпустила Перекусихину и калмычку и быстро прошла в свой рабочий кабинет.

На маленьком столике в углу уже дымилась чашечка кофе, стояли густые сливки, бисквиты и сахар. Это все, чем Екатерина, неприхотливая в еде, обходилась до обеда.

Но вот кофе выпит — и вошел секретарь Козьмин.

— Не хотите ли разделить со мной завтрак, Сергей Матвеевич? — спросила Екатерина, с улыбкой глядя на секретаря.

Козьмин с наигранным испугом отказался, охотно поддержав маленькую игру, которая явно нравилась императрице.

Екатерине варили кофе по особому рецепту. Его шел целый фунт на пять чашек. Однажды Козьмин, окоченев, залпом выпил предложенный ему Екатериной кофе и чуть не умер от начавшегося сердцебиения. Повар, не предполагая, что императрица пожелает разделить завтрак с простым чиновником, прислал кофе, предназначенный для Ее Величества.

Обычно Екатерина имела обыкновение работать до девяти утра, после чего переходила в спальню, чтобы принять сановников, явившихся с докладами. Но на этот раз привычный распорядок пришлось изменить — Козьмин объявил, что Никита Иванович Панин просит принять его по делу, не терпящему отлагательства.

Никита Иванович, вошедши со стороны Зеркальной залы, нашел Екатерину сидящей на обитом белым штсфом стуле за фигурным столиком, к краю которого был приставлен точно такой же, но

обращенный изгибом к собеседнику императрицы. Перед Екатериной лежала ее любимая табакерка с портретом Петра I на крышке. Работая, она имела обыкновение нюхать табак, который специально для нее выращивали в царскосельском саду.

На поклон Никиты Ивановича императрица ответила легким кивком. Поцеловав августейшую руку, Никита Иванович дождался приглашения сесть и осведомился о самочувствии.

— Полноте, граф,— ответила Екатерина,— гора родила мышь — с того памятного Вам дня, когда Димсдейл испортил мне руку ланцетом, я не ложилась в постель ни на минуту. Стоило же нашему другу Фридриху кричать противу этого и мешать людям спасти свои жизни такими пустяками!

При этих словах императрица, не желая больше оттягивать привычную процедуру, лукаво глянула на Панина и, заложив в нос щепотку табака, вкусно чихнула в батистовый платочек.

— *Que dieu vous bénisse, Madame**,— поспешил сказать Никита Иванович.

— *Quand on éternue, on ne meurt pas***,— засмеялась Екатерина.

Императрица и в самом деле выглядела бодрой и отдохнувшей. В свои сорок лет она сохранила ту привлекательность, которая снискала ей славу «Северной Семирамиды». Необычайно свежее лицо ее украшали живые карие глаза, с благожелательным вниманием смотревшие на собеседника. Густые, с тяжелым отливом каштановые волосы, которые неизменный куафер ее Козлов зачесывал наверх, венчая небольшим креповым чепцом, открывали широкий и высокий лоб. Темные брови, греческий нос с чуть заметной горбинкой, пухлые, чувственные губы, в приподнятых уголках которых постоянно таилась улыбка, небольшая голова, хорошо поставленная на высокой шее, придавали ей выработанное годами величие и гордость. Строгую гармонию несколько портил только тяжелый, как бы двойной подбородок.

На Екатерине было ее излюбленное «молдаванское» платье из серого шелка без единой драгоценности, которые бы указывали на ее высокий сан. Свободный покрой платья, двойные рукава скрывали намечавшуюся полноту, не портившую, впрочем, соразмерной фигуры императрицы.

Никита Иванович ничуть не покривил сердцем, когда, не дав себя обескуражить насмешливым тоном, которым встретила его Екатерина, рассыпался в галантных комплиментах ей и ее беспримерному подвигу неизреченного милосердия и любви к своим подданным.

Екатерина выслушала слова Панина со снисходительной улыбкой, но не остановила его. Со всем своим недюжинным умом и волей она была чутка к лести. Панин знал за ней эту слабость и сейчас особенно усердствовал — его беспокоило, как воспримет императрица принесенную им тревожную весть.

* «Будьте здоровы, Ваше Величество» (франц.).

** «От чихания не умирают» (франц.).

— Вы свели с ума весь Петербург, Ваше Величество, — говорил он, любезно улыбаясь. — Все больны новой модной болззнью — оспоманией. Ждут доктора Димсдейла, чтобы скорее привить себе оспу. При дворе уже спорят, кто первый удостоится этой чести.

Екатерина засмеялась своим низким грудным смехом и сказала:

— Коли так, то нашему Эскулапу, даже если он, как грозитя, привлечет к делу сына, хватит работы на год. Одна беда — представьте, он, с его обширной европейской практикой, не говорит ни на одном языке, кроме английского. Мне стоило большого труда научить этого милого чудака нескольким французским фразам.

— Лорд Кэткорт сам немного смущен этим обстоятельством. Он говорит, что, если бы Вы, Ваше Величество, изволили устроить это дело через него, он бы нашел полиглота.

— Нет уж, благодарю покорно, — Екатерина смешно передразнила вечно чуть обиженную интонацию Ивана Ивановича Бецкого, читавшего ей в часы послеобеденного отдыха французские романы. — У доктора Димсдейла из шести тысяч привитых умер только один трехлетний ребенок, а другой, да тот же Лесток, даром что говорил на пяти языках, а кровь толком пустить не умел.

Никита Иванович в знак согласия покивал головой, хотя его всегда коробила манера Екатерины дурно отзываться о людях, с которыми ее когда-то связывали дружеские узы. В такие моменты он как бы предчувствовал, что когда-нибудь настанет и его черед.

— Граф Петр Борисович с особенным нетерпением ожидает Димсдейла, — сказал он, враз поскучнев лицом. — Хочет пригласить его к себе в Кусково.

Екатерина нахмурилась. Помедлив, она ласково накрыла своей мягкой ладонью руку Никиты Ивановича.

Фрейлина Анна Петровна Шереметева, дочь графа Петра Борисовича Шереметева, бывшая невестой Никиты Ивановича, умерла пять месяцев назад от оспы, эпидемия которой свирепствовала весной в Петербурге. Отец, потрясенный ее смертью, удалился от дел и жил безвыездно в своем подмосковном имении Кусково. Никита Иванович тоже глубоко переживал смерть невесты. Анна Петровна была одной из самых завидных невест Петербурга — у отца ее было 140 тысяч душ крепостных, но Панин по характеру своему был чужд утилитарных видов. Брак нужен был, чтобы окончательно искоренить скандальные слухи, рожденные затянувшимся романом с графиней Строгановой, которые ставили под угрозу его карьеру.

— Признаюсь вам, Никита Иванович, — сказала Екатерина, — что смерть Анны Петровны окончательно укрепила мою решимость положить конец вечному страху перед оспой, который я испытывала с детства. Прошлой весной я была сама не своя — бегала из Зимнего в Царское, не желая подвергать опасности ни сына, ни себя. Я была так угнетена униженностью такого положения, что считала бы для себя непростительной слабостью не найти из него выход. Жаль, что мы не знали оспопрививания раньше, ну да утерянного не воротишь. Перейдем к делам.

Никита Иванович, внутренне замерев, положил перед Екатериной донесение Голицына.

— Князь Дмитрий Михайлович знатный разговор с послом французским имел. Из Константинополя подтверждений пока не последовало.

Екатерина быстро пробежала переписанное по форме донесение. Во время чтения с лицом ее произошла удивительная метаморфоза. С него, как румяна под дождем, слезло выражение величественного добродушия, уголки рта опустились вниз. Черты ее враз обрюзгли и поглубели. Искусство царственной рисовки, которым Екатерина владела в совершенстве, изменило ей. Глядя на нее в этот момент, можно было понять, почему знаменитый Лафатер, избрав государыню объектом для изучения, объявил ее великой актрисой.

От внутреннего волнения в обычно правильной русской речи ее появился ощутимый немецкий акцент.

— Но это же война,— произнесла она задумчиво и глянула в глаза Панину цпко, по-мужски.

— Боюсь, что так, Ваше Величество,— отвечал Панин.— Обресков — дипломат опытный, он все сделал для удержания мира, но...

— Я Обрескова не виню,— перебила его императрица,— не мы войну начали, не нам и виноватыми быть. Не в первый раз России побеждать врагов, опасных побеждали и не в таких обстоятельствах, а с турками как-нибудь справимся.

Говоря так, Екатерина снова взглянула на Панина, и вновь он с изумлением, граничащим с испугом, отметил перемену, происшедшую с этим необыкновенным лицом. Теперь оно было властным и выражало решимость. Губы подобрались и сжались в тонкую недобрую линию. В глазах появился голубоватый стальной оттенок. Короткие, рубленые фразы падали как приказы.

— Первое, что надлежит сделать,— позаботиться об освобождении Обрескова. Подумайте, как можно было бы облегчить его положение. Мне кажется, что в этом деле была бы полезна медиация прусского и английского дворов.

— Я уже беседовал с Кэткартом и Сольмсом, Ваше Величество. Прусский посланник предлагает свои услуги в наших сообщениях с Обресковым.

— Поблагодарите его от моего имени. Кстати,— Екатерина на секунду задумалась,— когда вы получили почту из Вены?

— Третьего дня, Ваше Величество,— лицо Никиты Ивановича окаменело. Момент был решительный.

Екатерина размышляла лишь секунду.

— Второе,— продолжала она.— Я хотела бы обсудить все относящееся до будущих военных действий в собрании высших чинов государственных и военных, ну хоть в таком, которое было при Елизавете Петровне.

Никита Иванович счел за лучшее не возражать. Он видел, что Екатерина находилась в том приподнятом состоянии, которое возникало у нее в обстоятельствах чрезвычайных. Она сама называла его альтерацией. В эти моменты Екатерина, обычно внимательно выслушивавшая советы приближенных, не терпела, просто не слышала их возражений. Приняв решение, она от него уже не отступа-

ла. «Смелее вперед, только слабодушные нерешительны» — ее любимая присказка.

Письмо, отправленное Никитой Ивановичем Обрескову, императрица одобрила. Затем она отпустила его со словами, что к завтрашнему дню ждет подробного плана действий на первое время.

Оставшись одна, Екатерина пыталась разобраться в обуревавших ее чувствах. Принесенные Паниным вести скорее не огорчили, а обрадовали ее. Появился желанный повод просто и естественно покончить с так беспокоившим ее в последнее время делом с Большой комиссией. С весны, вернувшись из Москвы, где она присутствовала на заседаниях, она с нарастающим раздражением вспоминала разглагольствования депутатов, особенно из мелкопоместных, оскорбительные в своей самоуверенности замечания Сумарокова о ее «Наказе». Сейчас можно будет положить конец этой затее, до которой Россия еще не доросла. Война сплотит нацию, заткнет рты недовольным, придаст ей блеск продолжательницы славных дел Петра. Он открыл России дорогу к Балтике, она — к Черному морю.

Через два дня, все в том же состоянии воодушевления и уверенности в успехе, она напишет в Лондон графу И. Г. Чернышеву: «Туркам с французами заблагорассудилось разбудить кота, который спал; я — сей кот, который им обещает дать себя знать, дабы память не скоро исчезла. Я нахожу, что мы освободились от большой тяжести, давящей воображение, когда развязались с мирным договором; надобно было тысячи задабриваний, сделок и пустых глупостей, чтобы не давать туркам кричать. Теперь я развязана и могу делать все, что мне позволяют средства, а у России, вы знаете, средства немаленькие, и Екатерина II иногда строит всякого рода испанские замки, и вот никто ее не стесняет, и вот разбудили спавшего кота, и вот он бросится за мышами, и вот вы кой-что увидите, и вот об нас будут говорить, и вот мы зададим звон, которого не ожидали, и вот турки будут побиты».

Г л а в а IV

КОНСТАНТИНОПОЛЬ — ЕДИКУЛЕ.

Сентябрь-октябрь 1768 г.

Едикуле (Семибашенный замок) стоит на окраине Константинополя. Его мрачные стены и полуразрушенные башни — когда-то их действительно было семь, но во время страшного майского землетрясения 1768 г. три рухнули — первое, что встречает франка, когда корабль его, миновав Мраморное море, оставляет одесную зеленые силуэты Принцевых островов и берет курс на светлеющие вдаль, на мысу, стены сераля.

Случалось и так, что Семибашенный замок — это последнее, что видел франк в турецкой столице.

Во времена византийских императоров Едикуле служил монетным двором. Об этом напоминают полустесанные кресты на сводча-

тых арках да остатки барельефа у входных ворот, изображающего Венеру, склонившуюся с факелом в руках над спящим Адонисом.

При турках Едикуле стал тюрьмой для государственных преступников. Сюда заключались послы европейских стран, которым Турция объявила войну. Султан Сулейман Великолепный как бы даже ввел в закон, что «послы ответственны за слово, даваемое их государствами, и должны быть наказаны в случае нарушения этого слова».

Принцип неприкосновенности дипломатических представителей в Константинополе не признавали. Послов здесь рассматривали по старой восточной традиции в качестве заложников.

Особенно доставалось дипломатам Австрии и Венеции — государств, с которыми турки воевали чаще всего. Когда посла бросали в казематы Едикуле, глашатаи на улицах возвещали, что правоверным разрешается убивать или обращать в рабство австрийских или венецианских подданных.

Послов «таскали» за войском, подвергали всяческим унижениям, нередко казнили.

Однако не только разрыв отношений был в глазах турок поводом для заключения иностранного дипломата в тюрьму. Так, австрийский посол попал в 1585 г. в Едикуле за то, что не привез подарков султану Мураду III. В 1658 г. посол Людовика XIV де ля Гэ был заключен в крепость после того, как отказался раскрыть великому визирю тайну своего шифра. Посланник Карла XII Функ оказался здесь, поскольку осмелился передать великому визирю просьбу шведского короля о присылке субсидий в тысячу кошельков. Еще более не повезло английскому послу Портеру. Он чуть было не закончил свою карьеру, отказавшись поцеловать подпись султана на его послании королю Георгу II с благодарностью за поздравления по случаю восшествия на престол.

Еще хуже приходилось драгоманам, которые обычно избирались из числа греков и левантийцев — османских подданных. Турецкие чиновники то избивали их, то наказывали плетью, то сажали на кол или обезглавливали. При объявлении войны Турцией Венецианской республике в 1649 г. первый драгоман венецианского посольства Грилло был повешен в своем официальном одеянии. Незадолго до этого, в 1632 г., французский драгоман Бальтазар был живым посажен на кол в присутствии самого султана Мурада IV.

В царствование Мурада III венецианского драгомана палками изгнали из зала заседаний Дивана, а драгоман французского посла Жан Баптист обязан спасением своей жизни лишь тому, что перешел в мусульманство.

Не были исключением и русские дипломаты в Константинополе. Петр Андреевич Толстой в злосчастном 1712 году трижды сиживал в Едикуле. Шафиров и Шереметев, бывшие аманатами при заключении Прутского мира, тоже не миновали его стен.

Теперь наступил черед Алексея Михайловича Обрескова.

В крепости их ждали. Комендант, восьмидесятилетний турок с седой бородой, написал расписку в приеме узников, и Обрескова с

товарищами повели внутрь. Впереди шел, освещая дорогу, турок-стражник с факелом в руке. Сначала миновали одни темничные ворота, запертые огромным висячим замком, а потом узким и темным проходом подошли к башне, в потемках показавшейся огромной.

Только когда железная дверь с натужным скрипом затворилась за спиной, Алексей Михайлович почувствовал, что устал. Крайне нервное и физическое напряжение последних дней, долгий путь от сераля до Едикуле сквозь визжащую и улюлюкающую толпу — об аресте российского министра возвещал идущий впереди глашатай (таллал) — все это настолько измотало Обрескова, что он был чуть ли не рад, что судьба его наконец определилась.

На ночь расположились на гнилых циновках, брошенных вдоль стен. Спали вповалку. Алексей Михайлович, запахнувшись в парадный кафтан, привалился плечом к тощей спине Яблонского и только было собрался обмозговать все происшедшие в тот день события, как уснул — усталость взяла свое.

В последний сладкий миг перед тем, как провалиться в небытие, увидел лицо дочки Катеньки, младшенькой, любимой. Слава Богу, будто чувствовал — оставил детей у шурина, Джорджа Аббота. Там им будет хорошо...

И все. Захрапел серьезно, с перекатами.

Николай Васильевич сначала удивился, а затем и вознегодовал маленько на Обрескова за такую беспечность, но тем не менее пролежал до утра скрючившись, в неловкой позе, боясь пошевелиться, чтобы не потревожить посланника.

Утром, когда бледный свет только начал пробиваться сквозь узкое зарешеченное оконце над дверью, Алексей Михайлович пробудился и сейчас же, массируя скрюченную подагрой кисть левой руки, принялся обследовать помещение, в котором прошла ночь. От низких сводов веяло сыростью. В темных углах шуршали крысы. Пол был выложен осклизлыми каменными плитами, а в центре его зиял темный провал, из подземной глубины которого доносилось плескание воды.

Алексей Михайлович, нагнувшись по-петушиному, заглянул в провал и сейчас же прошлепал к двери, приказав Яблонскому колотить в нее кулаком. Появившемуся на шум недовольному, заспанному стражнику было приказано звать коменданта.

Комендант в подземелье спускаться не пожелал, а велел стражнику привести Обрескова к нему в дом. Однако не тут-то было. Идти к турку на поклон Алексей Михайлович почел ниже своего достоинства. К коменданту был послан Пиний, чтобы объявить, что по причине крайней сырости и духоты узники не выдержат и трех суток заключения и вся тяжесть ответственности за будущие последствия ляжет на плечи коменданта. Инструктируя Пиния, Обресков вынул из кармана камзола серебряные часы итальянской работы и велел вручить их турку, если тот окажется податливым на внушение.

Поручение Пиний выполнил с блеском. Ему столько раз случалось давать взятки турецким чиновникам, что эта процедура была доведена у него до совершенства. Часы поменяли владельца как бы

сами собой. При этом комендант, глядевший на Пиния с брезгливым любопытством, полуприкрыл глаза, будто подавая драгоману российского посольства некую надежду.

К вечеру Вельзевул, как окрестил коменданта Пиний, сам явился к Обрескову и объявил, что узников переведут в другую камору. Вслед за турком Алексей Михайлович поднялся по каменной лестнице в десять щербатых ступеней и вышел во внутренний дворик, узкий, как воловий язык. Башня, в подвале которой узникам пришлось провести ночь, казалась отсюда высокой и громоздкой, как Сухарева или Иван Великий. За ее зубчатой вершиной алело закатное небо.

Во дворе стояли два неказистых флигеля, лишенные окон. Перед входом в каждый из них росло по тополю. Пыльные листья на них от жары свернулись в жестяные трубочки.

Узников поместили в один из флигелей. Внутри он был разделен на две лишенные мебели сырые каморки. Низкая арка, под которой можно пройти согнувшись, служила одновременно и окном и дверью. В потолке зияла закопченная дыра: убогий очаг топился по-черному.

В одной из комнат разместился Обресков с Пинием и Мельниковым. В другой кое-как устроились остальные.

Стараясь не выказывать облегчения, которое он испытал при этом первом успехе, Обресков пошептался с Пинием, и тридцать червонцев перекочевали из кошелька драгомана в карман коменданта.

Тут же принесли кофе и излюбленный турками розовый шербет.

— Комендант, кажется, человек разумный, — сказал Алексей Михайлович Пинию и не ошибся.

На следующее утро, изрядно выспавшись на широкой войлочной софе, он принял из рук повара Александра чашечку кофе и с некоторым удивлением узнал, что с утра Лашкарев с дворецким Обрескова Федором Долгим привезли с рынка съестные припасы и обед узникам разрешено готовить самим.

Вслед за этим от коменданта принесли и доставленные Лашкаревым два увесистых тюка — один с постельным бельем, второй с кухонной утварью и столовой посудой.

Обресков повеселел. Появлялась возможность общаться с теми, кто остался на воле.

У него не вызывало сомнений, что Левашов не замедлит известить Петербург о происшедших событиях, однако большой веры в то, что Павлу Артемьевичу удастся сохранить хладнокровие и отписаться достойно, не нагнетая обстановку, у Алексея Михайловича не было.

Разжиться бумагой, чернилами и пером труда не составляло. Стражники, узнав, что комендант подобрел к арестантам, наперебой предлагали свои услуги, надеясь на бакшиш.

Над депешей к Панину Алексей Михайлович корпел целый день, добросовестно восстанавливая в памяти слова Хамза-паши и собственные ответы. Переправить ее за стены крепости удалось без труда.

Все устроил Лашкарев, умная голова.

События повернулись слишком круто, чтобы Обресков успел условиться с Лашкаревым о действиях в непредвиденной ситуации. И тем не менее он был уверен, что Сергей Лазаревич не подведет. Поэтому, когда повар Александр принес ему первую записку от Лашкарева, найденную на самом дне овощной корзины, под огурцами и баклажанами, Алексей Михайлович воспринял это как должное. Осторожный Лашкарев написал всего несколько слов, но начало было положено.

1 октября, на шестой день после объявления войны, в Едикуле объявился и Левашов, исхлопотавший от турок разрешение присоединиться к узникам.

— Видишь, Павел Артемьевич, признала-таки Порта тебя дипломатом, — говорил Обресков Левашову, смеясь.

Встретил он Левашова сердечно, рад был искренне, долго мял в объятиях.

Левашов оттаял, забыл старые обиды и принялся рассказывать о своих приключениях.

* * *

Первую ночь после разрыва Павел Артемьевич Левашов и Сергей Лазаревич Лашкарев провели без сна. До утра из трубы резиденции посланника шел дым — жгли документы, которые не должны были попасть в руки турок. Оставляли только такие бумаги, которые уже были известны Порте — в основном копии меморандумов и записок великому визирю и реис-эфенди. Левашов просматривал архивы, а Лашкарев, стоя у камина, бросал в пламя плотные листы бумаги.

Шифры, наличные деньги и векселя Обресков заблаговременно запечатал в чугунную шкатулку. С восходом солнца Лашкарев в сопровождении двух рейтар уже скакал по дороге в Константинополь, где, следуя приказу резидента, сдал Джорджу Абботу драгоценную шкатулку на хранение. Дети Алексея Михайловича находились уже у него.

Известие об аресте русского посланника молнией разнеслось по турецкой столице. На следующий день улемы в мечетях, пользуясь большим скоплением народа по случаю пятничной молитвы, призывали к священной войне против неверных. На улицах собирались толпы, начались погромы жилищ и лавок армянских и греческих купцов. Дипломаты сочли за лучшее расстаться с сельским воздухом и покинуть Буюкдере.

Павлу Артемьевичу, на которого свалился ворох срочных дел, попервоначально некогда было задумываться над тяготами своего положения. В пятницу вечером он перебрался из Буюкдере в Перу, а в субботу с утра вездесущий Лашкарев привел елизаветградского кушца Семена Сенковского, который с порога повалился в ноги Павлу Артемьевичу и сказал, что у него в коммерции образовался недостаток. Старшина стамбульского мехового цеха, хитроватый Мехмед, решил воспользоваться обстоятельствами и забраковал

часть пушного товара Сенковского, и тот оказался должным цеху 2170 пиастров, без уплаты которых турки не соглашались отпустить несчастного на родину.

Времени наставлять незадачливого торговца на путь истинный у Павла Артемьевича не было, и он, поворчав для порядка, ссудил ему необходимую сумму из собственных средств. Сенковский был толковым, тароватым мужиком, и Левашов, принимая расписку из дрожавших от радости рук купца, не сомневался, что долг тот вернет исправно.

Сложнее обстояло дело с воронежским купцом Ефимом Агафоновым, узнавшим о разрыве мира уже при выходе из Босфора в Черное море. Турок, хозяин судна, зафрахтованного Агафоновым, требовал пять тысяч пиастров в качестве гарантии, что оно не будет задержано в Темерникском порту. Таких денег у Павла Артемьевича не было, поэтому и пришлось просить голландского банкира Обермана дать турку форменную гарантию. Оберман согласился не колеблясь: как во время мира, так и в период войны, ручательство российского посольства ценилось высоко.

Остальными купцами занялся Лашкарев.

В воскресенье с утра Павел Артемьевич отправился делать визиты. Начал с французского посла. Вержен внимательно выслушал рассуждения Левашова о том, что произвол Порты есть покушение на права всех дипломатов, вежливо покивал головой, но в заключение недолгой беседы развел руками и сказал, что не имеет ни малейшей надежды добиться облегчения положения Обрескова.

Такой же прием ждал Левашова и в доме австрийского интернунция Броняра. Оставалось нанести визиты английскому послу и прусскому посланнику. Здесь разговор пошел легче. Альянты обещали учинить совместный демарш перед Портой в самое ближайшее время.

Муррей и Зегеллин без колебаний согласились выполнить и другую просьбу Левашова — снабдить паспортами курьеров, которых тот решил направить в Варшаву и Киев.

Впрочем, Зегеллин пытался отговорить:

— Отдаете ли вы себе отчет в том, что подвергаете как курьеров, так и свою персону смертельной опасности?— спросил он Левашова.— Порта под страхом смертной казни запрещает дипломатам воюющих с ней держав сноситься со своими дворами.

— Долг перед Отечеством почитаю я превыше собственного благополучия и самой жизни,— отвечал Павел Артемьевич.

Левашов не пробыл у Зегеллина и получаса, как явился Лашкарев предупредить, что его дом в Пере окружен янычарами, присланными от Порты, чтобы взять его под охрану.

Павел Артемьевич и сам понимал, что рано или поздно ему придется делать выбор: или тайно бежать из Константинополя (Муррей и Зегеллин брались это устроить — английских кораблей стояло в гавани немало) или сдаться Порте. Левашов опасался, что турки могли отправить его, не признаваемого ими дипломата, не в Едикуле, а на каторжный двор, как обычного военнопленного.

Теперь же все решилось само собой, что было для Павла Артемьевича большим облегчением.

Попрощавшись с Зегеллином, обняв Лашкарева, Левашов направился в дом драгомана Порты Караджи. Кроме Афанасия Лашкарев упросил Павла Артемьевича взять с собой в крепость и старого толмача Матвея Мельникова, отца секретаря Обрескова Степана Матвеевича. Матвей, состоявший при канцелярии киевского генерал-губернатора, привез с прапорщиком Шафировым последнюю почту из Киева, но в обратную, вдвойне опасную по военному времени посылку не годился. Разлучать отца с сыном, томившимся в крепости, было не в правилах Павла Артемьевича, и он взял его с собой.

Ходить по городу даже в Пере было небезопасно. Увидев европейца, турки тотчас спрашивали, какой он нации. Павел Артемьевич выдавал себя либо за рагузца, либо за англичанина, а появлявшиеся сомнения гасил щедрыми бакшишами.

Караджи, однако, не оказалось дома. Уже южная ночь окутала Константинополь своим покрывалом, служители зажгли и поставили на маленький столик рядом с Павлом Артемьевичем канделябр с пятью свечами, а драгомана все не было. Левашов поминутно посылал Афанасия узнать, не приехал ли Караджа. Пламя свечи отбрасывало на стене причудливые танцующие тени, в которых виделось испуганному Павлу Артемьевичу Валтасарово предсказание.

Наконец Караджа объявился. Войдя вслед за служителем в столовую, Павел Артемьевич увидел, что драгоман сидит во главе стола, накрытого к ужину.

Намерение Левашова отдаться под покровительство Порты Караджа одобрил и обещал завтра же переговорить с великим визирем.

От приглашения поужинать Павел Артемьевич не отказался, но застольный разговор явно не клеился, и вскоре собеседники разошлись. Караджа отправился в свои покои, а Левашову была приготовлена постель в комнате для гостей, единственным окном своим выходившей на Золотой Рог.

Ночью погода испортилась. Подул северный ветер, на море сделалась великая буря. Павлу Артемьевичу, до утра не сомкнувшему глаз, уже казалось, что он поступил опрометчиво, и мерещились самые пагубные последствия. Душевные муки усугублял пугливый Афанасий, заметивший, что двое из людей драгомана устроились у входа в комнату Левашова. Делая вид, что починяют старую шубу, они зорко следили за тем, чтобы гости не ускользнули из дома.

— Ни иголок, ни ниток у них нет, батюшка Павел Артемьевич,— говорил Афанасий, кланяясь и округляя глаза.— Стерегут, право слово, стерегут, басурманы.

На следующий день Караджа собрался со двора в седьмом часу утра. Левашов, давно поджидавший драгомана, подробнейшим образом повторил свою просьбу, присовокупив, что, будучи крайне нездоров, желал бы быть отправленным прямо в Едикуле и не ездить в Диван без крайней необходимости.

Караджа, усмехнувшись, обещал выполнить все в точности.

Ждать пришлось недолго. В десятом часу явился чауш от Порты с приказанием сопроводить Левашова в Едикуле.

От дома драгомана до Едикуле было не менее двух часов езды на веслах. Встречавшиеся рейсы с больших судов кричали гребцам Левашова, не с ума ли они сошли, что в такую жестокую погоду отправились в путь на двухвесельной шлюпке.

Павел Артемьевич совсем пал духом и только просил гребцов держаться подалее от берега, где пенистые волны с шумом били в прибрежные камни и из-за сильного волнения можно было легко пропороть днище лодки.

— Тогда я узнал, сколь тяжело человеку готовиться к смерти и сколь горька минута разлучения с жизнью,— с чувством говорил Павел Артемьевич Обрескову.— Во утешение же себе размышлял я, что сей свет так преисполнен разных бедствий и несчастий, что по справедливости называется юдолью печали. В оном одни только страсти, клеветы, обманы и насилия владычествуют, добродетель же обращена в ничто и в презрении находится даже у тех, кои кормиллом царств управляют.

— Но это уж ты, душа моя, того, со страху совсем философом стал,— отвечал ему Алексей Михайлович.— Видишь ведь, все обошлось.

С приходом Левашова Мельников с отцом переместились в общую камору, получившую название людской, Павел Артемьевич же разместился вместе с Обресковым.

Несколько дней прошли спокойно, а затем вдруг случился инцидент, напомнивший Обрескову, какой, в сущности, вздорный человек этот Павел Артемьевич.

Лашкарев очередной запиской известил, что пущенные Левашовым при посредничестве английского и прусского министров курьеры задержаны и содержатся под крепким караулом. Перехваченные у них депеши представлены Дивану, от которого вышло повеление перевести их на турецкий язык. Прочитав записку, Левашов улегся на войлочную лежанку лицом к стене и затих. Алексею Михайловичу, пригласившему его за стол, он тихо сообщил, что раздумывает, не предупредить ли ему самому угрожающую ему насильственную и поносную смерть, чтобы не быть предметом увеселительного зрелища.

Несколько дней Павел Артемьевич пребывал в глубокой меланхолии. Но вот однажды утром, когда Обресков совершал свой туалет, ловя ладонями струйку теплой воды, вытекавшей из турецкого кувшина с узким горлышком, явился турок-караульный сказать, что в крепость доставлены перехваченные Портой курьеры.

К вечеру пожаловал комендант, за которым шли три человека в немецком платье. Лиц их в сумерках не было видно.

Один из пришедших, сняв шляпу, вежливо осведомился, не российские ли они.

— Российские,— отвечал Обресков.

Незнакомец весьма обрадовался и объявил, что он, сержант лейб-гвардии Семеновского полка Алексей Трегубов, с одним рейтаром и толмачом был послан из Петербурга в Константинополь с депешами для Обрескова. Только у Адрианополя услышали они весть о разрыве между Россией и Турцией, но, не зная, что послан-

ник арестован и посажен в крепость, решили добираться до Константинополя окольными путями. Ехали по ночам, ночевали в поле, но когда совсем уж было почитали себя в безопасности, попались в руки турок, отобравших у них все бумаги, вплоть до паспортов.

С лица Павла Артемьевича не сходила тихая улыбка: курьеры-то арестованы, да не те. Глядя на него, повеселел и Трегубов.

И только комендант, привыкший к обществу узников, сохранял невозмутимость. Внимательно выслушав переведенный ему Пинием рассказ о злоключениях курьеров, он, нимало не удивляясь, сказал, что судьбы своей никто избежать не может.

* * *

Для константинопольских посылок при киевском генерал-губернаторе служили до 300 рейтаров и 12 толмачей.

Начало русской дипкурьерской службе на Востоке положено указом Коллегии иностранных дел от 26 января 1723 г. Для посылок в Царьград велено было выбрать в Киеве «из рейтар самых добрых 10 человек, да из казаков, которые по-турецки и по-татарски говорить могут, 10 и привести их к вере в том, чтобы им, как туда едучи, так и назад возвращающимся, ничьих партикулярных писем не возить и давать на всякий съезд рейтару по 30, казаку по 20 рублей, а в бытность в Царьграде при резиденте даван им будет по-денный корм; и тех определенных рейтар и казаков в другие ни в какие посылки не посылать, чтобы они для посылок в Царьград были всегда в готовности».

Должность толмача была самая незавидная. В 1745 г. Неплюев доносил в Коллегию иностранных дел, что присылаемые к нему курьерами рейтары, а паче толмачи «ездыт смрадно разодранные и в дороге подлый народ зело их презирает, и в Константинополь со стыдом являются, и из них некоторые, а особливо из толмачей, недостойны в царьгородские посылки и употребляемы быть по худобе их». Коллегия предписала «тех толмачей рассмотреть и негодных в те посылки не употреблять. А с рейтарами, кои сами умеют по-турецки, толмачей и посылать не для чего, и велеть им всем в дороге ездить и наипаче в Константинополь приезжая тамо являться в твердом, а не в разодранном мундире».

Для толмачей и рейтар был начальником, а уж переводчик — как царь небесный, не дотянешься. Только способнейшие из них могли дослужиться до переводчика, что давало им право на офицерский чин. Среди киевских толмачей такие счастливики были наперечет, и имена их помнили долгие годы.

Отец Мельникова, Матвей, служил толмачом при канцелярии киевского генерал-губернатора с 1748 г. Уроженец Нежина, он с малолетства ездил с греческими купцами в Крым и в Турцию. Со временем выучился говорить по-гречески и по-турецки хорошо, а по-татарски, по-волошски, по-венгерски, по-сербски «еще не аккуратно». Жили бедно, жалованья платили 30 рублей в год да при посылках в Константинополь 20 рублей подорожных.

Сам выбиться из тяжелой нужды Матвей Мельников и не мечтал, но сыну своему судьбу приготовил иную. С молодых ногтей Степан превзошел под началом отца греческий и турецкий языки, а затем по протекции генерал-губернатора был определен в Константинополь, где сначала ходил в учениках, затем был определен переводчиком, а год назад по ходатайству Обрескова зачислен на штатную должность секретаря константинопольского посольства.

Старый Матвей посматривал теперь на сына с боязливым обожанием и все норовил называть его уважительно на «вы» и по имени-отчеству.

— Да что вы, тату,— говорил досадливо Степан Матвеевич.— Что вы, право, не помните разве, как недавно еще поперек лавки меня клали?

Теперь при виде отца Степан Матвеевич испытывал двойственное чувство. Временами, особенно когда они оставались вдвоем, его охватывала острая нежность к постаревшему в последние годы родителю. Он досадовал на себя за то, что все еще не смог избавить его от необходимости зарабатывать себе хлеб насущный тяжелым трудом. Временами же при виде того, как отец терялся и лебезил перед Обресковым, Левашовым и тем же Пинием, Степану Матвеевичу делалось стыдно, неловко, и он в душе негодовал на него за то, что тот отправился на старости лет в далекий и опасный вояж.

В такие минуты Мельников-младший становился раздражительным. Все больше времени проводил он в камерке посланника. В людской, где отец сразу почувствовал себя как рыба в воде, ему было скучно и неловко.

Впрочем, секретарских дел, как ни странно, хватало и в крепости. Благодаря Лашкареву ни одно мало-мальски важное событие, происходившее в турецкой столице, не проходило мимо Обрескова.

К середине октября из Едикуле в Петербург была отправлена первая депеша.

* * *

*Письмо резидента Обрескова
к действительному тайному советнику
графу Н. И. Панину из Константинопольского Едикуле
от 14-го октября 1768 г.*

Милостивый мой Государь, я по сие время в здешней пропасти плеснею*; домогался всеми возможными образы высвободиться, не токмо из оной, но и изо всей здешней проклятой области, в которую бы то сторону ни было, сухим ли путем или морем, но не вижу еще никакой надежды сие щастие возиметь, а паче много опасуюсь, что ежели натуральная смерть не предварит, может по здешнему варварству прекратится жизнь моя какой огласистой казнию, ибо видима злоба надменная за то, что будто я чрез пять лет разными увертами Порту проводил и усыпил ея допустить совершить

* В документе сохранены орфография и пунктуация подлинника.

избрание королевское и постановление трактата ручательства; но в существе сие один токмо предлог, чтоб оправдать свое вероломство и прикрыть корыстливые виды, родившихся из представлений самых злостных и нечестивых поляков, а имянно: чтобы приобрести Подолию и всю польскую Украйну и тем наградить издержки на войну употребленные. В 6-й день по заточении моем приведен в товарищество Господин Левашов с переводчиком Мельниковым и двумя служителями, а на сих днях прислан приехавший лейб-гвардии семеновского полку ундер-офицер Трегубов с одним рейтаром и одним толмачом, по отобрании от них депешей всех даже до пашпартов; и тако я нахожусь здесь сам восемнадцатый, а прочие ученики, рейтары и домовые мои служители еще на воле находятся. Злостной новой визирь, кажется, приехал сюда только войну объявить и меня в здешнюю пропасть заточить, и которой по 28-ми днях, а имянно: 10-го числа сего месяца сменен, по причине, как то в декларации салтанской объявлено, затмения памяти и разума его. Верховным визирем сделан Нисанджи паша, бывшей и на предь сего, во время избрания ныне владеющего польского короля, реиз Эфендием, и с которым я тогда все дела, касающиеся до онаго происшествия трактовал и кончил; человек умной и о делах сведомой, и ежели бы прежде сие место заступил, то бы, конечно, дела до такой крайности не дошли, но ныне пособить тому уже поздно. Вновь зделанной и сюда приехавший 6-го сего хан крымской известной злостной Крым-гирей, на сих днях в Татарию с поспешностию возвратиться имеет, и которой по прибытии туда безсумненно не запоздается в границах наших набег учинить, чрез что жители новой российской губернии и поселившиеся за линией неминуемо все похищены будут, ежели заблаговременно во внутри линий не переведутся, и тем наипаче здешние варвары ободриться могут. Армия в будущую весну по причине многочисленных охотников будет состоять в великом множестве людства, и как кажется не менее 200 000 человек не считая татар, посему и с стороны нашей в размеру меры брать должно. Английской посол и пруский посланник несколько стараются о высвобождении моем, но не видно никакого уважения к представлениям их; по сему вся моя надежда остается на неизреченное и неизчерпаемое Ея Императорскаго Величества милосердие, и что Ея Императорское Величество не стерпит, чтоб я за верную и ревностную к ней службу, настоящим порабощением и опасности самой жизни чрез долгое время подвержен остался, но паче всемилостивейше повелеть изволит употребить все возможные способы к освобождению моему как то посредством союзных и дружеских дворов, а в крайнем случае учреждением конгрессу и назначением во оном меня в числе комиссаров; а потоль много испытанному вашему сиятельству ко мне отличном благоволении не сумеваюсь я ни малейше, чтоб и вы не сделали всего в силах ваших быть возможного к возвращению мне свободы, вероломно отнятой, а в случае смерти дозволит человеколюбивое отеческое покровительство сырым моим детям, в которое их повергаю... К сему с непременным глубочайшим высокопочитанием и всепокорнейшею преданностию всенижайший слуга безщастный Алексей Обресков.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
НА ПОДВОРЬЕ РУССКОГО ПОСОЛЬСТВА.

Сентябрь — октябрь 1768 г.

Первую неделю после объявления войны ученики восточных языков, рейтары, дворовые люди Обрескова и Левашова, оставшиеся на посольском дворе в Пере, провели в тревоге. Ежечасно ждали, что выйдет от Порты распоряжение увести всех на каторжный двор, как не раз бывало во время прошлых войн с Турцией.

Каждый переживал по-своему.

Ученики и рейтары исправно пропивали последние гроши.

Челядь дворовая тюки увязывала — будто понадобятся они там, на каторжном дворе.

Настоятель посольской церкви Леонтий вкупе с обретавшимся при нем послушником Наркиссом перепилил решетку в окне церкви, выходявшем на улицу, надеясь бежать, если нагрянут янычары.

На восьмой день, однако, стало поспокойнее. Лашкарев привез из крепости от Обрескова записку Джорджу Абботу с просьбой выплатить жалованье оставшимся на посольском дворе.

Ученикам причиталось по 200 левов, рейтарам — по 100.

Леонтию казначей отсчитал 100 левов.

Возвратясь домой, Леонтий пошел к рейтарам, компанию которых раньше почитал для себя низкой, и напился с горя.

— Капеллан российского посольства, — втолковывал он, сидя в насквозь прокуренной рейтарской горнице, старшему вахмистру Остапу Ренчкееву, — в служебном артикуле стоит много выше ординарного студента, значит, и жалованье у него должно быть больше. Разве студенты присягают на службу государыне? А всякий священнослужитель еще при рукоположении к формальной присяге приводится.

Остап, высохший до костей, как кощей, согласно кивал головой, отчего пожухлый ус его окунался в жбан кипрского вина, стоявший на столе.

— Студенту вообще денег не надобно. Ну на что ему, скажи на милость, 200 левов? Семьи нет, за учение из министерской казны платят. Уйду, ей-богу, уйду на Афон.

Остап крякнул и с нетрезвой убедительностью загудел:

— Ну что ты, отче, все про Афон да про Афон. Брось и думать об этом. А нас на кого покинешь? Всякому доброму христианину необходимо нужен духовный отец. Особенно в военное время.

Ренчкеева неожиданно поддержал состоявший при рейтарах толмач Яков Сенченко, маленький, злой мужичонка, известный своим занозистым характером.

— Мы как верноподданные всемилостивейшей нашей государыни присягали ей служить до последней капли крови, — он хлопнул по столу слабеньким кулачишкой, выпучил рачьи глаза на выжидательно уставившегося на него Ренчкеева, — но что касается души, то в ней властен лишь создавший нас Господь.

Вахмистр согласно закивал головой и потянулся к жбану.

— Плесни-ка и мне, Остап Петрович, — встрепенулся Сенченко и продолжал: — Если, не приведет Господь, наступит наш смертный час, то я намерен встретить его по-христиански. Его Превосходительство как знает: желает умереть по нынешней моде, без причастия, — на то его воля. Я же, признаюсь, ни для какого превосходительства, ни даже для сиятельства не намерен умереть без попа.

Болтовня захмелевшего толмача целительным бальзамом пролилась на душу Леонтия. Он пожевал губами, сказал безразлично:

— Это нам с тобой, Яков, о смерти думать приходится, а им там, — он мотнул головой в сторону подслеповатого окошка, — в Едикуле резидующим министрам только птичьего молока да воляности недостает.

Ренчкеев, пресекавший сомнительные разговоры по долгу службы и по велению души, нахмурился, но в Леонтия будто бес вселился. Голос его сочился язвительностью:

— Сам же ты, Остап Петрович, знаешь — сколько дней прошло, а постель в крепость только для Его Превосходительства послали. Старика Пиния и других чинов посольства его крутонравное, высокородие на голем каменном полу ночевать оставил.

— Известное дело, богатый и в тюрьме не желает ночь провести так, как бедный ночует всю жизнь, — поддакнул Сенченко и, боязливо зыркнув в сторону Ренчкеева, спросил Луку Ивановича: — А правду говорят, батюшка, что турки первоначально имели намерение заарестовать только господина резидента да Пиния? А остальных уж Его Превосходительство Алексей Михайлович с собой в крепость вытребовал?

— А ты как думаешь? Повара Александра Блистательная Порта заточить в замок велела? Али персонально султан?

Разговор явно принимал опасный оборот. Ренчкеев, пошатнувшись, встал, натянул папаху и укоризненно молвил:

— Экий ты замысловатый, отче. Хотел бы я знать, что худого тебе сделал господин Обресков?

Лука Иванович и сам не рад был, что встрял в щекотливый разговор, но разгорячившийся Сенченко уже не знал удержу.

— Ты лучше спроси, — петухом налетел он на Ренчкеева, — а коли знаешь, сам скажи, кому он чего доброго сделал? Я четвертый год в Константинополе толмачу, а, ей-богу, ни разу голоса его не слышал. Или при виде меня у него язык отнимается — иначе не может быть, чтобы в три года не сказал он мне какого ни весть доброго слова.

Вахмистр покачал головой:

— Пустой ты казачишко, Яков. Этак не говорил бы, если бы не знал, что теперь тебя отсюда не выгонишь. Раньше я тебя бы за такие слова живо в Расею наладил. Да и теперь, смотри, как бы твои поносные разговоры тебе же и боком не вышли. Подумай дурной своей головой, на кого хулу возводишь. Господин Обресков нам отец родной. Он и в крепости находясь протезирует всем российским подданным...

— Знаем мы, как протезировал он полтавским купцам или донским казакам, коим его покровительство обрило головы и оде-

ло во французское платье, — не унимался Сенченко. — Нет уж, увольте меня от такого покровителя — покорный слуга. Вот возьму подорожную — и пойду восвояси, туда, где нет таких покровителей...

Ренчкеев отвечать не стал. Он махнул рукой, сплюнул от злости и побрел в каморку, где ютился с женой и двумя детьми.

А Леонтий с толмачом сидели за столом до позднего часа, пока на бархатном константинопольском небе не высыпали крупные серебряные звезды.

— Смири гордыню, — говорил Леонтий Якову Сенченко. — Куда ни пойдешь, всюду одно и то же. Бедному человеку нигде жизни нет, а господам везде хорошо. Сдается мне, что и в Судный день господа в тартар в шубах сойдут, да и то непременно в собольих...

* * *

Случай ли, судьба ли привели Леонтия в Константинополь — разве разберешь. Должно быть, все-таки судьба — хотел зиму в тепле перезимовать, а остался на всю жизнь.

Поздней осенью 1766 г. приплыл он в турецкую столицу ларечным пассажиром на греческом судне. Возвращался с паломничества, которое по обету совершил на Синай и к святым местам в Иерусалиме. В Константинополе остановился у земляков, нежинских купцов братьев Ковенко, подрядивших турецкого шкипера свести их в Еникале. Неделю жил у них Лука Иванович, и неделю братья беспробудно пили. Так пили, что, когда протрезвели, не с чем было в Россию возвращаться. Решили зимовать в Константинополе.

Братья и свели Леонтия на посольский двор, где находилась единственная в Пере православная церковь. Впрочем, церковь почти не действовала. Ее настоятель, отец Пахомий, был стар и немощен, даже заутреню, не говоря уж о всеношной, отслужить не мог. Увидев Леонтия, он от радости заплакал светлыми старческими слезами и принялся уговаривать его остаться при посольской церкви.

Леонтий согласился не сразу, неделю размышлял. Многие не нравилось ему на посольском дворе — настоятельская каморка ютилась против кучерской. Жил Пахомий бедно, чтобы свести концы с концами, подрабатывал уроками детям дворецкого, кучера и повара. Что делать? Возвращаться в Россию? Кто ждал его там, кроме матери, монахини Пушкаровского монастыря? Да и денег на обратный путь не было.

Дело решил секретарь посольства Мельников, признавший в Леонтии земляка — он тоже был родом из-под Полтавы. Степан Матвеевич, взявший Леонтия под опеку, чуть не силком притащил его служить обедню в посольскую церковь. На службе присутствовал и Обресков с женой и детьми. От волнения Леонтий и не разглядел толком резидента, но Степан Матвеевич потом сказывал, что жене его понравился голос иеромонаха и Обресков велел устроить ему приемное испытание.

Экзамен проходил в небогато убранной комнатухе, служившей одновременно и жилищем Мельникову, и посольской канцелярией. Убогость ее оттеняла богатство апартаментов резидента, располагавшихся по соседству.

Экзамен был прост. На листе бумаги написал Леонтий с вывертом: Лука Степанович Зеленский (отцовскую фамилию Яценко не уважал, считал простонародной), родился в 1729 г., октября 17-го дня, в превеликом селе Мачихах, существующем поднесь во втором малороссийском полтавском полку пятой полковой сотни. Мельников снес лоскуток Обрескову, который по почерку заключить изволил, что новый настоятель образование имеет изрядное, и приказал ему принять церковную утварь от Пахомия.

Леонтию было объявлено, что берут его временно, до той поры, пока не придет из Синода официальное разрешение определить его на должность. Жалованья ему положили триста рублей. Со временем пристроил Леонтий к делу и Наркисса — прислуживать в церкви да учить кухаркиных детей. Жил Наркисс в чулане, рядом с комнатухой Леонтия.

Будни посольской жизни оказались куда прозаичней, чем показалось Леонтию на первых порах. Пахомия то ли от старости, то ли от радости, что стал он наконец свободен, разбил паралич, и целых полгода он лежал, вялый и беспомощный, проедая половину жалованья, отпущенного Обресковым Леонтию.

Только в мае, отправив Пахомия с провожатым на Афон, принялся Леонтий за устройство церкви, изрядно обветшавшей без хозяйского глаза. Он и в Полтаве слыл рукодельником, а в странствованиях поднаторел в кресторезании, и вскоре церковь преобразилась. По воскресным дням в ней с утра до вечера толпились православные обитатели Перы. Кому не хватало места в церкви, стояли во дворе.

Леонтий встрепенулся было, стал ходить по двору гоголем, но вскоре, к крайнему сожалению своему, обнаружил, что Обресков равнодушен к вере. Паломничество набожных греков на посольский двор его раздражало.

Признаки неудовольствия обнаружиться не замедлили. Жалованье, которое и прежде платили крайне нерегулярно, перестали выдавать вовсе, ссылаясь на отсутствие ответа из синода.

Леонтий решил действовать сам. Написал в Киев митрополиту Арсению Могилянскому с просьбой утвердить его в новом звании, но ответ получил уклончивый, неясный. Митрополит по доброте своей не требовал возвращения Леонтия в Россию, но и благословения на новую должность давать не торопился.

Обресков при встрече смотрел сквозь Леонтия, благодетель Степан Матвеевич и тот смущенно отводил глаза. Чернь посольская, чутром учуяв настроение начальства, стала поглядывать на батюшку с сожалением. Пошли разговоры, что Лука Степанович — беглый монах, подлежащий консисторскому суду.

Особенно докучали приписанные к посольству студенты. Свободного времени у вечно полуголодной, но веселой братии было предостаточно, особенно у недорослей Иванова и Миронова, к нау-

кам склонностей не питавших и шлявшихся по посольскому двору в поисках развлечений. Где ни встретят Леонтия, тут и начнут подшучивать над ним, называя то бродягой, то носом, который своего счастья не видит.

Леонтий в дискуссии не вступал, но иногда отвечал нравоучительно:

— Если бы не было на свете бродяг, то не было бы ни карт географических, ни Камчатки, ни третьей части света, сиречь Америки.

Особняком среди студентов держался Сергей Лазаревич Лашкарев. Мельников рассказал Леонтию, что Лашкарев происходил из старинного рода грузинских дворян. Отец его выехал в Россию с царевичем Вахтангом при Петре I, женился на русской и поселился в Москве. Лашкарев жил в Константинополе всего год, но за это время умудрился стать правой рукой Обрескова. Резидент, как обмолвился однажды Мельников, допускал Лашкарева к делам самым щекотливым, требовавшим сноровки и смелости, — сношениям с конфидентами, которых у российского посольства было в турецкой столице немало не только среди единоверцев, но и среди турок.

Леонтий и сам был немало наслышан об опасностях, подстерегавших тех, кто пытался проникнуть в турецкие секреты. Греки, которых среди его прихожан оказалось немало, рассказывали историю драгомана русского посольства Николы Буйдия, исправлявшего эту должность до Пиния. Он часто бывал у иерусалимского патриарха, жившего в Фанаре — греческом квартале Константинополя, — и тот передавал ему сведения, рассказанные на исповеди драгоманом Порты, тоже греком. Прознав об этом, турки потребовали казнить Буйдия, и только чудом удалось его спасти, отправив в Россию. Леонтий начал поглядывать на Лашкарева с уважением. Кроме родного грузинского языка Лашкарев свободно говорил по-турецки, по-татарски, мог объясниться с греками и армянами. Когда он появлялся на посольском дворе, приземистый, широкоплечий, с лицом, поросшим до самых глаз черной бородой, Леонтий обмирал — вылитый басурман. Турецкая одежда, с которой Лашкарев не расставался, сидела на нем ладно, вороной жеребец был убран на турецкий манер — и на улицах Константинополя он как бы растворялся в разноплеменной толпе обитателей столицы.

Лашкарев, которого хлебом не корми, дай только позубоскалить, поначалу относился к священнику, как и все студенты. Да и Леонтий на первых порах смотрел в его сторону с опаской. Но вот как-то заметил он у Лашкарева редкую по тем временам диковину — плоский карандаш итальянской работы. Заныла, зашла за завистью его душа. Да и нужен был Леонтию карандаш. Короткими константинопольскими ночами при свете восковой свечи начал он писать на клочках бумаги поденные записки о своих странствиях. Каждую ночь писал. Разве напасешься чернил да перьев? Принялся допытываться у Лашкарева, где тот взял карандаш. Студент знай ржет нахально:

— Не прогневайся, батюшка, глаза у тебя как у кота, который только чего не видит, того разве и не просит.

Разобиделся отец Леонтий, отчитал Лашкарева резко:

— Советовал бы я тебе, господин студент, беречься многословия, особенно осуждения, дабы самому не быть осужденным.

Но Лашкарев поддразнивать поддразнивал, а до ссоры не доводил. Подарил ему карандаш и стал первейшим другом. За Лашкаревым и другие посольские обыватели стали признавать Леонтия и принялись помогать ему налаживать небогатое его хозяйство. Дворецкий Обрескова Федор, прозванный за высокий рост Долгим, презентовал оловянную тарелку — у Леонтия в хозяйстве их оставалось всего две, из которых одна была с дыркой. Дородная кучериха Марфа Михайловна пожаловала скатерть, которая хоть и была вырезана из подола ее старой рубашки, но пришлась впору на небольшой столик, который Леонтий смастерил своими руками.

Все было бы ничего, да послал сатана искушение. Прачка Левашова Франческа, молодая, озорная итальянка, взяла моду развешивать постиранное белье прямо перед окнами его комнатухи. Сидит, бывало, Леонтий за столом, углубившись в благочестивые размышления, а Франческа, греховодница, в окошко глазищами зыркает, смеется звонко, руки ее голые перед окошком так и мелькают. Крепился Леонтий, крепился, но натура взяла свое: раздобрел на посольских хлебах, взыграла в жилах дурная кровь — и не выдержал...

После раскаивался.

А в общем, несмотря на приключение с Франческой, жили скучно. За три года, что Леонтий провел в Константинополе, и вспомнить-то было нечего. Вот разве что пожар.

Пожары в Константинополе были нередки. Их тушением занимались обленившиеся янычары, собиравшие с тех, чьи жилища они спасали от огня, немалую мзду. Случалось, что они и сами устраивали поджоги, чтобы поживиться. Однако пожар, приключившийся в Пере летом 1767 г., запомнился надолго. Сгорела половина квартала, в том числе три министерских двора: голландского, неаполитанского и российского посланников. В огне сгинула многокомнатная квартира Обрескова, дотла выгорели посольская канцелярия и церковь. Спасая святые образа, Леонтий дважды бросался в пылавшую огнем церковь, опалил бороду, поранил левую руку. Только после того как огонь утих, опомнился, что сгорела и его собственная квартира, а в ней, Господи прости, мантия новая, 10 палок из финиковой пальмы, вырезанных в пустыне Сур, кувшин с иорданской водой, около дюжины русских и столько же греческих книг...

С первым же курьером пришло из Петербурга разрешение выплатить компенсацию пострадавшим от пожара. Мельников получил тысячу левов, несмотря на то что на министерском дворе всем было известно, что у него только два войлока обуглились. Пиний построил себе новый дом на месте сгоревшего. Студенты и те урвали по 50 левов. У них ничего в огне не пропало, да и пропадать-то было нечему по крайнему их неимуществу. Народ нищий, но воспользовались случаем, требовали с посольства деньги за переноску вещей из дома в дом.

Леонтию не досталось ничего, так как в штате посольства он все еще не числился. Как ни обивал он пороги, как ни силился дока-

зять, что пострадал за усердие к казенному добру, ничего не помогало. Киевский толмач Федор Белый, прибывший ревизовать миссию после пожара, прямо в лицо пробасил:

— На кой черт чернецу деньги?

Леонтий задохнулся от возмущения, но Белый только ухмылялся в ответ и сплевывал под ноги.

Впрочем, как говорится, нет худа без добра.

Загадочна восточная душа. Рядом с самой извращенной жестокостью уживается в ней милосердие. Уже на следующий после пожара день прибывший от Порты кавас в алом кафтане с золотым шитьем известил, что Порта предоставляет российскому посланнику новое помещение. Немедленно отряд янычар явился к жившему, на свое несчастье, рядом с посольством армянскому купцу и изгнал из дома всех его обитателей.

Здесь уж Леонтий не упустил случая. Новую церковь по турецким законам посольство строить не имело права, но он убедил Обрескова оборудовать на скорую руку часовенку во флигеле его нового дома. Через два месяца часовня была освящена иерусалимским патриархом Ефремом.

В награду за сообразительность четыре тесные комнатухи с подслеповатыми оконцами достались Леонтию в личное распоряжение. Новая квартира по сравнению с прежней показалась ему боярскими хоромами.

Однако пользоваться ей пришлось недолго.

* * *

Сенченко, наутро вспомнив вчерашние крамольные разговоры, всполошился первым. За ним и Ренчекеев пошагал докладывать по начальству о настроениях батюшки.

А через три дня Леонтий проснулся от того, что в оконную решетку нетерпеливо постучали. Он неловко соскочил с постели, запутавшись спросонья в холщовом подряснике, в котором и спал последние ночи.

В окошко глядела хмурая физиономия Лашкарева:

— Открывай, отец.

Леонтий поспешил к двери, громыхнул засовом. Лашкарев боком протиснулся в полуотворенную дверь, из которой потянуло утренней свежестью. Топая сапогами, он прошел в горницу и тяжело опустился на резную деревянную скамью у стены. Лашкарев сдернул с головы шапку и вынул из-за ее отворота листок:

— Письмо вам, батюшка, от Алексея Михайловича, из крепости.

Леонтий обмер, засуетился, разгладил на столе шершавый листок с неровно обрезанными краями.

На нем корявым почерком Обрескова было написано:

«Священные иереи!

Я слышал, что вы, невзирая на столь горячие обстоятельства, расхаживаете по улицам. Для того советую и в то же самое время приказываю вам выбрать из двух одно, а именно: либо сидеть дома,

из коего и не выходить ни на один шаг, либо, взяв у турок ларечные билеты, следовать, куда вам заблагорассудится»*.

Прочитав записку, Леонтий впал в оцепенение. Глядя невидящими глазами на прыгающие, повалившиеся набок буквы, он представлял одутловатое лицо Обрескова с тонкими поджатыми губами.

— А верно люди говорят, что нрав у Его Превосходительства крутой, как гора, да кривой, как дуга,— проговорил он, будто очнувшись.

— Ты, батюшка, говори, да не заговаривайся,— прервал его Лашкарев.— Собирай-ка лучше вещички да ступай завтра прямо с утра к посланнику цесарскому или к венецкому баилю за подорожной. Имущество церковное можешь мне сдать, так Алексей Михайлович распорядился.

Делать было нечего. На следующий день Леонтий подпоясался старым кушаком и отправился на двор венецианского посланника. Венецианская республика не входила в число союзников России. Опасаясь Турции, она объявила о своем строгом нейтралитете в войне. Однако негласно венецианцы оказывали российским подданным множество услуг, особенно по коммерческой части. Второй драгоман венецианского посольства Калавр выписал подорожную и паспорт Наркиссу, представив его венецианским греком, возвращавшимся на родину. Через два дня Наркисс на венецианском судне благополучно отплыл на остров Зант, с которого легко можно было добраться до Триеста, а оттуда сухим путем в Россию.

Вернувшись в опустевшую каморку, Леонтий принялся сочинять письмо Обрескову. С обидной, как ему казалось, для резидента холодной вежливостью он перечислил то, без чего ему как капеллану российского посольства было неприлично отправляться в дальний путь: аттестат, паспорт, деньги на проезд, выкуп на случай, если попадет в плен.

Этого показалось мало, и он закончил письмо просьбой уж заведомо невозможной — устроить его на корабль, идущий в Россию.

Неудивительно, что на следующий день Лашкарев, вернувшись из крепости, мрачно сказал, что господин посланник письменного ответа давать не изволил, а устно сказал, что лучше жить без денег на свободе, чем с деньгами в тюрьме.

И все же в Едикуле, поближе к Обрескову, хотелось нестерпимо. Все посольские были убеждены, что хлопоты альянтов об освобождении Обрескова и отправке его на родину в самом недалеком времени увенчаются успехом. Старому Матвею Мельникову, попавшему в крепость явно не по чину, завидовали смертельно.

Леонтий выждал несколько дней и, воспользовавшись тем, что у него давно уже находился в починке серебряный нательный крест Левашова, послал его в крепость с письмом, которое начиналось словами «Благодетель мой Павел Артемьевич».

Ответа пришлось ждать долго. Только через несколько дней Лашкарев получил записку, в которой было несколько строк и для

* Здесь и далее приводятся подлинные тексты записок Обрескова, сохранившиеся в бумагах Леонтия.

Леонтия: «Скажи нашим попам, чтобы они убрались из дома заблаговременно». На словах студент пояснил: «Павел Артемьевич советует тебе идти на Афонскую гору».

Тут наконец Леонтий понял, что его заветному желанию — попасть в Едикуле к резиденту — исполниться не суждено. Помозговав вечерок-другой, он решил, что оставаться на зиму с рейтарами небезопасно. Народ они отчаянный, на посольском дворе не сидят, ради жбана кипрского вина готовы идти пешком через весь Стамбул.

Опасения Леонтия не были лишены оснований. От безысходного однообразия жизни во вражеском городе рейтары все чаще позволяли себе ночные попойки, во время которых оглашали окрестности таким громким пением залихватских малороссийских песен, что из соседних турецких домов через ограду летели камни. Лашкарев пытался утихомирить разбушевавшихся рейтар, но увещевания студента с трудом доходили до их затуманенного разума. Однажды они допились до того, что Иван Петров, киевский рейтар, наострил было всю честную компанию идти в сераль, брать в плен султана. Спасибо Лашкареву — отговорил.

Пить с рейтарами Леонтию было и скучно и боязно. И вот в один прекрасный день собрал он свои пожитки в кипарисовый сундучок, обшил его войлоком и перебрался жить к знакомой гречанке, ходившей, когда была жива еще жена Обрескова, за его детьми. Алена-киндиянка, так звали ее русские, обрадовалась новому жильцу без меры. Нестарая и пригожая еще собой вдова, она полюбила безалаберное гостеприимство российского посольского двора, с которого никогда бы не ушла, если бы не покойная жена Обрескова, невзлюбившая ее невесть за что. Дом у нее был просторный, слишком большой, пожалуй, для Алены и двух ее дочек. Гостю была выделена большая и светлая комната. Отоспавшись в мягкой постели и отъевшись на вкусных Алениных хлебах, Леонтий совсем было стал почитать себя в центре земного Эдема, да начал вдруг замечать, что знаки внимания, которые оказывала ему Алена, становились все назойливее. Вечером она сама приходила застилать ему постель, утром ни свет ни заря скреблась под дверь. Леонтий тогда еще плохо говорил по-гречески, но понимал без труда и, услышав нечаянно разговор Алены с дочками, решил съехать от нее, пока не поздно.

На следующее утро затеял он с Аленой осторожный разговор о том, что неудобно одинокому мужчине, хотя и священнослужителю, жить в доме, где обитают только женщины. Алена, привыкшая брать все от жизни своими руками, устроила скандал. При этом смирная медоречивая Алена превратилась в такую фурию, что Леонтий поневоле вспомнил свидетельство апостола Павла: киндиянки лживы.

В тот суматошный день раз и навсегда зарекся Леонтий иметь дело с иностранками. Свои хоть поскандалят, побьют горшки, да тем дело и кончится. А Алена созвала целый совет родственников, сбежавшихся, кажется, со всей Перы и Фанары. Леонтий, полуоглохший от поднятого ими шума, совсем было решил, что живым

ему из дома Алены не выбраться, как предложили ему заплатить сто левов, сумму несуразно большую за две недели, проведенные в ее доме, и убраться восвояси.

Вытряхнув последние гроши из зашитого в кушак кошелька, Леонтий подхватил сундучок да и был таков. Однако греки шумливы, да отходчивы. Не успел Лука Иванович выбраться за ограду Алениного дома, как был схвачен за рукав греческим попом Сарандой, священником церкви Сорока мучеников. Лука Иванович, злой на всех константинопольских греков, вывернул карманы, чтобы показать, что в них не осталось ни гроша, но Саранда засмеялся, привел его к себе домой и предложил жить у него на всем готовом до окончания войны.

Г л а в а VI

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

2 — 17 ноября 1768 г.

Весь день после разговора с императрицей Никиту Ивановича терзали сомнения. Намерение Екатерины созвать Совет не понравилось ему уже потому, что было для него неожиданным.

Шесть лет назад, сразу же после июньского переворота, он и сам представил Екатерине проект учреждения Государственного совета и реформы сената. Идея эта созрела у него давно, еще в те годы, когда он был посланником в Стокгольме. В Швеции действовала конституционная форма правления. Права короля были ограничены парламентом, в котором схлестывались партии «колпаков» и «шляп», выражавшие интересы нарождавшегося буржуазного сословия и дворянства. Следя по должности своей за всеми перипетиями политической борьбы, Панин невольно сравнивал государственное устройство Швеции и России, и сравнение это оказывалось явно не в пользу России.

Возвращение на родину лишь укрепило его мысли о необходимости перемен.

Предлагавшиеся Паниным реформы были вполне умеренными. Критикуя господствующий произвол, при котором «в производстве дел всегда действовала больше сила персон, чем власть мест государственных», он ратовал лишь за учреждение Совета из шести-восьми министров, которые имели бы право голоса при принятии важнейших решений.

Уже после смерти Никиты Ивановича Денис Иванович Фонвизин, бывший на протяжении долгих лет его секретарем и близким другом, писал: «По внутренним делам гнушался он в душе своим поведением всех, кои по своим видам невежества и рабства составляют государственный секрет из того, что в нации благоустроенной должно быть известно всем и каждому, как-то: количество доходов, причины налогов и прочее. Не мог он терпеть, чтобы по делам гражданским и уголовным учреждались самовластьем частные комиссии мимо судебных мест, установленных защищать невинность

и наказывать преступность. С содроганием слушал он о всем том, что могло нарушить порядок государственный: пойдет ли кто с докладом прямо к государю о таком деле, которое должно быть прежде рассмотрено во всех частях сенатом; приметит ли противоречие в сегодняшнем постановлении против вчерашнего; услышит ли о безмолвном временщикам повиновении тех, кто по званию своему обязан защищать истину животом своим».

Екатерина долго обдумывала проект Панина. Ей и самой претило несовершенство российских государственных порядков. На первом же заседании правительствующего сената она с удивлением обнаружила, что у господ сенаторов не было даже карты Российской империи, хотя географические атласы продавались в академической лавке на другом берегу Невы. Атлас купили, но в делах сенаторы лучше разбираться не стали.

Удрученная жалким состоянием государственных дел, Екатерина совсем уж было согласилась на проект, который предложил Панин. Она даже набросала вчерне состав Совета, в который предполагала включить Бестужева, Разумовского, Воронцова, князя Шаховского, Панина, Чернышева, Волконского и Григория Орлова. Размышляла долго, как именовать будущих членов Совета — слово иностранное «министры» Екатерине решительно не нравилось. Склонялась к тому, чтобы называть их государственными секретарями.

28 декабря 1762 г. Екатерина подписала было манифест об учреждении Государственного Совета, но в тот же день «надорвала» его, поступив совсем как Анна Иоанновна с манифестом верховников.

Никита Иванович не скрывал своего разочарования.

— Сапожник никогда не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого по своему званию, а мне, напротив, случилось слышать у престола государева от людей, его окружающих, — была бы милость, всякого на все станет, — говорил он, неприязненно косясь в сторону Григория Орлова.

Мнения свои Панин высказывал открыто, справедливо полагая их вполне благонамеренными. Однако холодные сквознячки дворцовых сплетен искажали его слова до неузнаваемости, и Никита Иванович представал перед императрицей неким опасным вольнодумцем, ниспровергателем устоев.

Вскоре его перестали вызывать для ежедневного доклада. Петр Васильевич Бакунин, обеспокоенный падением кредита своего покровителя, передал услужливо, что, наставляя князя Вяземского, вступавшего в должность генерал-прокурора, Екатерина обмолвилась:

— Иной думает, для того, чтобы он долго был в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли учреждать должно, а все другие без изъятия заслуживают его критики.

То был знак опасности, которую не следовало недооценивать.

Как известно, Никита Иванович по натуре человек был эластичный. К осени он вернул доверие императрицы, но к делам внутренним его больше не допускали. Да и должность первоприсутствующего в Иностранной коллегии, на которую его вскоре назна-

али, никак не могла сравниться с постом канцлера, занимаемым
о предшественником Бестужевым.

И вот по прошествии шести лет Екатерина сама вернулась к
ее учреждения Совета. Тут было над чем призадуматься. С одной
ороны, Никита Иванович и сам ратовал за утверждение власти
ест государственных, с другой — мысль о том, что в Совете будут
иседать он и Григорий Орлов, трутень, временщик, казалась Ша-
ину невыносимой. За прошедшие годы он слишком привык к сво-
му положению единственного советника императрицы по де-
ам внешнеполитическим, чтобы легко с ним расстаться. Имея
емало тайных и явных недоброжелателей, Никита Иванович
ласался — и, как мы скоро увидим, не без оснований, — что
здание Совета обернется для него новыми каверзами и неприят-
остями.

«Не ко времени эта война. Может, удастся все-таки не доводить
зло до драки? До весны, когда турецкое войско сможет выступить
поход, остается почти пять месяцев. Прибегнуть к медиации со-
знических дворов?» — с этими мыслями Никита Иванович уснул,
о спал беспокойно, без удовольствия.

* * *

На следующее утро, спозаранку, когда Никита Иванович еще
ежился под пуховым одеялом, к нему явился камердинер императ-
ицы Федор Михайлович с запиской: «Прошу Вас мне сказать по
звести, кого Вы думаете лучше посадить в Совет, о котором мы го-
орили. Напишите хотя сейчас на бумажке».

Федор Михайлович, служивший раньше истопником, исполнял
Екатерины роль почтальона для особо доверительных посылок.

Чертыхаясь, Никита Иванович вылез из теплой постели. Дело
борачивалось нешуточным образом, надо было пошевеливаться.

Наскоро приведя себя в порядок, Никита Иванович принялся
исать. Слова ложились на бумагу круглехонько, с уважительными
авитушками.

«Я обязан Вашему Величеству великодушно сказать, — выводил
ланин, — что от сегодня до завтра никак невозможно вдруг учре-
ить Непременный совет, или конференцию, для течения дел и их
тправления, да и сие на первый год истинно не нужно, а может
ыть затруднительно в рассуждении скорости времени, ибо на такое
снование много дней пройти может в едином распоряжении обря-
а, по которому вести дела. Прошу Ваше Императорское Величест-
о назначить в своих покоях чрезвычайное собрание, каковы в цар-
твовании Ваше уже бывали и каковы и прежде при предках Ваших
ывали по всяким чрезвычайным происшествиям, да и в самое вре-
я Непременного Кабинета императрицы Анны I. А по сих основа-
иях и по сущей непорочности души моей во всех ее мыслях перед
вами приемлю смелость представить нужду настоящего совета в
ледующих персонах, чтоб оне, рассуждая между собой, рассматри-
али разные предметы дел и постановили перед очами Вашего Ве-
ичества план первому на то движению, а именно: граф Григорий

Григорьевич по особой доверенности к нему и его такой же должной привязанности к славе, пользе и спокойствию Вашего Величества, как и по его главному управлению артиллерийским корпусом».

Тут Никита Иванович остановил перо, перечитал написанное и остался доволен. В числе членов Совета он назвал Захара Ивановича Чернышева, вице-президента Военной коллегии, генералов, которые могли быть назначены главнокомандующими, генерал-прокурора князя Вяземского — для финансов, себя, вице-канцлера князя Голицына и, наконец, фельдмаршала графа Разумовского, «ибо по обращению его при дворе его считают в доверенности у Вашего Величества, а тем самым тем более удостоверятся о согласии и единодушии предпринятых мер вследствие держащего Совета».

Дописав письмо, Панин запечатал его, не перечитывая, сунул в карман ливреи Федора Михайловича — и отправилось оно по длинным коридорам дворца прямо в покои императрицы.

Остаток дня Никита Иванович был хмур. Отчитал Остервальда, отменил урок танцев, которого Павел, скучавший в обществе взрослых, всегда ждал с нетерпением — на него допускался его задушевный приятель молодой князь Куракин, племянник Панина. За обедом Павел назло Панину не стал есть заказанного им омара, сваренного с уксусом и перцем, — плохо пахло. Панин ел, нахваливал и в назидание рассказывал о некоем министре Цинцендорфе, который столь тонкое обоняние имел, что мог, войдя в столовую, носом чуют, какое кушанье пересолено, а какое недосолено. Павел раскапризничался пуще прежнего, за что и был справедливо наказан — Никита Иванович не позволил ему идти в Эрмитаж на вечерний концерт, с которым великий князь связывал большие надежды. Вот уже две недели, как он не виделся с кокетливой фрейлиной Чоглоковой, своей давней пассией, — он начал с ней «махаться»*, когда ему не исполнилось еще и одиннадцать лет.

Екатерина одобрила строгость Панина. Она не раз была, как сама говорила, «в превеликом амбара»**, когда до нее доходили слухи о том, что Панин или Захар Чернышев затеивали в присутствии Павла разговоры о похождениях некоего итальянца Казановы или читали ему Жил Блаза.

Согласилась она и с мнением Никиты Ивановича о составе Совета, заметив, впрочем, что желает придать ему на время войны постоянный характер. Никите Ивановичу ничего не оставалось, как распорядиться о созыве Совета на следующий день, 4 ноября. Заседание имело быть в личных покоях Ее Императорского Величества.

* «Махаться» на придворном жаргоне XVIII в. означало флиртовать, любезничать (от обмахивания веером). В журнале «Всякая всячина» был даже постоянный персонаж — ловелас Антон Махало.

** А м б а р а — искаженное слово от франц. *embarras* — «замешательство».

В тот памятный для Никиты Ивановича вечер свет в комнатах Екатерины не гас до позднего часа.

Из-за кавалергардов доносился звонкий детский смех, перемежавшийся шумом сдвигаемой мебели и веселой возней. Караульные, сидевшие в вахмистерской, недоуменно переглядывались, не понимая, что происходит. Сцена, разворачивавшаяся за плотно притворенными двустворчатыми дверями, была и в самом деле необычна.

Резвый мальчик со смышленным лицом, облаченный в щегольской бархатный кафтанчик и белые бумажные чулки, бегал, скользя между несколькими находившимися здесь вельможами. Это был Александр Данилов, сын Марков, от которого Екатерине была привита оспа. Императрица от души смеялась, глядя, как он бегал от преследовавшего его графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Граф то приседал, размахивая руками, кудахча, как наседка, то принимался семенить по залу, с преувеличенной комичностью загребая ногами. Мальчик легко уворачивался, прячась то за широкую спину Григория Орлова, то за спинку кресла, в котором расположился Захар Григорьевич Чернышев, вице-президент Военной коллегии.

Наконец Разумовскому удалось оттеснить шалуна в угол, но мальчик, скользя между неловких рук графа, сильно толкнул его — и вдруг спрятался под пышный подол императрицы.

Чернышев замер, Орлов засмеялся. Один лишь Кирилл Григорьевич сохранил хладнокровие и, приблизившись к императрице, сказал:

— Извольте вылезать, сударь, не уподобляйтесь туркам, которые от генерального сражения завсегда по своим степям бегают.

Но мальчик, чувствуя, что на него не сердятся, не спешил покидать свое убежище.

— Неслыханная дерзость, — пробормотал Чернышев.

— Оставьте его, Захар Григорьевич. — Рискованная выходка явно не была неприятна Екатерине. В последние дни Марков сделался ее любимцем.

— Александр Данилыч, не темно ли вам? — спросила императрица, сдерживая улыбку.

— Темно, — донеслось из-под подола.

— Григорий Григорьевич, сделай одолжение, принеси свечу, — обратилась Екатерина к Орлову.

Орлов зашелся в хохоте.

— Ну, так я сама принесу, — Екатерина встала и вдруг быстро сделала шаг в сторону. Маленький проказник, очутившись на свету, завизжал от восторга и удовольствия.

Екатерина подхватила его за руку и направилась в соседнюю комнату, где уже был накрыт стол для ужина. Мальчик был посажен по правую руку от императрицы.

«Если Вы хотите знать, кому он принадлежит, — напишет Екатерина вскоре Ивану Григорьевичу Чернышеву в Лондон, — то брат

Ваш говорил, что со временем он займет место Бецкого — и не спрашивайте меня больше».

Намек более чем прозрачный.

Президент Академии художеств и начальствующий над воспитательными домами империи Иван Иванович Бецкий, «сфинкс», как называла его Екатерина за чрезвычайную молчаливость и загадочное выражение лица, имел привилегию читать императрице французские романы в часы послеобеденные. Люди, осведомленные в придворных конъюнктурах, объясняли столь необычную милость давним, еще со штеттинских времен, знакомством Бецкого с матушкой Екатерины. Сплетни на этот счет ходили разные.

Бецкий, как о том свидетельствовала его усеченная фамилия, и сам был незаконнорожденным сыном графа Трубецкого.

Забегая вперед, скажем, что судьба юного Маркова, вскоре нареченного Оспенным и пожалованного в графское достоинство, будет коротка и печальна. Умрет он молодым.

Кормили во дворце скверно. Екатерина сама довольствовалась на ночь куском вареной говядины и стаканом воды, подкрашенной вином, и других не баловала. Разумовский, известный гурман, пел себе, что не догадался поужинать дома.

— Что смотришь сентябрем, Захар Григорьевич? — не выдержала наконец Екатерина, — не турок ли испужался?

— Та ни, — мигом ответил Разумовский, — он, матушка, как Юлиус Кесарь, зараз три дела делает — мясо жует и план генеральской кампании составляет.

— Где ж третье дело, Кирилл Григорьевич?

Разумовский только этого и ждал. Зажурился, голосом заиграл.

— Мы ж, матушка, не одну, а две войны ведем. С ляхами не кончили, с турками начинаем. Оно, конечно, может, так и нужно. У нас же систе-э-ма, — протянул он. — Как, бишь, ее в Иностранной коллегии зовут?

— Северный аккорд, — ухмыльнулся Орлов.

— Вот, вот... Аккорд. Две войны и ни одного альянса. Спасибо Никите Ивановичу, удружил.

Не смолчал и Чернышев.

— Нынешние столь печальные обстоятельства почитаю следствием неудачных действий в Польше, — отчеканил он.

Екатерине был известен решительный настрой Чернышева. Она помнила, что еще осенью 1763 г., сразу после смерти Августа III, Чернышев предлагал внезапным военным ударом вернуть Белоруссию и западноукраинские земли. Его «мнение» было запечатано в конверт и до поры положено в секретный архив собственной Ее Императорского Величества канцелярии.

— Сразу надо было дело делать, а не с «фамилией»* лясы точить, — продолжал Чернышев, — пятый год дядя с племянниками не могут договориться.

Каламбур Чернышева оценили по достоинству. Не только Понятовский, польский король, доводился племянником Чарторыйским,

* Так называли дружественный России клан Чарторыйских.

но и посол в Польше граф Николай Васильевич Репнин был племянником Панина.

В разговор вступил Орлов, любивший к месту и не к месту вспоминать Бестужева, которого считал дипломатом непревзойденным:

— Если бы держались, как покойный Алексей Петрович советовал, австрийского союза, то турки ни при каких обстоятельствах одновременно против нас и цесарцев оружие не подняли бы. Теперь же и в польских, и в турецких делах Вены опасаться приходится.

После ужина Александр Данилович был отправлен спать, а Екатерина «с кавалерами изволила забавляться в карты».

В одиннадцатом часу Чернышев и Разумовский откланялись.

Орлов остался.

Век осмнадцатый был веком патриархальных кланов. Немало их было и в начале екатерининского царствования — братья Чернышевы, Панины, Долгорукие, семейства Голицыных, Шереметевых.

Но среди всех выделялись своей дружбой братья Орловы. Их было пятеро. Почти до конца века они не делили своих огромных поместий.

За хозяйством смотрел старший брат Иван — младшие вставали при его приближении из-за стола, называли почтительно «папенька, сударушка». Григорий, Алексей, Федор пошли по военной части, Владимир — единственный, получивший кое-какое образование, стал впоследствии по кредиту Григория, фаворита Екатерины, президентом Академии наук.

К началу войны Григорий Орлов находился, как тогда выражались, «в случае» уже десятый год. Двадцатипятилетний адъютант генерал-фельдцейхмейстера Петра Ивановича Шувалова еще весной 1759 г. обратил на себя внимание Екатерины, бывшей тогда великой княгиней. Высокий, статный, Орлов был, по отзыву Екатерины, «самым красивым человеком своего времени». Близость к великой княгине льстила честолюбию Григория. Он быстро потерял голову. «*Sa passion pour moi était publique*»*, — вспоминала впоследствии Екатерина. Однако не только это придавало ему особую привлекательность в глазах будущей императрицы. Дом банкира Кнутсена на Большой Морской, который Григорий делил с братьями Алексеем и Федором, был всегда полон народу. Веселые, удачливые братья Орловы были кумирами гвардейской молодежи. Алексей служил в Преображенском, Федор — в Семеновском полку.

Орловы стали главными исполнителями заговора 28 июля 1762 г., приведшего Екатерину к власти. О его существовании знали многие: Панин, Дашкова, Разумовский. Недовольство было всеобщим. Однако все подробности готовящегося переворота оставались известны лишь Орловым, обеспечившим поддержку заговора со стороны гвардейских полков.

— Орловы сделали все, — рассказывал Фридрих II графу Финку фон Финкельштейну. И по обыкновению вспоминал Лафонтена — Дашкова была только хвастливой мухой на рогах быка.

* «Его страсть ко мне ни для кого не была секретом» (франц.).

Переворот мог свершиться еще весной, но Екатерина была беременна. 11 апреля, под Пасху, она родила мальчика, названного Алексеем — в честь любимого брата Григория. Сын Екатерины и Григория Орлова Алексей Григорьевич Бобринский, воспитывавшийся в семье лакея Шкурина, еще более скрепил их связь.

И тем не менее стремительное возвышение Орловых, последовавшее за воцарением Екатерины, явилось неожиданностью даже для многих приближенных к императрице лиц.

На следующий после переворота день, 29 июня, княгиня Дашкова, считавшая себя ближайшей наперсницей Екатерины, пришла в неопишное удивление, застав Орлова в будуаре императрицы лежащим на диване и читающим секретные бумаги государственной важности. На первом приеме во дворце он уже сидел в кресле рядом с тронном, и высшие сановники и генералы империи, вчера еще не замечавшие его, были вынуждены кланяться временщику.

Поместья, крепостные души, деньги, ордена, графские титулы — золотой дождь пролился на головы Орловых 22 сентября, в день коронации.

Никита Иванович Панин — да и не он один! — чувствовал себя обойденным и обиженным.

Неудивительно, что уже через неделю после переворота французский посланник Бомарше доносил в Париж: «On у conspire contre Orloff et l'on prèpare en secret sa chute»*.

Между тем фаворит старался не злоупотреблять своим положением. По словам умного и беспристрастного летописца нравов екатерининского времени князя М. М. Щербатова, он сумел «почерпнуть и утвердить в сердце своем некоторые полезные для государства правила: никому не мстить, отгонять льстецов, не льстить государю, выискивать людей достойных». Характером и обликом Орлов был русский человек — прямой, доверчивый до абсурда, широкий. Привычки его были самые патриархальные, а всем развлечениям предпочитал охоту, бега и кулачные бои.

Вместе с тем Орлов, несомненно, не имел ни достаточного воспитания, ни природного такта, чтобы приспособиться к требованиям, которые предъявляло его положение первого вельможи империи. Ему были отведены покои во дворце. Однако он предпочитал жить в своем новом петербургском доме, приобретенном у банкира Штегельмана, или на мызах в Гатчине или Ропше, подаренных ему императрицей. Когда он долго не появлялся, Екатерина ездила в карете перед окнами штегельмановского дома, из освещенных окон которого слышались нетрезвые возгласы. Беспорядочная, загульная жизнь, которой предавался фаворит, была предметом сплетен.

И тем не менее Екатерина сносила все: капризы, неверность, пьянство, лень. Почему?

— J'avais les plus grandes obligations à ces gens—la**, — объясняла она впоследствии.

Но это была не вся правда.

* «Против Орлова составляется заговор; тайно готовится его падение» (франц.).

** «Я была обязана этим людям всем» (франц.).

В первые годы после того, как штыки гвардейских полков привели ее на российский трон, Екатерина остро почувствовала непрочность своего положения, вызванную как способом прихода к власти, так и своим иноземным происхождением. В обществе и в гвардии еще были свежи воспоминания о 28 июня. Не прекращались и возмутительные пересуды о кончине Петра Федоровича («от геморроидальных колик»), о странной смерти Иоанна Антоновича во время заговора Мировича. Екатерину называли узурпатором престола. Находилось немало горячих голов, готовых по примеру Орловых испытать судьбу. Составлялись новые заговоры в пользу великого князя Павла Петровича, на место регента прочили Панина.

Надо ли говорить, как важно было для Екатерины в столь горячих обстоятельствах иметь возможность опереться на крепкое плечо Григория Орлова? Когда он был рядом, императрице дышалось свободнее.

Весной 1763 г. при дворе начали даже поговаривать о готовящейся свадьбе императрицы с Орловым. Бестужев принялся было собирать подписи под прошением дворянства государыне о вступлении в брак, однако Никита Иванович, опираясь на всех недовольных взявшими слишком большую власть Орловыми, решительно воспротивился. «Императрица может делать все, что ей угодно, но госпожа Орлова не может быть императрицей», — говорил он в интимном кругу.

Народ взволновался. Поползли слухи.

— Вот, Устинья, не будет ли у нас штурмы на Петров день, — конфиденциально сообщал своей приятельнице отставной матрос Беспалов. — Государыня идет за Орлова и отдает ему престол. Павел Петрович кручинен и кушает только с дядькой своим, Его Сиятельством графом Паниным.

Устинья делала круглые глаза и мелко крестилась.

Брак не состоялся, но Орлов остался самым близким Екатерине человеком. Перед ним открывались головокружительные возможности. Перечень его официальных должностей был обширен: генерал-фельдцейхмейстер и генерал-директор над фортификациями, директор канцелярии опекунов иностранных, член комиссии о правах дворянства, депутат комиссии о составлении проекта нового Уложения, председатель Вольного экономического общества и прочая и прочая.

Однако Орлов не был рожден для государственной службы. Радости заячьей или медвежьей охоты он предпочитал скучнейшим канцелярским делам. Ухитрялся даже не являться на собрания учрежденного Екатериной Вольного экономического общества, назначавшиеся в его собственном доме.

— Способности Орлова были велики, но ему недоставало последовательности к предметам, которые в его глазах не стоили заботы. Природа избаловала его, и он был ленив ко всему, что не сразу приходило к нему в голову, — сожалела впоследствии Екатерина, потеряв надежду сделать из фаворита государственного человека.

Инертность Григория приводила в отчаяние амбициозного и предприимчивого Алехана — Алексея Орлова, истинного вдохновителя «орловской партии».

— Doux comme un mouton, il avait le coeur d'une poule*, — печально вторила неистовому Алехану Екатерина.

Делать такие высказывания императрица стала много позже. Во время, о котором мы ведем речь, дело обстояло совсем иначе.

— Это был мой Блэкстон, — сказала Екатерина в середине 70-х годов в разговоре со своим секретарем Козицким. — Sa tete était naturelle et suivait son train, et la mienne la suivait**.

Иногда, правда, императрица делалась вдруг откровенной:

— Панин и Орлов были моими советниками. Эти два лица постоянно противных мнений вовсе не любили друг друга. Вода и огонь менее различны, чем они. Долгие годы я прожила с этими советниками, нашептывавшими мне на уши каждый свое, однако дела шли блистательно, но часто приходилось поступать как Александр с гордиевым узлом — и тогда происходило соглашение мнений. Смелый ум одного, умеренная осторожность другого — и ваша покорная слуга с ее курц-галопом между ними придавала изящество и мягкость самым важным делам.

Вот так — бочком, зигзагом, курц-галопом — и двигалась Екатерина к одной ей видимой цели.

* * *

4 ноября в десятом часу утра во дворец начали съезжаться вызванные специальными повестками члены Совета.

Никита Иванович вошел в приемный зал, когда все уже были в сборе. Ждали только Григория Григорьевича Орлова, имевшего обыкновение задерживаться.

Оглядев блестящее собрание — военные явились в раззолоченных мундирах и при полной кавалерии, штатские в цветных кафтанах, — Никита Иванович вдруг подумал, что он старше всех этих подтянутых, моложавых придворных. Одному только князю Голицыну, вице-канцлеру, было, как и ему, пятьдесят, остальные — на добрый десяток лет моложе, а уже и под прусскими пулями обстреляны, и в делах государственных не новички.

Кирилл Григорьевич Разумовский стоял в центре зала в окружении генералов Александра Михайловича Голицына, Захара Григорьевича Чернышева, Михаила Никитича Волконского и Петра Ивановича Панина. Кирилла Григорьевича любили при дворе за легкий нрав, необидный малороссийский юмор. Многие, наблюдая интриги придворных партий, жалели о тех добрых временах, когда старший брат Кирилла Григорьевича, Алексей и Иван Шувалов, «русский маркиз Помпадур», по выражению Вольтера, умели ладить между собой и сохранять благосклонность Елизаветы Петров-

* «Добрый, как барашек, он имел куриное сердце» (франц.).

** «Его ум был естествен, он всегда шел своим путем, а я только следовала за ним» (франц.).

ны. Ныне Шувалов уж который год жил за границей, да и Кирилл Григорьевич, обиженный на то, что у него в конце 1764 г. отобрали гетманскую булаву, вернулся из Европы только в прошлом году и с тех пор нечасто покидал стены своего большого дома на Мойке.

Поодаль, у окна, расположились второй Голицын, вице-канцлер, и генерал-прокурор Вяземский.

Широко улыбаясь, Никита Иванович приблизился к кружку Разумовского, где граф Захар Григорьевич рассказывал о пребывании в прусском плену во время Семилетней войны.

— Граф Шверин после сказывал мне, — рокотал глубоким басом Чернышев, обращаясь к Разумовскому, — что король прусский, когда доложили ему о пленении русских генералов, обрадовался безмерно. Он решил, видно, отомстить за геройство моих гренадеров при Цорндорфе, где ему изрядно досталось на орехи, заявив: «У меня нет Сибири, куда можно было бы их сослать, так бросьте этих людей в казематы кюстринские».

— Слова эти совершенно в натуре Его Величества, — вставил Кирилл Григорьевич, постукивая холеным ногтем по крышке золотой табакерки, на которой в алмазном венчике красовался длинноносый профиль Фридриха. — Помню, как принимал он меня в Сан-Суси — мне тогда еще 17 лет не было — так и сыпал афоризмами. Мне даже показалось, что он заранее выучивает их наизусть.

— Софист, совершенный софист, — подтвердил Захар Григорьевич. — Двуликий Янус, в глаза комплиментами рассыпается, а за глаза нас иначе, как янычарами, не называет. Да вот и вышло, что сам-то не лучше янычар. Они по беззаконию своему христианских министров в крепость сажают, а он в каземате их держал — единственно по безмерному честолюбию и лютости.

— Знал бы король прусский, что ты Захар Григорьевич, через три года Берлин возьмешь, не выпустил бы тебя из Кюстрина, — сказал Никита Иванович. Про себя, однако, заметку сделал: и этому альянт наш прусский не по нраву.

Воистину чужая душа — потемки. Никите Ивановичу было хорошо известно, что после короткого царствования Петра III почитателей Фридриха при петербургском дворе поубавилось, но Захар Григорьевич! Он и патент на чин генерал-аншефа до срока получил не потому ли, что свой корпус лишних три дня на виду у австрийцев, расположившихся в крутых богемских горах, продержал — имел уже в кармане приказ Екатерины отойти — и тем подарил королю прусскому Богемию. Выполнить приказ — невелика премудрость, а вот не выполнить его — тут большая тонкость требуется. И уж ежели Захар Григорьевич открыто Фридриха честит — дела плохи, видно, набирает силу орловская партия. Трутень (иначе Никита Иванович Орлова в мыслях и не называл) давно уже на всех углах кричит, что в польских делах России об руку с Пруссией негоже действовать. Да и Разумовский, даром что Орловых заклятый враг, тоже Фридриха не жалует.

Постоял еще немного, осведомился у брата Петра о здоровье супруги Марии Родионовны и отошел к окну. Здесь злословили. Вице-канцлер Голицын, кривя красивый рот, вспоминал, что весной

еще Разумовский часами маршировал по зеркальным паркетам своего дома, упражняясь в прусских строевых экзерцициях, до которых большой охотник был император Петр Федорович.

При приближении Никиты Ивановича Голицын сменил тему разговора, но и услышанного было достаточно, чтобы настроение Панина испортилось окончательно: снова Пруссия, единственный союзник, на которого могла положиться Россия в предстоящей войне, подвергалась насмешкам. Что они, сговорились, что ли?

Обдумать обстоятельно сложившуюся ситуацию Никита Иванович не успел. В приемную стремительно вошел, сверкая золотым шитьем генерал-фельдцейхмейстерского мундира, Григорий Григорьевич Орлов. Степан Федорович Стрекалов, правитель канцелярии новообразованного Совета, давно уже с тоской поглядывавший на дверь, встрепенулся и исчез.

Два осанистых камер-лакея растворили белые с золотой резьбой двери, ведущие в отведенные для Совета покои, и все девять членов его прошли внутрь. Екатерина, «*belle comme le jour*»*, появилась почти сразу же. Спины придворных склонились в поклоне. Провожая взглядом стройную фигуру императрицы, Никита Иванович в который раз подивился совершенству, с которым она владела искусством царственной рисовки. Поправив голубую андреевскую ленту, она устроилась в кресле с высокой спинкой, поставленном в простенке между двумя окнами, и, выждав, пока члены Совета рассядутся, начала без всяких предисловий:

— По причине поведения турок, о чем граф Никита Иванович изъяснит, я принуждена иметь войну с Портой. Ныне собрала я вас для рассуждений о формировании плана. Надлежит решить, какой образ войны вести, где быть сборному месту, какие предосторожности взять в рассуждение других границ империи. В подробности время не дозволяет входить, оставим оные исполнительным местам — Военной коллегии по ее делам, Иностранной — по ее.

При этих словах Екатерина взглянула на Панина и добавила:

— Если же кто примыслит, как с меньшими народными тяготами войну вести, то имеет оное объявить.

Развернув сафьяновую папку, Никита Иванович встал и откашлялся.

Панин считался выдающимся стилистом — выходявшие из-под его пера документы были безукоризненно аргументированы и блестящи по форме. Конкурентов по этой части у него было мало — разве что Григорий Николаевич Теплов, один из кабинет-секретарей императрицы, написавший, по слухам, манифест о восшествии Екатерины на престол сразу набело, не отходя от рабочей конторки. Из прочитанного Паниным пространного меморандума явствовало, что зачинщица войны — Порта, а с русской стороны ни одного случая упущено не было для демонстрации добрых намерений и удержания мира.

Слушали Никиту Ивановича внимательно, но вопросов не задавали. Только Орлов предложил, не изволит ли Ее Величество при-

* «Прекрасная, словно день» (франц.).

казать прочесть письма графа Панина к тайному советнику Обрескову и великому визирю в связи с инцидентом в Балте.

Никита Иванович вновь раскрыл папку. Снова выслушали внимательно и снова вопросов не задавали. Оживились немного, когда граф Чернышев читал подготовленную Военной коллегией записку о прежнем и нынешнем состоянии Порты и о действиях русского войска во время последней с турками войны.

На вопрос Ее Императорского Величества об образе военных действий Совет единогласно объявил, что надобно вести войну наступательную.

Петр Иванович Панин, горячася по обыкновению, настаивал, что с финляндской стороны никакой опасности нет и все полки можно перебросить на юг, чтобы нанести туркам мощный и неожиданный удар. Осторожный Чернышев опасался оставлять столицу без прикрытия.

Поспорили, попетушились под изучающим взглядом Екатерины, но с решением ее согласились сразу: взять меры предосторожности с эстляндской и лифляндской стороны в районе Смоленска, а к астраханским границам перевести два полка из Оренбурга для удержания набегов от соединенных народов.

Статские — Разумовский, Вяземский, Голицын — в обсуждении военных вопросов не участвовали. Кирилла Григорьевича, сидевшего возле жарко натопленной голландской печи, разморило, и он дремал, с трудом сохраняя на лице приличное выражение. Голицын, вице-канцлер, прекрасную, представительную наружность соединял с полной безликостью и мнений своих отродясь не высказывал, потому что не имел. Один генерал-прокурор Вяземский, «око государево», был исполнен неложного усердия и силился произнести что-то, но не знал что. Недалек был Александр Алексеевич. Сабатье де Кабр, французский посланник и известный бонмотист, характеризовал его в своих донесениях кратко, но ярко: «Il est difficile d'être plus borné»*.

Так что дискуссия, направляемая императрицей, шла в основном между Чернышевым, обоими Паниными и Орловым.

Тон задавал Орлов.

— Коли начинать войну, — гудел он звучным басом, — то надлежит иметь цель, на какой конец она приведена быть может. А ежели достичь сей цели нельзя, то не лучше ли от войны уклониться и изыскать средства к избежанию оной?

Никита Иванович, смекнув, в чей огород камешек, резонно возразил:

— К избежанию войны все средства употреблены были, но арестование российского резидента иного означать не может, как окончательного разрыва мирных отношений. Сейчас мир России надобно искать на поле брани. По новейшим известиям, которые лишь нынешним утром получены из Константинополя, сбор турецкого войска назначен в марте в Адрианополе, теперь же в Молдавии находится лишь корпус в 20 тысяч человек.

* «Трудно быть более ограниченным» (франц.).

— А посему, — вновь взвился Петр Иванович, — за лучшее почитаю, собрав все силы, наступать на неприятеля и тем привести его в порабощение.

— Вдруг решительного дела невозможно сделать, — развел руками Орлов. Чернышев, при словах младшего Панина недоуменно оттопыривший толстую губу, одобрительно кивнул головой.

Никита Иванович улыбнулся и сказал достойно:

— Надлежит стараться войско неприятельское изнурять и тем принудить, дабы оно так же начало мира требовать, как желало войны.

На том и порешили. Чернышев, правда, еще толковал об устройстве магазинов для снабжения войск, Вяземский путался в мудреных мерах по поправлению российских финансов, но члены Совета, утомленные шестичасовым сидением, слушали вполуха.

Довольный тем, что последнее слово осталось за ним, Никита Иванович впоследствии и припомнить не мог, когда Орлов начал разговор о посылке российских судов в Средиземное море. Мысль о том, чтобы учинить туркам диверсию с островов греческого Архипелага, показалась ему настолько вздорной, что он только хмыкнул про себя: «Авантюрист» — и думать про орловское чудачество забыл.

Однако уже через два дня, когда Совет собрался вновь, оказалось, что предложение Орлова о направлении экспедиции в Архипелаг было занесено в журнал прошедшего заседания. Пока князь Голицын, фельдмаршал, назначенный командовать 1-й наступательной армией, коленопреклоненно благодарил Екатерину за доверие, Никита Иванович успел обдумать ситуацию. Сначала Екатерина не прислушалась к его мнению об учреждении Совета, потом эта странная идея о морской экспедиции. В довершение всего брат Петр Иванович вопреки ожиданиям не был назначен в действующую армию. Командовать 2-й армией был поставлен П. А. Румянцев. Зная неприязненное отношение к нему Чернышева, можно с уверенностью полагать, что и тут не обошлось без протекции Орлова.

И хотя Никита Иванович удостоился высочайшего одобрения, предложив стремиться кончить войну приобретением свободы судоходства в Черном море и для того стараться об учреждении порта и приморской крепости, а со стороны Польши утвердить такие границы, которые бы навсегда спокойствие водворили, ему стало ясно, что мысли императрицы заняты другим.

Догадка его подтвердилась, когда Орлов принялся читать подготовленную им записку о заведении морских судов. Екатерина даже подалась вперед, чтобы лучше слышать. Лицо ее порозовело, глаза блестели.

Когда Орлов кончил, Ее Императорское Величество, как было записано в журнале Совета, «соблаговолили объявить свое соизволение об учреждении морской экспедиции, которая должна, сочинив план, его в действие производить».

Вечером того же дня Никита Иванович обедал у брата.

Братья Панины были дружны с детства, которое прошло в родовом селе Везовка Калужской губернии, а затем в городе Пернове близ Ревеля, где отец их, Иван Васильевич, служил комендантом.

Род Паниных был известен с XVI в. При Иване Грозном трое Паниных были рындами. Должность небольшая, нечто вроде камерпажа, ни чинов, ни богатства не сулящая. Так и повелось. Государеву службу несли исправно, да и только. Вверх Панины пошли при Петре I. Отец Никиты и Петра участвовал во многих баталиях, дослужился до генеральских чинов, был сенатором при Анне Иоанновне и умер в чине генерал-поручика в 1736 г. Служил честно, мздоимством брезговал и, несмотря на то что женат был на племяннице всесильного Александра Даниловича Меншикова, Аграфене Васильевне Еверлаковой, оставил сыновьям в наследство кроме Везовки лишь половину села Пустотина Ряжского уезда.

Дорогу в высший свет братьям открыло счастливое замужество старшей сестры Александры, вышедшей за обер-шталмейстера князя Александра Борисовича Куракина. Дом Куракиных считался одним из первых в Петербурге. В блистательной гостиной «бриллиантового князя» — Куракин одним из первых в Петербурге стал носить камзол с бриллиантовыми пуговицами — братья познакомились с влиятельными вельможами елизаветинского времени.

Однако судьбы их сложились по-разному. Никита, который был старше брата на три года, после недолгой службы в кавалергардском полку пошел по дипломатической части и быстро сделал карьеру.

Петр в 14 лет был записан капралом в лейб-гвардии Измайловский полк. Однако, едва начав службу, совершил проступок при несении караульной службы при дворе. Времена были суровые, и по приказу Бирона он мигом оказался в действующей армии, которая вела в то время кампанию в Крыму под началом Миниха. Петр служил на совесть, отличился в Крымской и Шведской кампаниях и в 34 года стал генерал-майором.

В отличие от страшого брата Петр Иванович характером был горяч, в речах несдержан и имел репутацию фрондера. В 1764 г. он овдовел. От жены Анны Алексеевны, урожденной Татищевой, имел 17 детей, но все они умерли.

Петр Иванович сидел за покрытым белой скатертью столом и по своему обыкновению брюзжал. Впрочем, на этот раз повод для обиды был основательный: назначение Голицына, известного своей медлительностью и осторожностью, командующим 1-й армией вряд ли можно было назвать удачным.

— Чую, не обошлось без Захарки, — с досадой говорил Петр Иванович, правый глаз его при этом быстро подергивался, будто мигал. — Знает, что князь Александр Михайлович шага не сделает, с ним не посоветовавшись. Хитер, окаянный, хочет все баталии, не выезжая из Петербурга, самолично выиграть. И когда он успел в такой кредит у государыни войти?

Никита Иванович неопределенно пожал плечами, дожевывая кусок любимой своей буженины.

— Не ждал я от него такой прыти. Помню, как возвратился он из чужих краев от министерской свиты брата своего Петра Григорьевича и впервые увидел военную роту в экзерциции. Так дивился все, каким образом люди в такое научение проводимы быть могут! Я, чтобы получить патент капитана гвардии, три года на плацу маршировал, а Захарка по кредиту матери своей сразу определился к малому двору камер-юнкером. А это уж, как вам известно, Никита Иванович, давало ему чин армейского полковника.

С тех пор как год назад Панины были возведены в графское достоинство, они обращались к друг другу по имени-отчеству.

— А Румянцев?— все более горячился Петр Иванович.— В каких кампаниях он службу начинал? Отец его, фельдмаршал, прислал его с мирного конгресса с известием о пресечении шведской войны. И в один день стал из капитанов полковником.

Никита Иванович дожевдал наконец буженину и тихо заметил:

— Но в прусской войне и Румянцев и Чернышев воевали изрядно.

— Да, не спорю, но были лишь в нескольких кампаниях и баталиях, а я был во всех без изъятия четырех генеральных сражениях и в самых кровопролитных кампаниях. За Гросс-Егерсдорф Александровскую ленту получил. При Цорндорфе от подагры шагу ступить не мог, солдаты в седло сажали. Государыня Елизавета Петровна сама мне милостиво говорила, что благодарит Бога за то, что остался жив. Кабы дал Бог, пожила бы подоле, сделала бы мне за службу счастье.

Никита Иванович сочувственно кивал, слушая брата, и тем вводил его в еще больший раж.

— Перед самой кончиной государыни,— почти кричал Петр Иванович, бросая на брата выразительные взоры,— был разработан план, по которому все фельдмаршалы, не исключая и теперешнего князя Голицына, изъяты были от командования армией. И порешили поделить ее на три части между нами, тремя графами.

Никита Иванович молчал, хотя и помнил, что в конце прусской войны Панины еще и мечтать не могли о графском достоинстве. Однако Петра Ивановича было уже не остановить.

— Прикомандированные к генеральной квартире офицеры царские и саксонские объявили, что их дворы предписали им обращаться ко мне как к главнокомандующему. Не знаю,— пожевал маленькими, красиво очерченными губами Петр Иванович, взгляд его сделался безразличным,— подлинно ли была такова воля Ее Императорского Величества, теперь уже один Господь о сем ведает.

В словах Петра Ивановича истина мешалась с вымыслом. Елизавета Петровна действительно часто бывала недовольна медлительностью своих военачальников во время Семилетней войны, однако ни Чернышев, ни Румянцев ни в чем не уступали Панину, и главнокомандующим русскими войсками назначить его было вряд ли возможно.

Между тем подали десерт, и Никита Иванович пришел в еще более благодушное настроение.

— Не гневи Бога, брат,— говорил он, подцепляя серебряной ложечкой малиновое желе.— При нынешнем царствовании ты милостями не обделен. Сверх командования финляндской дивизией вверены тебе места в сенате, в межевой экспедиции, да и в нынешнем Совете.

Петр Иванович только крутнул головой.

— Ничего, брат, не унывай, что ни делается, все к лучшему,— утешал его Никита Иванович.— Поглядим еще, как дело обернется. Сдается мне, что круто берем, не по себе сук рубим. Воевать еще не начали, а в мечтаниях уж и Царьград наш, и морскую экспедицию вокруг всей Европы снаряжать взялись.

— Это все Захарка безмозглый.

— Да нет, братец, тут глубже глядеть надобно, здесь орловская хватка чувствуется.

* * *

С этого времени вопросы, относящиеся к морской экспедиции, оказались в центре внимания Совета. 12 ноября Орлов снова читал свое «мнение» об экспедиции в Средиземное море. Положили отправить «в Морею, к далматам, в Грузию, так и ко всем народам нашего закона, в турецкой области живущим, для разглашения, что Россия принуждена вести войну с турками за закон, и к черногорцам для того послать, что ежели экспедиция за действие произведена будет, то в рассуждении положения земли иметь в оной безопасное пристанище». Голицын, вице-канцлер, на что уж бессловесный, и тот почуял, куда ветер дует,— представил составленный собственноручно перечень народов, «желающих по единоверию под российский скипетр».

Никита Иванович взирал на начавшуюся суету безучастно, сидел тихо, неподвижно, улыбался приятно.

И чуть было не накликал на свою голову новых неприятностей.

На заседании 14 ноября князь Михаил Никитич Волконский предложил членам Совета вопрос: есть ли при нынешних обстоятельствах такие союзники, на которых бы можно было во время беды положиться?

Ответ был ясен: таких союзников не имелось. Туго пришлось бы Никите Ивановичу, если бы умел Волконский вовремя остановиться. Одно спасло — горяч был князь Михаил Никитич, ни в чем меры не знал, как и его отец, известный Никита Федорович, бывший шутом у императрицы Анны Иоанновны. Начал бормотать что-то про конфедератов, ляпнув невпопад, что нынешние обстоятельства в Польше полагает более вредными, чем полезными для России.

Орлов попытался было помочь — спрашивал о причинах, которые привели Польшу восстать против России, да было поздно — на монаршее чело набежала тучка.

Никита Иванович обстоятельно и учтиво объяснил причины, вызвавшие эти замешательства. Для пущей убедительности читал на французском языке последнюю декларацию, посланную в Польшу для восстановления тишины.

Орлов, плохо понимавший по-французски, заскучал, князь Михаил Никитич вспомнил, видно, что сам командовал корпусом, наступление которого в Польшу ускорило избрание Понятовского, и тоже приумолк.

Панин посмотрел на князя душевно, по-доброму, спросил по-французски: «Êtes—vous satisfaits?»* Волконский не нашелся что ответить.

Через месяц он уехал чрезвычайным послом в Варшаву и в заседаниях Совета больше не участвовал.

А Никита Иванович читал 17 ноября в Совете манифест о войне с турками. Проект Панина получил высочайшее одобрение, и решено было объявить его немедленно.

* «Удовлетворены ли вы?» (франц.).

Часть II

«ОТЕЧЕСТВО ДРАЖАЙШЕЕ...»

Глава VII

КОНСТАНТИНОПОЛЬ.

Октябрь 1768 — март 1769 г.

Дни в крепости тянулись однообразно и были похожи один на другой, словно близнецы.

Из флигелька узникам выходить не разрешали — великий визирь регулярно присылал справляться, в достаточной ли строгости содержатся заключенные. По вечерам из-за Золотых ворот, выходящих в сторону Мраморного моря, доносились гортанные крики чаек.

Изредка приходили вести с воли. В конце октября турецкий мекмендар сообщил Пинию под строгим секретом, что великий визирь Хамза-паша, отдавший приказ об аресте русского посольства, смещен с поста и отправлен в ссылку.

Сергей Лазаревич Лашкарев, официально представленный Порте как примас оставшейся в Константинополе русской колонии, сообщал, что о причинах постигшей Хамза-пашу немилости в городе ходили разные слухи. Люди, сведущие в политике, утверждали, что виновником гибели великого визиря стал крымский хан Керим-Гирей, вызванный в Константинополь 17 октября с острова Кипр, где он находился в ссылке после того, как шесть лет назад по приказу султана был смещен с ханской подушки. На аудиенции у султана хан заявил, что война России была объявлена несвоевременно, без надлежащих приготовлений. Арест российского министра строптивый крымец объявил делом и вовсе не достойным.

Другие связывали несчастье, обрушившееся на Хамза-пашу, с неуместной его расточительностью, не понравившейся скупому султану. Стремясь смягчить накопившиеся в ссылке обиды Керим-Гирея, Хамза-паша осыпал его небывало богатыми подарками. Турецкий историограф Вассыф пишет, что в их число входили так называемые сургуч — страусовое перо, осыпанное бриллиантами, которое красовалось раньше на чалме самого султана; кинжал, рукоять которого была инкрустирована драгоценными камнями; часы венецианской работы в алмазном корпусе и несколько мешков денег на обзаведение приличным экипажем. По приказу Хамза-паши хан в начале аудиенции у султана был облачен в шубу, называемую «ка-

башница», которая даровалась лишь принцам крови и великим визирям за особые заслуги.

Впрочем, у Алексея Михайловича было свое мнение.

— Никто, кроме этого полубезумного визиря, не решился бы объявить войну России, — сетовал он Левашову.

Еще более укрепился он в своем мнении после того, как узнал о скоропостижной смерти муфтия Вали-эфенди, которого турки почитали за человека весьма благоразумного. Убежденный противник войны с Россией, он так и не дал фетвы на объявление войны и арест российского посла.

Смерть муфтия турки сочли весьма неблагоприятным для войны предзнаменованием.

Только при преемнике его, новом муфтии — Османе, человеке хитром и коварном, Порта решилась на официальное объявление войны. 30 октября иностранным дворам был прочитан манифест, копия которого благодаря стараниям Лашкарева вскоре оказалась в руках у Алексея Михайловича.

— Сожаления достойный документ, — говорил он Левашову. — Много в нем странных и чуждых справедливости выдумок. Хотя бы здесь. — Он зачитал: «Мы указали Российскому двору, дабы он без всякого отлагательства войска свои из Польши вывел, но онный двор дерзнул сего нашего повеления не исполнить, а через то явно оказался преслушным, и дабы за такое непослушание наказать его чувствительнейшим образом, мы объявили ему войну».

Сменивший Хамза-пашу новый великий визирь, Мохаммед Эмин, был давно знаком русским дипломатам.

— В бытность на аудиенции у Мустафа-паши он сам принял из моих рук верительную грамоту на тогдашний мой характер поверенного в делах, — напомнил Левашов Обрескову.

— А потом был реис-эфенди, — заметил Алексей Михайлович, — и через его руки все польские дела отправлялись. Немало приходилось мне трактовать с ним по самым различным вопросам. Он человек отменного разума и вообще о делах христианских держав довольно сведущ, хотя чрезвычайно вспыльчив и горяч.

Назначение Мохаммеда Эмина великим визирем имело и другие благоприятные для узников Едикуле стороны — появилась реальная надежда хотя бы как-то улучшить условия жизни в заточении.

Из-за стесненности помещения и нездорового воздуха русские дипломаты чувствовали себя нехорошо. Алексей Михайлович, и без того дородный от природы, начал отекать. Посылаемым от коменданта стражникам Пиний, сокрушенно тряся головой, сообщал, что здоровье посланника слабеет час от часу. Турки встревожились.

Вскоре пленникам были отведены еще две небольшие, но чистые и сухие каморки. Им даже разрешили прогулки по двору. Теперь Левашов с Мельниковым подолгу бродили от Золотых ворот до приземистой башни, древние стены которой были испещрены надписями, сохранившимися еще со времен Порфирогенетов.

Алексей Михайлович по-прежнему почти не вставал с постели. Впрочем, как мы увидим далее, болезнь Обрескова была скорее дипломатического свойства.

Пинию приказано было договориться, чтобы к посланнику срочно пригласили кого-либо из европейских докторов. Конечно, делал он это не без задней мысли — стремился установить надежный канал связи с внешним миром. Расчет оказался прост. Европейцы, допущенные в сераль, с давних пор оказывали дипломатам важные услуги. В частности, немецкий доктор Гобис, лечивший самого султана, находился на содержании у прусского посольства. Обресков еще в мирное время поддерживал близкие отношения с греческим врачом Лукой, домашним лекарем Мохаммеда Эмина в бытность его нисаджи-пашой. Став великим визирем, Мохаммед Эмин дал позволение Луке посещать заключенных.

Левашов, аккуратно регистрировавший все события, происходившие с русскими дипломатами в Едикуле, записал в свой дневник: «Мы чрез доктора Луку дали знать новому визирю о бедственном своем состоянии и просили его, чтоб благоволил освободить нас из Едикуле, в чем не только мы на него уповали, но думали, что совсем и в Россию отпущены будем; поелику вышеупомянутый доктор находился у визиря сего в великой милости, да и сам он был нам знаком и благосклонен; однако надежда наша не исполнилась по причине крайнего опасения великого визиря, дабы не подать о себе мысли, что предан российскому двору, хотя при всем том мы единственно чрез пособие его переселены из вышеупомянутых ужасных камор в дом к коменданту, где могли бы с совершенным спокойствием сносить заключение свое, если бы токмо не видели предметного ослабления сил своих от сидячей жизни и худого вообще едикульского воздуха, который был огражден со всех сторон стенами, не очищается ветром и столь нездоров, что и сами жители не имели ни малейшей в себе свсжести и покрыты были мертвенною бледностию».

Из Едикуле Обресков направил в Петербург на имя Н. И. Панина четыре депеши. Как ему это удалось, неизвестно, но думается, что здесь не обошлось без помощи славного доктора Луки.

В старинном здании Архива внешней политики России на Серпуховке сохранились копии всех четырех донесений Обрескова. Первое датировано концом сентября и, без сомнения, могло быть передано лишь через Лашкарева. Второе донесение написано 14 октября — его текст мы воспроизвели полностью — и также попало в Петербург скорее всего тоже стараниями Сергея Лазаревича. Что касается еще двух — от 3 ноября и 15 декабря 1768 г., — то они отсылались уже при посредничестве доктора Луки — в последующей переписке Обрескова есть на это прямое указание.

Я решил не приводить полностью все письма Обрескова из Едикуле, а ограничиться лишь наиболее характерными выдержками (сделав там, где это было необходимо, не меняющие смысла редакторские поправки). Ведь современному читателю эти документы, написанные архаическим языком XVIII столетия, да к тому же на-

спех, прочитать будет сложно. На мой взгляд, это не умалит ни их ценности, ни уникальности.

Письма Обрескова из Едикуле — документы огромной силы, свидетельствующие не только о его незаурядном профессиональном мастерстве, но и о большом мужестве. Если хоть одно из них перехватила бы турки, то последствия этого для Обрескова и его сотрудников оказались бы, несомненно, самыми печальными. Алексей Михайлович, конечно же, прекрасно понимал, какой опасности подвергает себя, вступая в недозволенную переписку. И тем не менее из Едикуле в Петербург регулярно поступали важнейшие сведения политического и военного характера.

Донесения Обрескова из крепости показывают, что и в заточении, в сущности, он не прекращал работы: «Вновь сделанный и сюда приехавший шестого сего месяца хан Крымский, известный злостный Крым-Гирей* в сих днях в Татарию с поспешностию возвратиться имеет и который по прибытии туда несомненно не запоздает в границах наших набег учинить, через что жители Новороссийской губернии и поселившиеся за линиею неминуемо все похищены будут, ежели заблаговременно вовнутрь линии не переведутся.

Армия в будущую весну по причине многочисленных охотников будет состоять в великом множестве людства, и, как кажется, не меньше 200 тысяч человек, не считая татар, почему и со стороны нашей в размере меры брать должно. Аглицкий посол и прусский посланник несколько стараются о высвобождении моем, но не видно никакого уважения к представлениям их». Уже через месяц после начала войны у Обрескова рождается идея, которая в конце концов и принесла ему освобождение. Он пишет, что добиться освобождения арестованных русских дипломатов можно через посредничество союзных и дружественных дворов, «а в крайнем случае учреждением Конгресса и назначением в оном меня в числе комиссаров».

В манифесте, обнародованном в конце октября, Порта попыталась дискредитировать русского посла, возложив на него всю ответственность за разрыв мира. В письме Н. И. Панину от 3 ноября Обресков считает необходимым оправдаться и делает это весьма достойно. Он указывает на «гнилость оснований, которыми нарушение мира основывается, и клеветы, на меня возводимые, что будто бы я предъявлял себя полномочным, чего никогда не бывало».

Здесь уместно напомнить, что Обресков был, выражаясь дипломатическим языком того времени, министром-резидентом, или послом III класса. В отличие от послов первых двух классов он не имел полномочий самостоятельно выступать от имени двора, который представлял. Все свои действия он должен был предварительно согласовывать с Петербургом. Алексей Михайлович прекрасно понимал, что попытки турок обвинить его в превышении полномочий объяснялись исключительно стремлением османского правительства снять с себя ответственность за неудачный выбор времени для объявления войны могущественному северному соседу.

* Крым-Гирей — так в русской дипломатической переписке называли хана Керим-Гирея.

Анализируя настроения в высших правительственных кругах, Обресков писал: «Впрочем, кажется, Порта признавать начинает, что объявлением войны не только излишне поспешила, но и, видя себя не в толикой к оной готовности, как думала, опасается быть военными действиями со стороны нашей предваренною, а дабы от подобного для нее несчастья защититься, прибегла к оной хитрости, а именно сделала под рукою тайное внушение, да и такое, что всегда от оногo отречься возможно, аглицкому послу и прусскому посланнику, чтоб дворы их взяли на себя медиацию прекратить все нынешние хлопоты, не допуская до военных действий, дабы тем поусыпать высочайший Ее Императорского Величества двор и поутолить жар приуготовлений его и через то иметь время привести себя в желаемое состояние».

Предположение Обрескова о том, что истинной причиной войны являются виды османов на польскую Подолию и южные области Украины, подтверждалось лихорадочными военными приготовлениями, которые развернулись в Турции параллельно с дипломатическими маневрами. Можно только поражаться, каким образом удалось русскому послу, находящемуся в заточении, собирать подробную и, несомненно, полезную для своего правительства информацию. Он писал 3 ноября Н. И. Панину: «Делаются к войне приготовления, никогда еще здесь не виданные, и по всему видно, что в первую кампанию по множеству охотников армия будет весьма многочисленна; сам же Его Величество останется здесь, а визирь имеет отсюда, как то опубликовано, подняться в середине марта к Адрианополю, куда всем пашам с командами собираться велено, а потом генеральное рандеву имеет быть в Сакче на Дунае. Так исчисляя, вся армия к Хотину или Бендерам прибыть может в половине июня. Хан Крымский отсюда отъехал и следует до места на почтовых лошадях и потом, несомненно, не запоздает набег учинить и будет иметь в сообществе множество из вольницы турецкой, ныне в пограничных городах многочисленно скопившейся. Здесь с крайней поспешностию строят флотилию и, между прочим, 150 так называемых скампавий, на парусах и на веслах плавающих, и которые к весне будут готовы... Между всеми сими великими приготовлениями примечается, однако, некоторая трусость и опасность быть со стороны нашей в действиях предваренными, и ежели бы, паче всякого ожидания, дело было возможно сделать по зиме какое скорое нечаянное против Хотина предприятие или хотя бы некоторое число войск наших вблизи одного появиться могло, то, конечно, бы скопившихся там голоногих не только много изнурило и смертельно перепугало, но и здесь принимаемые меры в великое расстройство привело. Не претендуя ни советы подавать, ни оказаться иметь понятие о военных действиях, однако же по долговому с здешним народом обхождению и по знанию свойств и ухваток их приемлю вольность предложить Вашему Сиятельству, не изволите ли приметить господам полководцам, чтоб за всем нынешним европейских войск против рогаток и пик неполезным предубеждениям в войне против турок оные не оставляли, ибо кроме что всегда оные могут заменять ретрайтменты без отягощения солдат работами

оних, но весьма способны удержать пылкость здешних, которые, не возмогши терпеть, бросаются дисператно, несмотря на урон, чтоб действовать саблями. В таких случаях сколь бы артиллерия сильно ни действовала, почти невозможно, чтобы те, которые не добрались и не проломились, а наипаче ежели продолжать будут строиться в три шеренги, как то ныне в Европе обыкновение есть, чтоб более порасширяться. А наипаче всего подобного несчастья в начале войны при встречах остерегаться должно, ибо в противном случае будут несносны, каждый из овцы львом сделается. Есть и другие разные примечания не недостойные, но описывать их теперь невозможно, а приемлю вольность рекомендовать в рассмотрение отчет, посланный мной на высочайший двор в первых месяцах 1767 г., в котором, может быть, некоторые рассуждения уместными быть найдутся».

Только на исходе третьего месяца пребывания в крепости получил Алексей Михайлович первую весточку с родины. Английский посол в Константинополе Муррей тайно передал ему письмо от Н. И. Панина, датированное 31 октября. В ответном донесении от 15 декабря Обресков с видимым облегчением рассыпается в благодарностях за сочувствие о постигшем русских дипломатов несчастье, выражает признательность и обещание помочь в облегчении их судьбы.

Впервые в переписке с Паниным он дает волю своим чувствам, описывая пребывание в Едикуле: «По переходе моем из подбашенной тюрьмы в наземные две избушки, кои более годятся для скотины, нежели для людей, однако ж в рассуждение прежнего места казались палатами; но по причине великой сырости, спертого воздуха и крайней тесноты вскоре все почувствовали разные припадки, а иные уже было и пухнуть начали. Я же все мои слабости бодрствования духа и совершенным преданием себя во власть Всевышнего без роптания на судьбину нарочито сносил. Но во избавление себя из сего пагубного места притворствовал быть при смерти болен и по сему поводу призывал докторов, через которых тако же здешнего коменданта окаменевшее сердце поумягча, через 50 суток оттуда со всеми выдрался и переведен в частицу комендантского дома, в коем по мне хотя тако ж несколько тесно, однако же не в пример прежнего места нахожусь. По малой мере воздух почище и светлица посуше».

После того как Обрескова и его товарищей перевели в дом коменданта крепости, появилась возможность общаться не только с оставшимися на посольском дворе, но и с дипломатами европейских стран, аккредитованными в Константинополе. В донесении Панину от 15 декабря Обресков сообщал: «Со времени моего заточения аглицкий посол и прусский посланники не перестали стараться о свободе моей, да и римско-цесарский интернунций господин Броняр сперва со своей стороны, а по получении последней почты по указу двора его о том же словесно представлял, да и я разные домогательства делал, но поныне никому никакого ответа еще не дано; однако же начинают сказываться некоторые малые знаки быть намерением Порты тащить меня за визирем, чего за всем моим желанием ви-

деть себя на воле избежать бы хотел по причине неминуемо имеющих быть в такой езде великих изнурений, а оттого по варварству и худой дисциплине здешних войск опасностей для самой жизни. К тому же из рук их... прежде осени выдраться едва ли можно будет, чего ради всеми возможными образами стараюсь удержать свободу и прежде выхода визиря с армиею погрузиться со всеми при мне находящимися на европейское судно и ехать в какой-нибудь порт Италии, а оттуда с первой почтой путь продолжать, а прочих морем или каким другим, менее издержек требующим путем отправить. Когда же сие не выйдет, тоже и за армиею потащиться, ибо лучше всем подвергнуться опасности, нежели здесь жить и гнить. Как считают, визирь с армиею отсюда в поход выступил 20 февраля, чтобы быть в Адрианополе 10 марта, в день, назначенный к рандеву всем корпусам... По видимой же в приготовлениях спешности она армия к Хотину может ранее прибыть, нежели я в предыдущих моих всепокорнейших от минувшего октября Вашему Сиятельству доносил, т. е. к началу июня или же и к середине мая. Армия будет, по всем обстоятельствам судя, премногочисленная».

Обресков ухитрялся даже сообщить точные места сбора и примерную численность собираемых Портою войск. Он писал: «Главная армия будет около Хотина, другая около Бендер, корпус от 20 до 30 тысяч человек в Очакове, да из Трапезундской и Синопской провинций привезены быть имеют до 20 тысяч человек, а Капуданпаша или адмирал выедет на Черное море с тремя военными кораблями, тремя галерами и около 250 мелкими судами, а также грузовыми судами... Из всей флотилии большая часть намерена идти в Азовское море, а другая в Очаковский залив и вверх по Днепру, куда возможно будет».

Он информировал Н. И. Панина и о том, что прусский посланник в Константинополе Зегеллин получил с последней почтой указание из Берлина объявить Порте, что Пруссия охотно возьмет на себя медиацию, с тем чтобы не допустить войны.

Зима 1768 / 69 г. в Константинополе выдалась сырая и холодная. На Рождество шел дождь, и на душе у Алексея Михайловича было уныло и тревожно. В закопченном очаге догорала вязанка сухих сучьев, на которую дворецкий Федор Долгий поглядывал с затаенной тоской. Дрова в турецкой столице были в большом дефиците, и приготовление обеда обходилось порой дороже, чем продукты для него.

27 декабря настал рамадан — месяц священного мусульманского поста. Бархатное южное небо расцветилось желтыми лампадками фонарей, которые муэдзины вывешивали с островерхих минаретов. Днем жизнь в городе замирала, а вечером, после захода солнца, когда глаз уже не мог отличить белую нитку от черной, на богатые столы османов приносились, как выражался Алексей Михайлович, жертвы суетной славы и сластолюбия.

27 января пушечные выстрелы из сераля возвестили рождение новой луны. Начался трехдневный праздник байрам, самый торжественный из религиозных праздников мусульман. В городе резали

баранов, по улицам ходили толпы музыкантов, за горсть червонцев производившие с великой громкостью нестройные, режущие европейское ухо звуки.

29 января, на третий день байрама, во дворе Сералея при стечении огромной толпы разнообразно наряженных османских вельмож был выставлен бунчук — конский хвост на длинной пике. Этот грозный знак войны возвещал, что через 40 дней османская армия выступит в поход. Под заунывное пение стихов Корана бунчук был подружен двумя кади-аскерами возле крыльца дома великого визиря, который по традиции должен был возглавить турецкую армию.

Через несколько дней бунчук был выставлен и перед казармами чынар, поражавшими иноземцев своим пышным убранством и золотой чеканкой ворот.

7 февраля 1769 г. муфтий произвел в Голубой мечети обряд освящения воды. Он погрузил в нее части одежды пророка Мухаммеда, хранившиеся среди самых драгоценных сокровищ сералея. Изящные хрустальные сосуды, наполненные святой водой, османская мать получала из рук самого султана.

В окрестностях Константинополя стали собираться спаги, приезжавшие со всех концов необъятной империи. Распалившись вином, удалые османские рыцари разграбили почти все христианские дома Буюкдере. Особняк Обрескова, располагавшийся в старом парке на берегу Босфора, особенно не пострадал, дом же Левашова, находившийся чуть поодаль, в людном месте, был разграблен полностью.

— Не токмо пожитков не осталось никаких, — жаловался Павел Артемьевич, — а даже выпорожнены все бывшие в погребах вина.

«Я не жалею о потере, — писал вечером Левашов в свой дневник, — поелику она была необходимою жертвою службы моей».

* * *

Осень и зиму 1768 / 69 г. Леонтий прожил у греческого священника Саранды. Дом Саранды стоял в одном из бесчисленных переулков Перы, напротив заброшенного греческого кладбища, осененного кипарисами. Саранда, поп без прихода, каких в Константинополе было великое множество, оказался человеком добрым и гостеприимным. Жили бедно, но дружно, питались за общим столом, хотя по большей части всухомятку: дрова в Константинополе стоили дороже мяса и печку в доме Саранды топили раз в день, вечером.

Осень прошла спокойно. Леонтий, заговоривший по-гречески после ежедневного общения с братьями по вере как природный грек, времени понапрасну не терял. Он с головой погрузился в изучение старенькой «Грамматики» итальянского языка Булатницкого, которую предусмотрительно захватил с собой. Коротать долгие осенние вечера помогали и беседы с Сарандой, питавшим к русским искреннюю симпатию.

По вечерам дом Саранды превращался в место встречи живших в Пере христиан. Особенно часто заходили цирюльник Папакоста, бакалсйщик Маураки и свечкарь-венецианец Франсуа Момжий.

Греки всей душой желали России победы в предстоящей войне, но их по-детски простодушная суеверность забавляла Леонтия.

Предметом обсуждений чаще всего становились различные казусы и чудеса, чуть ли не каждый день случавшиеся в турецкой столице и предрекавшие, по общему мнению, скорую и легкую победу русским войскам.

— Слышал я от дуванчи-каменщика, который работает в султанском саду,— рассказывал Маураки,— о чуде, которое явилось в этом году 26 сентября, в день, когда Порта объявила войну России. Ровно в полночь из-под алтаря св. Софии истекла живая кровь, а над церковью святого великомученика Федора, превращенной в мечеть, чудесным образом сам собой появился крест.

— Это чудо не новое,— возразил лекарь Фокетти.— Я о нем еще от своего отца узнал. Когда турки взяли Константинополь, они сняли крест с церкви святого Федора, водрузив на его место полумесяц. Однако зимой уже от дождя и снега ржавчина подточила полумесяц, и он сполз вниз, образовав крест.

— Не та ли это церковь, в которой видели двенадцать архиереев, сидящих на двенадцати престолах и держащих в руках двенадцать священных книг?— вмешался в разговор Папакоста.

— Та самая,— подтвердил Фокетти.

В другой раз Маураки принес весть о том, что в св. Софии, превращенной турками в мечеть, во время молитвы случилось новое знамение, повергшее басурман в ужас. Когда турецкий проповедник начал свою пятничную проповедь, молясь о скорой победе мусульман над гяурами, по мозаичному лику Спаса, сохранившемуся на хорах праматери православных церквей, прокатилась слеза.

— Это добрый знак, добрый,— задумчиво говорил Саранда.

— Еще, сказывают, на прошлой неделе,— продолжал воодушевленный Маураки,— ровно в полночь будто сам собой ударил на святой Софии колокол и бил ровно двенадцать раз. И с каждым разом слетали со стен басурманские надписи, поганящие святой храм.

Греки благоговейно помолчали, а затем вновь пустились в обсуждение верных примет скорого и неминуемого конца турецкого войска.

Постепенно Леонтий стал в их спорах чем-то вроде арбитра. Особенно возрос его авторитет после того, как по греческой колонии разнеслась весть о его близости к иерусалимскому патриарху Ефрему. К дому Саранды началось настоящее паломничество греков, желавших хоть чем-то помочь единовеерцу.

— В начале зимы султан отправляется в Адрианополь,— рассказывал Леонтию кофейник Золота.— Я сам слышал об этом от верного человека. Туда уже послан кизляр-ага со всем гаремом. А султанский дворец в Адрианополе специально отремонтирован. Сказывают, что султан всю свою сокровищницу с собой взял. Что ты об этом думаешь?

Леонтий, потешавшийся в душе над легковерием греков, ответил:

— Не иначе, как турки одумались и отдают вам обратно вашу столицу. Иначе зачем султану брать с собой в Адрианополь гарем и сокровища?

— Точно так, — вскричал грек, не почувствовавший подвоха.

Обернувшись к стоящему в углу образу, он перекрестился и воскликнул:

— Слава Господу, скоро исполнится пророчество Даниилово и чудо харизм-иероглифов Льва Премудрого!

Леонтий, тронутый простодушием грека, устыдился своего злоумышления и обнял Золоту. Вместе они принесли молитву о победе русского оружия.

В начале декабря в Константинополе появились первые приметы подготовки турецкой армии к военным действиям. Из разговоров, которые велись по вечерам в доме Саранды, можно было получить сведения, представляющие немалый интерес. Бакалейщик Маураки, имевший связи в серале, был неизменно в курсе военных приготовлений турок. Леонтий послушал его рассказы о совещаниях у великого визиря, постройке новых военных судов, литье пушек для укрепления крепостей в Дарданеллах, да и пошел к Лашкареву. Тот встретил Леонтия недоверчиво. Во взгляде его сквозила неприязнь. Уяснив, о чем шла речь, Сергей Лазаревич принялся быстро записывать рассказы Леонтия. Через несколько дней он сам вызвал Леонтия на посольское подворье и сообщил, что его рвание об интересах Отечества отмечено самим Обресковым.

Леонтий, заскучавший было в разлуке с товарищами, начал регулярно навещать на посольский двор. Лашкарев внимательно выслушивал приносимые им известия и советовал вести себя осмотрительно. Леонтий и сам видел, что спокойные дни подошли к концу. К началу зимы турецкая столица наполнилась спагами и различного рода добровольцами, желавшими принять участие в военном походе. Укрывать русского священника стало делом небезопасным, и Саранда предпринял некоторые предосторожности, чтобы турецкие власти не проведали о Леонтии. Особенно он опасался танцмейстера Лолина, венецианца, жившего по соседству, и злоречивой гречанки Феодорулы, имевшей обыкновение наблюдать за происходившим в доме Саранды через подзорную трубу. Из дома Леонтий выходил теперь нечасто и только по ночам, да и к окну подходить остерегался. Нередко ему приходилось коротать время в стенном шкафу, куда его запирала жена Саранды, когда во дворе появлялись нежданные гости.

Но недаром говорится: сколько версвочке ни виться, а конец будет. Как ни старался Саранда замести следы пребывания русского священника в своем доме, вскоре об этом узнала вся округа. И вот наступил день, когда Саранда поутру заглянул в комнату Леонтия и, смущенно отводя взгляд в сторону, сообщил, что к жене его только что приходила злорадная Феодорула. По ее словам, турецким властям стало известно, что в доме Саранды скрывается русский священник.

Делать было нечего. Леонтию пришлось в тот же день, поблагодарив хозяев на словах, а слуг деньгами, перенести кипарисовый сундучок на старую квартиру.

Обитатели посольского подворья приняли Леонтия хорошо. Особенно обрадовался старый его приятель Остап Ренчекеев. Леонтий потом вспоминал, что задали они в первую ночь крепкий пир без музыки, но не без песен.

Всю осень и зиму рейтары и студенты, оставшиеся в посольстве, жили надеждой на скорое возвращение в Россию. Еще в конце ноября Лашкарев принес известие, что прусский посланник Зегеллин и английский посол Муррей представили Порте совместный меморандум, в котором потребовали отправить в Россию «безрезонно заарестованного российского резидента» или по крайней мере выпустить его из крепости. Турецкие вельможи по своему обыкновению отвечали уклончиво, оставляя, впрочем, надежду, что со временем всем русским подданным, оставшимся в Константинополе, будет разрешено уехать на родину.

Зимой в гавани Золотого Рога стояли под спущенными парусами два венецианских судна, нанятых Мурреем. Чуть ли не каждую неделю назначались новые сроки отъезда. К весне, однако, даже невозмутимый Муррей перестал верить турецким обещаниям. В начале марта он потребовал от драгомана Порты возмещения расходов за аренду судов, которые были зафрахтованы с ведома турок. Турки отвечали, что не хотят рисковать жизнью Обрескова и его сотрудников: на море из-за сильных штормов беспокойно и, заботясь о благополучии русских дипломатов, они решили направить всех русских подданных в обозе турецкой армии в Адрианополь, а там при первой okazji отпустить на родину.

Лашкарев немедленно известил об изменении в настроениях Порты Обрескова и получил от него приказ до отъезда непременно навестить в Буюкдере. Леонтий, сославшись на желание перевезти в Константинополь кое-что из оставшейся там церковной утвари, упросил Лашкарева взять его с собой.

С делами управились быстро. Резиденция Обрескова, врученная попечением грека-охранника, почти не пострадала от погромов, учиненных турками в Буюкдере. Впрочем, о недавних беспорядках тут уже начали забывать. В окрестностях Буюкдере было спокойно, и вечером Сергей Лазаревич пригласил Леонтия на прогулку. Здесь между ними и произошел тот знаменательный разговор, который заставил Лашкарева по-иному взглянуть на поведение Леонтия, не раз казавшееся ему странным.

— Родился я на Полтавщине в славном селе Мачихах. Матушка моя, Дарья Власьевна, происходила из польской шляхетской семьи, впрочем в ту пору довольно захудалой. Прадед по матери — пан Ян Зеленский, региментарь, не знаю толком, какого регимента, был родом из самой Варшавы. В семье моей жаловали род Ляха па-че всех прочих, и в юношестве хаживал я в голубом жупане польского сукна, который достался мне от деда моего, царство ему не-

бесное, Власа Яновского. Предки мои жили весело, но не без забот, но в старости деду пришлось жить то у одного, то у другого своего друга за неимением собственного дома,— говорил Леонтий внимательно слушавшему его Сергею Лазаревичу, шагая с ним по тропинке, вьющейся среди древних платанов в долине Буюкдере, красивой из пятидесяти долин Босфора. Впереди на фоне нежно желтеющего вечернего неба вырисовывались фиолетовые вершины Фракийских гор. Склоны их были покрыты садами и виноградниками. У подножия в густой зелени выступали аркады полуразрушенного римского акведука.

Эта вечерняя прогулка как бы перенесла Леонтия в мирное время, когда он ежедневно в сопровождении верного Наркисса, а то и в компании самого Левашова ходил на прогулку в сторону Терапье, где за известковым мысом стояла загородная резиденция английскому послу, или в противоположную по берегу Босфора сторону — к бывшему в Долине роз источнику целебной воды, который турки называли Кастание-сою, каштановая вода. Однако сегодня обычный маршрут решили сократить из понятной предосторожности. Красота вечернего пейзажа умиротворяюще подействовала на Леонтия. Его неудержимо потянуло рассказать своему случайному собеседнику о сокровенном.

— Матушка моя была еще совсем молодой, когда будущий отец мой, Степан Яценко, женился на ней,— говорил он, невольно впадая в столь милую его сердцу монастырскую витиеватость.— Виновники моей жизни, промешкав двадцать лет бездетными, так обрадовались при моем рождении, что души во мне не чаяли. Вскоре переехали мы в село Пушкаровку, что в четырех верстах от Полтавы. Начал я было учиться грамоте у сельского дьячка, но вскоре принужден был престарелыми моими родителями эти занятия оставить и принялся за ножницы, иглу и наперсток. Жили бедно, хотя отец мой был знаменитый на всю округу портной. В свободное время, которого у него, правду сказать, бывало довольно, любил он вырезать из дерева разных забавных зверюшек. Не раз возили мы с матушкой его поделки на Нежинскую ярмарку, где их раскупали нарасхват.

Однако, кроме портняжного мастерства и искусства резьбы по дереву, отец ничем пополнить мое образование не мог. И оставаться бы мне навеки сельским портным, если бы не случай, столь помогший в моей многотрудной жизни. Стоял в нашем селе женский монастырь, притягивавший, что ни вечер, к себе под стены всех наших пушкаровских парней. В юности я был недурен собой, игрывал на бандуре, да и пел, сказывают, знатно. Бандура и познакомила меня с молодой, пригожей монахиней Евпраксией, превосходной певицей на клиросе. Евпраксия была пострижена в монашеский чин на девятом году от рождения и жила в монастыре вместе со своей матерью, отправленной туда в ссылку, не знаю уж, за какие грехи, из северной столицы. Времена были суровые, в Петербурге зверствовал Бирон. Пригожая собой, Евпраксия одевалась лучше и чище других монахинь и говорила так складно, как у нас в Пушкаровке и не слыхивали. Кроме того, Евпраксия слыла философкой. Во всей

Пушкаровке не было столько книг, сколько она имела собственных. Не все из них были монашескими, в чем могу ручаться, так как с позволения хозяйки ее библиотека была под моим ключом. Это и принудило меня на восемнадцатом году жизни покинуть мою бандуру и взяться за чтение, что я незамедлительно и сделал с возможным для молодого человека усердием.

Завистливые пушкаровские кумушки, видя частые мои посещения монастыря, не замешкались всклепать на нас скверную небылицу, не к чести доброй монахини относящуюся. Однако ничего другого, кроме любви духовной, промеж нас не было, да и быть не могло. И не только потому, что была Евпраксия много старше, но и потому что познакомился я у нее с дочерью нашего пушкаровского сотника Феклой Дмитриевной. Влюбился я в нее, как в молодости бывает, без памяти, да и она отвечала мне взаимностью, но она — господская дочь, а кем я был, вы Сергей Лазаревич, и сами теперь знаете...

Леонтий опустил голову и зашагал медленнее.

— Встречи наши продолжались три года. На согласие родителей Феклы Дмитриевны отдать ее за меня замуж нечего было и надеяться. Любезная моя убеждала меня увезти ее за границу, где она хотела постричься в монашеский чин с условием, чтобы я остался монахом в мужском монастыре, не в далеком расстоянии от него находящемся. До сих пор не знаю, почему не согласился я на ее уговоры.

По истечении третьего года несчастную Феклу Дмитриевну, чуть не сошедшую с ума от горя, выдали за бунчукового товарища пана Валевского. Свадьба ее и отворила мне дверь в монастырь.

Помню, как незадолго после этого явился я, да не один, а с престарелыми моими родителями, пред игуменом полтавского Крестовоздвиженского монастыря отцом Феофаном Желтовецким. Принял он нас в своей темной аудиенц-каморе, сидя на дубовой лавке за столом, на котором лежала старинная Библия да горела восковая свеча. Как только он уразумел из сбивчивых моих слов, что мы намерены были всей семьей вступить в монашество, его дебелое лицо изобразило крайнюю степень удивления. Он спросил: «И откуда пришло к вам этакое разорение?» Впрочем, стоило ему уразуметь, что вклад наш в монастырскую казну с лихвой покроет издержки на содержание моих родителей, речи его враз переменялись. Я был принят на послушание в канцелярию Полтавского монастыря, матушка — в Пушкаровский монастырь на всегдашнее пребывание в монашеском чине. Отец мой, будучи не промах, как только был разлучен с матушкой, воротился домой и быстро забыл о своем обещании постричься в монахи. Он больше никогда не приходил к набожному своему чаду в Полтаву.

Наставником мне игумен определил старца Иосаафа Тихоновича. Поначалу отец восприемный столь богато набил мне голову одобрениями черноризничества, что не оставалось в девятнадцатилетнем моем сердечке и полместечка для людской суеты.

Однако три долгих года, которые мы с послушником Мартинианом провели в одной келье с нашим наставником, много изменили

в наших умах и сердцах. Да и, правду сказать, Иосааф Тихонович прескверный был старикашка. Маленькие, острые, как буравчики, глазки его вечно следили за нами из-под мухоярового клобука. За малейший проступок ставил нас всю ночь в угол под иконы на великопостные наклоны.

Семья наша в Пушкаровке жила небогато, но чисто. С прибытия моего в монастырь ничто не казалось мне столь несносным, как наша общая келья. Сырая, темная и очень грязная. У хорошего хозяина хлев таким не бывает. И вот как-то раз мы с Мартинианом, улучив денек, когда келейный наш пастырь отлучился из монастыря по святому послушанию, взялись за метлы и вычистили наше убогое пристанище.

Его высокопреподобие игумен, заглянувший в тот день в возобновленное наше жилище и увидевший небывалую до того чистоту, поквалил нас за труд, а келью наименовал первой по опрятности в монастыре. Однако недолго пришлось нам радоваться. Вернувшись, старец столь разгневался, что заставил нас ползать у его ног, отвечая на наши мольбы о прощении строгими выговорами, смешанными с бранью.

Уж не знаю, как дал Бог вытерпеть три года послушания. Не было у меня ни телогрейки, ни постели, кроме голой лавки, четырех кирпичей и толстой Библии вместо подушки. Тяжела жизнь монастырская, только старцы живут в них с голком. Мне-то еще повезло, через три года после поступления я был пострижен в рясофорные монахи, а затем и в мантийные и стал называться Леонтием. Немало помогло мне и то, что умел я портняжничать, прекрасно вырезывал по дереву и знал садоводство. Скоро сделался я в монастыре необходимым человеком. Обладая недурным голосом, первым тенором, служил перводьяконом в монастырской церкви в течение девяти лет. Дела мои пошли на лад. Отец игумен стал доверять мне поездки за сборами к казакам в Запорожскую Сечь, а потом сподобился я побывать и в обители святого Сергия.

Однако чем дольше жил я за монастырской стеной, тем злее терзала меня тоска, тем горше оплакивал я по ночам несчастную свою судьбину, сетуя, что не хватило мне ни глузду, ни мужества увести любезную мою Феклу Дмитриевну подальше от постылой этой жизни. Сколько потом ни скитался я по чужим краям, сколько ни встречал женщин разных наций: и полячек, и венгерок, и гречанок, и турчанок, а никто уж не был мне так люб, как Фекла Дмитриевна.

Наверно, тоска и была причиной того, что на десятом году жития своего в монастыре я опасно занемог и, будучи при смерти, дал обет пойти в Иерусалим на поклонение святому Гробу Господню. Однако много времени прошло, прежде чем смог я выполнить обет.

Помог случай.

В начале мая 1763 г. убежали из нашего монастыря два брата: иеродьякон Арсений да монах Нектарий. Был я тогда уже иеромонахом, а в отсутствие игумена оставался и наместником. Соборные братья, сожалея о тех беглецах, определили меня погнаться за ними. Отец игумен снабдил меня паспортом.

С Божьей помощью и паспортом переехал я линию и прибыл в Сечь, где без труда и настиг наших беглецов. Такую удачу счел я за божественный промысел и без угрызения совести не стал обращаться к покаянию найденных мной беглецов, а сам сделался их проводником. И пошли мы через Черное и Белое моря на Афонскую гору, откуда на другой год отправил Нектария в наш монастырь, а иеродьякона Арсения оставил на Афоне. Сам же отплыл на греческом судне в Александрию, так как намерен был совершить паломничество на Синайскую гору, чтобы поклониться мощам святой великомученицы Екатерины.

Неблизкая дорога с Афона на Синай, да уж не было мне пути назад.

Леонтий помолчал и огляделся. За разговором он не заметил, как они дошли до середины долины. Перед ними высилось чудо-дерево — гигантский платан, тень от которого в косых лучах вечернего солнца доставала до края долины. Только приглядевшись, можно было понять, что это не одно дерево, а семь сросшихся могучих платанов, серебристая кора которых выдавала их почтенный возраст.

— Святое место, — задумчиво сказал Лашкарев. — Константинопольские греки верят, что здесь стояли лагерем крестоносцы, направляясь на Иерусалим. — Он дотронулся рукой до шершавой коры платана. — Стало быть, этому дереву не менее семи веков. Турки называют его еди кардаш — семь братьев.

В стволе платана зияло огромное дупло, столь высокое и просторное, что в него мог бы въехать всадник.

— Чудны дела твои, Господи, — молвил Леонтий, — сколько ни скитался я по свету, нигде не видел ничего подобного. В Египте, неподалеку от Каира, в древнем Гелиополисе есть сикомор под сенью которого, сказывают, отдыхало святое семейство, спасаясь от Ирода. Но тот сикомор, я думаю, поменьше будет.

Леонтий помолчал и сказал задушевно:

— Никому не говорил, да уж так и быть, открою тебе свою тайну, любезный Сергей Лазаревич. Не только благочестие и обет увлекали меня к святым местам. Не знаю, слышал ли ты, что был в Киево-Печерской лавре монах по имени Василий Григорович-Барский. Половину жизни странствовал он по святым местам и описал свои хождения так, что пошла о нем слава великая по всем российским монастырям. Был и у нас в Полтаве список его странствований, сделанный монахом Кириллом. Не одну ночь провел я над ним, листая при свете свечи страницы этого драгоценного манускрипта. Как живые, вставали перед моими глазами места, куда заносила судьба Григоровича. Уже тогда в мыслях своих называл я себя не иначе, как младшим Григоровичем.

Весь путь его я, конечно, повторить не мог, он ведь странствовал без малого 25 лет. Но в Египте, на Синае и в Иерусалиме побывал. И легко же было мне идти по его стопам! Где только не побывал — сразу узнавал те места, о которых еще в монастырском заточении читал в рукописи Григоровича. Как и он, приплыл я в Александрию на греческом судне, жил в Каире в коптском квартале

Изжование, дожидаясь каравана на Синай. Так же как Григоровича, поднимали меня монахи Синайского монастыря в корзине на высокую его стену. Много мытарств претерпел я на своем пути. На Синае чуть не убил меня злобный аравитянин, которого монахи не пускали в святую обитель. Был удостоен служить обедню в храме Неопалимой Купины, созданном матерью императора Константина многочисливнейшей Еленой. А на самый праздник Рождества довелось мне служить и в храме Вифлеемского монастыря. Да, поистоптала я сапоги, странствуя по святым местам. Был и в Назарете, и в Иерусалиме, а в Иорданской пустыне приключилась со мной лютая болезнь, от которой не чаял я уж и оправиться. А как сюда, в Константинополь, попал, ты сам знаешь.

Лашкарев молча кивнул головой и быстрым движением, будто случайно, коснулся плеча беглого монаха.

После той прогулки в окрестностях Буюкдере Леонтий и Лашкарев, несмотря на разделявшую их солидную разницу в возрасте, сделались неразлучными друзьями.

Г л а в а VIII

БАХЧИСАРАЙ — НОВАЯ СЕРБИЯ.

Декабрь 1768 — март 1769 г.

Читатель, конечно, помнит, что депеши барона Франсуа де Тотта, перехваченные русской разведкой, Обресков, направляясь на аудиенцию к Хамза-паше, прихватил с собой. Лишь неблагоприятное стечение обстоятельств помешало ему документально разоблачить интриги французской дипломатии в Константинополе и в Крыму.

Впрочем, начнем, как говорится с азов.

Когда руководитель австрийской внешней политики канцлер Кауниц узнал, что Порта объявила войну России, послу Марии-Терезии в Константинополе интернунцию Броняру было увеличено жалованье.

Если бы герцог Шуазель умел ценить своих сотрудников, как Кауниц, то жалованье барона Тотта, французского резидента в Крыму, должно было быть увеличено не менее чем вдвое. Именно Тотт оказался тем человеком, который умело и хладнокровно создал предлог для военного конфликта между Турцией и Россией.

Барон Франсуа де Тотт — сын венгерского эмигранта, который нашел убежище во Франции после разгрома восстания Ференца Ракоци. В юности он неоднократно бывал с отцом в Константинополе, в окрестностях которого доживал свои последние годы Ракоци. После смерти отца, последовавшей в 1757 г., герцог Шуазель, близко знавший его семью, принял Тотта под свое покровительство. По протекции Шуазеля Тотт попал во французское посольство в Константинополе. Восемь лет работы под руководством такого признанного мастера дипломатической интриги, как Вержен, стали для него хорошей школой.

Тотт возвращался в Париж с надеждой. Однако вскоре по приезде он обнаружил, что обстоятельства переменились не в лучшую для него сторону.

Король Людовик XV был достойным представителем дома Бурбонов эпохи упадка. И современники и потомки считали его, мягко говоря, человеком взбалмошным. Следует признать, что для столь трогательного единокоролья имелись веские основания. Погрязший в разврате король отдал государственные дела на откуп фавориткам — маркизе Помпадур, а затем графине Дюбарри. «Со странностью, может быть, беспримерной дебилизм Людовик XV постарался скрыть от своих подданных и министров то, что было в нем лучшего», — отмечал в конце прошлого века потомок герцога де Брольо, управлявший так называемым «секретом короля» — знаменитой системой французской секретной дипломатии.

«Секрет короля» не имеет аналогов в истории дипломатии. Наряду с послами Франции, которые находились в ведении министра иностранных дел, в целом ряде столиц Людовик XV содержал секретных агентов, которые имели право сноситься непосредственно с ним или с герцогом де Брольо, главой секретной дипломатии. В Константинополе «секрет короля» представлял сам Вержен, в Варшаве — Эннен, в Петербурге — Россиньоль.

Нередко люди Шуазеля и де Брольо действовали в диаметрально противоположных направлениях. Это вносило в дела путаницу, тем более достойную сожаления, что зачастую в одной и той же стране два французских дипломата вольно или невольно действовали друг против друга, нанося непоправимый ущерб интересам и престижу Франции.

Барон Тотт был человеком Шуазеля. Когда в 1767 г. герцог вновь встал у кормила иностранных дел, он вызвал к себе Тотта и сообщил о решении направить его в Бахчисарай резидентом при Крымском хане. Сначала барон счел себя обиженным и хотел отказаться. Место в Бахчисарае считалось заштатным, и после отъезда предыдущего консула Пейсоннеля вакансию долго не удавалось заполнить. Однако краткий разговор с герцогом убедил Тотта в том, что ему поручается миссия первостепенной важности, от успешного выполнения которой будет зависеть вся его дальнейшая карьера.

Шуазель был откровенен. Он прямо заявил, что основная задача Тотта в Крыму — помощь в подготовке войны Турции с Россией. При этом надо действовать так, чтобы всячески способствовать объединению сил турок, крымцев и польских конфедератов, которые должны выступить против России дружно и сплоченно.

— Франция не может допустить выхода России на берега Черного моря, — говорил он Тотту, мерно роняя слова. — Это нанесет непоправимый ущерб нашим торговым интересам в Леванте.

10 июля 1767 г. Тотт выехал из Парижа и спустя месяц через Вену, Варшаву и Бессарабию добрался до Крыма. В Бахчисарае он был ласково принят ханом Максуд-Гиреем. Быстро приведя в порядок резиденцию консула, которую Пейсоннель оставил в весьма запущенном состоянии, он принялся за дела.

Выполнение порученной ему миссии, как он считал, сильно облегчало то обстоятельство, что в Бахчисарае не было русского консула.

* * *

Крымское ханство было мощным военно-стратегическим форпостом Османской империи, выдвинутым непосредственно к южным границам России. Еще в середине XVI в., после первой и неудачной осады Вены, турки начали понимать необходимость изменения путей своей экспансии. Основное направление военных ударов они перенесли на Русское государство, Закавказье и Иран. Турецкие гарнизоны имелись не менее чем в 14 городах и крепостях Крыма.

Со времен Ивана III турецкий султан присвоил себе право инвеституры крымских ханов и мог назначать и смещать их по своему произволу. Новому хану, восходившему на крымский престол, из Стамбула прислали саблю, символизирующую военное значение вассального Крыма для Турции.

Правившая в Крыму династия Гиреев вела родословную от могучих и жестоких ханов Золотой Орды. Опасными и беспокойными соседями были крымцы. Не раз южнорусские степи дрожали от топота малорослых татарских коней. Не было в Южной России села, в котором не жили бы воспоминания об односельчанах, угнанных в турецкий и татарский полон.

В сознании русских людей Крым отождествлялся с ненавистным татаро-монгольским игмом. Люди поколения Панина и Обрескова помнили, что только в начале XVIII в. было уничтожено право крымцев на выплату России ежегодной дани — «поминок». Памятны были на Руси и претензии крымских ханов на «возвращение» Казани и Астрахани, за которым крылось стремление воссоздать былое могущество Золотой Орды.

Трудно было удержаться на ханском престоле. Крымские ханы сменялись один за другим. Хан в то короткое время, пока оставался у власти, старался извлечь максимум выгод из своего положения, облагая население непомерной данью, подвергая набегам земли соседей. К торговле с Россией крымцы интереса не проявляли. Привыкшие жить за счет поборов, они хищнически эксплуатировали русских купцов. Русское купечество, не имея портов на Черном и Азовском морях, пыталось вести торговлю с Константинополем через Темерников, расположенный в низовьях Дона. В 1757 г. там была основана торговая компания. Однако уже через пять лет она перестала существовать. Обстановка на юге России не благоприятствовала коммерции. В 1762 г. из Бахчисарая пришел указ, запрещающий плавать русским торговым судам по Днепру и принуждающий их приставать в крымские гавани. Вопреки русско-турецкому соглашению о торговле крымцы облагали товары русских купцов двойным налогом. Упорно противились в Бахчисарае также назначению в Крым русского консула, который мог бы облегчить положение русских купцов.

В 1783 г., когда Крым был присоединен к России, Екатерина в письме к Потемкину радостно сообщала, что наконец-то ей удалось «свести эту бородавку с носа». Что и говорить, юмор императрицы порой был весьма своеобразным. Впрочем, не будем чересчур строги. Российским самодержцам было свойственно приписывать на свой счет успехи, которые готовились и завоевывались многолетним целеустремленным трудом всей нации.

Стремление России выйти к берегам Черного моря, своей естественной южной границе, — историческая необходимость.

Однако, прежде чем эта необходимость стала реальностью, предстояло проделать громадную работу. За Крым воевали трижды, из них два раза при Екатерине.

Внесли свою немалую лепту в дела «времен Очакова и покоренья Крыма» также и русские дипломаты.

Русские представители в Константинополе упорно добивались для России права держать консула в Бахчисарае. Хлопотали об этом и Вешняков и Неплюев. Однако только в феврале 1769 г. удалось наконец-то получить согласие Порты на назначение в Бахчисарай «консюля» России. Заслуга в этом в немалой степени принадлежала Обрескову, проявившему незаурядное мастерство в долгих переговорах с турками по крымским делам. Ханские старшины продиктовали капитану Бастевику, посланному киевским генерал-губернатором Глебовым, реестр подарков, которые надлежало вручить хану за согласие на принятие консула. Они состояли в тысяче червонцев, мехах и карете с лошадьми. 9 апреля Екатерина писала в Коллегию иностранных дел: «Для Бога скорее назначьте кандидата для крымской посылки; можете обнадежить, что, кто добровольно поедет, может себя ласкать великих авантажей вперед. И действительно, я ничего не пожалею за такую знатную и нужную услугу».

Желающих поехать в Крым нашлось немало, но выбор консула был неудачен. Майор Никифоров, занявший этот пост, к отправлению дипломатических обязанностей оказался неспособен. Когда Панин читал депеши Никифорова из Бахчисарая, ему скулы сводило с досады.

Вроде и старался майор, ночей не спал, а что ни сделает — все не так. Начал уговаривать хана не мешаться в польские дела, хотя тот еще не молвил о них ни слова. Хитрый крымец, почувствовав, что Россия в нем нуждается, начал вести себя нагло, потребовал в дар кречета для степной охоты. Никифоров же, вместо того чтобы вручить подарок от имени киевского генерал-губернатора, сказал, что он направлен самой императрицей, что было явным нарушением этикета и еще более разожгло ханское высокомерие.

В начале 1765 г. пришлось отозвать Никифорова из Крыма. Повинен в этом прежде всего был он сам. Осенью того года крепостной человек Никифорова, пятнадцатилетний Михайло Авдеев, укрылся в соседней с консульством мечети, объявив, что желает обратиться в мусульманскую веру. По приказу Никифорова Авдеева силой вернули в консульство и посадили под замок. Но татары настойчиво требовали освобождения новообращенного мусульманина. Никифоров был так неловок, что, сообщая об этом в Петербург,

пришел слова муфтия, сказавшего: «Хотя бы и ваша кралица сюда пришла, то мы бы и ее обасурманили». Поступок этот был сочтен Иностранной коллегией горячим и непростительным. Никифорову напомнили, что ренегаты почитаются погибшими и о возвращении их стараться не принято. Грубое же выражение муфтия на счет императрицы было приписано персональной неосторожности консула.

Греть бы после такого дела Никифорову в заштатном гарнизоне до скончания века, да счастливой, видно, оказалась звезда, под которой он родился. В бытность свою в Бахчисарае он завел близкие отношения с неким Якуб-агой, состоявшим при хане Керим-Гирее переводчиком. По должности своей Якуб-ага был хорошо знаком с крымскими делами, и услуги его, несомненно, представляли большой интерес. Никифорову разрешили платить ему довольно значительное по тем временам жалованье — 900 рублей в год.

Однако осенью 1764 г. своенравный Керим-Гирей был смещен с ханского престола, а сменивший его Селим-Гирей отослал Якуба подальше от Бахчисарая, определив ему должность воеводы в Дубоссарах.

Иметь на таком посту верного человека — значит быть в курсе всех сокровенных планов крымцев и турок. И вот Никифоров, лично знакомый с Якубом, получает назначение в секретную экспедицию Петра Петровича Веселицкого, ведавшую сношениями с русскими конфидентами в Турции и Крыму.

Во второй половине XVIII в. киевский губернатор считался как бы «пограничным командиром». В его обязанности входило сноситься с соседями: ханом Крымским, султанами татарских орд и с пашами Бендерским и Очаковским. Эти связи осуществлялись как через нарочного офицера, так и через секретных агентов, которых называли «конфидентами» или «приятелями». Обычно ими являлись русские люди, проживавшие в Крыму и различных турецких областях, преимущественно купцы или торговые люди. Немало было среди конфиденгов и греков, видевших в России защитницу православия, — священников, писарей и толмачей. Ценная информация о военных приготовлениях турок и татар шла из Бендер от писаря Василия Молчана, из Очакова — от Юрия Григорова («породы греческой, родом из Бахчисарая»), также служившего писарем у местного пашы. В январе 1753 г. Григоров сам обратился к некоему вахмистру Тарасову, предложив свои услуги в качестве секретного корреспондента.

Долгое время связи с конфидентами производились от случая к случаю, бессистемно. Это, конечно, отрицательно сказывалось на качестве поступавшей информации, и 21 октября 1763 г. в Киев был командирован канцелярии советник Петр Петрович Веселицкий. Он был человеком опытным. В Семилетнюю войну Веселицкий состоял при главной штаб-квартире русской армии, занимаясь вылавливанием бесчисленных шпионов, которыми Фридрих наводнил тылы русской армии. Указом Коллегии иностранных дел от 11 ноября 1763 г. было велено учредить при Киевской военной канцелярии особую секретную экспедицию, в штат которой включили Никифорова, а начальником назначили Веселицкого.

По всей видимости, Веселицкий был прирожденным разведчиком. Он заботился о правилах конспирации, шифрах, безопасности конфидентов, число которых при нем удвоилось. Исключительно своевременную и достоверную информацию поставлял богатый купец грек Иоанн Николаев Кофеджи, услугами которого Веселицкий пользовался еще во время Прусского похода. Петр Петрович строго сохранял инкогнито «могилевского приятеля», как в своих реляциях он называл Кофеджи. О том, кто скрывается под именем «могилевского приятеля», знали лишь Панин и киевский генерал-губернатор Глебов. Очевидно, это и позволило Кофеджи долгие годы плодотворно сотрудничать с русской разведкой.

На Якуб-агу Веселицкий поначалу возлагал особые надежды. Отправленному на связь с Якубом капитану Бастевнику было приказано выплатить ему жалованье за год вперед. Никифоров, понимавший, что держится в Киеве только своим личным знакомством с Якубом, превозносил его до небес. Однако у Веселицкого вскоре появились сомнения в искренности «приятельства» Якуба. Информация от него поступала скудная и доверия не вызывающая, между тем как алчность Якуба росла не по дням, а по часам. Он постоянно требовал у Бастевика подарков. А в августе 1768 г. просто-напросто ограбил русского купца Федора Бондарева, насильно отняв у него товаров на 1869 рублей в счет невыплаченного Веселицким пенсионна.

При этом Якуб имел наглость выдать ограбленному коммерсанту вексель и письмо на имя Никифорова с просьбой уплатить по этому векселю взамен выдачи пенсии.

Коварное поведение Якуба укрепило давно зародившееся у Веселицкого подозрение, что тот является двойным агентом. Еще летом 1767 г. грек Судакли сообщал, что «в бытность его в Бахчисарае заметил он, что французский консул старается переводчика Якуба на службу приобрести и что слугитель Якуб ему заподлинно сказывал, что кроме других подарков, кои французский консул его господину часто присылает, недавно 200 червонных ему подарил».

О подозрительных сношениях Якуба с бароном Тоттом и польскими конфедератами сообщал и служивший у него писарем Яков Попович. Именно с его помощью Веселицкому удалось перехватить копии депеш Тотта герцогу Шаузелю, из которых ясно следовало, что подкупленный Тоттом Якуб страшно преувеличил результаты инцидента у Балты и Дубоссар. Два десятка убитых и раненых в этом пограничном столкновении были превращены им в «без малого две тысячи погибших».

И совсем уже явно предательство Якуба раскрылось осенью 1768 г., когда посланный в Крым капитан Бастевик был арестован в Каушанах. Вернувшись в Киев из плена 13 февраля 1769 г., он счел своим первым долгом дать пощечину Никифорову, но, на счастье, в это время в канцелярии его не оказалось, а потом Бастевик поостыл.

Никифоров же числился в штате канцелярии киевского генерал-губернатора еще несколько лет.

Весть об объявлении Турцией войны России достигла Бахчисарая одновременно с известием о низложении Максуд-Гирея. С тем же курьером прибыл приказ нового хана, Керим-Гирея, о назначении общего сбора в Бессарабии у города Каушаны. Поход в русскую провинцию Новая Сербия Керим-Гирей решил возглавить сам.

Тотт встретил хана в двух лье от Каушан. Керим-Гирей оказался плотным, внушительного роста человеком лет шестидесяти. Его лисью шапку украшали два пера, усыпанные бриллиантами. За спиной у него висели лук и колчан со стрелами. Повелительный взгляд хана смягчился, когда Тотт, почтительно спешившись, заговорил с ним по-татарски. Барон скорее почувствовал, чем понял, что тон, который он интуитивно принял в разговоре с ханом, одобрен.

В многочисленной свите, сопровождавшей хана, находились его семеро сыновей. Среди них выделялся младший, достигший необыкновенного совершенства в стрельбе одновременно из двух луков. Раскосые, желтоватые, как у молодого волчонка, глаза юноши были колодны. Тотту рассказывали, что мальчику было всего девять лет, когда отец, желая испытать его самолюбие, назвал сына трусом.

— Я не боюсь никого, даже вас, — воскликнул мальчик, поблднев. Мгновенно зазвенела тетива, и стрела, просвистев над головой отца, вонзилась в дерево.

— В тебе течет кровь Гиреев, — сказал Керим-Гирей и с тех пор стал выделять его среди остальных сыновей.

Пышная процессия направилась прямо во дворец. До вечера Керим-Гирей принимал представителей татарских орд, явившихся поздравить его с восшествием на ханский стол.

Ужин обернулся для Тотта маленьким триумфом. Предварительно осведомившись о вкусах хана, он приказал своему повару, которого привез с собой из Парижа, вымочить в белом вине лучшую днестровскую рыбу, приготовить ее по старинному рецепту и подать под изысканным соусом. Повара хана, предупрежденные, что у них будет соперник, также пытались отличиться. Однако превосходство французской кухни было очевидно. Тотт получил привилегию поставлять хану ежедневно двенадцать блюд на завтрак, обед и ужин.

Уже на следующий день развернулась деятельная подготовка к походу. Каушаны сделались центром ханства. Отсюда исходили все приказы, сюда устремлялись гонцы со всех концов татарских владений. Толпы знатных мурз и султанов, собиравшихся во дворце, день ото дня увеличивались.

Вопрос о вторжении в Новую Сербию, решенный в Константинополе, обсуждался на собрании знатных эмиров Татарии. Три армии должны были выступить в поход одновременно. Первая, численностью в 40 тысяч человек, под командованием мурзы Нуреддина, получила приказ двигаться в направлении Донца, а вторая, насчитывавшая 60 тысяч человек, пройти левым берегом Днепра до

Орла. Третью, 100-тысячную армию, возглавил сам Керим-Гирей — она направлялась в Новую Сербию. Около Томбачара в несобирались влиться орды едифанских и буджагских татар.

Выступление наметили на 5 января.

— Намерены ли вы сопровождать меня?— спросил Тотта Керим-Гирей.

Вопрос был чисто риторическим. Тотт и его помощники Рюффен и Кустилье с утра до ночи деятельно готовились к походу.

— Честь быть аккредитованным у Вашего Высочества от имени императора Франции вменяет мне в обязанность не удаляться от вас и тем самым лишает выбора,— почтительно отвечал Тотт.

Губы хана раздвинулись в усмешке и обнажили крепкие желтые клыки. Он сделал легкий знак рукой, и мурза внес в зал великолепную шубу из меха белого лапонского волка на серой подкладке.

— У меня точно такая же,— заметил Керим-Гирей.— Носите ее не снимая, и вас будут слушать, как меня.

И Тотт начал действовать от имени хана. Герцог Шуазель требовал от него добиться максимально возможной координации действий крымцев и конфедератов. Он резонно полагал, что именно в этом таился ключ к успеху, учитывая, что русская армия еще не закончила мобилизацию и располагала сравнительно малыми силами в приграничных областях. В сопровождении представителя Керим-Гирея Тотт отправился в Качин для переговоров с руководителями конфедератов.

Однако переговоры шли туго. Конфедераты жаловались на судьбу, взывали о помощи, но, когда речь заходила о совместном ударе по войскам русских, глазки их начинали бегать, пальцы барабанили по столу, наступало неловкое молчание.

Барон вернулся в Каушаны ни с чем. Однако, ругая конфедератов до остервенения, сам того не ведая, он был несправедлив. Тотт не знал и не мог знать, что побывавший в ставке конфедератов незадолго до него агент «секрета короля» генерал Дюмурье давал им совершенно противоположные советы: не тратить силы в неравной лобовой схватке с русскими, а, дождавшись начала военных действий, наносить удары по тылам русских войск.

Воистину левая рука Людовика XV не знала, что делает правая.

Петр Петрович Веселицкий, получая депеши от расторопных агентов «могилевского приятеля», только хмыкал озадаченно, поражаясь бестолковости происходящего. О готовящемся татарском набеге на Новую Сербию он исправно донес начальству еще в середине декабря.

Однако неразберихи и нераспорядительности хватало не только у французов и поляков.

Генерал-майор Веймар, получив от Румянцева приказ прикрыть всеми имевшимися в его распоряжении силами елизаветградскую провинцию от татарского набег, промедлил с распоряжениями, и 14 января татарские орды беспрепятственно вышли на берег Ингула. Впереди, на краю необъятных запорожских степей, виднелись силуэты форта св. Елизаветы.

В походной палатке Керим-Гирея, вмещавшей 60 человек, собрали военный совет. План действий, принятый советом, был довольно прост: треть армии, состоявшей из добровольцев, должна была перейти Ингул этой ночью и, разбившись на семь колонн, промчаться по Новой Сербии, сжигая и уничтожая все на своем пути. Решили, что каждый воин, который примет участие в набеге, поделится награбленной добычей с двумя солдатами главной армии, которой было предписано переправиться через Ингул на следующий день и, обойдя форт св. Елизаветы, прикрыть войска, опустошавшие Новую Сербию.

Татарская орда, собравшаяся на берегу Ингула, была огромна и разношерстна. Поднявшись на небольшой курган, Керим-Гирей провел смотр своего воинства. Он указал Тотту на отборные части крымской конницы, выступавшие правильными шеренгами. За конницей следовала личная гвардия хана, состоявшая из 40 рот, по 40 всадников в каждой. Элита крымского войска — потомки Чингисхана и Мамай — ехали двумя колоннами, по четверо в ряд. По бокам каждой роты развевались знамена. Великий конюший с помощниками вели под уздцы 12 лошадей, за ними следовала закрытая повозка, предназначавшаяся для отдыха хана во время похода.

По ветру полоскался шерстяной санджак-шериф. За ним на пиках — штандарты казаков-игнатовцев, с которых образ Спасителя смотрел печальными глазами на колышущиеся под ним толпы басурман.

Игнатовцы считались любимцами Керим-Гирея. Кстати, он был твердо уверен, что они так назывались не по имени раскольника Игната Некрасова, выведшего своих единоверцев еще в петровские времена в крымские степи, а от татарского слова «инат» («упрямый»). По-своему хан был прав: игнатовцы в плен не сдавались, дрались остервенело, до конца.

Арьергард армии выглядел не так внушительно. У татар и ногайцев к седлам коней были приторочены кожаные мешки, в которых находилось по восемь-десять фунтов просяной муки. Это обеспечивало непритязательным степнякам 50-дневное существование. Помимо лошади, на которой он ехал, каждый воин вел за собой на поводу еще две или три, рассчитывая в случае необходимости заколоть и съесть их. В армии Керим-Гирея насчитывалось не менее 50 тысяч лошадей.

Самую жалкую часть крымского воинства составляли 10 тысяч спагов, направленных Портой в помощь татарам. Изнеженные и привыкшие к безделью, спаги были слишком легко одеты для неожиданно ударивших суровых морозов. К их седлам была приторочена богатая добыча: накануне они сровняли с землей встретившуюся им на пути злосчастную Балту, не щадя ни русских, ни украинцев, ни татар.

Хан презрительно отвернулся от турок.

Вечером в своей палатке пред очагом, огонь в котором поддерживал телохранитель, не отходивший от хана ни на шаг, Керим-Гирей жаловался Тотту на спагов. Новообращенных в ислам арнау-

тов и тимариотов, которых было среди них немало, татары ненавидели не меньше, чем христиан.

Керим-Гирей был подвержен ипохондрии. Беседы с Тоттом, как он сам признавался французскому эмиссару, оказались единственным средством, излечивавшим острые приступы безотчетной тоски, овладевавшей им. Для Тотта эти ночные бдения были утомительными. Хан страдал бессоницей и спал не более трех часов в сутки, поэтому разговор продолжался иногда ночь напролет.

Говорили о вещах самых разнообразных: о народных правах, «Духе законов» Монтескье, европейском театре.

Керим-Гирей — странная фигура среди татар — слыл не только философом, но и поклонником искусств. В походах его сопровождала труппа акробатов, актеров и музыкантов, представлявших турецкие бурлески, шумные и вульгарные.

В эту ночь барон рассказывал Керим-Гирею о Мольере. Они полулежали на ковре, расстеленном в центре палатки, опираясь на небольшие кожаные подушки. На медном блюде был сервирован походный татарский ужин: пресные сухари, копченый лошадиный бок, икра, превосходный изюм.

— Как вы находите татарскую кухню?— спросил хан, улыбаясь.

— Ужасающей для ваших врагов,— отвечал барон.

Мальчик-грузин, прислуживавший хану, протянул Тотту золотой кубок, точно такой же, из которого пил Керим-Гирей. В нем искрилось великолепное венгерское вино, до которого хан был большой охотник.

Тотт легко осушил кубок и подумал, как странно порой складывается жизнь: здесь, посреди бескрайних заснеженных степей, в кожаной палатке ночью эмиссар изысканного Версаля излагает потомку Чингисхана законы драматургии.

Хан жадно пил бокал за бокалом. Тотт, подробно пересказав содержание «Тартюфа», перешел к «Мещанину во дворянстве».

— Что за странная фантазия у вашего Мольера?— промолвил хан.— Впрочем, мне непонятно и ваше общество. У нас все проще. Есть люди, которым по праву рождения суждено повелевать, и люди, рожденные повиноваться. Конечно, и у нас храбрый воин может стать эмиром, но шут наподобие вашего Журдена у нас невозможен. Честно говоря, он мне не понравился.

Барон промолчал. Вновь остро ощутив нелепость этого разговора, он предпочел оставить Керим-Гирея в заблуждении о том, что нравы и обычаи степных кочевников сравнимы с сословными пред-рассудками во Франции.

— Вот ваш Тартюф — другое дело,— воскликнул Керим-Гирей.— Во всех странах есть свои Тартюфы, а уж в Стамбуле что ни турок, то Тартюф.

Хан хрипло расхохотался.

— Я хочу, чтобы вы перевели для меня эту пьесу,— сказал он.

— Перевод будет представлен Вашему Высочеству моим переводчиком Рюффеном,— ответил барон.

На следующий день армия хана выступила в поход. За Керим-Гирем последовали добровольцы-серденгечты. В переводе серденгечты значит «потерянные дети». Так называли себя воины-смертники.

Передовой отряд форсировал Ингул ночью, когда стоял мороз. Утром неожиданно потеплело, и переправа стала небезопасной. Татары, двигаясь по подтаявшему льду легким мелким шагом, благополучно перебрались на другой берег реки. Для спагов переправа оказалась трудным испытанием. Многим из них страх мешал ступить равномерно, они останавливались и тут же проваливались под лед.

Когда переправа была закончена, хан был вынужден сделать привал, чтобы дать возможность обсушиться промокшим.

Несколько спагов собрались на берегу, пристально вглядываясь в черную воду проруби. Из их разговора Тотт понял, что в этом месте утонул их товарищ, имевший при себе значительную сумму денег. Прослышав об этом, бородатый казак-игнатовец тут же предложил за два цехина достать из-под воды кошелек утонувшего. Турки согласились. Казак мгновенно разделся, перекрестился и нырнул в прорубь. Вскоре он уже приплясывал на льду с мокрым кошельком в руке.

Успех игнатовца воодушевил турок, вспомнивших, что у утонувшего остались еще пистолеты, украшенные серебряной насечкой. Не долго думая, казак предпринял второе путешествие под воду и, вынырнув, отдал добытые им пистолеты спагам. Затем, подхватив одежду, он помчался к палаткам своих сотоварищей, сверкая голыми ягодицами.

Весь день крымское войско двигалось по заснеженной пустынной равнине. За оттепелью неожиданно вновь ударил сильный мороз. Дыхание замерзало у рта, на усах повисали сосульки. К вечеру плохо одетые спаги начали валиться из седел. Татары также плохо переносили холод, но никто из них не осмеливался жаловаться.

Войско понуро плелось за ханом, ехавшим с непокрытой головой и мерно покачивающимся в седле.

Дорогу указывали следы ушедшего далеко вперед авангарда и группы замерзших воинов. В сумерках на горизонте показались столбы дыма. Это горели поселения Новой Сербии.

Вечером Тотт записал в дневник, что в первый день похода в татарской армии замерзло около тысячи воинов и не менее 30 тысяч лошадей.

Русский мороз не пощадил и Керим-Гирея. Когда наступило время ночлега, хан почувствовал сильный жар. Воспользовавшись этим обстоятельством, Тотт улучил несколько часов для сна в собственной палатке, которую по приказу хана разбили рядом с палаткой Керим-Гирея. Рюффен и Кустилье были уже там. Они лежали на утрамбованном снегу, закутавшись в волчьи шубы, и, несмотря на сильную усталость, не могли заснуть от холода и голода. Из полудремы Тотта вывел шум, поднятый одним из ханских слуг, кото-

рый вошел в палатку и объявил, что его повелитель посылает барону подарок.

С почтительным поклоном он положил к ногам Рюффена тяжелый мешок и вышел. Голодный Кустилье, не сомневаясь ни на минуту, что в мешке находится какое-нибудь блюдо с ханского стола, все же не решался покинуть нагретую шубу и дрожащим голосом умолял своего товарища развязать узел, который стягивал мешок. После взаимных препирательств Кустилье все же выпростал руку и подтащил к себе подарок. Чтобы разглядеть его содержимое, он поднес раскрытый мешок к фонарю, висевшему на стойке палатки, — и вдруг завопил от ужаса.

В мешке лежала отрубленная голова. С громкими криками Кустилье выскочил из палатки, проклиная холод, голод и татарский юмор.

На следующий день мороз настолько окреп, что Тотт отморозил пальцы, не помогли и предусмотрительно надетые им две пары заячьих рукавиц. Армия медленно продвигалась вперед, держась между столбами дыма, которые по-прежнему маячили на горизонте, и силуэтом форта св. Елизаветы, оставшимся по левую руку.

На пути встречались огромные сигнальные башни, заваленные сеном и сучьями. Из-за внезапности нападения пограничная охрана не успела ими воспользоваться, чтобы поднять тревогу.

А жаль.

Войско Керим-Гирея было так деморализовано, что с русской стороны достаточно было бы двух или трех тысяч человек, чтобы татары потерпели катастрофу.

Единственным нетронутым селом, которое встретилось татарам на пути, оказалось Аджемка. Село располагалось на берегу маленькой речушки того же названия. Оно было большое, на 800—900 изб. Дома стояли пустые: мужики с бабами и детьми укрылись под стенами форта св. Елизаветы.

Однако даже обезлюдившая Аджемка внушала татарам страх.

Хан запретил своим воинам ночевать в домах, опасаясь поджогов. Сам он, несмотря на то что болезнь принимала нешуточный характер, тоже ночевал в палатке.

Через два дня татары сожгли Аджемку дотла. Первыми занялись стога сена, соломенные крыши домов. Огонь вспыхнул так дружно, что факельщики, поджигавшие крыши, едва успели унести ноги.

Падающие с неба мокрые хлопья снега смешивались с сажой и пеплом, застилая солнце, тусклые лучи которого едва пробивались сквозь пелену черного снега. Падая на землю, сажа и пепел превращались в грязно-серое месиво, поскрипывавшее под копытами лошадей.

Пепел ста пятидесяти сожженных украинских сел и деревень ветер отнес за двадцать верст на территорию Польши. Только с появлением крымцев поляки поняли, почему белый снежный ковер, окутавший их поля и перелески, внезапно почернел.

Армия Керим-Гирея тащилась в грязной пелене. По мере того как она приближалась к польской границе, ее обоз разрастался, пополняясь награбленной на Украине добычей. Только на территории

Полки обнаружили, что большая часть ногаев под покровом ночной темноты исчезла неизвестно куда, не желая делиться добычей с татарами.

Барон Тотт был по характеру типичным изгоем — нервный, закомплексованный, обиженный на всех и на вся. Он ненавидел Габсбургов, униживших его родового имени. Презирал конфедератов. Фанаберия турок смешила его. Однако к потомкам Золотой Орды он питал какую-то противоестественную слабость.

— Посмотрите, как они терпеливы и ловки, — говорил он Рюффену, указывая хлыстом на молодого татарина, ехавшего на каурой кобыле. Из двух мешков, притороченных к седлу, высовывались головки малолетних детей. Впереди сидела заплаканная девушка лет четырнадцати, сзади на крупе лошади примостилась ее мать. Отец этого несчастного семейства ехал верхом на одной из запасных лошадей, сын — на другой.

— Как внимателен и добр этот пастырь! — воскликнул Тотт. — Ничто не может избежать его заботливого взгляда. Собрать, возглавить, снабдить провизией, тесниться самому для того, чтобы облегчить путь для рабов, ничто, кажется, не тяготит его.

Рюффен посмотрел на Тотта с плохо скрытым отвращением и пробормотал:

— Одумайтесь, барон. Что вы несете? Как можно оправдывать этот мерзкий грабеж?

Он прищпорил коня и помчался вперед.

Тотт только пожал плечами.

У самой границы наткнулись на большое украинское село Красниково. Жители его оказали героическое сопротивление. Меткие выстрелы из близлежащего леса наносили татарам заметный урон.

В лес войти крымцы боялись, опасаясь засады. Горстка героев была уничтожена игнатовцами. Когда хан издали наблюдал за жестокой рубкой, в глазах его горели огоньки ностальгии по былым славным временам.

К вечеру в палатку хана явился турок в зеленой чалме эмира. Он нес в руках отрубленную голову.

— Смотрите, — заметил Керим-Гирей Тотту, — этот трус дергает голову в вытянутой руке.

Между тем эмир приблизился к хану и бросил свой трофей к его ногам, разразившись потоком напыщенных приветствий и традиционным пожеланием, чтобы все враги хана закончили свою жизнь так же, как этот.

Носком сапога хан перевернул голову и вдруг в гневе вскочил с места. Он узнал одного из погибших игнатовцев.

— Несчастный, — вскричал он, — как осмелился ты на столь страшное преступление?

Он кликнул стражу и велел проверить у турка оружие.

— Я уверен, что этот трус не способен даже на то, чтобы отрубить голову мертвого Игната. Кто-то должен был ему помочь.

Проверив нож, саблю и пистолеты турка, обнаружили, что оружием он не пользовался.

Хан приказал казнить обманщика.

Офицер его гвардии, явно желая умерить гнев своего повелителя и сберечь жизнь турка, легонько ударил его хлыстом.

Внезапно в турке вскипела гордая кровь эмира. Он выхватил нож и бросился на обидчика. Гнев хана был неопишум. Он приказал ударами хлыста разорвать в клочья зеленый тюрбан на голове турецкого эмира. Этот приказ, произнесенный твердым голосом, был немедленно выполнен с жестокой готовностью.

В небольшом польском городишке неподалеку от Вроцлава был произведен дележ награбленной на Украине добычи. На долю хана досталось почти две тысячи пленных, которых он, впрочем, щедро дарил любому заходившему к нему в палатку.

— Вы слишком добры, Ваше Высочество,— сказал ему Тотт.— Боюсь, что на вашу долю ничего не останется.

— Мне останется достаточно, мой друг,— отвечал Керим-Гирей.— Я уже прошел возраст жажды. Однако вас я не забыл. Вы долго скитались с нами по степи, и было бы несправедливо, если бы вы не получили своей доли. Учитывая, что вы долго живете вдали от вашего гарема, я дарю вам шесть этих красивых мальчиков, которых оставил для себя.

Тотт опешил и не нашел ничего лучшего, как сказать:

— Боюсь, Ваше Высочество, что не смогу оценить по достоинству такой великолепный подарок.

Хан продолжал настаивать. Тогда Тотт, тщетно пытаясь не давать волю оскорбленным чувствам, заметил:

— Разве вы не понимаете, Ваше Высочество, что мое положение мешает мне принять этот подарок? Ваши мальчики русские, как могу я принять подданных державы, которая находится в дружеских отношениях с моим королем?

Теперь Керим-Гирей уже не скрывал насмешки:

— Я не думаю, что вы правы. Рабов рождает война, а дружба имеет привилегию их дарить и получать. Вот все, что я знаю. Впрочем, чтобы примирить нас, я готов поменять шесть русских мальчиков на шесть грузинских, и все устроится.

— Но и это не так легко, как вы думаете. Я вижу перед собой еще одно препятствие, которое нелегко преодолеть.

— Какое?

— А моя религия?

— Этого вопроса я предпочитаю не касаться.

Уловив смену настроения хана, Тотт торопливо произнес:

— Впрочем, Ваше Высочество, думаю, что если бы вы предложили мне шесть красивых девушек, то я мог бы потерять голову и забыть о предписаниях моей религии. Самая сильная добродетель не устоит перед определенными соблазнами.

— Не думайте, что я этого не понимаю, мой друг,— сказал Керим-Гирей.— Но у меня тоже есть обязательства перед моей религией. И они запрещают мне дарить рабынь христианам. Женщины мы предпочитаем сохранять, чтобы обращать их в свою веру.

— Ужели мужчины менее заслуживают того, чтобы быть обращены в мусульман, чем женщины?

— Конечно, нет. Но мудрость Пророка все предусмотрела. Подумайте сами: мужчина даже в неволе всегда стремится к свободе, его дух нелегко сломить. Только Аллах может подействовать на его душу. Мы считаем, что обращение в нашу веру мужчин — это всегда чудо. С женщинами же все гораздо проще, они готовы верить любой чуши, которую несут их возлюбленные. Да, мой друг, любовь — это великий миссионер. Когда она появляется, женщины теряют способность рассуждать.

Тотт не нашелся что ответить.

* * *

Вскоре после возвращения из набега Керим-Гирей скончался при загадочных обстоятельствах. Тотт, убежденный, что хан был отравлен пользовавшим его лекарем молдавского господаря греком Сиропулосом, присутствовал при последних минутах его жизни.

Хан умирал мужественно. По его приказу рядом с палаткой турецкий оркестр пиликал назойливую веселую мелодию, фиглярствовали комедианты, кувыркались акробаты в шелковых шароварах.

Последнее, что хан спросил у Тотта уже не повиновавшимся ему языком, было:

— Вы помните того турецкого эмира, которого я приказал запороть плетью?

Тотт не успел ответить, глаза хана остекленели.

Канцелярия киевского генерал-губернатора подвела страшный итог ущерба, нанесенного елизаветградской провинции. В плен было взято 624 мужчины и 559 женщин, найдено порубленных и поребренных мужчин 100, женщин 26, угнано рогатого скота 13567, овец и коз 17100, лошадей 1557; сожжено церквей 4, мельниц водяных 3, ветряных 3, домов 1190, винокурен 1; сгорело в домах разное хлеба четвертей 6337, коп 920, мешков 70, сена пудов 10 817, кониц 1883, скирд $73 \frac{1}{3}$, подожжено, но не догорело изб 53.

Так закончилось то, что Владимир Сергеевич Соловьев впоследствии называл «последним в нашей истории татарским нашествием».

Глава IX

КОНСТАНТИНОПОЛЬ — ЕДИКУЛЕ — ДЕМОТИКА.

Март 1769 — осень 1770 г.

В начале марта 1769 г. военные приготовления турок наконец-то подошли к концу.

В окрестностях Константинополя, на поле Дауд-паша, где был назначен сбор войска, янычары водрузили бунчук, перенесенный от дома великого визиря. Отборные воины первой орты янычарского

корпуса круглосуточно охраняли символ воинской доблести Османов. Вокруг на брошенных на землю соломенных циновках расположились улемы, читавшие молитвы за успех турецкого оружия.

10 марта к месту сбора направились седельный, кузнечный и другие ремесленные цеха, назначенные быть в обозе великого визиря. Несметные толпы любопытных собрались в этот день на поле Дауд-паша. Сам султан в восьмом часу поутру приехал посмотреть на торжественную церемонию, которая продолжалась до шестого часа пополудни.

Шествие открывала рота янычар, маршировавших с обнаженными саблями. За ними двигалась повозка, запряженная парой быков. В ней стоял турок, одетый в платье анатолийского крестьянина. Он горстями зачерпывал из находившихся на дне повозки мешков зерна и бросал их в землю. Действия его, сопровождавшиеся призывами к поражению врагов султана, должны были символизировать труд земледельцев, на которых ложилась нелегкая обязанность прокормить огромное войско. Толпа неистовствовала.

За крестьянином верхом на богато убранном верблюде выступал чтец Корана, заунывно оглашавший суры священной книги мусульман.

Следом ехали, скрипя колесами, первые повозки огромного, растянувшегося на несколько километров обоза, хвост которого затерялся в улицах турецкой столицы. Ремесленников, демонстрировавших толпе свои изделия, сопровождали бесноватые дервиши в островерхих шапках. Некоторые из них исступленно вертелись на месте, выкрикивая мистические заклинания, другие били себя цепями в обнаженную грудь. Заносчивые спаги, показывая свою неустранимость, наносили себе ножами раны, из которых текла, смешиваясь с пылью, кровь. Некоторые из них пронзали ножами руки и горделиво шли, презирая боль и вызывая фанатический энтузиазм толпы.

Через два дня, 12 марта, выступил в поход янычарский корпус. Сотня его великолепно оснащенных орт насчитывала не менее 15 тысяч воинов. Впереди янычар следовало несколько десятков водовозов, которых можно было узнать по кожаному платью и шапкам, к которым были подвешены мелодично позванивающие колокольчики. Каждая орта шла тяжелым шагом, имея перед собой бунчук. Одежда янычар выдавала их принадлежность к элите османского войска. Каждый воин был одет в короткую курточку и шелковые шаровары, подпоясанные пышным кушаком. За поясом — пара пистолетов и богато убранная сабля. На голове — искусно повязанная чалма, конец которой спадал на правое плечо. Лица янычар были суровы и сосредоточены.

За воинами, шедшими в пешем строю, на чистокровном арабском скакуне, сбруя которого была украшена золотом и драгоценными камнями, ехал янычар-ага. Он был облачен в великолепную соболью шубу, полученную тем же утром из рук самого султана. За ним везли его личный штандарт из белого штофа, шитого золотом.

В эти дни в Константинополе было неспокойно. Распаленная до неистового фанатизма чернь разграбила множество греческих и ар-

минских лавочек в Пере и Фанаре. Крепко досталось и тем редким европейцам, которые рисковали появляться на улицах турецкой столицы. Среди пострадавших оказался английский посол Муррей, полюбопытствовавший взглянуть на пышное шествие янычар. Попав в сопровождении драгомана вздумал было перейти улицу между двумя янычарскими ортами, но был задержан солдатами султанской гвардии. Дело могло бы кончиться печально, если бы не вмешательство кстати подвернувшегося офицера, приказавшего отпустить дипломата.

14 марта столицу начали покидать регулярные части. Первыми двигались джебеджи (латники), за которыми последовали топчи (артиллеристы) и арабаджи (тележники).

16 марта утром в огромный лагерь, раскинувшийся на поле Дауд-паша, прибыл сам великий визирь. Перед ним шествовали парадно наряженные улемы во главе с муфтием. Они сопровождали священное знамя мусульман — санджак-шериф, — которое везли в зеленой коробке несколько эмиров, окруженных янычарами. При виде знамени Пророка фанатизм толпы достиг апогея. Чтецы Корана соревновались в пении священных стихов, поэты возглашали славу великой армии султана. В центре поля уже был разбит великолепный шатер, называемый турками «Лелек», в который с торжественными церемониями и был помещен санджак-шериф. Вскоре к шатру прибыл великий визирь с 200 телохранителями. В свите его находились высшие офицеры османской армии, чиновники всех рангов и служители общим числом не менее 5 тысяч человек.

На всем пути следования красочного кортежа бурлили и бесновались толпы фанатиков. Улемы внимательно следили за тем, чтобы вблизи главной святыни мусульман не оказалось какого-либо европейца. По представлениям турок, любой неверный, увидевший санджак-шериф, должен быть подвергнут немедленной мучительной смерти, если только он не заявлял о своей готовности обратиться в ислам. Однако, как известно, запретный плод сладок. Среди европейских дипломатов в Константинополе находилось немало любителей острых ощущений, наблюдавших за процессией из окон домов, снятых по пути следования. Среди них оказался и австрийский ингернунций Броняр, дорого заплативший за свое любопытство.

Впрочем, обратимся к свидетельству П. А. Левашова, который в своих «Поденных записках» не обошел вниманием приключившееся с Броняром несчастье:

«Марта 15-го дня пополудни, взяв позволение от Порты, поехал он (Броняр.— П. П.) из предместья в самый Константинополь, чтобы посмотреть визирское шествие и вынос магометова знамени, ради чего и нанят был благовременно дом на той улице, по которой помянутая военная процессия должна была идти. Едва же туда прибыл и сел только ужинать со своею супругою и тремя дочерьми, из коих две уже были совершенные невесты, также с переводчиками с их женами, секретарем и духовником, как соседи того дома по наущению одного имама, или попа, прибежав стремительно, выгнали всех оттуда, нанеся иным сильные удары толчками, а некоторым саблями и показывая через то ревность свою к закону. По таковой

худой и вовсе нечаянной встрече желал он возвратиться коль можно скорее в свой дом; но как время было ночное и путь к Пере дальний, то решился препроводить часа два или три в одной кофейной лавке, где собралось несколько христианских фамилий для равного же зрелища, кои присоветовали ему остаться с ними до утра, уверяя о совершенной безопасности сего места. Наутрие же при выносе магометова знамени идущие впереди и позади оногo эмиры вдруг стали громогласно кричать, что никому не позволяется смотреть на священное знамя великого Пророка Магомета, кроме прямых мусульман, и что, если кто из христиан, жидов или иных безверных дерзнет сие учинить, таковые на том же месте преданы будут смерти. Слова сии произвели мгновенно ярость в буйных сердцах, и многие бросились, как лютые тигры, на снискание и поражение иноверцев. Они не щадили ни женского пола, ни самых малых детей и, обагрив таким образом руки свои в крови невинных, услышали от одной турчанки, что в вышеупомянутой кофейной лавке многие христиане находятся, куда они, ворвавшись, начали всех тех, кои там случились и первые им в руки попались, бить и некоторых рубить; супругу же посланника и дочерей мучили сперва в оной лавке, потом, вытаща на улицу, таскали по оной всех их за волосы и, наконец, вырвав из ушей их серьги и затаща на разные дворы, бросили их там нагих почти замертво, где будучи в таком бедственном состоянии целые сутки, мать не знала, где ея дочери, а дочери не ведали, где тогда их мать находилась, поелику мать была затащена на двор к одному армянину, дочери к другому, а служанки к третьему, одного же переводчика беременную жену оные варвары, брося на землю, били нещадно, и один эмир, вскоча на оную, давил ей нарочно брюхо ногами, чтоб выдавить из нее младенца. Однако ж чудным образом бедная сия и весьма слабодушная женщина осталась жива и по некотором после того времени разрешилась от бремени своего благополучно; умерщвлено же вообще христиан в день выносу магометова знамени более двухсот, да около пятисот ранено и изувечено».

Узнав о злоключениях Броняра, Обресков посочувствовал несчастному, но не преминул заметить:

— Сей случай подтверждает, что вероломство и двосудшие никогда безнаказанными не остаются.

Алексей Михайлович хорошо знал, что Броняр был верным помощником Вержена и принимал непосредственное участие в его интригах, направленных на то, чтобы спровоцировать военный конфликт между Турцией и Россией.

Вскоре султан дал битому дипломату отпускную аудиенцию, после которой тот, однако, не погнушался принять от наместника Пророка на Земле богатые дары в качестве компенсации за нанесенные ему оскорбления.

Такой конец этой трагикомической истории вызвал у Левашова вполне понятное негодование: «Удивляюсь токмо, что, кроме русского двора, все почти европейские державы не токмо равнодушно взирают на оскорбления, причиняемые от Порты их министрам, но и по взаимной между собой зависти стараются не ее, но се-

бы обессилить, дабы турки и впредь в состоянии были презирать их равным образом».

Ко времени этих достопамятных событий пошел третий месяц с тех пор, как Алексей Михайлович и прочие чины русского посольства были заключены в Едикуле. С первого дня заточения в крепость, как докладывал впоследствии Алексей Михайлович П. И. Панину, он не оставлял надежды «выдраться» на волю. Прусский посланник и английский посол в Константинополе по поручению своих дворов не раз делали демарши Порте, настаивая на немедленном освобождении незаконно арестованных русских дипломатов. Особенно усердствовал пруссак Зегеллин, не оставлявший надежды мирным путем закончить конфликт между Турцией и Россией. В этом Берлин был весьма заинтересован. По условиям прусско-русского союзного договора Фридрих обязался выплатить России на случай войны 400 тысяч золотых рублей ежегодно.

Алексей Михайлович был в курсе всех деталей переговоров, которые вели дипломатические представители союзных дворов. В его руках побывала даже запись переговоров английского посла в Константинополе Муррея с великим визирем, копию которой старательно списал драгоман посла грек-фанариот Курута. Брат его, служивший переводчиком в русском посольстве, находился в Едикуле с Обресковым.

Однако хлопоты союзников оказались напрасными.

15 марта Обрескову было предложено принять трудное и ответственное решение: он мог оставаться в Едикуле до конца военных действий либо следовать за турецким войском в походе.

Алексей Михайлович размышлял недолго.

— Для нас и самая смерть лучше, нежели пребывание в Едикуле, — сказал он Левашову. — Вели, Павел Артемьевич, предупредить оставшихся в Пере людей, чтобы завтрашний день все здесь были. Коли уж волочиться за войском, так всем вместе.

* * *

В тот же день Лашкарев, уединившись в своей комнате, читал переданную ему из Едикуле записку. Не без труда разбирал он мелкие, как бисерины, буквы, поминал нелестным словом почерк господина советника Левашова: «Друг мой Сергей Лазаревич! Поведи своим господам студентам, рейтарам, толмачам и прочим нашим людям, а также отцу Леонтию, дабы всяк приготовил себя на легкой ноге к завтрашнему дню, понеже всенепременно Порта придет за вами, а затем мы все отправимся отсюда вместе с армиею».

Эта неожиданная весть привела обитателей посольского подворья в неопишное волнение. Каждый ринулся с выгодой тратить оставшиеся у него турецкие деньги. Покупали запечатанные сургучом глиняные бутылочки с бальзамом из Мекки или Иерусалима — за него в Киеве платили до 10 рублей. Дюжинами хватили дешевые хлопчатобумажные чулки, ночные колпаки, пеньковые кошельки, ларцы агатовые, зрительные трубки, записные книжки, сердитый турецкий тютюн, табакерки и прочий товар, сбыть кото-

рый в России можно было с немалым барышом. Лука Иванович сначала снисходительно посмеивался над всеобщей суетой, но она оказалась настолько заразной, что под вечер и он не выдержал и приобрел в лавке у торговца-армянина богатый шелково-шалевый кушак.

16 марта с утра в посольство нагрянула целая орда турок во главе с шурбаджи и двумя чаушами. Погонщики пригнали около ста верблюдов, на которых был погружен весь скарб. Под вечер из Перы в Едикуле отправилась престранная процессия: перед чинно шагавшим в пыли верблюжьим караваном шел чауш с большим черным пером в чалме, за ним — Леонтий с длинной финиковой палкой в руке, а следом, как овцы за пастырем, вся посольская братия.

В Едикуле Леонтия и его товарищей ждал неприятный сюрприз. Встречавший их служитель объявил, что все содержащиеся в крепости узники во главе с Обресковым отправлены сегодня по приказу великого визиря к месту сбора турецкого войска.

Измучившиеся в дороге люди зароптали.

Услышав плач детей и причитания женщин, Леонтий ощутил приступ непреодолимого страха. Со слов Лашкарева он знал, что вновь прибывшие в Едикуле узники должны были присоединиться к Обрескову и его спутникам в день, когда турецкое войско выступит в поход. Однако мрачные стены древней византийской крепости наполняли душу безотчетным ужасом, затуманивали разум. Лука Иванович принялся в волнении мерить шагами внутренний дворик. В конце его каменная лестница с десятью обитыми ступеньками велла вниз, внутрь громоздкой башни. Посредине зиял круглый черный провал, из которого со страшной глубины доносилось плескание воды.

Лашкарев, сохранявший присутствие духа, не замедлил сообщить, что турки топили здесь арестантов, приговоренных к смерти. Леонтий совсем опечалился, решив, что обречен гнить в этом подземелье до конца войны.

Сергей Лазаревич, заметив, что батюшка заробел, сообщил, что в этой самой башне сидел венецианский посол с 50 человеками свиты. За двадцать пять лет, проведенных в заточении, в живых осталось лишь четверо.

Леонтий поспешил выйти наружу. Над зубчатыми краями массивных стен чернел квадратик ночного неба. Посреди двора стоял убогий флигель; подойдя к нему, Лашкарев произнес многозначительно:

— А вот и хоромы господина резидента, на которые тебе так не терпелось взглянуть, батюшка.

Внутри флигель был разделен на две лишенные всякой мебели каморки. Низкая арка, под которой можно было пройти только согнувшись, служила одновременно и окном и дверью.

В одной из каморок разместились Лашкарев, Леонтий и Яков Сенченко. В соседней комнате расположились повариха Оксана с годовалой дочкой Прасковьюшкой, которую, несмотря на все тревожные волнения и невзгоды, выпавшие на ее долю, продолжала кормить

рудью. Остальные, в том числе и второй толмач Иван Монюкин, ушли в башню.

Ночь провели в унынии. Однако на следующий день спозаранку в крепость вместе с Обресковым явился повар Александр, которому турки позволили повидаться с женой. Александр принес записку от Алексея Михайловича: «Друг мой Сергей Лазаревич! Я совершенно уверен, что на сих днях будете выпущены из Едикуле и отвезены в Перу. Там вам следует нанять один небольшой домик, понеже Порту согласилась отпустить вас в Белое море».

Прочитав записку, Лашкарев, обычно твердо пресекавший любые попытки подвергать критике действия высшего начальства, смутился. Да и правду сказать: легко ли вновь поднять с места эту ораву, да еще со всем скарбом, и возвращаться в Перу, несолоно хлебавши? Однако делать было нечего, и, пошутукавшись со стражником, Сергей Лазаревич исчез из крепости.

С уходом Лашкарева рейтары, прежде глухо ворчавшие по темным углам, возроптали открыто. Даже Ренчкеев открыто поминал по матушке безглазие резидента, оставившего всех российских подданных с женами и малыми детьми на произвол судьбы.

Леонтий, чувствовавший себя в отсутствие Лашкарева приманом, в поносных разговорах не участвовал, но и верить в скорое возвращение на родину уже не мог. Однако на четвертый день отсутствия Лашкарева за воротами вновь заревели верблюды, и все тридцать три российских подданных тронулись той же дорогой, что пришли.

Обратный путь оказался нелегким. Чем меньше времени оставалось до выступления в поход, тем больше хорохорились янычары. На площади ат-Майдан группы вооруженных турок, потрясая над головой обнаженными саблями, выкрикивали злобные слова в адрес каравана гяуров, медленно тащившегося по узким улочкам Константинополя. Из окон домов по пояс свешивались турчанки, осыпавшие проклятиями неверных из-под черных покрывал, скрывавших их лица. Толмач Ясур, неустрашимый серб, заметив, что одна из турчанок, гибкая, как лоза, молодая девушка, взмахивает над головой обнаженной рукой, как бы разрубая саблей врагов ислама, не выдержал и, обнаружив в хищной улыбке крепкие зубы, гортанно выкрикнул по-турецки: «Тебе, красавица, надобны ножницы, а не сабля». Турчанка, опешив, замерла, а затем звонко рассмеялась и скрылась за глухо хлопнувшими деревянными ставнями.

Домишко Лашкарев снял маленький. Думал, что понадобится он на две-три ночи, но жить в нем пришлось долго, два с лишним месяца. От вынужденного безделья и неопределенности рейтары загуляли. Началось с малого: решили, по русскому обычаю, с чаркой доброго вина и с песней отпраздновать выход из крепости, а закончилось массовым тяжелым запоем. Пили до утра, утром поднимались с дурными глазами и пересохшими глотками, похмелялись дешевым вином — и все начиналось снова.

Как часто бывает, пьяные загулы не сближали, а разъединяли людей. Запасаться провизией, вином и водкой начали всяк для себя, расползались по каморкам. Песен уже не пели.

В середине апреля Лашкарев объявил, что в ближайший понедельник с утра начнется погрузка на вновь зафрахтованное судно. На радостях в два дня выпили всю припасенную водку и снова принялись наполнять жбаны. Леонтий водкой впрок не запасался, так как по опыту знал: что чего-чего, а этого зелья на любом судне найдется вдоволь.

Выяснилось, что он поступил правильно. Как и зимой, восемь недель кряду английский посол присылал человека с приказом готовиться к погрузке, но в последний момент срок переносился на следующую неделю. Задержки каждый раз происходили вследствие переменчивости в поведении турецких чиновников, которые никак не могли решить: отпускать русских на родину или нет. В конце концов послу было окончательно объявлено, что российские подданные из Константинополя выпущены не будут. Поясняя это решение, переводчик Порты в витиеватых выражениях изъяснил, что война не вечна, когда-нибудь она кончится и, чтобы новому российскому послу не пришлось набирать новый штат посольства, лучше всех оставить здесь, в Константинополе.

Бабы, разузнав, что отъезд в Россию откладывается, потянулись обратно на базар распродавать за полцены склянки с бальзамом и прочие турецкие диковинки. Принесенные деньги отчаявшиеся мужья тут же пропивали.

Лашкарев пытался обуздать пьяную стихию, но ни посулы, ни угрозы не помогали. Тогда Сергей Лазаревич на свой страх и риск решил снять еще два дома. В одном разместились толмачи, рейтары и дворовые люди Обрескова, другой был выделен для студентов. В нем Леонтий получил отдельный угол.

Отделение рейтар от студентов быстро принесло свои плоды: пьянство поутихло. Рейтары, раньше валившие на студентов вину за происходившие пьяные бесчинства, присмирели, а студенты, пропившиеся до нитки, волей-неволей вынуждены были взяться за ум. Нужно было зарабатывать на жизнь, чтобы не помереть с голоду.

Весь 1769 год положенного посольскому люду жалованья не платили. Лишь в начале 1770 г. Джордж Аббот смог получить суммы, переведенные из Петербурга через венецианский банк. С Леонтием, однако, шурин Обрескова обошелся бесцеремонно. Сославшись на то, что батюшка столовался вместе со студентами, он вычел из причитавшегося ему жалованья 250 левов за 1769 г. да 77 левов за треть 1770 г. Обиделся Леонтий смертельно. Целыми днями сидел у себя в чулане на хлебе с сыром и икрой, говорил: «Не пойду за такой стол, где десять человек сидят, за одиннадцать едят, а с того, кто не ел, еще и деньги берут».

В эти трудные дни на помощь русским пришел иерусалимский патриарх Ефрем. В конце лета он отрядил к Леонтию своего секретаря архимандрита Савву навеститься, не имеют ли единоверцы нужды в деньгах. Лашкарев, которому Леонтий передал разговор с посланцем патриарха, намекнул, что деньги взять не грех. Леонтий и сам был такого же мнения, но укоренившийся в нем дух противоречия заставил проскрипеть язвительно, что пора-де Коллегии ию-

странных дел вспомнить, что ее служащие, находясь в плену в Константинополе, терпят крайнюю нужду.

Через три дня Савва появился вновь и оставил около 300 левов в кожаном мешочке, заметив, что патриарх не ждет возврата. Он уже выкупил из плена на каторжном дворе четырнадцать русских солдат и офицеров, что обошлось ему гораздо дороже. На деньги патриарха жили скромно, но безбедно до конца года.

Обстановка в Константинополе была тревожной. К лету 1770 г. вести о военных неудачах турок начали все чаще проникать в столицу. Стало туго с продовольствием, росли цены. В окрестностях Константинополя появились разбойники, жертвой которых чуть не стал французский посол. На посла напали по дороге в Буюкдере, двое из его свиты были ранены.

Вдобавок в турецкой столице разыгралась сначала моровая язва, а затем чума, не пощадившая и маленькую русскую колонию. Один из студентов, сожительствовавший с прачкой-гречанкой, заразился от нее чумой и умер. Леонтий забеспокоился, в воскресной проповеди взволнованно предупредил о необходимости немедленно взять предосторожности, но увещевания его результата не дали.

Студенты, народ молодой и смешливый, потешались над его малороссийским выговором, казавшимся им странным пристрастием бабюшки к чистоте и уюту. Тканые половички и софа, украсившие его каморку, стали предметом язвительных насмешек со стороны господ учеников восточных языков, привыкших к бурсацкой нищете.

Леонтий читал им приличные случаю наставления. В ответ студенты сочинили комедию, обидную для российского духовенства, и представили ее вечером перед всем честным народом. Поняв, что от слов пора переходить к делу, Леонтий, подождав, пока действие пьесы достигло кульминации, отвесил полновесную оплеуху главному озорнику — студенту Малышеву.

Малышев был юноша злопамятный. Не миновать бы Леонтию новых неприятностей, если бы не разыгравшаяся наутро драма. В одночасье скончались от чумы жена и сын курьера прапорщика Дмитрия Миронова. От пережитого потрясения Миронов тронулся разумом и отказывался снимать рубашку, которую постирала ему жена перед тем, как почувствовала первые приступы болезни.

Дни в турецком плену тянулись однообразно.

Душу Леонтий отводил в вечерних беседах с промотавшимся нежинским купцом Андреем Трофимовским, жившим в соседней каморке. Днем он вместе со студентами учил греческий и итальянский языки, которые преподавал грек Золота. Для удобства обращения студенты, а за ними и Леонтий называли свободно говорившего по-русски Золоту Ильей Ивановичем. Добродушный грек, знавший в совершенстве дюжину европейских и восточных языков, не обижался, когда шутники-студенты во время урока греческого языка величали его киром Антонием Золотой, а на итальянском — сеньором Золиотто.

Учение шло с трудом. К осени Леонтия начали одолевать сильные головные боли. Итальянец Лувар, первый цирюльник в Пере, пускавший кровь и дававший советы по медицинской части, сказал,

осмотрев Леонтия, что он переутомился. Тот и сам понимал, что начал учиться, когда другие уже начинают забывать то, что изучали в юности.

Болезнь подтачивала дух беглого монаха. Никогда еще за долгие годы скитания по чужим краям не вспоминал он с такой тоской о милой сердцу Полтаве. Как-то вечером, сидя без сна в своей душевной камерке, он написал при дрожащем свете огарка свечи:

Отечество дражайшее,
Солнечных луч сладчайшее.
Все утехи, несомненно,
Превосходит неотменно
Доброта твоя.
Мне и дым твой во прохладу,
Райских кущей вид в досаду,
Страны чуждыя!

Признаюсь, когда я разбирал эти немудреные, но искренние строки, написанные полууставом выцветшими чернилами на ссохшихся от времени больших листах старинной тетради, слезы выступили у меня на глазах.

* * *

Ну что ж, любезный читатель, кажется, настало время вернуться к главному герою нашего повествования, которого, как ты помнишь, мы оставили в тревожном неведении о своей дальнейшей судьбе.

16 марта Обресков со всеми сотрудниками посольства, находившимися с ним в заключении, был перевезен из Едикуле в турецкий лагерь.

Левашов подробно описал события этого нелегкого для русских дипломатов дня: «Приехавший чарбаджи для взятия нас из Едикуля, сказал нам, что назначен мехмендар* ради снабжения нас всеми нужными в пути припасами, каковые в мирное время определяются иностранным министрам, едущим в Константинополь или обратно в отечество свое, объявляя при том, что лошади и повозки для нас также уже готовы и что скоро доставлены будут. Мы, дожидаясь оных после его к нам приезда более трех часов, надеялись, что приведены будут к нам лошади хорошие и с пристойным убором, но вместо того привели наемных, измученных, оборванных и оседланных самыми дурными седлами, у которых и стремян не было, что учинено нарочно для наивящего поругания. Со всех сторон окружены мы были янычарами определенной для охранения нашего орты, которые, идучи городом, беспрестанно из ружей своих стреляли вверх; народу же на тех улицах, по которым мы ехали, стояло по обеим сторонам великое множество, и некоторые встречали нас ругательством, иные проклинали, а другие кричали, что надлежало всех нас в куски изрубить. Мы принуждены были тогда сделаться глухими и ничему не внимлющими, в котором жалостном состоянии видя нас многие христиане не могли от слез удержаться.

* Мехмендар — пристав. — *Примеч. П. Левашова.*

Потом привезли нас в стан и, не доезжая несколько шагов до визирской большой палатки, остановили нас против шатра, называемого «лелек», под которым обыкновенно рубят головы. Наш Чорбаджи послал донести визирю, что он с нами прибыл, а между тем принуждены мы были там стоять немалое время, как осужденные, и дожидаться о себе решения, и пока дождались, претерпели довольно страху, будучи все в том мнении, что хотят нас тут лишиться жизни, поелику турки со всех сторон к шатру «лелеку» кучами бежали, как будто на точное зрелище нашей смерти.

Наконец известились, однако же, что приказано отвести для нас место подле визирской ставки, и как палатки не были еще поставлены и шел тогда пресильный дождь, то надлежало стоять нам на открытом воздухе, покуда они совсем изготовлены были; между тем приближалась ночь, а оставшиеся наши в Едикуле постели и другие вещи хотя и обещано вскоре за нами привести, но привезена только малая часть оных после полуночи, почему многие из нас на грязи целую ночь должны были проводить, что все устроено умышленно для большого мучения, и, как думать должно, по именному султанскому повелению, подтвержденному фетвою злого Муфтия Османа Муллы.

Сперва повещено нам было следовать за войском со всею нашей свитою, и мы всем своим находившимся до того в Пере людям приказали приехать в Едикуле в тот день, когда нам оттуда выезжать надлежало, куда они и приехали; но вдруг Чорбаджи объявил, что имеет повеление принять только тех, кои содержались с Едикуле, числом 17 человек. Следовательно, мы одни в Дауд-паша и привезены, как выше показано, прочая же наша свита оставлена вся в Едикуле, что хотя последовало и случайно, но мы, зная лукавое и обманчивое поведение турков, думали, что сие сделано для того, дабы нас влачить за войском, а нижних служителей наших содержать в заключении; однако ж на другой день визирь приказал их обратно отпустить в Перу и обещал вскоре дать повеление главному таможенному смотрителю об отправлении их водою до пределов России».

В последующие дни Обресков и его товарищи стали свидетелями того, как в стан турецкого войска приезжали аккредитованные в Константинополе послы и посланники европейских держав. Один за другим подъезжали они к палатке великого визиря и желали ему счастливого пути и успехов в трудном походе.

Павел Артемьевич, наблюдая столь гнусное, по его мнению, зрелище, очень возмущался. Обресков же сказал:

— Чудно видеть, как дипломаты держав цивилизованных по турецкой пословице поступают: «Которую руку укусить нельзя, ту целовать нужно».

22 марта турецкая армия выступила в поход. От поля Дауд-паша по Белградской дороге на протяжении 10 верст ее провожал сам султан с великолепной свитой. По выезде из города сделали привал, и султан дал обед в честь великого визиря. Обрескова и его спутников визирь благоразумно держал подальше от монаршего взора. Они скромно отобедали в тени того самого платана, возле которого

недавно прогуливались Леонтий с Лашкаревым. Обресков последний раз окинул взором утопавший в голубоватой дымке Константинополь, будто чувствовал, что навсегда прощается с городом, в котором прошли семнадцать лет его жизни. Впереди его ждали девять месяцев трудных и опасных скитаний в обозе неприятельского войска и полтора года заключения в новой тюрьме — крепости Демотика.

Путь турецкой армии лежал через Адрианополь и Бендеры к Хотину, где турки намеревались дать русским генеральное сражение. Огромное войско подвигалось вперед медленно, ночуя в небольших городишках, а то и в чистом поле. 26 марта русские дипломаты разошлись с пленными русскими офицерами, захваченными в Яссах. Среди них был и знаменитый впоследствии Семен Зорич, фаворит Екатерины.

В последний день марта прибыли в Адрианополь. Павел Артемьевич не преминул подробно описать второй по величине и значению город Османской империи и пышную встречу, оказанную в нем великому визирю: «Видели множество народа, вышедшего с начальниками своими навстречу визирю, для коего был приготовлен богатый обеденный стол за час езды до города, который во всей Европейской Турции первейшим по Константинополе почитается, как в рассуждении величины своей, так и многолюдства; при том имеет положение весьма приятное и почти со всех сторон окружен равными и плодоносными долинами, кроме одной высокой горы, прилегшей к оному с северо-восточной стороны, по которой простирается нарочитая часть городского строения. Протекающая подле стены его река придает ему немалую красу; дома же состоят вообще из маза-нок, как и во всех прочих турецких городах, а улицы тесны, грязны и кривы. Впрочем, много тут великолепных мечетей и ханов или гостиных дворов. Город сей был, как известно, столицею турецкою с 1360 по 1453 год, в котором султан Магомет II силою оружия перенес престол в Константинополь, называемый ныне от Порты и всех подданных ея Стамбулом. Развалины многих здесь огромных зданий показывают, что некогда зодчество украшало всю внутренность обширного сего места, но потреблено, наконец, завистию и невежеством так, как и в прочих всех почти древних городах».

В пути пленных подстерегали многочисленные опасности. Турки смотрели на русских дипломатов, влачившихся в обозе войска, как на лазутчиков и злоумышленников и зорко следили за всеми их действиями. В начале апреля это чуть было не закончилось для русских дипломатов самым печальным образом.

В местечке Джебеджика, записал Павел Артемьевич в своем дневнике, «визирь потребовал от нас людей по именам Егора и Дмитрия, которых у нас было трое, а именно два Егора и один Дмитрий, кои мгновенно и отправлены к нему под стражей, а для чего точно, нам тогда было еще неизвестно. Сей нечаянный случай привел нас в великое смущение, особливо на другой день, т. е. апреля 6-го числа, в праздник их курбан-байрам, когда увидели мы, что одного из них повели мимо нас к визирской ставке под обнаженными саблями, который кричал жалостным голосом, чтоб пода-

ни ему помощь, что он погибает; но мы не только ему никакой помощи дать не могли, но и о себе не знали, что с нами тогда последует. Приведши его к визирской ставке, тотчас отрубили ему голову и с ним двум еще служителям драгомана, или переводчикам Порты. Потом несколько погодя пришел к нам Мурза-ага с двумя пашами, который, будучи шурбаджи нашего в палатке, призвал нас всех пред себя, выключая г. резидента, источив на нас всевозможные ругательства, говорил: «Мы идем против вас отверстой грудью, а вы, напротив того, употребляете разные пронырства и, чувствуя себя не в состоянии противиться нашей храбрости одною силою, стараетесь подкупать у нас людей, чтоб отравить наше войско, на который конец в Молдавии и других окрестных местах источники и колодези заражены от вас ядом». После сего нелепого и ни малейшего основания не имеющего выговора велел взять от нас всех тех людей, кои были турецкие подданные, и объявил, что г. резидент уже больше не министр, но арестант, следовательно, и мы все, что угрожало нам всеместными ругательствами».

Конечно, ни Обресков, ни его спутники, ни русская армия, стоявшая лагерем под Хотинем и Бендерами, не имели касательства к отравлению колодцев по пути следования турецкого войска. Это было сделано скорее всего самим населением Молдавии, враждебно относившимся к туркам и видевшим в русских своих освободителей. Из дневника Левашова видно, с каким сочувствием встречали русских дипломатов молдаване и болгары, всячески стремившиеся облегчить их нелегкую жизнь.

Турецкая армия приближалась к Хотину под усиливавшимся грохотом орудийной канонады.

Чем ближе приближались русские дипломаты к местам боев, тем чаще узнавали они вести об успехах русского оружия. Во время ночлега в небольшом городишке Бабадаг (Добруджа) сопровождавший Обрескова чегодар тайно, «под рукою», как выражались в то время, сообщил русским о победе, одержанной полковником Фабрицианом у Галаца. Из-под Хотина, где действовала 1-я русская армия под командованием А. М. Голицына, непрерывно шли обозы с ранеными турками.

Многие турецкие воины были недовольны действиями великого визиря Мухаммеда Эмина, оказавшегося незадачливым полководцем. Должно быть, в эти дни Алексей Михайлович весьма сожалел, что не имел возможности сообщить своим о беспорядках и панике, царивших в турецком войске. Только без малого через год смог он написать Панину о «крайнем расстройстве, порабощении и надмерном в здешних варварах страхе, который до такой степени доходил, что ежели бы под Бендерами с 5 по 15 июля и в Хантепсы с 6-го по отъезд отсюда 21 сентября хотя не весьма, а знатная какая партия войск наших показалась, то бы ни единого человека в лагере не осталось».

Когда осенью 1769 г. наступили сильные холода, турецкая армия, не имевшая ни палаток, ни дров, ни фуража, оказалась в крайне тяжелом положении. «Сделался превеликий падеж, да и людства много померло», — доносил Обресков Панину.

К этому времени турецкой армией командовал уже новый великий визирь — Молдаваджи-паша. Мухаммеда Эмина лишили визирской печати и отправили в ссылку. По дороге ему был объявлен смертоносный хати-шериф, а 7 сентября его отрубленную голову выставили на обозрение перед воротами сераля.

* * *

Так Мухаммеду Эмину пришлось заплатить головой за неудачную для Турции военную кампанию 1769 г.

Сознавая свое огромное превосходство в численности войск турки рассчитывали решить исход войны одним ударом. Первоначальный план военных действий, одобренный султаном, состоял в том, чтобы армия в 400 тысяч человек перешла через Днестр у Хотина и завладела Каменец-Подольским — стратегически укрепленным пунктом, обладание которым позволяло доминировать на дунайском театре военных действий. Затем предполагалось взять Варшаву, свергнуть польского короля Станислава Понятовского и двинуться в направлении Киева и Смоленска. Одновременно южные границы России должен был атаковать новый Крымский хан, Давлет-Гирей, со 100-тысячным войском. Капудан-паше было приказано высадить десанты в Азове и Таганроге.

План кампании, разработанный в Петербурге, был значительно скромнее. Главные силы русской армии решили сосредоточить к юго-западу от Киева по Днепру. Командующему 1-й армией генерал-аншефу Александру Михайловичу Голицыну была поставлена задача занять Каменец, опередив турок, и при благоприятном случае овладеть Хотинском. 2-я русская армия под начальством генерал-аншефа Петра Александровича Румянцева имела оборонительные задачи. Румянцеву со штаб-квартирой в Бахмуте приказали ни при каких обстоятельствах не допустить турок или татар в пределы Новороссийской губернии.

Подготовка к войне с обеих сторон велась чрезвычайно медленно. Для укомплектования русской армии был произведен рекрутский набор, давший до 19 тысяч человек. В начале кампании 1-я армия насчитывала около 30 тысяч человек, в то время как по планам, разработанным в Петербурге, она должна была располагать не менее 180 тысячами человек. Турки в 1769—1770 гг. имели под ружьем около 200 тысяч.

Решающее значение для исхода кампании 1769 г. имело то обстоятельство, что А. М. Голицыну удалось опередить противника. К концу марта 1-я армия заняла позиции по верхнему течению Днестра с авангардом в Баре. Турки же, как мы видели, только 31 марта начали движение со своих главных сил от Адрианополя.

В середине апреля армия А. М. Голицына подошла к стенам Хотина. Войска великого визиря в то время находились у Исакчи. Мост через Дунай, по которому предполагалось переправить главные силы турок, не был готов, и это еще более задержало продвижение турецкой армии. Хотин оборонялся небольшим гарнизоном, но Голицын, человек осторожный, остерегся брать его с ходу.

— Военное искусство предписывает ожидать прибытия орудий и лишь после сего начать правильную осаду,— говорил он своим офицерам.

До конца июня Голицын не решался перейти в наступление. Стала сказываться нехватка провианта. В письмах к командующему Екатерина побуждала его действовать решительней, но Голицын все раздумывал.

По счастью, великий визирь Мухаммед Эмин оказался военачальником еще более нерасторопным, чем Голицын. Переправившись через Дунай, он долго сомневался, что делать — направить войска к Хотину или к Бендерам. Наконец в начале июня было принято решение двигаться в направлении Бендер, чтобы вторгнуться в Новороссию. Узнав об этом, А. М. Голицын переправился через Днестр и начал осаду Хотина. Однако через месяц сильный отряд крымцев, пришедший на помощь осажденным, разомкнул осаду. В ночь на 2 августа Голицын снялся из-под стен Хотина и вернулся назад за Днестр.

Медлительность Голицына была тем более досадна, что уже в середине лета в турецкой армии начались серьезные беспорядки. В начале июля Мухаммед Эмин был смещен с должности.

Новый великий визирь, Молдаванджи-паша, в конце августа — начале сентября неоднократно предпринимал попытки перейти на левый берег Днестра и атаковать русских, но всякий раз был отброшен. Военные неудачи еще более подогрели накопившееся недовольство в турецкой армии. 9 сентября турки, оборонявшие Хотин, были вынуждены отступить. Под Яссами отступление превратилось в беспорядочное бегство. Русские заняли Хотин без единого выстрела.

Для А. М. Голицына первый крупный успех его армии стал и последним. В начале сентября рескриптом императрицы он был отозван в Петербург, где его произвели в фельдмаршалы и оставили заседать в Совете. На место Голицына командующим 1-й армией назначили генерал-аншефа П. А. Румянцева.

С того времени характер действий русских войск изменился самым решительным образом. Приняв командование, Румянцев немедленно отдал приказ наступать. 26 сентября его войска заняли Яссы. В ноябре русские вошли в Бухарест. К исходу кампании 1769 г. Молдавия и Валахия были заняты русскими. Население Дунайских княжеств присягнуло императрице.

Успехи 2-й армии, командовать которой вместо Румянцева стал П. И. Панин, были менее впечатляющими. Новый командующий не сумел провести военные действия осенью и зимой — в октябре он увел армию на зимние квартиры в пределы Полтавской и Харьковской губерний.

Всю зиму шло обучение новобранцев.

Кампания 1770 г. увенчалась целым рядом блестящих побед, которые навеки вошли в историю русской армии и флота.

23 апреля, в день св. Георгия, П. А. Румянцев отдал приказ 1-й армии сняться с зимних квартир и направиться к сборному пункту, назначенному в Хотине. В начале кампании 200-тысячная турецкая армия во главе с великим визирем находилась в Бабадаге (Добруд-

же). Ожидалось, что в решающем сражении армию возглавит сам султан. Однако в конце мая, когда в Бабадаг был доставлен санджак-шериф, обнаружилось, что повелитель правоверных предпочел оставаться в Константинополе.

У Румянцева собралось в строю около 31,5 тысячи человек. 25 мая 1-я армия выступила из Хотина навстречу Молдаванджи-паше. Двигались медленно, так как весна в том году выдалась дружная и реки разлились больше обыкновенного. Кроме того, в Бухаресте и Яссах обнаружались первые признаки морового поветрия — чумы, от которой в конце мая в Яссах умер генерал-поручик Штоффель, начальник передовых войск. На его место был назначен князь Н. В. Репнин, бывший посол в Польше.

Екатерина внимательно следила за театром военных действий. В день выступления из Хотина Румянцев получил от нее следующее послание: «Не спрашивали римляне, когда их было два или много — три легиона, в каком количестве против них неприятель, но где он? Наступали на него и поражали и немногочислием своего войска, побеждали многособранные против них толпы; а мы — русские, милости божеские за правость нашу в сей войне с нами, я вас имею над войском командиром, храбрость войска известна; итак, о благополучнейших успехах моля Всевышнего, надеюсь на его покровительство».

Русская армия по дороге из Хотина натыкалась на многочисленные татарские разъезды. 15 июня у Рябой Могилы было разбито 15 тысяч татар. 4 июля русские вышли к Пруту. Между устьями рек Ларга и Бабикуль, впадающих почти под прямым углом в Прут, перед ними открылся расположенный на высоком месте татарский лагерь, укрепленный ретрансментами. Не раздумывая, Румянцев бросил своих солдат в бой. Лишь потом он узнал, что соединенные силы турок и татар насчитывали не менее 80 тысяч человек. Румянцев же располагал всего 23 тысячами воинов. Исход боя решила рукопашная, в которой отличились части Н. В. Репнина и Г. А. Потемкина, вовремя подоспевшие к месту схватки. К полудню татары были разбиты наголову.

За Ларгу Румянцев получил орден св. Георгия I степени, учрежденный Екатериной в ноябре 1769 г. Он стал первым кавалером I степени этой почетнейшей русской военной награды. Разбив вчетверо превосходящего противника, он доказал преимущество избранной им новой тактики, в основе которой лежал расчлененный боевой порядок. П. А. Румянцев строил войска в несколько каре, между которыми располагалась конница, а впереди и на флангах — артиллерия и егеря. Такое построение обеспечивало русской армии свободу маневра и возможность собирать войска в кулак для нанесения решающего удара.

Известие о поражении под Ларгой взбесило великого визиря. 14 июля на 200 судах он переправил свою армию через Дунай и двинулся навстречу русским. 20 июля русское и турецкое войска сошлись у небольшой реки Кагул, протекающей к востоку от Прута. Молдаванджи-паша был уверен в победе: турецкая армия насчитывала 150 тысяч человек и находилась во взаимодействии с

рупным отрядом татар, отправленных великим визирем в тыл Румянцеву. Однако самоуверенность великого визиря сыграла с ним злую шутку. Не допуская и мысли о том, что на его огромную армию может напасть незначительный русский отряд (в распоряжении Румянцева было всего 17 тысяч солдат), он расположил свой лагерь в низинах между холмами, тянувшимися по берегу Кагула. Между позициями русских и турок проходил древний Троянов вал со рвами по обе стороны.

В этой сложной обстановке Румянцев принял единственно правильное решение: атаковать первыми, не дожидаясь, пока враг подготовится к решающему сражению. Незадолго до рассвета 21 июля 1770 г. пять колонн румянцевской армии двинулись на противника. Шли небольшими долинами, которые сходились к лагерю турок. При приближении русских турецкий лагерь пришел в движение. Отряды спагов налетали на русские колонны и окружали их, однако действия турок были скованы неудобным для них рельефом местности. Значительные силы противника оказались на дне рвов Троянова вала.

Картина славного кагульского сражения была многократно описана современниками. На местности, лишенной всяких прикрытий, на протяжении пяти или шести верст пять отдельных отрядов русских солдат, каждый менее чем в четыре тысячи человек, шли вперед, окруженные многократным превосходящим их противником. Исход битвы во многом решила личная храбрость командующего русской армией. Когда солдаты генерала Племянникова не выдержали и стали отступать, Румянцев сам вышел навстречу отступавшим и остановил их. Невероятная храбрость, проявленная русскими в штыковой атаке, лишила турок всякой надежды на успех. Великий визирь не смог остановить свою беспорядочно бегущую армию. Турки ретировались с поля боя, оставив за собой 140 пушек и весь лагерь с огромными богатствами визиря и турецких сановников.

Из ставки Молдаванджи-паши Румянцев продиктовал победное донесение императрице: «Да дозволено мне будет, милостивейшая государыня, настоящее дело уподобить делам древних римлян, коим Ваше Императорское Величество велели подражать: не так ли армия Вашего Императорского Величества теперь и поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он».

Екатерина по достоинству оценила заслуги П. А. Румянцева — он был произведен в фельдмаршалы, а все участники кагульской битвы получили специально отчеканенные по этому случаю медали.

26 июля Н. В. Репнин развил военный успех русской армии, заняв Измаил, оставленный своим гарнизоном. В конце сентября пал Аккерман, затем Браилов. На зимние квартиры 1-я армия расположилась в Молдавии и Валахии.

Успехи 2-й армии, возглавлявшейся П. И. Паниным, были значительно скромнее. Имея до 23 тысяч пехоты, 12 тысяч регулярной кавалерии и 3,5 тысячи иррегулярной, П. И. Панин в середине июля приступил к осаде сильно укрепленной турецкой крепости Бендеры. Осада длилась два месяца. 16 сентября 1770 г. Панин

взял Бендеры штурмом, однако урон, понесенный русскими войсками, оказался весьма значительным. Только во время штурма 2-я армия потеряла до 2600 человек, в том числе 690 убитыми. Особенно тяжелое впечатление эти потери составляли в сравнении с итогами действий П. А. Румянцева, который за всю весенне-летнюю кампанию 1770 г. потерял всего 900 человек, из них 365 убитыми.

Простояв в Бендерах до 6 октября, Панин ушел на зимние квартиры, оставив в городе гарнизон из 5 тысяч человек. Все это время он с большой ловкостью и твердостью вел переговоры с татарами.

В Петербурге, однако, были недовольны действиями Панина, находя их недостаточно быстрыми и энергичными. На заседании Совета Григорий Орлов обвинил командующего в больших человеческих потерях.

П. А. Панин остро переживал упреки в свой адрес — находил их несправедливыми. За взятие Бендер он был награжден орденом св. Георгия I степени вместо ожидаемого фельдмаршальства. Отнеся это на счёт интриг орловской партии, он немедленно попросился в отставку и получил ее.

18 декабря 1770 г. командование 2-й армией принял генерал-аншеф Василий Иванович Долгорукий.

* * *

Вид отступавшей от Дуная турецкой армии красноречивее всяких слов доказал Обрескову, что его надежды на освобождение в этом году были тщетны. Впрочем, даже и в это тяжелое время на его долю выпадали маленькие радости. Осенью 1769 г. в свите реис-эфенди в ставке великого визиря появились переводчики австрийского, венецианского и английского посланников в Константинополе. Общаться с русскими дипломатами им не позволили, но они нашли способ уведомить Алексея Михайловича, что как его дети, оставленные у Джорджа Аббота, так и свита, находившаяся на посольском дворе, живы и здоровы.

19 сентября Обресков и Левашов все же подали великому визирю прошение отпустить их на родину. В ответ Молдаванджи-паша, записал Павел Артемьевич, «приказал нам объявить, что просьба наша не может быть скоро удовлетворена и требует особого рассмотрения. Ответ же сей объявил он таким образом, что легко можно было заключить о внутренней его противу нас злости, которая отнеслась частью и на пристава нашего, получившего жестокий выговор за то только, что отважился представить вышепомянутое прошение наше, хотя сие учинено им и не иначе как по дозволению бывшего Каймакана, а тогдашнего янычар-аги. 20 числа (сентябрь 1769 г.— П. П.) отправлен к Дунаю визирский бунчук, и выдан на всю рать семидневный таин вместо хлеба сухарями, и тогда же приказано нам следовать по-прежнему за войском. Чиновники нашей орты говорили, что нас обратно повезут в Константинополь,

милочат в Едикуле, где мы должны будем сидеть до самого окончания войны. Иные же сказывали, что положено нам быть безотлучно при визирской ставке, покуда не последует мир. И так мы на утро, встав по обыкновению рано, стали готовиться к возвратному походу, будучи все даже до последнего погружены в превеликое уныние, видя, что отнята у нас вся надежда к свободе; и в то же самое время, когда сняты были наши палатки и для нас готовы уже были верховые лошади, а дожидались только, покуда в третий раз у визиря не заиграет музыка, увидели мы приехавшего к нам Мурз-Агу, который подозвал к себе нашего чарбаджи и, поговоря ему нечто на ухо, поскакал тотчас обратно к визирской ставке; спустя же несколько минут налетело вдруг на нас подобно как стадо плотоядных врагов, тридцать человек с начальником своим хасас-башем*, который всех преступников содержит у себя под стражей и их, когда ему повелят, рубит и вешает. В числе оных 30 человек большая часть была палачей, кои смотрели на нас с таким свирепым видом, как будто бы в ту же минуту всех нас живым похотели. Нам казалось, что они дожидались одного только знака, чтоб нас или переколоть копьями, имевшимися у них в руках и называемыми мизраки, или всех перерубить саблями; но в самый тот час, когда мы погружены были в бездну печальных мыслей и ожидали с минуты на минуту смерти, услышали, что у визиря заиграла музыка и он со всею своею свитою в путь отправился, после чего, едучи мимо нас и поравнявшись прямо против того места, где мы стояли, оборотил к нам суровое свое лицо, не останавливаясь однако, же нимало, и как притом хасас-баша сидел на лошади со всеми своими сателлитами неподвижно, то оледенелые наши сердца стали мало-помалу оттаивать и мы начали воссылать Вссвышнему молитвы, чтобы смертный сей рок нас миновал и мы еще живы остались; ибо и сам пристав наш объят был страхом не меньше нас по самое то время, когда уже визирь совсем проехал; после чего сказал нам, чтоб на лошадей сядились, и мы исполнили сие, по обыкновению за визирем поехали; хасас-баша не покидал нас и, присоединясь к нашему приставу, вместе с ним перед нами ехал, а палачи его одни наперед, а другие сзади ехали, ради чего каждый из нас принужден был часто назад оглядываться, чтоб кто-нибудь из сих смертоносных ангелов невзначай не снял с кого головы».

Вскоре турки объявили, что зиму Обрескову и его товарищам придется провести в старой крепости Демотика, находившейся в 16 верстах от Адрианополя. Великий визирь с армией решил перезимовать в Бабадаге.

Обратный путь к Адрианополю по тылам турецкой армии оказался вдвое опаснее. Население было обозлено неудачно начавшейся войной, участились случаи открытого неповиновения властям. Обстановку в тылах турецкого войска хорошо иллюстрирует следующий отрывок из записок Левашова: «Ноября же 6-го прибыли в

* Хасас-баша — блюститель узников и чистоты. — *Примеч. П. Левашова.*

Бабадагу, где принуждены были стоять еще несколько часов под дождем и дожидаться, покуда нам отвели дома и хозяева оных согласились пустить к себе по усиленной просьбе нашего пристава и из странноприимства, а не по визирскому указу о довольствии нас везде по пути выгодными ночлегами и всем тем, что для спокойствия нужно было; ибо когда мекмендар наш в силу одного требовал у городских старшин для нас и для себя тайна, то они сказали ему, чтоб визирь указ свой сварил хорошенько в воде и сам бы его скусать изволил, потому что они никакого тайна дать нам не могут, да и не должны, поелику султан забрал уже с них подать вперед на 15 лет. Той грубый отзыв стоил бы им в свое время весьма дорого, и визирь не приминул бы всех их за оное мгновенно казнить, если бы не ожидал сам с часу на час присылки от султана за собственною головою, о чем и в войске носился слух, и никто не сомневался, что точно едет капуджи-паша для взятия головы его за то, что он столь много растерял городов и земель и через то гораздо более соделался виновен, нежели предместник его Эмин-паша, который казнен в Адрианополе».

До места добрались в начале декабря. Демотика, возвышавшаяся на вершине пологой горы, оказалась старой, полуразвалившейся крепостью, обнесенной глухой стеной. По словам Павла Артемьевича, «под горою же находится предместье, в коем живут большею частью природные турки. В одну сторону сего города течет небольшая речка, называемая Кизельдели, соединяющаяся с рекой Морицею не более как в полуверсте ниже одного, и вообще довольно приятно положение сего места, которое знаменовано пребыванием шведского короля Карла XII в 1713 г., о коем вспоминая некие старики указывали нам во удовлетворение любопытства нашего и тот самый дом, где он жил. Расстояние между сим городом и Адрианополем хотя не более как шесть часов, но по причине позднего нашего выезда приехали мы туда уже в самые сумерки, и не было способа ничего в нем точно распознать, а только могли усмотреть каменную гору, которая весьма была высока и увесиста, особливо к стороне той дороги, по которой мы ехали, и издали казалась совсем похожа на египетскую конусообразную пирамиду, на вершине коей видно было несколько башен и полуразваленных каменных стен замка, подобного во всем Едикуле, который при ночной темноте представлялся нам самым скучнейшим и печальнейшим на свете жилищем и наводил на нас несказанный ужас тем наиболее, что мы тогда ничего инаго себе не представляли, как только, что тут уготована была темница для нашего пребывания; но, въезжая в самый город, нашли, что гора сия имела с другой стороны довольно отлогость, по которой провезли нас в крепость, окруженную каменною, но ветхою стеною, где жители были все греки, и по счастию нашему, открылась крепость во всем иная, нежели которую мы с приезда видели, хотя она была, как после мы сведения, не иное что, как разоренный замок старинный демотикских владельцев».

Для Обрескова и его товарищей в крепости предоставили два дома, которые раньше занимали семейства греков. После трудно-

той похода, ночевок под открытым небом и проливными дождями новое место заточения узникам показалось земным раем. В домах даже нашлись каминные топки, которые тут же затопили. Вечером, расположившись у огня, Павел Артемьевич занес в свой дневник: «Вообще же испытали мы здесь, что по преодолении тяжких трудов ничто в свете толико для человека не приятно, как некоторое отдохновение, и ежели бы дух наш столько же успокоен был, как и тело, то мы почли бы себя за самых счастливейших людей». Гораздо предупредительнее вел себя и турецкий офицер, приставленный, чтобы наблюдать за узниками в Демотике. Они были обеспечены кровом, теплой одеждой и питанием. Такая перемена в обращении турок для Алексея Михайловича была верным признаком отрезвления, наступившего в османской верхушке после поражений, понесенных турецкой армией летом и осенью 1769 г. Заключение мира, а стало быть, и возвращение домой превращались из призрачной надежды в реальность.

10 апреля 1770 г. Обресков нашел способ направить Панину очередное письмо, в котором сообщал важные сведения. Он писал о состоянии полной деморализации, в которой находилось султанское войско: «Обязательно вижу, что от потери Хотина есть генеральное сожаление и сие им более импрессий делает, нежели все потерянные баталии. Здесь об ущербе людства мало заботятся. Все генерально мира желают, и никто на войну идти не хочет. А которые и бредут по крайнему принуждению, а и то по большей части поселяне... почти сабли препоясать не умеющие. Провинции же в конец разорены и знатной армии содержать не в состоянии».

Подробно писал он и о панике, царившей среди турок после побед русской армии. Военные действия разворачивались столь близко, что русским пленникам удалось даже услышать салют в честь русской победы на Галацами. «Смушение здешних при сем происшествии было неопианным. Визирь крайне опасался непосредственно самому атакованному быть и, боясь, чтоб меня не отбили, всячески поспешил мое из лагеря выпровождение и велел вести дорогою, лежащей подалее от берегов Дуная».

Обресков информирует Панина и о том, что еще осенью прошлого года в Исакче великий визирь интересовался возможностью заключения мира между Россией и Турцией. Алексей Михайлович наотрез отказался обсуждать с турками эту тему, сославшись на «неимение никакой власти и силы».

Действия Обрескова были полностью одобрены в Петербурге, непременным условием начала мирных переговоров там поставили освобождение русского посольства.

Однако надеждам Обрескова быть освобожденным в 1770 г. так и не суждено было сбыться. Понадобились блестящие победы П. А. Румянцева при Ларге и Кагуле и сожжение турецкого флота в Чесменской бухте, чтобы турки всерьез заговорили о мире.

ПИЗА — ЛИВОРНО — ЧЕРНАЯ ГОРА.

Осень 1768 — октябрь 1769 г.

Осенью 1768 г. Алексей Григорьевич Орлов с братом Федором оказались в Италии. Случайной ли была эта поездка или нет, за давностью лет установить невозможно.

Известно, что весной 1767 г. Алексей Григорьевич опасно заболел. Его болезнь тогда называли «воспалением желудка». «Все полагают, — отписывал в Лондон английский посланник в Петербурге Шерлей, — что граф Орлов не переживет этой болезни, а если останется жив, то принужден будет ехать в Пермонт или в Спа для поправления здоровья». Зимой 1768 г. здоровье Алексея Григорьевича еще более ухудшилось. При дворе ожидали, что Орловы вскоре потеряют единственного из пяти братьев, способного руководить действиями их партии. «Друзья Панина становятся с каждым днем многочисленнее», — многозначительно заметил в те дни все тот же Шерлей. Однако надеждам противников Орловых не суждено было сбыться. Богатырская ли натура Алехана, лечение ли известной «славного шарлатана Ерофеича», как называл Державин лекаря Преображенского полка, пользовавшего Орлова, но к весне 1768 г. Алексей Григорьевич стал выздоравливать.

21 июня 1768 г. А. М. Голицын специальным циркуляром сообщил русским представителям при европейских дворах, что граф Алексей Орлов «для поправки здоровья по совету врачей отправляется в чужие края к минеральным водам и уже выехал по пути в Германию». В поездке графа сопровождали брат Федор, подполковник Герсдорф и кавалергард Бухгольц. Братья Орловы путешествовали инкогнито под фамилией Острововых — подмосковное село Остров было пожаловано их семье Екатериной в октябре 1765 г. Голицын предписывал русским послам тщательно оберегать инкогнито Орловых, «чтобы не подать повода бесполезным замечаниям о их путешествии».

Поездку Алехана столь усердно старались представить как частную, что поневоле возникает предположение, что она имела политическую подоплеку. Есть на то и некоторые прямые указания.

Перед отъездом Екатерина пожаловала Алексею Орлову орден Андрея Первозванного и 200 тысяч рублей на дорожные расходы и лечение. Для частной поездки сумма слишком крупная. 15 августа «господа полковник и капитан фон Острофф» прибыли в Карлсбад, о коротком, но бурном пребывании в котором Алехан до конца жизни сохранил самые приятные воспоминания.

24 октября Орловы переехали в Вену, где русский посол Дмитрий Михайлович Голицын известил их об аресте Обрескова. Узнав, однако, о неизбежной войне с Турцией, братья поспешили не в Петербург, как можно было предположить, а в Пизу, бывшую в то время столицей герцогства Тосканского. Здесь Алехан, не медля ни дня, развернул бурную деятельность. Он был представлен и благо-

склонно принят тосканским герцогом. Двери его дома всегда оставались открытыми для посетителей, особенно для тех, кто прибывал в качестве посланцев от греческих колоний в Венеции и Триесте, из Майны, с островов Архипелага и особенно из Чернорории.

Хотя Алехан был оборотистым человеком, но вряд ли смог бы он повернуть так много дел за считанные месяцы, если бы план действий не обговорил еще в Петербурге. Вот о чем писал он брату Григорию из Венеции: «Я здесь нашел много людей единоверных, которые желают быть под командою нашей и служить в теперешнем случае против турков». План, предложенный им брату, вполне логичен: воспользоваться недовольством греков и славянских народов Балканского полуострова турецкими притеснениями для того, чтобы «внутри (Османской империи.— П. П.) зажечь сильный огонь и замешательство делать как в привозе провианта, так и армию разделить». Однако Алехан не был бы Алеханом, если бы не добавил: «И если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных и благочестивых из-под ига тяжкого, которое они терпят. И скажу так, как в грамоте государь Петр I сказал: а их, неверных магометан, согнать в поле и степи пустые и песчаные, на прежние их жилища. А тут опять заведется благочестис, и скажем: слава Богу нашему всемогущему. Труда же для меня, по-видимому, как мне кажется, очень мало стоить будет принести этот народ против турчан и чтоб они у меня в послушании были. Они храбры, любят меня и товарищей моих много за единоверие; все повеленное мною хотят делать. Выступайте с одного конца, а я бы с другого зачал».

Одновременно Алексей писал Екатерине, спрашивая, не соблаговолит ли она «употребить его к службе Отечеству вместе с православными греческими и славянскими народами».

Екатерина не замедлила с ответом. 29 января 1769 г. появился ее знаменитый рескрипт А. Г. Орлову: «Мы сами уже, по предложению брата вашего генерал-фельдцейхмейстера, помышляли об учинении неприятелю чувствительной диверсии со стороны Греции как на твердой ея земле, так и на островах Архипелага, а теперь, получая от вас ближайшее известие, и паче еще утверждаемся в сем мнении. А потому, будучи совершенно надежны в вашей к нам верности, в способности вашей и в горячем искании быть Отечеству полезным сыном и гражданином, охотно соизволяем, по собственному вашему желанию, поручить и вверить вам приготовления, распоряжения и руководство всего сего подвига».

Торжественно-приподнятый тон рескрипта свидетельствует, что предложение А. Г. Орлова поступило вовремя. Екатерине явно импонировала уже высказанная Григорием в Совете идея об отправлении экспедиции в Архипелаг. «Мы поручаем вам объяснить как наискорее мысли ваши, дабы мы по оному решительные уже резолюции заблаговременно принять могли»,— писала она Орлову. Впоследствии Екатерина говорила: «Графу Орлову одолжена я частью блеска моего царствования, ибо он присоветовал послать флот в Архипелаг».

Вопрос об экспедиции в Средиземное море в начале 1769 г. был уже решен. 29 января Орлову дали формальные «полные мочи». В его распоряжение немедленно перевели 200 тысяч рублей на цели агитации среди балканских народов. Вскоре Орлов получил еще 300 тысяч рублей с правом держать отчет в расходах только перед императрицей. Тем не менее Екатерина считала необходимым до времени вести дело тайно и разрешила Орлову употребить данные ему «полные мочи» лишь тогда, когда «самая нужда востребует присутствия и самоличного его управления» или когда бы «особе его существенная настала опасность для торжественной его ауторизации». Зная характер Алехана, Екатерина просила его не рисковать без нужды. Ему, однако, было дозволено самому выбирать сотрудников, заботиться о вооружении экспедиции. Специальным рескриптом от 4 марта 1769 г. Орлов получил право производить подчиненных в обер-офицерские чины. 3 июня он был пожалован генерал-аншефом. 11 августа ему разрешили «определять консулей» по собственному усмотрению «как в рассуждении мест, так и лиц».

Орлов сразу загорелся идеей послать эскадру на Архипелаг. Отвечая на рескрипт Екатерины от 29 января 1769 г., он писал: «Эскадра наша, от восьми до десяти линейных кораблей, и на которых войск наших посажено будет, великий страх причинит туркам, если достигнет до наших мест; чем скорее — тем лучше. Слыша о неисправности морской турецкой силы, о слабости их с сей стороны, надежно донести могу, что она не только великие помехи причинит им в военных приготовлениях, поделает великое разорение, но нанесет ужас всем магометанам, кураж и ободрение православным и более страшна им быть может, нежели все сухопутное войско».

Не обращая внимания на призывы соблюдать осторожность, Алехан колесил по всей Италии. Он появился в Неаполе, затем отправился в Венецию, а оттуда в Ливорно. В Венеции он часами беседовал с русским поверенным в делах маркизом Маруцци. В Ливорно его помощником был английский консул кавалер Дик. Екатерину тревожила развернутая Орловым активность, и она вновь советовала ему «беречься интриг бурбонских домов», выделяя в особенности герцога неаполитанского, недоброжелательно относившегося к России.

Однако остановить Алехана было невозможно. Он вел дела с неукротимой энергией, заражая всех своим энтузиазмом. Впрочем, имелись у него и свои маленькие слабости. Орлова часто видели в карете с прекрасной Екатериной Ивановной Демидовой. Они вместе появлялись в опере, на маскарадах и морских прогулках.

Скоро об этом стало известно в Петербурге. Брат Владимир пенял за это Алехану, но Екатерина в конце мая 1769 г. перевела ему в Италию еще 300 тысяч рублей.

— Пущай поколобродит, — говорила она Григорию Орлову. — Чем больше во французских газетах будут писать о его амурных увлечениях, тем лучше для дела, которое до времени должно быть покрыто тайной.

Между тем сохранить в тайне приготовления Орлова становилось все труднее. Алексей Григорьевич признавал, что и в Ливорно,

и в Пизе за ним «по пятам следовали шпионы, которые уж проникли и в самый дом его». Из Вены от посла Дмитрия Михайловича Голицына прибыл канцелярский служитель для цифирной переписки.

Залогом успеха всего предприятия Екатерина считала одновременное восстание подвластных Турции христианских народов. Она настойчиво предостерегала Орлова против разновременных выступлений, так как туркам «легче будет упредить распаление одной искры, нежели после противиться и утушать целое, в силу пришедшее пламя», подробно информировала об эмиссарах, направленных в Дунайские княжества и на Балканы.

Однако уже 4 апреля 1769 г. Орлов прислал депешу, в которой резонно замечал, что направленные из Петербурга эмиссары только усиливают неразбериху, охватившую подвластные Турции области Греции и на Балканах. Особенно недоволен он был неким Ефимом Беличем, посланным с полковником Эздемировичем в Черную Гору. Екатерина вынужденно оправдывалась. 6 мая она с сожалением признала, что из-за неуместной поспешности дело агитации среди славянских народов «получило совсем иной вид и оборот и уже не осталось для поправления сделанного, и дабы вам помехи не было, как подчинить вам прежде разосланных молодцов, каковы они ни есть, зная, что вы им уже узду наденете по вашему усмотрению».

Весной 1769 г. Орлов прямо просил «удержать все отправления в Италию и на Балканы». Однако было уже поздно. В конце марта на подмогу Орлову под именем купца Барышникова направился князь Юрий Владимирович Долгорукий. Его сопровождали подполковник артиллерии Лецкий, Николай Иванович Маслов и Федор Васильевич Обухов.

Князь Юрий Владимирович был отпрыском древнего рода Долгоруких. Он родился в ноябре 1740 г. в семье генерал-поручика Владимира Петровича Долгорукого, бывшего во времена Елизаветы Петровны рижским и ревельским губернатором. Двенадцати лет от роду он был произведен в прапорщики, а в 1756 г. уже в чине капитана участвовал в Семилетней войне. Князь Юрий Владимирович, бесспорно, был человеком храбрым. Уже в первом сражении он получил ранение в голову, но продолжал командовать солдатами. С 1759 г. его определили адъютантом при главнокомандующем Салтыкове. Когда Салтыков стал фельдмаршалом, Юрий Владимирович получил патент на чин подполковника.

В 1767 г. Долгорукий был произведен в майоры лейб-гвардии Преображенского полка, что дало ему армейский чин генерал-майора.

Долгорукий, по характеру гордый и горячий, имел явно преувеличенные представления о своих достоинствах. В конце жизни в своих записках он писал, что назначением в гвардию обязан Алексею Орлову, который якобы отказался принимать команду над Преображенским полком, не имея среди офицеров князя Долгорукого. Фантазией Юрий Владимирович обладал неумемной. Так, в воспоминаниях он сообщает, что Чернышев и Салтыков ссорились из-за того, что не могли поделить между собой храброго офицера. Салты-

ков якобы предлагал командовать ему гренадерским полком, а Чернышев переманивал в Петербургский.

Вот что писал сам князь Долгорукий: «Приехав в Пизу, тут я вручил бумаги князю* Орлову и притом записку, что весьма скоро к нему придут девять линейных кораблей, несколько фрегатов и пять тысяч человек десантного войска. Мы ожидали скорого прибытия сего флота, но, с одной стороны, неопытность наших морских начальников, а с другой — нежелание воевать были причиной их медлительности. Флот наш зашел в Английский порт, где простоял 7 месяцев якобы за починкою кораблей, а самая причина, что адмирал все твердил: «Авось помиряться»; по сей причине мы в недействии весьма скучно проводили время.

С нами был брат графа Орлова, который по фавору брата весьма молод и попал в большие господа. Будучи эгоистом и чрезвычайно самолюбивым, начитался греческой и римской истории, хотел равняться с великими людьми, но, по несчастью, не имел на то способности, и его сластолюбивое житие препятствовало лично отличиться; по моему простосердечию (мы) не могли никогда одинаково думать.

В одно утро граф Ал. Гр. (Орлов) мне говорит, будто брат его к нему приступает и требует ехать в Черную Гору, но вот его слова:

— Ты знаешь, что брат мой не имеет способности, а при том всеми ненавидим, то во избежание дурных следствий возьми сию экспедицию на себя.

Я, хотя видел, куда сие ведет и что меньшей брат большого обманывает, считая гнусным от чего-либо отказываться, согласился и в несколько дней собрался».

В середине июля Долгорукий, преисполненный сознанием значимости порученного ему дела, отправился в путь. На этот раз Юрий Владимирович не преувеличивал: миссию, которую ему предстояло выполнить в далекой Черногории, в Петербурге считали наиважнейшей, затрагивающей высшие интересы государства.

30 июля 1769 г. нанятый Долгоруким трабакул — небольшое суденышко под косым парусом — вошел в Которский пролив. Позади остались древние зубчатые стены и башни Рагузы. Кроме Долгорукого на борту трабакула находились подполковник артиллерии Алексей Лецкий, подполковник Федор Герсдорф, майор Андрей Розенберг, капитан Иван Миловский, два унтер-офицера Преображенского полка — Сыромятников и Акиншин, гусарский капитан Родион Пламенец и граф Иван Войнович, возглавлявший команду из вставших под русские знамена сербских добровольцев в составе 26 человек.

На закате прибыли к порту Бутие. Высадиться решили вблизи большого селения Постровичи. С наступлением темноты в Черную Гору на шлюпке отправили капитана Пламенца с заданием приве-

* Здесь явная ошибка. Княжеское достоинство имел только старший из братьев Орловых — Григорий.

сти на турецкий берег, лежавший между Постровичами и Спичем, людей и лошадей для выгрузки трабакула. Долгорукий со свитой, подождав с полчаса, пересел в фелуку и направился вдоль берегов, пользуясь тихой погодой и лунной ночью. Через три часа подошли к постровическому берегу.

Поздним вечером в бедном черногорском доме на окраине села раздался стук в дверь.

— Кого бог принес в такую пору?— спросил старый Нилош.— Уж не злые ли люди?

— Нет, отец, злые люди не просят, а ломаются,— ответил старший Радован, смысленый пятнадцатилетний юноша.— Надо пустить, может, гости незваные, но желанные.

В дом вошли два незнакомца. Один из них был не похож на черногорца, другой говорил по-сербски. Оба присели к огню.

— Мы прибыли из Анконы на рыбацьем судне,— начал свой рассказ тот, который говорил по-сербски,— турки и венецианцы сторожили нас, да проглядели. К берегу пристали без всяких препятствий близ самой границы вашей с турками и Бокой. Товарищи наши остались на судне, стерегут пожитки, но утро не должно застать их там. Вы — наши единоверцы, дайте нам проводника до Черной Горы.

— Сколько вас всего?

— Человек тридцать, большей частью иллирийцы.

— А этот кто?

— Это наш начальник, русский, из знатного рода Долгоруких.

— Русский, знаю. У них был великий царь Петр I. Отец мой видел его, когда был в России с владыкой Даниилом. А теперь на Руси, знать, нет царя. Русский царь Петр III теперь правит Черногорией.

— На Руси один царь великий — Екатерина Алексеевна,— сказал Долгорукий, поднимаясь с места.— Супруг ее Петр III волей божией умер, а тот, что у вас,— не царь, а самозванец.

Слова Долгорукого явно не понравились черногорцу. Старик нахмурил брови и опустил голову. После недолгого молчания он произнес:

— Кто бы вы ни были и зачем бы ни пришли сюда, я дам вам пристанище и проводника. Никто не скажет, что черногорец выдал своих единоверцев туркам и венецианцам. Радован,— обратился он к сыну,— ступай с ними и не возвращайся один.

Путь в горах ночью труден и опасен. В мундирах и с полной поклажей Долгорукий и его товарищи поднимались по крутому горному склону. Радован уверенно шел впереди, но спутники его, непривычные к ходьбе в горах, с трудом продирались сквозь колючий кустарник, в кровь сбивая ладони об острые камни. Луна, светившая первую половину ночи, закрылась тучей. К утру Долгорукий вконец выбился из сил. Если бы не короткие привалы и встретившиеся на пути два горных ключа, у него вряд ли хватило сил завершить путь. Переход продолжался шесть часов.

Только на заре 31 июля шатающиеся от усталости путешественники, грязные и ободранные, оказались на вершине горы. Здесь их

ждали черногорцы, предупрежденные Пламенцем. Среди них был спичакский крестьянин Михалко, он и привел осла.

Князь Долгорукий въехал в Черную Гору на осле, как Христос в Иерусалим. В небольшом селе Глухида они до полудня отдыхали. Тем временем черногорцы разгрузили трабакул и свезли на берег порох и припасы. Долгорукому показали головы четырех турок, которые, пристав к спичакскому берегу на малой фелюке, подсматривали за разгрузкой пороха и свинца.

К вечеру русские прибыли в Бурчельский монастырь, что расположен в Черницком уезде. Весть об их приезде разнеслась молниеносно. Первого августа к Долгорукому были присланы архимандрит Аввакум от сербского патриарха Василия, жившего в Черной Горе, и иеромонах Феодосий от митрополита Саввы. Князь посланцев принял учтиво и разослал письменные приказы собраться всем черногорцам в Цетиньском монастыре 6 августа.

2 августа в десятом часу утра в монастырь верхом в сопровождении небольшого конвоя явился тот, ради встречи с которым князь проделал свой долгий и опасный путь.

Личность самозваного Петра III была окружена таинственностью. Даже ловким венецианским шпионам не удалось проникнуть в тайну, которой окружил себя Степан, по прозвищу Малый, приобретший в короткое время необыкновенную популярность в Черногории. Они называли его «персона игнота». По-видимому, Степан был серб из Боснии (по некоторым сведениям, из кутайсского пашалыка). Начитанный в церковных книгах, знакомый с военным делом, хорошо ездивший на коне, он был типичным монахом-воином православных областей Турции. Родился Степан около 1737 г., долго скитался по разным славянским землям Балканского полуострова и Австрии, занимался контрабандой, одно время был корсаром. В конце 50-х или начале 60-х годов он ездил в Россию с кем-то из сербских игуменов или епископов для сбора милостыни.

В России Степан, по всей вероятности, слышал рассказы о свержении Петра III и его таинственной смерти, о самозванцах, принимавших имена русских царей, Богомолове и Кремневе и вернулся в Турцию с планом воспользоваться недовольством славян, долго томившихся под игом турок, и объявить себя русским императором, чудесно спасшимся от смерти.

Почва для появления самозванца в Черногории была благодатной. С одной стороны, славянские народы давно лелеяли идею воссоздания великого православного государства. С другой — со времен великих потрясений, вызванных реформами Петра I, идеи самозванца укоренились не только в сознании русских крестьян, но и жителей Балкан. Там широко была распространена легенда о том, что Петр Великий не умер, а скитался с мыслью об освобождении православных народов от турецкого ига.

Загадочная смерть Петра III (как было объявлено, «от геморроидальных коллик») не могла не вызвать новые толки и пересуды не только в России, но и далеко за ее пределами. Вольно или невольно

этому способствовали и высшие петербургские сферы. Прусский посланник Гольц доносил 23 июля 1762 г.: «Внезапная смерть покойного государя произвела сильное впечатление на народ. Удивительно, что очень многие лица теперешнего двора, вместо того чтобы устранить всякое подозрение... напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя».

Впрочем, идея объявить себя чудесно спасшимся императором Петром III созрела у Степана Малого не сразу. На первых порах он питал надежду помочь Черногории с помощью Венеции. Летом 1767 г. он обратился к венецианскому дожу с просьбой помирить черногорские общины, прекратить кровавые распри соседних сел, освободить арестованных, водворить спокойствие среди враждовавших родов.

«Я видел кое-какие политические книги, — писал он дожу, — и знаю, что не следует вмешиваться в дела чужого государства, но мое высокое мнение о яснейшей республике и желание блага христианству побуждают меня просить о водворении мира и спокойствия между здешним народом. Есть змий, разверзший пасть, чтобы проглотить христианство. Но, с Божьей помощью, он будет попран и убит...»

Венецианские шпионы, посланные к Малому, находили, что «говорит он просторечиво, бойко и выразительно, любит прибегать к поговоркам, пословицам, всякого рода образным выражениям и изречениям из Писания, что изобличает в нем духовное лицо. Он полон ума и твердого характера и необыкновенно учтив. Хорошо говорит по-сербски, но с боснийским выговором». Кроме сербского Степан объяснялся по-немецки, по-турецки, но, по-видимому, совсем не знал или плохо владел теми языками, которые, по мнению венецианцев, должен был знать русский император: французским, русским, греческим и итальянским.

«Кто бы он ни был, его физиономия очень схожа с портретом русского императора Петра III, — писал в своем донесении дожу посланный из Венеции полковник Марко Бубич. — Лицо продолговатое, маленький рот, толстый немецкий подбородок, блестящие глаза с изогнутыми дугой черными бровями. На левой щеке — два рубца, как на портрете. Внешность его несет на себе черты страдания и недавней болезни. Цвет лица приближается к оливковому».

Похожие на пророческий бред рассказы Степана волновали черногорцев, питая их давнишнюю надежду освободиться от турецких и венецианских притязаний.

Осенью 1767 г. он выпустил свою первую прокламацию, в которой говорилось, что «два яблока еще не созрели, но вскоре созреют... Когда же настанет время и созреют плоды, народ найдет в них неисчерпаемые сокровища — драгоценные камни, рубины, смарагды, сапфиры, алмазы, золото и серебро — и каждый, кто верует в нас, будет иметь все, что ни пожелает. Мир и благоденствие тем, кто покорится нам. Горе неверующим и непокорным: они погибнут от меча и будут брошены в море, которое ждет только нашего голода, чтобы встать и поглотить все живущее».

3 октября на большой скупщине в Цегличах впервые раздался крик:

— Да здравствует царь Петр!

С того времени Степан становится фактическим господарем Черногории. Позиции его настолько укрепились, что на большую скупщину в Цетиньи, где собралось более семи тысяч представителей от Черногории и венецианской Албании, он не считал нужным явиться лично, а послал Вуко Марковича, своего личного секретаря, и Марко Тановича, адъютанта и будущего «канцлера» великой российско-славянской державы.

Степан встретил некоторое противодействие лишь со стороны престарелого черногорского владыки Саввы Петровича, человека неумного и корыстолюбивого, подкупленного Венецией и боявшегося Австрии. Однако в конце января 1768 г. у владыки появляется сильный соперник. В Черногорию возвратился Василий Берчич, бывший печский патриарх, враг Высокой Порты и Венеции, бежавший сначала с Кипра, куда был заточен по приказанию султана, а затем из Печа, где снова временно получил патриаршество. Степан оказал патриарху Василию большое уважение и поселил его в монастыре Берчели.

К этому времени слухи об объявившемся в Черногории самозванце докатились и до России. Екатерина встревожилась. За пять с небольшим лет, прошедших после переворота 28 июня 1762 г., в различных уголках страны появилось по крайней мере шесть самозванцев, выдававших себя за чудесно спасшегося Петра III. За долгие 34 года ее царствования Екатерине предстояло столкнуться с двумя десятками самозванцев, в том числе с грозным Емельяном Пугачевым.

В начале 1768 г. известия о появлении в Черногории самозванца были получены и Обресковым. Он немедленно отписал владыке Савве, официально уведомив его, что «император всероссийский Петр III преставился 6 июля 1762 г. и погребен торжественно со всеми пристойностями в соборной церкви Александро-Невского монастыря». Алексей Михайлович не скрывал удивления, что владыка «впал в равное с невежливым народом заблуждение» и верит самозваному «плуту или вралю, наученному кем-нибудь из собственных злостных или корыстных видов». Обресков просил владыку приложить крайние старания для того, чтобы вразумить заблуждающийся народ, обличить плутовство и прогнать самозванца.

Савва немедленно разослал письмо Обрескова по всем нахиям. Узнав об этом, Степан пригласил из Майны представителей главных общин и объявил им, что владыка подкуплен Венецией за 5 тысяч червонцев, а письмо Обрескова подложное. Степан клялся головой, что он Петр III и отомстит владыке.

9 февраля в Станевичах, в монастыре, где жил Савва, собралась скупщина от всех черногорских и венецианских общин. Степан не уклонился от приглашения. Своей смелостью и находчивостью он произвел на скупщину большое впечатление. Черногорцы, забыв, кого они должны судить, бросились на дом владыки, ограбили его, взяли около 32 тысяч цехинов, увели сотни голов скота, а самого Савву посадили под арест в келью.

Эта победа дала Степану полную власть в Черногории. 29 июня 1768 г. он торжественно отпраздновал свое «тезоименитство», а на

Следующий день — именины Павла, своего сына. Когда началась месса, в которой поминался наследник цесаревич Павел Петрович, Степан вытирал глаза платком и отворачивал голову к стене. Но это производило сильное впечатление.

В Петербурге сочли, что настала пора предпринять срочные и решительные меры. Русский посол в Вене князь Д. М. Голицын получил приказание тайно отправить в Черногорию «надежное лицо» и присланной из Петербурга грамотой императрицы, в которой удостоверялась смерть Петра III. Екатерина требовала от черногорцев наказания самозванца, дерзнувшего принять имя покойного государя. Голицыну было приказано действовать как можно осторожнее, скрытнее, чтобы захватить самозванца врасплох и нечаянным появлением русского представителя с царской грамотой сильнее подействовать на умы черногорцев. Но тайны сохранить не удалось. Прежде чем советник посольства Юрий Мерк выехал из Вены, в Константинополе уже знали о его предполагавшейся поездке в Черногорию. Французский посол, сообщивший об этом Порте, воспользовался случаем, чтобы бросить тень подозрения на Россию и выставить ее виновницей происшедшей в Черногории смуты. Обрядом, не знавший еще о поручении, данном Голицыну, оказался в неловком положении, будучи принужден выслушивать саркастические замечания реис-эфенди.

Ночью 5 июля 1768 г. Мерк прибыл на торговом судне в Боку. На этом, впрочем, его миссия и окончилась. Стремясь избежать тягот опасного путешествия, Мерк потребовал от проведитора дозволить Савве и черногорским старшинам прибыть к нему в Боку. Черногорцы также просили об этом. Но проведитор был неумолим. Он предлагал Мерку коней до границы, но не соглашался разрешить черногорцам прибыть в Боку. Проведя бесполезно несколько дней в Боке, Мерк, не исполнив возложенного на него поручения, возвратился через Рагузу в Венецию.

Екатерина написала на его донесении: «Если б капитан гвардии был послан с грамотой к черногорцам, то бы письмо, несомненно, отдано было, но сей претонкий политик возвратился с ней, ничего не сделав, кроме преострых размышлений; я советую его из Вены отозвать, ибо видно, что он способность великую имеет здесь употребленным быть в важнейших делах, а там на него изойдет лишняя Коллегии издержка».

Между тем молва о появлении в Черногории русского царя быстро распространилась среди порабощенных Турцией народов. Под знамена Степана Малого стекались славяне, албанцы и греки. Даже из далекой Мореи спешили в Черную Гору все новые и новые приверженцы и помощники самозванца.

Из Константинополя поступил приказ боснийскому и скутарийскому пашам вторгнуться в Черногорию и предать ее огню и мечу.

Степан решил защищаться. Собрав полторы тысячи черногорцев, он начал укреплять границу со стороны Никшича. Силы, однако, были неравны. В начале сентября черногорское ополчение было разгромлено. Степан укрылся в Берчельском монастыре.

Победу в турецкой столице отпраздновали пушечными выстрелами. У ворот сераля выставили отрезанные головы, носы и уши мятежных черногорцев. Однако в конце сентября ввиду наступившей непогоды турки были вынуждены убраться восвояси. А затем начавшаяся война с Россией отвлекла их внимание на более грозного противника.

Венецианский посланник в Константинополе Розини с сожалением доносил в Венецию, что «Порта, пораженная тяжелой болезнью в самых жизненных частях своих, вынуждена пренебречь этой язвой на своих оконечностях, представляя заботу о Черной Горе приграничным пашам».

Когда Степана Малого провели в комнату, где находился Долгорукий, князь увидел перед собой человека среднего роста, лет 35, одетого в длинное белой тафты платье греческого покроя. Голову его покрывала скуфья красного сукна, которую он не снял, войдя в комнату. С левого плеча свисала тонкая позолоченная цепь, а на ней, под правой рукой, — икона в шитом футляре, величиной с российский рубль. В руках у Степана был турецкий посох.

Речи самозванца были по обыкновению темны.

— Через речку построено тридцать мостов, и я должен перейти через них, — говорил он тонким голосом юродивого. — Двадцать девять закрыты, и лишь один открыт, во что бы то ни стало я перейду мост. Такой мой обычай — оставлять за собой путь ровный и без терний.

Долгорукий, решивший, что его дурят, вскипел от ярости.

— Что ты здесь мелешь? Отвечай лучше: как ты смел всклепать на себя не принадлежащее тебе имя? — кричал он, приступая к самозванцу.

Нимало не смущаясь, Степан отвечал:

— Я никогда не стремился получить ничего, мне не принадлежащего. Я — Степан Малый, малейший из малых, а Бог из малых творит великих, а из великих малых. Степан не делает ничего иного, как излагает заповеди Божьи и закон христианский, по которому мы должны любить ближних, как самих себя, и прощать во имя Христова обиды и оскорбления. Еще пророк Даниил говорил, что семь христианских государей соединенными силами уничтожат по воле Господней врага нашей веры.

Дальнейший разговор у Долгорукого со Степаном происходил без свидетелей...

Когда Степан вышел из кельи, Долгорукий сказал Андрею Григорьевичу Розенбергу:

— Я в растерянности. Так может говорить только человек с расстроенным рассудком. Верить же в него способна только невежественная чернь.

— Он вздорный комедиант и сумасбродный бродяга, — согласился Розенберг.

Слова Долгорукого были обращены в человека, чье имя еще не раз встретится на страницах этой книги. Дело в том, что с первых дней экспедиции он вел подробный дневник, по которому сегодня

мы можем восстановить каждый шаг князя Долгорукого в Черногории. Розенберг был дельным офицером и отличился в первой и второй турецких войнах екатерининского царствования. Он блестяще проявил себя во время итальянского похода Суворова, в котором участвовал в генеральском чине.

На 6 августа в Цетиньи была назначена большая скупщина. В монастыре под колокольный звон отслужили литургию в честь Пресобращения Господня, затем народ собрался на обширном цетинском поле. По приказанию Долгорукого иеромонах Феодосий прочел собственноручную грамоту патриарха Василия о Степане Малом, в которой говорилось, что упомянутый Степан есть не тот, за кого себя выдавал, а обманщик, льстец и бродяга. Грамоту выслушали в полном молчании, но по окончании чтения черногорские старшины просили князя дать собственноручное и непременно с печатью заключение о Степане Малом. Свидетельство Долгорукого также было прочитано народу, который казался спокойным.

Тем временем в монастыре накрыли обеденный стол. К нему Долгорукий пригласил патриарха Василия и черногорских старшин. Народу вынесли несколько бочонков вина.

По окончании обеда князь вышел к заметно повеселевшей толпе, которая расположилась, как пишет Розенберг, «большим циркулем». В середине был поставлен аналой, на нем — Евангелие и крест. Долгорукий прошествовал к аналою в полной парадной форме. Впереди князя шел сердар с обнаженной саблей, а за ним двадцатка вооруженных черногорцев по двое в ряд. По правую руку от Долгорукого капитан Миловский нес на бархатной подушке писаную золотыми буквами, подлинную грамоту Екатерины к христианским народам с призывом встать на сторону России в войне против Османской империи. Слева от князя шел патриарх, а замыкали шествие русские офицеры, черногорские священники и конвой из двадцати черногорцев с обнаженными саблями.

Став лицом к двухтысячному собранию, Долгорукий приказал прочесть манифест о причинах его приезда в Черную Гору. Затем капитан Миловский торжественно огласил императорскую грамоту. От себя Долгорукий добавил, что вскоре он ожидает прибытия в Средиземное море и Архипелаг русских военных кораблей, направляющихся в помощь поднимающимся на борьбу с турками народам Греции, Балкан и Черногории.

Войнович, напрягая голос, прокричал в толпу по-сербски:

— Готовы ли вы за будущие от российского двора милости присягнуть на верность и усердие в борьбе против общего врага всех христианских народов?

Из толпы раздались громкие возгласы одобрения. Тут же появился священник в полном облачении и стал читать формуляр присяги. Сначала черногорцы хором повторили короткий текст, а затем по одному принялись подходить к аналою целовать крест и Евангелие.

По окончании церемонии, длившейся до позднего вечера, Долгорукий вернулся в монастырь, за стенами которого началась громкая пальба, продолжавшаяся всю ночь. Императорская грамота была отнесена в монастырскую церковь и оставлена в ней на вечное хранение. Энтузиазм черногорцев еще более увеличился после того, как по приказу Долгорукого было роздано до 500 цехинов. Только к утру они начали расходиться по домам.

В ту ночь Долгорукий впервые заснул спокойно. Однако в шестом часу утра под окнами послышались выстрелы и крики. Розенберг доложил, что объявился Степан Малый. Он разъезжает по полю с обнаженной саблей и уговаривает черногорцев взять монастырь приступом. Позабыв о данной присяге, толпа хлынула к монастырским воротам.

Положение спас Войнович. С отрядом солдат он вышел за ворота и арестовал самозванца. Со Степана предусмотрительно сняли саблю и препроводили в узкую комнату без окон на втором этаже главного монастырского здания.

Это произвело неожиданный эффект. Те, кто только что громко всех кричал за Степана, стали требовать повесить самозванца или разрубить его на части. Впрочем, когда по приказу Войновича за ворота выкатили еще два бочонка вина, успокоились и самые горячие головы.

«Так, без всяких печальных следствий, кончилась роль громкого в Европе обманщика, известного под именем Степана Малого», — записал в своем дневнике Андрей Григорьевич Розенберг.

Избавившись от Степана, Долгорукий принялся княжить в Черногории.

Взыграла в жилах Долгорукого кровь Рюриковичей, почувствовал зов предков, среди которых был, между прочим, и знаменитый князь Михаил Черниговский.

Гонец за гонцом выезжали из ворот Цетинского монастыря, развозя письменные приказания Долгорукого к черногорским старшинам иметь между собой дружбу и доброе согласие и готовиться к выступлению против турок.

Со всех концов Черногории в монастырь группами и поодиночке стекались добровольцы. Настало время решительных действий, а известий от Орлова о времени подхода русского флота все не поступало. Между тем обеспокоенные турки перекрыли все проходы в Черногорию через горные перевалы. Проведитор, опасавшийся турок еще больше, чем русских, не пропустил посланного от Долгорукого подполковника Герсдорфа в Анкону, а оттуда в Пизу. Вокруг Черной Горы смыкалось кольцо блокады.

Лишь в начале сентября были получены наконец первые письма от маркиза Маруцци из Венеции с приложенными к ним печатными ведомостями о том, что российскими войсками разбиты турки под Хотинном и Бендерами. На радостях в кафедральном соборе отслужили благодарственный молебен. 17 сентября Долгорукий от-

правил Орлову подробный отчет о своих действиях, прося разрешения вернуться в Ливорно.

К тому времени положение русской экспедиции стало опасным. У одного из дезертировавших из Боки солдат нашли сомнительные порошки, которые тот пытался подсыпать в еду Долгорукому. Солдат оказался венецианским шпионом. При нем обнаружили пять пузырьков и склянок с инструкцией:

«Пузырек № 1 — четвертая часть его действует через несколько дней; № 2 — соль для соления всякого кушанья в количестве, достаточном для вкуса; № 3 — корица для употребления там, где правится, действует медленно; № 4 — шоколад, четвертая его часть, положенная в чашку настоящего, действует через несколько дней; № 5 — 40 капель, смешанных с розолео, производят свое действие».

Разбирая зловещий смысл инструкции, Войнович, хорошо знакомый с образом действий конклава венецианских инквизиторов, слабочно качал головой. С покупаемыми съестными и питейными припасами было приказано поступать крайне осторожно.

Солдат, будучи допрошен, показал, что вошел в доверие к слуге князя, родом итальянцу, и, заметив в нем неудовольствие против господина, посоветовал отомстить, подмешав в питье или кушанье один из порошков. Испугавшись быть уличенным, солдат выбросил из карманов еще несколько порошков и рассыпал их по земле.

«Таким образом, провидение, защищая непорочность, отвратило смертоносный вред и открыло изготовленное уже к тому безбожное орудие», — заключил эту историю Розенберг.

По вечерам в монастыре черногорцы пели старинные военные песни. Под аккомпанемент инструмента, похожего на русский гудок, певцы неторопливо пересказывали истории древних кровопролитных баталий.

22 сентября, в день коронации Екатерины, патриарх Василий и митрополит Савва с двумя священниками отслужили литургию. Юрий Владимирович, стоя в церкви, пожалел, что устроил этот торжественный акт примирения. По знатности чинов своих черногорские архипастыри нечасто упражнялись в отправлении церковной службы.

Между тем тучи над Цетинским монастырем все более сгущались. 24 сентября Долгорукий приказал перенести порох, хранившийся в монастырских подвалах, в комнаты, у дверей которых был выставлен караул. В ту же ночь некто, оставшийся неизвестным, пытался проникнуть через окно в комнату Долгорукова. Караульный принужден был сделать два выстрела, но злоумышленник скрылся.

В эти трудные дни с наилучшей стороны проявил себя граф Войнович. Ловкий в обхождении, хорошо знакомый с местными нравами и языком, он оказал Долгорукому неоценимые услуги. По мере того, как пребывание экспедиции в Черной Горе затягивалось, среди черногорцев то вспыхивала, то вновь гасла приверженность к Степану Малому. Вдруг пошли нелепые толки о том, что князь ни-

чего не решает, не посоветовавшись со Степаном. Даже то, что Степан содержится в темнице на втором этаже, черногорцы толковали по-своему.

— Сам Долгорукий признает его императором, — судачили они, показывая на глухую стену прямо над окнами княжеских апартаментов, за которой содержался Степан. — Иначе разве поместил бы он его выше себя?

В начале октября стало окончательно ясно, что ждать помощи с моря бессмысленно. К тому же возвращаться следовало до наступления зимних снегопадов, когда Черногория с ее труднодоступными горными перевалами делается фактически изолированной от внешнего мира.

Войнович, переодевшись в матросское платье, отправился в хорошо знакомый ему Кастель-Нуово, где имел надежду купить трабакул и подготовить все для отъезда. Уже через четыре дня он доложил Долгорукову об успешном выполнении приказа.

Уходить из Цетиньи было решено с величайшими осторожностями. Князю всюду мерещились подлинные и мнимые венецианские шпионы.

8 октября в полночь по приказу Долгорукого за монастырские ворота вывели лошадей, затем туда же был незаметно доставлен Степан Малый, отправленный под усиленным конвоем в Становический монастырь.

На следующий день поутру Долгорукий покинул Цетиньи. Его провожали патриарх Василий и митрополит Савва с несколькими монахами. В монастыре оставили унтер-офицера Акиншина с небольшой командой. Они и солдат, стоявший на карауле у дверей той каморы, в которой содержался Степан Малый, делали вид, будто Степан еще находится в Цетиньи.

После полудня в монастырь явился воевода, объявивший о желании видеть Степана. Акиншин воспротивился, и воевода в сопровождении полусотни вооруженных черногорцев совсем уже изготовился ворваться силой в монастырь, но тут разнеслась весть, будто Степана в обители уже нет. Воевода закричал как сумасшедший, что теперь черногорцам конец, и умолял Акиншина сказать, где Степан.

Тем временем Долгорукий получил наконец от Орлова разрешение на отъезд. 12 октября Войнович донес, что трабакул ждет пассажиров. Приготовления велись в полной тайне.

Между тем следовало решить, что делать со Степаном. Войнович предупреждал, что тайно вывезти его из Черной Горы не было никакой возможности. Поступили известия о том, что около двухсот вооруженных черногорцев окружили монастырь в Станевичах.

Свидетельствует Розенберг: «В таких обстоятельствах приказал Его Сиятельство допустить к себе арестанта и, избличая важность предерзостных его поступков, представлял ему силу и строгость законов, которые хотя по справедливости делали его виновным в смертной казни, однако ж оное ему упущено; и что при том за особое почитает себе удовольствие Его Сиятельство тот случай, при котором он мог сохранить ему жизнь, бывшую уже жертвой бес-

иного и разъярившегося тогда народа; а ныне, оставляя ему свободу, требует от него должного усердия и верности. Степан Малый, признавая во всем свою виновность, признавал и то, что заслуживает смерти, и, благодаря за оказуемое ему прощение и милость, шаялся притом, что он с радостью потерять ее желает, где только случай найти может».

В дорогу тронулись с наступлением темноты. За ворота монастыря выходили порознь, стараясь не привлекать к себе внимания. Свечи в комнатах были погашены. Когда все собрались в назначенном месте, Долгорукий, не говоря ни слова, пошел к морю. Ночь случилась безлунная, к тому же густой туман скрывал лежащие под ногами камни. Провожатым служил сам Степан Малый, лучше других знавший дорогу. Пять часов продолжался спуск; во время которого патриарх, больной и слабый старик, едва не лишился жизни.

14 октября в 6 часов поутру Долгорукий вышел на берег, где уже дожидалась небольшая лодка. С несколькими офицерами он персехал на трабакул, стоявший в заливе на якоре. Войнович, оставшись на берегу, обнадежил черногорцев в скором возвращении русских и объявил Степана Малого начальником, чем они были весьма довольны. Степан, тотчас принявший важный вид, возвратился с ними в горы.

Через четверть часа трабакул снялся с якоря.

Г л а в а XI

КРОНШТАДТ — ЧЕСМА.

Июль 1769 — июнь 1770 г.

Донесение А. Г. Орлова о бесславном финале миссии Ю. В. Долгорукого достигло Петербурга поздней осенью 1769 г. «Происшествие черногорское с нашим ген.-майором кн. Долгоруким, — отвечала Екатерина Орлову, — по-видимому, недостойно большого уважения, ибо главные действия должны были произойти от христиан — собственных подданных нашего вероломного неприятеля». Взяв с самого начала под личный контроль подготовку военно-морской экспедиции в Средиземное море, императрица лучше, чем кто-либо другой из ее окружения, понимала, что успех задуманной ею «знатной диверсии» в тылу Османской империи заключался в скоординированных действиях русского флота и антитурецких восстаний, которые, по расчетам Орлова, должны были одновременно вспыхнуть в различных областях Греции и Балканского полуострова.

Однако такой координации достичь не удалось. Подготовка кораблей к длительному и опасному плаванию велась чрезвычайно медленно. Идея снаряжения экспедиции в Средиземное море, практически неизвестная русским морякам, мягко выражаясь, не вызвала энтузиазма у чинов Адмиралтейской коллегии. Российский флот, покрывший себя неувядаемой славой во времена Петра Великого,

пребывал в плачевном состоянии. Екатерина, посетившая в 1765 русские военные корабли в Кронштадте, вынуждена была констатировать, что у России «не было ни флота, ни моряков». За три года, прошедшие с тех пор, естественно, нельзя было существенным образом поправить дело. Корабли были дурно построены и неправильно оснащены, а команды набирались из непривычных к морской службе крестьян из центральных областей России. В плавание отправлялись, не имея даже лоций Средиземного и Эгейского морей. За два месяца до выхода из Петербурга Екатерина просила русского посла в Лондоне И. Г. Чернышева тайно раздобыть у англичан морскую карту Средиземного моря и Архипелага.

И тем не менее железная воля и неукротимый энтузиазм Екатерины сметали все препятствия, воодушевляли сомневающихся.

— Смелее вперед, нерешительность есть признак слабоумия, — слова, которые в те дни стали любимой присказкой императрицы.

На первых порах решили снарядить две эскадры. Командование первой было поручено опытному моряку Григорию Андреевичу Спиридову, пожалованному в начале июня 1769 г. в адмиралы. Его эскадра состояла из семи линейных кораблей, фрегата, бомбардирского судна, четырех пинков и двух пакетботов. Главной задачей Спиридова было оказание поддержки с моря А. Г. Орлову при начале военных операций в Морее. На борту эскадры Спиридова находилось 4709 матросов и офицеров, включая десант, который должен был пополнить ряды формировавшихся А. Г. Орловым войск.

Во главе второй эскадры был поставлен контр-адмирал Джон Эльфинстон, англичанин, принятый в русскую службу в мае 1769 г. Эскадра Эльфинстона, вышедшая из Кронштадта осенью 1769 г., состояла из четырех линейных кораблей, двух фрегатов и трех мелких судов и имела в качестве главной цели блокаду Дарданелл, с тем чтобы воспрепятствовать подвозу зерна в Стамбул из Египта, бывшего главной житницей Османской империи.

Адмирал Г. А. Спиридов (ко времени назначения ему исполнилось 56 лет) крайне неохотно согласился принять командование эскадрой, ссылаясь на немощность и болезни. Зная о плачевном состоянии флота, адмирал не верил в успех экспедиции, да и, по всей видимости, ему не хотелось расставаться с теплым местечком командующего кронштадтской эскадрой, которого он добился 35 годами безупречной службы. В конце июня на аудиенции у императрицы Спиридов чуть не со слезами на глазах пытался отказаться от руководства эскадрой.

— Я дам тебе сильный талисман, — ответила Екатерина и, сняв со стены образ Иоанна Воина, благословила Спиридова на службу Отечеству.

18 июля 1769 г. эскадра Спиридова собралась наконец в Кронштадтской гавани, готовая к отплытию. В шестом часу пополудни на борту флагманского корабля «Евстафий» подошла яхта под императорским флагом. Екатерина и великий князь Павел Петрович поднялись на палубу, где офицеры были пожалованы к руке. На Спиридова Екатерина возложила орден Александра Невского, а капитанов Грейга и Баржа пожаловала бригадирскими чинами. Матросам

было выдано месячное жалованье не в зачет. В ту же ночь эскадра вышла из Кронштадта и отправилась в далекий и опасный путь.

Несмотря на попутные ветры, продвигались медленно, и до Копенгагена эскадра Спиридова добралась лишь в конце августа. У берегов Дании простояли десять дней: пришлось заменить новопостроенный «Святослав», оказавшийся негодным к зимнему плаванию, на линейный корабль «Ростислав» из русской эскадры, возвращавшийся в Кронштадт.

«По несчастью, наши мореплаватели в таком невежестве и в таком слабом порядке, что адмирал весьма большие трудности в переговорах, роптаниях и беспрестанных ссылках офицеров на регламент находит, а больше всего с огорчением видит, что желание большей части офицеров к возврату, а не к продолжению экспедиции клонится, что беспрестанно делаемые ему в том представления о непрочности судов и тому подобном единственно из сего предмета происходят, и из того тот вред происходит, что нижние служители и весь экипаж теряют бодрственную надежду, столь нужную при столь трудной экспедиции», — сообщал Екатерине русский посланник в Копенгагене Философов.

К середине октября, после трехмесячного плавания, достигли Англии и встали на починку в порту Гулль. «Теперь притворяюсь и притворяться буду, — писал Спиридов в Лондон послу Чернышеву, — что стою за ожиданием отставших от меня кораблей и прочих четырех военных судов... Между тем употребляю старания по получении из местечка Гулля для удовольствия служителей, а паче немощных, покупкою свежего мяса, зелени и воды...»

Медлительность командующего первой эскадрой удручала Екатерину, хорошо понимавшую, что без поддержки с моря нельзя было рассчитывать на успех антитурецкого выступления греков и нарядов Балканского полуострова. «С крайнейшим прискорбием, — писала она Спиридову, — вижу я медленность, с которою Вы идете с эскадрой, Вам вверенною, и что Вы в разных местах мешкаете. Бог весть для чего, хотя весь успех Вам вверенного дела и зависит от проворства. Слышу я, хотя Вы о том ко мне и не пишете, что и больных у вас много; рассудите сами, не от мешканья ли Вашего это происходит? Когда вы в пути съедите всю провизию и половина людей помрет, тогда вся экспедиция Ваша обратится в стыд и бесславие Ваше и мое, хотя я ни иждивения, ни труда, ни всего того, что я придумать могла, не жалела для снабжения Вас всем, что только споспешествовать могло к желаемому успеху. Прошу Вас для самого Бога, соберите силы душевные и не допустите до погрязления пред всем светом. Вся Европа на Вас и Вашу экспедицию смотрит... ради Бога не останавливайтесь и не вздумайте зимовать, кроме Вам определенного места».

Только в середине ноября флагманский корабль эскадры Спиридова «Евстафий» прошел Гибралтар. 18 ноября он встал на рейде Порт-Магона на острове Минорка, принадлежавшем Великобритании. 2 декабря к нему присоединились линейные корабли «Три Иерарха» и «Три Святителя», а также пинк «Саламбал». Всего же из эскадры, вышедшей из Кронштадта в числе семи кораблей и

восьми разных судов, в конце декабря у острова Минорка собралось только четыре линейных корабля, один фрегат и четыре мелких судна. Но и это было еще не все: на стоявших в Порт-Магоне судах насчитывалось 332 человека умерших и 313 больных.

Императрица была вне себя от гнева.

«Гибралтар нашим кажется концом света!» — писала Екатерина А. Г. Орлову 8 января 1770 г.

«Надеемся крепко, что дурноты уже все миновали и дело теперь пойдет», — отвечал Орлов.

Этого было достаточно, чтобы Екатерина восстановила бодрость духа:

«Что же делать, впредь умнее будут. Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход. Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет со временем круглехонько обточен».

В январе 1770 г. Екатерина начала готовить третью эскадру под командованием контр-адмирала Арфа. Эскадра отправилась в Средиземное море в июне 1770 г., имея на борту 2500 человек пехоты, в том числе 500 солдат гвардии Преображенского полка. Денег на архипелагскую экспедицию в Петербурге не жалели. Лишь в 1769—1770 гг. на нее было истрачено без малого 2 миллиона рублей.

Впрочем, ко времени появления на просторах Средиземноморья эскадры Арфа главные события были уже позади.

Суда эскадры Спиридова покинули Порт-Магон 23 января 1770 г. Через две недели русские корабли встали на якорь в порте Витула на полуострове Майна. Местное население встретило появление русских кораблей восторженно. Греки толпами собирались на побережье, салютуя приходу русских выстрелами из винтовок и пистолетов. Немедленно было сформировано два легиона: восточный и западный. Первый возглавил капитан Барков, второй — майор Петр Долгорукий. Отряд Баркова, насчитывавший до 8 тыс. человек, без труда взял Миситрию, столицу древней Спарты. Турецкий гарнизон сложил оружие без сопротивления, однако греки, кипя ненавистью к поработителям, в один день перерезали более тысячи турок. Вследствие этого при осаде следующей турецкой крепости, Триполице, Барков встретил сильнейшее сопротивление. Греки, не приученные к воинской дисциплине, бежали с поля сражения. Из русских, входивших в отряд Баркова, в живых осталось только четверо. Они на руках принесли в Миситрию тяжелораненого Баркова, опоясанного знаменем, которое он при отходе велел снять с древка.

Между тем Петр Долгорукий овладел всей Аркадией и вышел к крепости Наварин, ключевому пункту обороны турок. 10 апреля 1770 г. после воспетою А. С. Пушкиным бомбардировки, которую возглавлял его дед бригадир Ганнибал, Наварин был взят. В его гавани собрались весь русский флот и наличные сухопутные силы во главе с А. Г. Орловым.

Екатерине и Орлову Наварин представлялся идеальной базой, способной подкрепить военные действия в Море и на Балканском

полуострове. Для того чтобы окончательно утвердиться в Наварине, было необходимо овладеть расположенной поблизости сильной крепостью Модон. Небольшой русский отряд под командованием героя черногорского похода князя Ю. В. Долгорукого направился к Модону, но был разбит превосходящими турецкими силами. «Сей неблагоприятный день,— писал Орлов Екатерине,— отнял всю надежду иметь успехи на земле».

Действительно, поражение под Модоном поставило небольшие, в сущности, русские силы, десантированные на юге Греции, на грань военной катастрофы. Турки угрожали и с сухого пути, и с моря. В середине мая поступило сообщение о приближении турецкого флота, стремившегося запереть русские корабли в гавани Наварина.

В этот критический момент в районе военных действий как нельзя более кстати появилась вторая эскадра русского флота. Однако командовавший ею контр-адмирал Эльфинстон и не помышлял координировать свои действия со Спиридовым или Орловым. Дело в том, что инструкция, которой Эльфинстона снабдили в Петербурге, была составлена странно. Взаимоотношения между Спиридовым и Эльфинстоном определялись в ней как равного с равным. Происшедшие из-за этого недоразумения могли дорого обойтись русскому флоту.

Прибыв к берегам Греции, Эльфинстон не позаботился установить прямой контакт с Орловым или Спиридовым и высадил имевшийся на его судах десант в Колокинфской бухте, предписав ему следовать в Миситрию, в то время уже покинутую русскими войсками. Десант во главе с подполковником Борисовым фактически оказался брошенным на произвол судьбы.

Тем временем честолюбивый Эльфинстон пошел навстречу турецкому флоту. От немедленного разгрома в проливе Наполи-ди-Романья он был спасен только крайней нерешительностью турецкого капудан-паши, никак не предполагавшего, что русские решились атаковать его такими малыми силами.

Только 21 мая эскадры Спиридова и Эльфинстона соединились. Однако при первой же встрече командующие эскадрами не нашли ничего лучшего, как смертельно разругаться. Федор Орлов, присутствовавший на военном совете, не смог призвать к порядку двух разбушевавшихся адмиралов.

Здесь и пробил час Алексея Орлова. Екатерина знала, в чьи руки вверяла дерзкое и опасное предприятие. Орлов был прирожденным лидером. В критических обстоятельствах он не ведал сомнений и не останавливался ни перед какими препятствиями. Любитель конских бегов, цыганских песен и кулачных боев, Алексей, наделенный от природы огромным ростом и богатырской силой, не раз на масленицу скидывал шитый золотом кафтан и, поддерживаемый криками обожавшей его толпы, сходил в рукопашном бою с двумя, а то и тремя соперниками одновременно. Недостаток познаний в морском деле он с лихвой компенсировал железной волей, решительностью и умением добиваться беспрекословного подчинения и от заносчивых адмиралов, и от матросов, которых любил неприят-

ворно и ласково называл «аржанушки» за пристрастие к ржаному хлебу. Матросы платили ему взаимностью.

По уходе Спиридова из Наварина ему ничего не оставалось, как взорвать мощные бастионы крепости, к которой уже приближались турецкие войска, и идти на соединение с флотом. 11 июня корабли Орлова «Три Иерарха» и «Надежда благополучия» влились в состав эскадр Спиридова и Эльфинстона. Появление Орлова на флагманском корабле Спиридова оказалось как нельзя кстати. В письме к Екатерине он вынужден был донести, что «командиры между собой в великой ссоре, а подкомандиры в унынии и неудовольствии».

Не разбирая взаимных жалоб, Орлов принял командование флотом на себя. «Для прессечения многих недоразумений и великого числа в обеих эскадрах беспорядков,— сообщал он в письме императрице от 20 июня 1770 г.,— для приведения к одной общей цели обеих эскадр, для сохранения дисциплины и для отвращения уныния и неудовольствия с общего согласия принужденным нашелся взять команду над обеими эскадрами, поднять кейзер-флаг и отдать приказ повелительный, чтобы все слушались того корабля, на котором я».

Дальнейшие события подтвердили правильность поведения Орлова. Верно оценив обстановку и без колебаний взяв на себя всю полноту ответственности, А. Г. Орлов сыграл решающую роль в том, что наспех задуманная и неудачно осуществлявшаяся архипелагская экспедиция завершилась блистательным финалом.

Действия Орлова были продиктованы точным и смелым расчетом. «Ежели Богу угодно будет сокрушить флот неприятельский,— писал он императрице,— тогда стараться станем и употребим всю возможность опять союзно действовать с обитающими народами под державою турецкою с той стороны, где будет способнее. Если флот победит, тогда и денег не надобно будет, ибо будем господами всего Архипелага и постараемся огладить и Константинополь... В случае же несчастного сражения морского или пребывания турецкого флота в благополучном состоянии не имею надежды остаться зимовать в островах Архипелагских и думаю, что принужден буду возвратиться в Средиземное море».

На рассвете 24 июня 1770 г. эскадры Спиридова и Эльфинстона при попутном ветре вошли в Хиосский пролив. Здесь взорам русских моряков впервые открылся турецкий флот, стоявший на якоре вдоль анатолийского берега близ небольшой крепости Чесма. Он насчитывал 16 прекрасно вооруженных линейных кораблей, 6 фрегатов и много мелких судов. Орлов впоследствии вспоминал: «Увидя оное сооружение, ужаснулся я и был в неведении, что мне предпринять должно; но храбрость войск Вашего Императорского Величества, рвение всех быть достойными рабами великой Екатерины принудили меня решиться и, несмотря на превосходные силы, отважиться атаковать: пасть или истребить неприятеля».

Чесменское сражение, вписавшее одну из славных страниц в историю русского флота, в мельчайших деталях увековечено совре-

женниками и потомками. Поэты и драматурги со времен Екатерины писали о нем оды и трагедии. Однако, что может быть поучительнее и достовернее, чем свидетельство очевидца, волею судьбы находившегося в самом эпицентре славных событий? Капитан Самуил Карлович Грейг, один из героев Чесмы, находившийся во все время знаменитого сражения рядом с А. Г. Орловым, оставил записки, по праву занимающие особое место в дошедшей до нас мемуарной литературе этой эпохи.

О незабываемых днях 24—26 июня 1770 г. повествует «Собственный журнал капитан-командора С. К. Грейга в Чесменский поход»:

«Турецкая линия баталии была превосходно устроена; расстояние между кораблями было немного более длины двух кораблей. Они составляли впалую дугу и были не более чем в полумиле от анатольского берега, между заливом Чесменским и малым низменным островом, лежащим к северу от Чесмы, близ берега, которым при NW ветре прикрыт был их правый фланг или авангард.

Передовая линия их состояла из десяти самых больших кораблей, имевших ширинги на канатах и таким образом поставленных бортом в линию. Вторая линия состояла из семи линейных кораблей, двух 50-пушечных каравелл и двух 40-пушечных фрегатов. Корабли и каравеллы расположены были в интервалах кораблей первой линии и не более полукабельтова позади их. На каждом фланге было по одному фрегату, и все галеры и баркасы держались на веслах между флотом и берегом. На берегу был лагерь с значительным корпусом турок, которые, как узнали после от пленных, должны были замещать убыль убитыми и ранеными на кораблях: турки полагали, что сражение может продлиться значительное время.

Когда русская линия баталии была устроена и диспозиции к атаке сделаны, то в 11 часов утра дан был сигнал «спуститься на неприятеля». Адмирал Спиридов с авангардом спустился немедленно, а за ним близко следовал остальной флот в порядке баталии при свежем ветре от NNW. В 3/4 двенадцатого часа передовой корабль «Европа» подошел на пушечный выстрел, и неприятель открыл чрезвычайно сильный огонь по нем. Они выдерживали неприятельский огонь не отвечая, пока не подошли на пистолетный выстрел; тогда, поворотясь бортом к неприятелю, авангард открыл весьма сильную пальбу. За авангардом вплоть следовала кордебаталия, которая открывала огонь по неприятельским кораблям, так что в половине первого часа пополудни сражение сделалось общим и весьма жарким с обеих сторон. В особенности наш авангард и кордебаталия дрались почти все на самом близком расстоянии.

Корабль «Европа», подойдя близко к неприятелю, положил грот-марсель на стеньгу и вступил в бой. Но когда «Евстафий» подошел весьма близко к нему, то «Европа» принужден был опять наполнить грот-марсель и, таким образом, вышел вперед наветренного неприятельского корабля. Поэтому корабль «Европа» поворотил на другой галс, вскоре спустился опять в самый жаркий огонь и занял место позади корабля «Ростислав».

«Евстафий», производя быстрый и хорошо направленный огонь, в весьма близком расстоянии от неприятеля, также вышел вперед наветренного неприятельского корабля. Поэтому он хотел повернуть оверштаг, но, имея много перебитых снастей, не успел в том и, уваливаясь под ветер, навалил на передовой турецкий корабль «Реал-Мустафа» под командою Гассан-паши. Пушечный и ружейный огонь несколько времени продолжался с большой живостью, турецкий корабль вскоре загорелся под шканцами, и пожар в несколько минут распространился по всему кораблю. Турки еще до того бросались с корабля один за другим в воду и спасались вплавь на берег; тут же они стали бросаться в воду сотнями и совершенно оставили свой корабль. Пламя распространялось по снастям и парусам, и вскоре весь корабль был в огне. Находясь на ветре, «Евстафий» не вдруг загорелся, и адмирал граф Федор Григорьевич Орлов и несколько офицеров имели время спастись на гребных судах. Посцепившимся реям и такелажу огонь перебежал с одного корабля на другой; горящая грот-мачта турецкого корабля упала на корабль «Евстафий», и не более как через минуту после того «Евстафий» взлетел на воздух. Как скоро «Евстафий» навалил на турецкий корабль, всем гребным судам флота был сделан сигнал идти к нему для подания помощи, но шлюпки успели спасти только капитана Круза, одного кирасира и артиллерийского офицера, коих сняли с обломков взорванного корабля. Граф Алексей Григорьевич был в это время в большой тревоге, полагая, что брат его Федор взлетел с кораблем на воздух. К счастью, оказалось, что он вместе с адмиралом благополучно достиг шлюпа «Почталион» на адмиральском катере. Граф Алексей Григорьевич узнал об этом только по окончании сражения, а потому во все продолжение дела был чрезвычайно озабочен насчет своего брата.

Турецкий корабль после взорвания «Евстафия» горел еще четверть часа, пока огонь дошел до кюйт-камеры: тогда он также взлетел на воздух. Это доказывает, что его кюйт-камера была весьма хорошо защищена от огня.

Корабль «Три Святителя», следовавший за «Евстафием», подошел весьма близко и лег борт о борт с неприятелем. Он действовал решительно и храбро; но, увидя, что «Евстафий» не мог повернуть, не имея с своим кораблем хода, потому что грот-марсель был на стенге, капитан был в необходимости повернуть через фордевинд, спускаясь прямо в середину неприятельских кораблей. К счастью, он не сошелся ни с одним из них и, сняв только своим утлегарем флагшток одного из турецких кораблей во время прохождения его между неприятельскими линиями, действовал по ним с обоих бортов. «Св. Януарий», следовавший за кораблем «Три Святителя», стрелял залпами по неприятелю по мере прохождения вдоль его линии. Не потеряв хода, когда корабль «Три Святителя» был принужден спуститься на неприятельскую линию, он повернул оверштаг на другой галс.

Корабль «Три Иерарха» следовал в кильватере корабля «Св. Януария», и стал на якорь с шпрингом, вплоть у борта корабля капитан-паши; он начал производить по нем непрерывный огонь пу-

и ружейный, пока тот не обрубил канаты. Но, вероятно, в замешательстве и торопливости турки, отрубив канат, забыли пере-рубить шпринг, взятый в ретирадный порт, потому что корабль их поворачивался кормою к «Трем Иерархам» и оставался в таком положении около четверти часа. Это дало последнему возможность про-должительными выстрелами нанести ему страшное разрушение без ма-ленького для себя вреда.

«Ростислав» следовал за кораблем главнокомандующего. Как скоро он подошел к неприятелю, то положил грот-марсель на стень-гу и действовал с большой решимостью.

Арьергард между тем атаковал неприятельские задние корабли, хотя и не на таком близком расстоянии, как авангард и кордебат-алия.

Пока флоты находились в этом тесном и жестоком бою и «Евстафий», как было упомянуто, навалил на наветренный неприятель-ский корабль и загорелся, турецкие суда, будучи все под ветром его и страшась, чтоб его не нанесло прямо на них, начали рубить кана-ты и отдавать паруса и в совершенном беспорядке и ужасе обрати-лись в бегство в Чесменскую бухту. Как скоро русские заметили, что неприятель намерен бежать, граф Орлов приказал обрубить кан-ат на корабле «Три Иерарха» и, сделав сигнал общей погони, пре-следовал неприятеля до того времени, пока он не вошел в Чесмен-скую бухту. Турецкие корабли бросились сюда в совершенном бес-порядке, сталкиваясь между собой, отчего некоторые из них поте-рили бушприты.

В Русском флоте не было брандеров, которых бы можно было пустить на турецкие суда, пока они находились в этом беспорядке и паническом страхе, и граф Орлов, по необходимости, сделал свое-му флоту сигнал стать на якорь, что корабли и исполнили, став у самого входа в бухту, на расстоянии пушечного выстрела от непри-ятеля. Он тотчас отрядил командора Грейга на бомбардирском ко-рабле «Гром», с тем чтобы тот, пока турецкие корабли находились в таком замешательстве, бросал на них бомбы и каркасы: а между тем приказал снарядить брандерами четыре самых больших грече-ских судна из числа тех, которые следовали за флотом.

Таким образом кончилось это замечательное сражение 24 июня, которое было как бы приступом к последовавшему затем делу. Са-мый ожесточенный бой, от начала атаки до того времени, как не-приятель стал рубить канаты и отступать, продолжался только полто-ра часа, затем продолжалась погоня еще около получаса, и около двух часов пополудни неприятельский флот находился уже в Чесменской бухте. Потеря русских убитыми и ранеными была следующая:

На корабле «Евстафий»: флаг-капитан Плещев, 34 морских и сухопутных офицера и 473 унтер-офицера, матроса и солдата.

На корабле «Европа»: 4 убитых и несколько раненых; на корабле «Три Святителя» 1 мичман и 5 нижних чинов убитых и 12 раненых.

На корабле «Не-Тронь Меня»: 3 убитых и несколько раненых. Всего убитых 523 человека.

На корабле «Три Иерарха», хотя он стоял на якоре менее одно-ю кабельтова от неприятельского флота, был только один раненый,

потому что неприятельские пушки были наведены слишком высоко и стреляли только по рангоуту, повреждали мачты, реи и перебиты ли снасти. В каждую из бегинь-рей перебить пополам; на одной стороне остались целы только две ванты у грот-мачты, а у фок-мачты на обеих сторонах уцелело всего 7 вант.

На кораблях «Януарий» и «Ростислав», также по причине слишком большого возвышения неприятельских пушек, равным образом не было убитых, хотя оба они дрались на близком расстоянии с неприятелем.

Нельзя было получить даже приблизительных сведений о потере неприятеля, но должно полагать, что она была еще значительно. Русские корабли имели большие повреждения в рангоуте и такелаже, особенно корабли «Три Иерарха» и «Три Святителя», которые немедленно после сражения приступили к исправлению и положили фиши на нижние мачты, значительно перебитые, так же как и на бушприты.

Остаток этого дня, всю ночь и часть следующего дня были употреблены русскими для снаряжения четырех брандеров и исправления повреждений. Бомбардирский корабль во все это время не переставал бросать на неприятельские суда бомбы и каркасы; из них многие попадали, не производя, однако, пожара.

Приготовление брандеров было предоставлено бригадиру Ганнибалу, который к вечеру 25-го числа совершенно изготовил их к действию.

Пока русский флот занимался этими приготовлениями, неприятель приводил в порядок свои корабли и воздвигал батареи на берегу, по обеим сторонам входа в залив. Против этого входа турки, поставив в одну тесную линию шесть самых больших кораблей, фланкировали северную, или правую оконечность этой линии; остальные же находились позади этой линии в ее интервалах. Гребные галеры были поставлены в небольшой бухте, позади мыса, образующего северный вход в залив: ветер был от NW. На возвышении этого мыса турки устроили батарею из 22 самых тяжелых орудий, снятых с кораблей в задней линии. Они начали также строить две батареи на южном мысу залива, но не успели вооружить их пушками.

В этом положении турки ожидали нападения русских, которые снарядив свои брандеры и исправив повреждения, полученные во время сражения, были готовы снова вступить в бой.

Командор Грейг, посланный для рекогносцировки положения неприятеля и входа в Чесменскую бухту, нашел, что устье ее до того узко, что не более трех кораблей могут удобно бросить в нем якорь, и то не в одной линии. Посему граф Орлов назначил для атаки четыре корабля, и именно: «Ростислав» под командою капитана Лупандина; «Европа» капитан Клокачев; «Не Тронь Меня» — капитан Безенцов и «Саратов» — капитан Поливанов и два фрегата: «Надежда» — капитан Степанов и «Африка» — капитан Клеопин; бомбардирский корабль и четыре брандера*. Начальство над

* Брандерами назначены командовать: капитан-лейтенант Дугдаль, лейтенанты Мекензи и Ильин и мичман князь Гагарин, которые вызвались охотниками на это отважное дело. — *Примеч. С. К. Грейга.*

приказом и распоряжение им поручено командору Грейгу. Он имел намерение войти с отрядом в Чесменскую бухту и поставить корабли как можно ближе к неприятелю, расположив их, смотря по обстоятельствам и местности, для достижения цели.

Командор Грейг, отдав каждому из капитанов надлежащие приказания, сел на корабль «Ростислав», на котором и поднял свой бранд-вымпел.

Диспозиция была следующая: три линейных корабля должны были войти прямо в бухту и бросить якорь в ближайшем расстоянии от неприятеля, но так, чтобы один не мешал другому. Четвертый корабль должен был стать около двух кабельтовых мористее их для подания помощи или отбуксирования тех из кораблей, которые могли бы встретить в том нужду. Фрегату «Надежда» назначено действовать против батарей на северном мысу; фрегату же «Африка» приказано стрелять по батарее на южном мысу в предположении, что неприятель уже вооружил ее пушками. Бомбардирский корабль имел приказание стать немного мористее линейных кораблей и бросать через них на неприятельский флот бомбы и каркасы. Четыре брандера должны были держаться на ветре под парусами, в совершенной готовности спуститься на неприятеля, как скоро увидят сигнал из двух ракет, пущенных с командорского корабля. Они должны были подойти, сцепиться с неприятелем и потом уже, но не ранее зажечь свои суда. По разным причинам эту атаку признали более удобным произвести ночью, тем более что в то время почти полнолуние; следовательно, было довольно светло для того, чтобы войти в залив и бросить якорь на назначенных местах, а равно приступить и ко всем прочим действиям.

Около 11 часов ночи командор Грейг сделал своему отряду сигнал сняться с якоря. До сего, чтобы не встревожить неприятеля пушечными выстрелами, он приказал поднять один фонарь на гафеле. Отряд немедленно был под парусами. Корабли, подняв фонарь на кормовом флагштоке, показали, что готовы спуститься. На это командор отвечал поднятием трех фонарей на гафеле, что означало приказ привести это в исполнение.

Корабль «Европа», бывший более всех под ветром и опасавшийся песчаной банки, которая находилась под ветром его, прежде чем сигнал был сделан, спустился и вошел в бухту один и около полуночи бросил якорь в южной стороне залива, близ неприятеля. Здесь он принужден был выдержать с неприятельских судов, а равно и с береговых батарей весьма сильный огонь, на который, однако, бросив якорь и поворотясь на шпринг, он отвечал сильно и метко. Это продолжалось около четверти часа, пока не подошли другие корабли. Видя его затруднительное положение, командор с своим кораблем «Ростислав» и с кораблем «Не Тронь Меня» под всеми парусами спешил к нему на выручку. Миновав «Европу» на полукабельтов, командор бросил якорь против середины входа в бухту, около 1 1/2 кабельтова от неприятеля, в 1/4 первого часа ночи. «Не Тронь Меня» в то же время бросил якорь около полукабельтова далее и к северной стороне входа. Фрегаты стали против назначенных им батарей.

Час с четвертью продолжался ужасный огонь с обеих сторон. В это время каркас, брошенный с бомбардирского корабля, упал в рубашку грот-марселя одного из турецких кораблей. Так как грот-марсель был совершенно сух и сделан из бумажной парусины, то он мгновенно загорелся и распространил пожар по мачте и такелажу. Грот-стенга скоро перегорела и упала на палубу, отчего весь корабль тотчас же был объят пламенем.

Командор, увидя замешательство, произведенное этим случаем в турецком флоте, сделал условный сигнал брандерам, которые немедленно спустились на неприятеля. Капитан-лейтенант Дугдаль на передовом брандере поставил все паруса, чтобы подойти и сцепиться с наветренными неприятельскими кораблями; но, пройдя мимо командорского корабля и подходя к неприятелю, он встретил две гребные галеры, которые немедленно абордировали его брандер. Это принудило его зажечь свое судно прежде назначенного времени и для спасения собственной жизни броситься за борт и вплавь достигнуть своей шлюпки, которая, отдав бакштов в то время, как галеры подошли к брандеру, отстала от него на большое расстояние. Галеры остановили брандер и пустили его ко дну на том самом месте, где на него напали.

Лейтенант Мекензи следовал близко за первым брандером и, приблизясь к неприятелю, зажег свое судно. Но в то время как брандеры спускались на неприятеля, пожар первого турецкого корабля распространился уже на два или на три ближайших к нему; горящие обломки от его взрыва упали еще на несколько других судов, и, таким образом, половина турецкого флота уже пылала. Брандер Мекензи навалил на один из горевших кораблей.

Лейтенант Ильин, командир третьего брандера, следовал в некотором расстоянии, и, когда проходил мимо командора, тот кричал ему, чтобы ни под каким видом не зажигал брандера прежде, чем сцепится с одним из наветренных турецких кораблей. Вследствие того он подошел борт о борт к одному из них и зажег его.

Мичман князь Гагарин вскоре подошел на четвертом брандере; но так как большая часть неприятельских судов уже горела, то он также попал на горевший корабль.

Как скоро первый брандер прошел мимо командорского корабля, приказано было прекратить пальбу, чтобы не вредить своим брандерам, которые находились между ним и неприятелем. Но так как пожар еще не сообщился нескольким из наветренных турецких кораблей, которые продолжали стрелять, то командор был принужден вновь открыть огонь.

Пожар турецкого флота сделался общим к трем часам утра. Легче вообразить, чем описать, ужас, остолбенение и замешательство, овладевшие неприятелем. Турки прекратили всякое сопротивление, даже на тех судах, которые еще не загорелись; большая часть гребных судов или затонула или опрокинулась от множества людей, бросавшихся в них. Целые команды в страхе и отчаянии кидались в воду; поверхность бухты была покрыта бесчисленным множеством несчастных, спасавшихся и топивших один другого. Немногие достигли берега — цели отчаянных усилий. Командор снова

приказал прекратить пальбу с намерением дать возможность спастись по крайней мере тем из них, у кого было довольно силы, чтобы доплыть до берега. Страх турок был до того велик, что они не только оставляли суда, еще не загоревшиеся, и прибрежные батареи, но даже бежали из замка и города Чесмы, оставленных уже гарнизоном и жителями.

Корабли «Европа» и «Не Тронь Меня» получили приказание отойти несколько подалее, чтоб быть вне опасности от взрыва судов. Командор с одним своим кораблем «Ростислав» остался до совершенного окончания дела. Он приказал перекрепить все паруса так можно туже и брандспойтами обливать паруса и такелаж, чтобы совершенно смочить их; а также беспрестанно окачивать борты и палубы ведрами, чтобы обезопасить корабли от падавших горящих обломков.

Граф Алексей Григорьевич к 4 часам утра прислал со всего флота гребные суда, чтобы в случае несчастья подать помощь «Ростиславу»; командор же, видя, что два неприятельских внутренних корабля не загорелись еще, отрядил лейтенанта Карташова, командовавшего упомянутыми гребными судами, с пятью или шестью катерами обрубить канаты у наиболее наветренного корабля и постараться спасти его и выбуксировать. Вскоре после того с несколькими катерами был послан лейтенант Мекензи спасти еще другой корабль и вывести его. Оба офицера исполнили ~~это~~ приказание с неустранимостью, несмотря на опасность от близ горевших неприятельских кораблей, которые один за другим взрывались. Оба корабля были уже на буксире, когда, к несчастью, одно из горевших судов взлетело на воздух в то самое время, как лейтенант Мекензи с последним из буксируемых кораблей проходил вблизи его. Горящие обломки взорванного корабля, падая, зажгли и этот корабль. Командор Грейг опасался, чтоб подобное несчастье не случилось и с другим спасаемым кораблем, и когда сделался небольшой ветерок с берега (во время сражения был штиль), то с корабля «Ростислав» послал на этот корабль капитан-лейтенанта Булгакова, с тем чтоб он принял на нем команду, отдал и поставил с возможною поспешностью паруса и, выведя корабль из бухты, шел на соединение с графом Орловым у входа. Все это было исполнено им с большим искусством и быстротою. Этот корабль именовался «Родос».

Начинало рассветать; все гребные суда посланы были овладеть галерами и баркасами, избегнувшими пожара. Они были приведены в эскадре.

Командор, видя, что победа совершена и что в бухте не осталось не только ни одного судна, но даже ни одной шлюпки, которые бы не были или сожжены или выведены к эскадре, снялся с якоря с кораблем «Ростислав» и остальными судами отряда и вышел на соединение с графом Орловым. По соединении он отсалютовал ему двадцатью одним выстрелом, на что с корабля «Три Иерарха» было ответствовано равным числом. Как скоро «Ростислав» бросил якорь, командор Грейг спустил свой брейд-вымпел и прибыл на корабль «Три Иерарха» для отдания главнокомандующему подробного до-

несения. Граф принял его с изъявлениями полной радости и удовольствия.

Так кончилось ночное дело с 25-го на 26-е число июня, в котором турецкий флот был совершенно истреблен. Это одна из самых решительных побед, какую только можно найти в морских летописях всех наций, древних и новейших.

Потеря со стороны русских была весьма незначительна. На корабле «Европа» было 8 человек убитых и двое или трое на корабле «Не Тронь Меня». «Ростислав», хотя и бывший ближе всех к неприятелю, не потерял ни одного человека, без сомнения, по той же причине, как и в первом деле, т. е. что неприятельские ядра были слишком высоко направлены. Потеря неприятеля оказалась весьма велика, и, хотя не было возможности узнать ее даже приблизительно, но, по словам турок, «она должна простираться до 10 тысяч человек».

Екатерина щедро наградила участников Чесменского сражения. А. Г. Орлову был пожалован орден св. Георгия I класса, титул «Чесменский» и право сохранить на всю жизнь кейзер-флаг и включить его в свой герб. Г. А. Спиридов получил Андреевский крест и деревни; Ф. Г. Орлов и С. К. Грейг — Георгиевские ордена II степени и щедрое денежное вознаграждение.

Матросы и младшие офицеры, чьей отвагой была выкована победа, до конца жизни не расставались со специально изготовленными в увековечение чесменского триумфа медалями.

Одним из немногих участников истребления турецкого флота, обойденных наградами и отличиями, оказался Эльфинстон. Более того, через несколько месяцев после Чесмы он по настоянию А. Г. Орлова был уволен из русского флота.

Екатерина считала Чесменскую победу одним из славнейших событий ее царствования. Князь Ю. В. Долгорукий, доставивший в Петербург донесение об уничтожении турецкого флота, был щедро обласкан и награжден. Триумфальный прием ждал в столице и А. Г. Орлова, проведшего зиму 1770/71 г. в Петербурге. В его честь в Царском Селе была сооружена Чесменская колонна, увенчанная орлом — символом побед русского флота. В окрестностях Петербурга по дороге на Петергоф были построены Чесменский дворец и церковь, в которой в наши дни находится музей, посвященный героям Чесмы. Под готическими сводами храма, как на вечной стоянке, замерла, поблескивая медными заклепками, модель славного «Евстафия» — флагмана русской морской славы.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЪЮНКТУРЫ

Глава XII

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Сентябрь 1770 — январь 1771 г.

Задолго до того как победный гром пушек П. А. Румянцева под Ларгой и Кагулом и взрывы тонущих турецких кораблей в Чесменской бухте возвестили Европе о рождении новой первостепенной военной державы, в дипломатических гостиных Вены, Берлина, Парижа и Лондона развернулись сражения, не уступавшие по драматизму военным баталиям.

«Война между Россией и Турцией перемешала всю политическую систему Европы; открылось новое поле для деятельности; надо было не иметь вовсе никакой ловкости или находиться в бессмысленном оцепенении, чтобы не воспользоваться таким выгодным случаем», — писал Фридрих II в своих мемуарах.

Русско-турецкая война с самого начала рассматривалась в Берлине как удобный повод для новых территориальных приобретений. В политическом завещании, написанном в конце 1768 г., но оставшемся до поры секретом даже для его ближайших сотрудников, Фридрих II вполне определенно поставил задачу использовать политическую ситуацию вокруг русско-турецкой войны для приобретения польской Пруссии и установления контроля над Данцигом. Для достижения этой цели нужно было прежде всего основательно заняться укреплением русско-прусского союза. Сольмс зачастил к Панину.

— Союз с Пруссией выгоден России, ибо Пруссия и Дания будут сдерживать Швецию, в которой активно действует французская дипломатия, — доказывал он.

Выслушивал Панин рассуждения Сольмса благосклонно, но действовать не торопился: с началом войны в Петербурге все громче раздавались голоса сторонников союза с Австрией.

— При австрийском союзе войны с Турцией не было бы вовсе или турецкие силы оказались бы отвлечены австрийскими войсками, — утверждал в Совете Григорий Орлов.

Вплоть до осени 1769 г., ознаменовавшейся первыми победами русского оружия, в Петербурге не исключали вступления Австрии в

войну на стороне Турции. Северная система, любимое детище Панина, подвергалась острейшей критике.

В январе 1769 г. начались переговоры о досрочном продлении русско-прусского союзного договора, срок которого истекал в 1772 г. В октябре 1769 г. они успешно завершились продлением договора еще на 8 лет, считая этот срок с 31 марта 1772 г. В текст были включены две новые секретные статьи — саксонская и шведская, — согласно которым Фридрих II брал на себя обязательство выступить против Саксонии и Швеции в случае, если саксонский двор отправит войска в Польшу или Швеция нападет на Россию.

Фридрих II с полным основанием мог считать продление договора своим дипломатическим успехом. Новые статьи открывали ему дорогу в Дрезден. Кончилось раздражавшее его заступничество России за Саксонию.

Однако вовсе не Саксония явилась главным объектом территориальных притязаний со стороны Пруссии. В начале 1769 г. Фридрих при посредничестве международного авантюриста графа Линара направил в Петербург проект соглашения, которому суждено было стать отправной точкой в циничной политической игре, затеянной прусским королем. Существо его состояло в том, что Австрия и Пруссия обязывались принять участие в войне России с Турцией в случае, если Россия изъявила бы готовность компенсировать их военные издержки за счет польских земель.

— Стоит ли труда трем великим европейским державам соединяться только для того, чтобы отбросить турок за Днестр? — отвечал Панин. — Уж если затевать дело, то с тем, чтобы изгнать их из Европы и значительной части Азии, что нетрудно исполнить.

— А что же возьмет себе Россия? — спрашивал Линар.

— У России и без того столько земель, что трудно справляться; ей нужно лишь несколько пограничных областей, — отвечал Панин.

Разумеется, в планы Фридриха, хорошо усвоившего уроки Семилетней войны, не входило ввязываться в затяжные военные действия, даже имея столь мощных союзников.

Взоры прусского короля обратились к Вене. В сближении со своей недавней соперницей он увидел возможность новых выгодных политических комбинаций.

В Вене с нарастающим беспокойством следили за успехами Румянцева в Молдавии и Валахии. Мария-Терезия, ее сын-соправитель Иосиф II и канцлер Кауниц, один из опытнейших европейских дипломатов, не могли не понимать, что в Дунайские княжества русская армия входила как освободительница. Эльпт, один из русских военачальников, сообщал Румянцеву, что во время церемонии приведения молдаван к «присяге России» они кучами к целованию креста и Евангелия метались, так что нужно было определить людей для наведения порядка».

Однако относительно способа противодействия русским успехам мнения высказывались различные. Стареющая императрица Мария-Терезия, впавшая на склоне лет в религиозный мистицизм, и слышать не желала о войне с Россией в союзе с мусульманской Турцией.

— Я прихожу в ужас при мысли, сколько крови пролито в мое царствование, — говорила она. — Только крайняя необходимость может заставить меня быть виновником пролития хоть одной капли еще.

Молодой и честолюбивый Иосиф II, напротив, был сторонником самых решительных мер для восстановления австрийского влияния в Молдавии и Валахии. Сдерживать его удавалось лишь Кауницу, в чреве которого родился совершенно фантастический тройственный союз Австрии, Пруссии и Турции, направленный против России. Кауниц допускал, что для скрепления этого союза Фридрих II уступит Австрии захваченную в ходе Семилетней войны Силезию, а сам за это возьмет Курляндию и часть Польши.

В такой обстановке в августе 1769 г. в силезском городе Нейсе состоялась встреча Фридриха II и Иосифа II. Переговоры, если верить австрийскому императору, продолжались три дня до 16 часов в сутки.

Фридрих II сразу же принялся пугать Иосифа II растущим военным могуществом России. Однако в лице соправителя Марии-Терезии прусский король встретил достойного соперника.

«Король, — писал Иосиф II матери, — осыпал нас учтивостями и выражениями дружбы; это — гений, говорит он чудесно, но в каждом слове проглядывает плут».

И все же обе стороны могли быть удовлетворены результатами переговоров. Фридриху II вполне удалось успокоить Иосифа II относительно собственной политики. Хотя по условиям союзного договора с Россией он не мог заключить с Австрией соглашение о нейтралитете, оба монарха торжественно обязались ни при каких обстоятельствах не трогать владения друг друга. Эта договоренность была скреплена обменом письмами.

Фридрих II так стремился сохранить достигнутую договоренность в тайне, что, принимая письмо Иосифа II, сделал вид, будто нюхает табак. При этом он ловко накрыл переданный ему маленький пакетик, опечатанный сургучной печатью, носовым платком и незаметно положил его в карман.

Европейские державы ревниво следили за ходом военных действий между Россией и Турцией.

Политические расчеты герцога Шуазеля вполне откровенно высказаны в меморандуме, переданном им австрийскому послу в Париже графу Мерси д'Аржанто: «Франция не из какой-нибудь фантазии находится во враждебных отношениях с Россией, — писал он. — Государыня, царствующая в Петербурге, с первых месяцев своего правления обнаружила свою честолюбивую систему; нельзя было не увидеть ее намерение вооружить Север против Юга. Одно из оснований нашего союза с Австрией состоит в избежании, по возможности, континентальной войны; но если бы состоялся Северный союз, руководимый Россией и Пруссией и оплачиваемый Англией, то Австрия и Франция необходимо были бы затруднены и должны были вести значительную сухопутную войну.

...Русская императрица услужила нам, завлекшись в предприятие не по силам. Швеция не вступит в союз против Франции и венского двора. Швеция будет сдерживать Данию. Несчастливая Польша

терзает сама себя; русские, занятые Портою, Польшей, могут быть только в тягость своим союзникам; король прусский, который, конечно, хочет войны, чтобы ловить рыбу в мутной воде, не посмест тронуться, сдерживаемый Австрией. Итак, лучше всего для нашего союза, чтобы турецкая война продолжилась еще несколько лет с равным успехом для обеих сторон, пусть ослабляют друг друга, если мы выиграем время, то все будет в нашу пользу».

Отправляя меморандум, Шуазель вряд ли мог предполагать, что его политическая карьера на закате. Уже всходила звезда мадам Дюбарри, всемогущей фаворитки Людовика XV, которая вскоре заменит Шуазеля нерешительным д'Эгильоном и тем самым еще более ослабит роль Франции в европейских делах.

Одной из причин падения Шуазеля было появление русского военного флота в Средиземноморье, крайне раздражавшее Людовика XV.

То, что огорчало правителей Франции, радовало политиков Великобритании.

— Какое смелое предприятие! Как бы я желал, чтобы мы были теперь в войне с Францией: два соединенных флота наделали бы прекрасных вещей, — говорил руководитель английской внешней политики герцог Рошфор русскому послу в Лондоне графу И. Г. Чернышеву.

Впрочем, дальнейшие подступы Чернышева к герцогу показали, что в Лондоне предпочитали смотреть на победы русского оружия со своей колокольни. В Англии появление русского Андреевского флага в Средиземном море приветствовали постольку, поскольку оно вело к ослаблению французской левантийской торговли. Однако открывшаяся перспектива свободного прохода русских судов из Черного в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы глубоко беспокоила лордов Адмиралтейства.

Настроение умов в Европе не составляло секрета для Петербурга.

«Мудрая Европа одобрит мои планы только в случае их удачи», — писала Екатерина Вольтеру.

А планы эти с лета 1770 г. были связаны в первую очередь со скорейшим заключением выгодного мира. Стремиться к нему русское правительство побуждали как международные осложнения, так и внутренние обстоятельства.

Урожай 1770 г. оказался очень плох. Из турецкой армии на русские войска распространилась страшная болезнь — чума, которая перекинулась в центральные районы страны.

На заседании Совета 12 августа 1770 г. было решено вступить в мирные переговоры с турками.

Легче всего осуществить это было путем посредничества нейтральных стран. Однако Россия уже имела горький опыт, когда посредники сводили к нулю все ее военные успехи. Не в характере Панина, видевшего Россию державой первостепенной, соглашаться на посредничество. В середине августа 1770 г. Румянцеву отправили рескрипт с текстом письма, которое он должен был передать великому визирю от своего имени. В письме говорилось о готовности

России начать прямые переговоры с турками. Иностранные державы, отмечалось в письме, заинтересованы лишь в том, чтобы Россия и Турция «взаимно истощались, мало, впрочем, заботясь, кто в поверхности войны останется». Непременным условием начала переговоров объявлялось немедленное освобождение Обрескова. «Россия не может и не будет принимать мира, пока министр ее, господин Обресков, останется в настоящем насильственном положении», — говорилось в письме.

Такой оборот событий спутал все планы Фридриха II. Открывалась реальная перспектива того, что плоды войны будут поделены без его участия. Одна мысль о том, что сотни тысяч ежегодных субсидий, которые Пруссия по условиям союзного договора выплачивала России, полетят на ветер, приводила Фридриха II в ужас. Он развил лихорадочную деятельность, пытаясь включиться в мирный процесс. Прусский посол в Константинополе Зегеллин и австрийский интернунций Тугут, сменивший незадачливого Броняра, часами вели переговоры с великим визирем. В начале сентября 1770 г. Турция, напуганная Кагулом и Чесмой, согласилась на посредничество Австрии и Пруссии в мирных переговорах с Россией.

«Наконец турки захотели мира и нашего посредничества, — писал Кауниц Иосифу II. — Теперь надобно заставить Россию захотеть и того и другого — в этом-то все и дело, в том-то весь труд. Это нелегко в настоящую минуту энтузиазма; король прусский этого искренне захочет, а захотеть этого требуют его интересы».

В первых числах сентября 1770 г. в моравском городе Нейштадте состоялось второе свидание Фридриха II с Иосифом II и Кауницем.

«Фридрих II начал разговор со мною с того, — писал Кауниц, — что сильно желает скорейшего заключения мира между Россией и Портой; он хотел меня уверить, что это гораздо важнее для нас, чем для него, ибо при несомненных успехах своего оружия русские перейдут Дунай, чего мы позволить не можем и таким образом будем вовлечены в прямую войну с русскими, которая мало-помалу может произвести всеобщую войну».

Однако подозрительного Кауница испугать было трудно, и переговоры продвигались медленно. Именно в это время, как по заказу, в Нейштадт прибыли турецкие уполномоченные с официальным предложением Австрии и Пруссии быть посредниками при заключении мира между Россией и Турцией. Фридрих был в восторге от сноровки своих дипломатов. Иосиф II также имел все основания оставаться довольным таким оборотом событий. Дело в том, что незадолго до свидания в Нейштадте, пользуясь польской смутой, Австрия присоединила к своим владениям польские области Ципса и Новиторга, Черстыня, а также богатые соляными копиями районы Велички и Бохни, вспомнив о том, что до 1412 г. эти территории принадлежали Венгрии. Фридрих молчаливо одобрил этот разбойничий акт, понимая, что тем самым положено начало исполнению его заветных планов по разделу Польши.

В результате переговоров был выработан документ, получивший название «Политический катехизис». В нем говорилось: «Ни один

из двух дворов во всем том, что не будет прямо противно его интересам, не воспротивится выгоде другого, если дело не будет чрезвычайной важности. Если же дело будет идти о приобретениях значительных или очень важных, то об этом дружески предупредят друг друга и заблаговременно условятся о взаимной выгоде».

Итак, первый акт польской трагедии начался. Волчьим аппетитам Фридриха II должна была удовлетворить Польша — *res nullius* («ничья вещь»), «запасный магазин Восточной Европы», по выражению С. М. Соловьева.

14 сентября 1770 г. Фридрих II направил Екатерине письмо с предложением прусско-австрийского посредничества при заключении мира между Россией и Турцией.

16 сентября это письмо было представлено Совету. Выступая на его заседании, Панин впервые сформулировал русские условия мира. Они сводились к четырем пунктам: присоединение к России Азова и Таганрога и свобода торгового мореплавания в Азовском и Черном морях; генеральная амнистия «всем тем, которые для своей защиты подняли против Порты оружие»; «татарам, если они отторгнутся от власти турецкой, оставаться в независимости»; объявление независимости Молдавии и Валахии, утверждение русско-турецкой границы по Дунаю.

Предложение Фридриха II о посредничестве Панин решительно отверг, относительно же добрых услуг выразился следующим образом:

— Добрые оффиции, кои король прусский предлагает, избегнуты быть не могут, потому что никакой двор своему приятелю и союзнику не волен запретить употреблять свои старания и советы для пресечения военных действий.

Екатерина одобрила мнение Панина. Немедленно Фридриху II было отправлено собственноручное послание императрицы. Получив его, король пришел в ярость, но, поразмыслив, решил:

— Мое маленькое путешествие в Моравию расположит русскую императрицу к миру больше, чем все ее военные победы.

Действительно, известия из Нейштадта вызвали беспокойство в Петербурге. Австро-прусское сближение нужно было остановить любой ценой.

Тут вспомнила Екатерина о давнем разговоре русского посланника в Берлине князя Д. А. Голицына с принцем Генрихом, братом Фридриха II, состоявшемся еще в феврале 1770 г. Будто ненароком принц обмолвился о том, что Фридрих II посылает его летом в Стокгольм, чтобы уговорить шведскую королеву (родную сестру Фридриха II и Генриха) сохранять мир с Россией, а от Стокгольма, мол, недалеко и до Петербурга.

В начале сентября Екатерина дала знать Фридриху II, что будет рада принять его брата в Петербурге.

В конце сентября принц Генрих выехал из шведской столицы. 29 сентября в два часа пополудни камергер Александр Юрьевич Нелединский-Мелецкий встретил Генриха на русско-шведской

своей границе. За пограничным шлагбаумом принца ждала русская карета.

1 октября через Фридрихсгам и Выборг в сопровождении скромной немецкой свиты и пышного кортежа русских придворных Генрих прибыл в Парголово, где был встречен приставленным к нему для почетного сопровождения генерал-поручиком и кавалером Александром Ильичом Бибиковым.

В Петербурге принца поселили в доме покойного канцлера А. П. Бестужева. Перед окнами отведенных почетному гостю апартаментов был выставлен караул кавалергардов.

На следующий день в первом часу пополудни от канцлерского дома по направлению к Зимнему дворцу отправились четыре кареты, заложенные цугом. В первой следовали состоявшие при принце камергеры Степан Степанович Зиновьев и Алексей Кириллович Раумовский. В двух других — королевский прусский полномочный министр граф Сольмс, свиты Его Высочества кавалеры граф Гордт, камергер Врек, камер-юнкер Книпгаузен, майор Шверин и ротмистр Капенгенист.

Замыкала процессию раззолоченная придворная карета с двумя гайдуками на запятках, в которой помещались принц с Бибиковым. Перед ней ехали верхом два ездовых конюха, по бокам семенили два скорохода, отгонявшие любопытных.

У дворца принца приветствовала барабанным боем и военной музыкой рота лейб-гвардей.

Когда Генрих следовал в апартаменты императрицы через анфиладу пышно убранных комнат, двустворчатые двери распахивались при его приближении как бы сами собой. Вымуштрованные лакеи чутким ухом безошибочно определяли, когда высокий гость достигал середины зала.

По мере приближения к покоям императрицы свита Генриха обростала придворными. В первом зале принца встретили камер-юнкеры Михаил Михайлович Щербатов и Александр Николаевич Щепотьев. Во фрейлинской к ним присоединился гофмаршал Григорий Никитович Орлов. В парадном зале ожидал несобъятно толстый, с распанным, скучным лицом обер-гофмаршал князь Николай Михайлович Голицын.

Таким порядком промаршировали в аудиенц-камеру, где уже был накрыт стол. Здесь свитские остались, а принц был препровожден на личную половину, где его ждала Екатерина с графиней Анной Карловной Воронцовой.

Внешность принца в первый момент произвела на Екатерину неблагоприятное впечатление. Он был ниже императрицы на полголовы, тщедушен, сутуловат и неловок. Несоразмерность фигуры подчеркивала большая голова с необыкновенно густыми вьющимися полосами, зачесанными в огромный тупей. Стоило этому смешному карлику поднять голову от ее руки, как на Екатерину посмотрели большие выразительные глаза. Взгляд принца был пронизателен и умен. По русскому обычаю, она поцеловала его в лоб.

Первый разговор был трудным. На любезные вопросы императрицы принц неохотно ронял тяжелые, неприлично короткие фразы.

Екатерина, наслышанная о блестящем красноречии Фридриха II, умевшего забрасывать собеседника вопросами, переходя от одного предмета к другому, нападать врасплох, выведывать, что ему нужно, тогда как сам он оставался чрезвычайно осторожен, на следующий день написала Алексею Орлову: «Вчера (2 октября) был прусский принц Генрих, и он, при первом свидании, так был нам легок на руке, как свинцовая птица, а что умен, то уж очень умен, и сказывают, что как приглядится, то будет обходителен и ласков; но первый раз он был так штейф, что он мне наипаче надоел, но при том должно ему ту справедливость отдать, что штейф одна фигура его, а впрочем, он все то делал, что надлежало, с большой ко всем вниманием; только наружность его такова холодна, что на крещенские морозы похожа».

Обедали за столом на 26 персон под рулады и тремоло итальянского оркестра. Осторожный, в полдыхания разговор вращался вокруг странной наружности немецкого гостя.

— Принц напоминает мне Самсона, — говорил камергер Степан Степанович Зиновьев камергеру Алексею Кирилловичу Разумовскому, указывая взглядом на огромный тупей Генриха. — Вся его сила в волосах. Оберегая их, принц не подпускает к себе никакой Далилы.

— А я нахожу, что он скорее похож на комету, явившуюся в прошлом году и так напугавшую весь свет, — отвечал Алексей Кириллович. — У ней тоже было небольшое ядро и огромный хвост.

После обеда Тимофей Иванович Остервальд препроводил принца в покои великого князя, где его ожидал Никита Иванович Панин.

Павлу было неуютно под испытующим взглядом Генриха: «Гамлет и Полоний», — подумал Никита Иванович, наблюдая за неловкой сценой.

Со следующего дня вихрь светской жизни закружил принца. Знатнейшие вельможи петербургского двора побывали в канцлерском доме. Бибииков от имени принца отдал визиты Орлову, Панину, Разумовскому и английскому послу. К остальным были посланы свитские. Куртаги, представления в Эрмитажном театре, посещения Адмиралтейства и Академии наук следовали один за другим.

15 октября, в пятницу, Генрих посетил Петропавловскую крепость. В соборной церкви были выставлены военные трофеи, взятые у турок: знамена, булавы, пушки. Принц задержался у ботика Петра Великого. Обер-комендант Зиновьев одобрительно кивнул, когда Генрих, перед тем как приблизиться к первенцу русского флота, отстегнул шпагу. По домику Петра он долго ходил молча.

Из крепости через понтонный Исаакиевский мост проехали в Адмиралтейство, где на борту новопостроенного военного корабля гостя встретили Панин, Бибииков и Сольмс. Генрих не мог скрыть радости при виде Панина. Со времени первой встречи им так и не удалось побеседовать накоротке. Екатерина также избегала разговоров о политике. Лишь на шестой день по приезде императрица объявила, что желает мира и рада бы положиться на посредничество короля, но надо подождать ответа визиря на письмо Румянцева об освобождении Обрескова.

А между тем письма, поступавшие из Берлина, свидетельствовали о том, что от принца ждали активных действий. Правда, Фридрих II выражал свои мысли, как всегда, своеобразно: «Я решил не вмешиваться ни в мирные переговоры с Турцией, ни в польские дела, — писал король брату. — В Петербурге могут принимать наше посредничество или нет, но не надо позволять, чтобы они открыто смеялись над ним».

Генрих решил, что сама судьба послала ему Панина. Уединившись с Никитой Ивановичем у борта корабля, он заметил, осматривая великолепную перспективу невских набережных, что двойные переговоры — через Румянцева и Пруссию — способны лишь поведать делу установления мира.

— Посредством личных сношений Румянцева с визирем мы можем удостовериться в том, насколько серьезны намерения Порты, — ответил Панин.

— Как вы относитесь к посредничеству Пруссии? — спросил принц.

— Я лично считаю такой способ единственно возможным, — серьезно отвечал Никита Иванович, многозначительно выделив голосом местоимение «ich». Немецкий язык его был столь же безупречен, как и французский.

Принц кивнул головой. Для него не составляло секрета, что Панин в отличие от Григория Орлова готов был вести дело сообща с Пруссией и Австрией. Однако он знал и другое: неизменным условием посреднических услуг Панин считал вступление Пруссии и Австрии в военные действия на стороне России.

Тем же вечером в письме Фридриху II Генрих сообщал, что Панин продолжает отдаваться политическим мечтам.

Отныне все надежды принца были связаны с императрицей. 17 октября Екатерина возложила на брата короля Пруссии орден Андрея Первозванного. На вечернем спектакле в Эрмитаже, склонившись к сидевшему рядом с ней Генриху, она спросила:

— Если мир не состоится до будущей весны, советуете ли вы мне переводить армию через Рубикон?

Принц, которому Фридрих твердил в письмах, что переход русской армии через Дунай мог бы иметь самые непредвиденные последствия, твердо заявил:

— Ваше Величество, это в высшей степени взволнует австрийцев. Французы возобновят свои интриги — в результате может возникнуть всеобщая война.

— Так мы должны заключить мир, — весело сказала Екатерина. — Я хочу мира. Но султан — человек дикий, к тому же французские наущения не позволяют ему проявлять благоразумие.

— Король, мой брат, образумит его, если Ваше Величество поверит ему свои интересы, — ответил Генрих.

— Прежде января дело не прояснится, — ответила Екатерина.

И принц стал ждать.

Впрочем, время летело быстро. Каждый день заботливый Бибииков сообщал принцу программу очередных развлечений.

23 октября по первому снегу отправились в Петергоф. По дороге заглянули в Сергиеву Пустынь, где, как значится в камер-курьерском журнале, в келье у архимандрита «кавалеры кушали водку». 27 октября «была представлена на французском диалекте комедия, прославляющая победу над турецким флотом».

На следующий день с наступлением сумерек у бокового входа Зимний дворец любопытствующие прохожие могли наблюдать съезд бесчисленного множества экипажей. В шестом часу по дороге в Царское Село устремились богато украшенные сани, в которых сидели Екатерина и Генрих. За ними под перезвон бубенчиков и лихие выкрики кучеров выстроилось в кавалькаду великое множество карет и саней.

Выезд Екатерины в Царское Село всегда отличался пышностью, но такого жители северной столицы еще не видывали. От дворца до урочища Три Руки, находившегося на расстоянии 14 верст от города, придворные экипажи вытянулись в сплошную цепь, следуя беспрерывно один за другим.

У Трех Рук торжественная процессия остановилась подле огромных триумфальных ворот с надписью: «В честь Его Королевского Высочества принца прусского Генриха, дражайшего гостя». Фигуры и барельефы, украшавшие ворота, символизировали доблести и добродетели принца.

На протяжении всего длительного пути принц лишь успевал поворачивать голову. По обе стороны дороги в полуверсте друг от друга были расставлены озарявшиеся огненными шутихами огромные щиты. Китайское капище, фонтан с бившей из него водой, древние египетские пирамиды и обелиски, башни полуразрушенной крепости, руины великолепных дворцов, трехмачтовый корабль с наполненными ветром парусами и, наконец, разбрызгивающая искры семицветная радуга, вставшая над дорогой...

Брови Генриха удивленно поднялись вверх. Улыбка Екатерины, следившей за его реакцией из глубины кареты, была загадочной.

Добрались до Пулкова. Возле березовой рощи по правую сторону от дороги высилось сложное сооружение: гора, увенчанная облаками, а на вершине — крепкий замок. Перед ним — полуразрушенные ворота, рядом — храм и сад. Вдруг при приближении пышной процессии из-за облаков явилась комета с длинным хвостом. Замок разрушился на глазах, а на его месте показалась огнедышащая гора с текущей из нее лавой.

Глаза Екатерины, обожавшей огненные забавы, вспыхнули от удовольствия. Аллегория была более чем прозрачна.

С высоты Пулковского холма взору принца открылась новая удивительная картина. На все пять верст, остававшиеся до Царского Села, дорога была освещена фестонами из разноцветных бумажных фонарей и масляными плашками, укрепленными на высоких столбах. Вдоль дороги сплошной чередой следовали живописные мизансцены, призванные продемонстрировать иноземному гостю привольную и зажиточную жизнь крестьянской России.

Этот пир во время войны удивляет даже сейчас, два с лишним века спустя. Восторженное перо неизвестного автора «Журнала

ности в России Его Императорского Высочества принца прусского Генриха» зафиксировало для потомства: «Тут, расстоянием друг от друга в трех стах саженьях, построены были большие деревенские светлицы, утыканые ельником, иллюминированные... пестрыми фанфарами; в трех из них представлялась русская крестьянская свадьба, из коих в одной ужинали, в другой песни пели, в третьей плясали, а в четвертой же и пятой отправлялась чухонская свадьба».

Странная получилась ситуация. Год оставался до чумного бунта в Москве, два года — до взятия Пугачевым Казани, а надорвавшийся в непосильном труде, измученный рекрутскими поборами крестьянин оставался для Екатерины идиллическим созданием, предпочитавшим, как она сообщала Вольтеру, индейку курице. Что это, самообман или верх лицемерия? Скорее всего ни то, ни другое. Это была, так сказать, проба пера, репетиция знаменитых потемкинских деревень. Князь Григорий Александрович, доведя семнадцать лет спустя извечную российскую показуху до гениального абсурда, доказал, что понимал душу Екатерины, самую сердцевину ее державной философии лучше, чем кто-либо другой.

Возвращаясь из Царского Села, принц вряд ли мог предполагать, что главный сюрприз ждет его впереди.

28 ноября, в воскресенье, в Зимнем дворце был дан маскарад, о неслыханной роскоши которого вскоре узнала Европа. Сразу же после того как смолкла музыка, отчеты об удивительном маскараде полетели во все концы. Екатерина постаралась, чтобы о ее триумфе (сценарий маскарада был написан ею собственноручно) узнали постоянные зарубежные корреспонденты: король Фридрих, Вольтер и, конечно же, некая госпожа Бьельке из Гамбурга.

Праздник и в самом деле удался на славу. Гости начали съезжаться во дворец к 6 часам вечера. С наступлением сумерек в двух десятках богато убранных и по-праздничному освещенных зал танцевали и веселились 3600 масок.

Ровно в 9 часов раздался звук фанфар, и в Тронном зале, где находились Екатерина и Генрих, в сопровождении фрейлин, одетых в костюмы четырех времен года, и двенадцати пажей, олицетворявших ожившие по воле Екатерины месяцы, появился Аполлон.

Златокудрого античного бога представлял десятилетний воспитанник Сухопутного шляхтского корпуса Ушаков.

Приблизившись к императрице, Аполлон сделал положенный по артикулу поклон и внятно, как учили в корпусе, произнес:

— *Permettez, Grande Princesse, qu'Appolon vous offre son hommage et qu'il se charge de soin de faire les honneurs d'une fête et d'un repas, qu'on a préparés pour votre illustre compagnie**.

Прикрывая веером улыбку, императрица шепнула принцу:

* «Позвольте Аполлону, принцесса, выразить вам свое уважение и находиться возле вас во время маскарада и ужина, приготовленного для вашего изысканного общества» (франц.).

— On aurait dit qu'il n'avait fait autre chose sa vie durant, tant ses façons sont naturelles et aisées*.

— Меня изваяли на Родосе, — продолжал между тем Аполлон, — в форме огромного и тяжелого колосса. Но я не посмел явиться сюда в таком виде. Я предпочел показаться на вашем балу таким, как все: живым, смеющимся, веселым.

Ушаков картинно обвел рукой пестрое собрание арлекинов, монахов, таинственных полумасок.

— Меня сопровождают четыре богини, олицетворяющие времена года. Они, как и я, молоды и прекрасны. Будьте покойны, Ваше Величество, мы проследим за тем, чтобы на вашем празднике было весело.

Затем, повернувшись к принцу, Аполлон произнес:

— *Clio, trop occupée à graver vos faits, Monseigneur, dans le temple du Mémoire, n'a pas eu le temps pour m'accompagner; je ne finirait point si je devais vous dire toute l'occupation que vous lui avez donnée**.*

Генрих, чувствовавший себя неловко в большом обществе, не без труда сохранял пристойное выражение лица. А Павел, стоявший рядом с ним, едва не подпрыгивал от возбуждения. Глаза его горели, запахи бала кружили голову.

Когда Аполлон обратился к нему со словами:

— *Uranie est restée là — haut à lire dans les astres vos grandes destinées***,* щеки великого князя вспыхнули от смущения и радости.

Между тем вперед выступила фрейлина в костюме Флоры. В руках у нее был пышный букет. Протянув его Павлу, она сказала:

— Эти цветы меня просила передать вам одна особа, пожелавшая остаться неизвестной.

Павел слушал с выражением видимого удовольствия на лице.

— Но я подумала, — продолжала Флора, — что для принца этот букет подобран плохо. Цветы завяли. Я начала было собирать букет, достойный Вас, но услышала голос: «Флора, оставь эти цветы и гирлянды и воспой подвиги великих людей, оказавших услуги человечеству. Ты должна быть в свите одного из них».

С этими словами Флора протянула принцу великолепную шкатулку, открыв которую он обнаружил полную коллекцию золотых медалей, отчеканенных в Петербурге со дня его основания.

Раздались аплодисменты.

От свиты Аполлона отделился молодой человек в белом трико.

Лавровый венок на голове и крылышки за спиной указывали на то, что это Борей — бог холодного северного ветра.

Борей обратился к супруге графа Ивана Чернышева. Она была очень хороша собой.

* «Можно подумать, что он всю жизнь не занимался ничем другим: столь натуральны и раскованны его манеры» (франц.).

** «Монсеньор! Клио, занятая увековечением ваших подвигов в Храме памяти, не могла меня сопровождать; я никогда бы не кончил, если бы взялся перечислять заботы, которые вы ей задали» (франц.).

*** «Урания осталась наверху, она предсказывает вашу судьбу по звездам» (франц.).

Музы Талия, Терпсихора, Эрато, Евтерпа, окружавшие Борея, между тем порхали и щебетали.

— *La beauté a ses droits sur tous les coeurs. Tel que vous me voyez, j'en ai un que Vous est tout acquis**.

При этих словах молодого человека Чернышева зарделась.

— Это я наполнял паруса кораблей вашего супруга, которые заставили трепетать турецкий флот. Но — увы! — ни мои старания, ни само мое существование не были замечены. *Cruelle! Ma passion deviendra publique, et mon hommage aussi. Me voilà entre vos mains!***

С этим дерзким признанием молодой человек исчез в толпе мажорков, оставив в руках графини алмазную брошь.

Когда Бахус, легкомысленный бог веселья, подошел к Ивану Ивановичу Бецкому, в толпе придворных послышались смешки. Все знали, что Бецкий не пил ничего, кроме воды.

— Это я, Ваше Сиятельство, разбил в тот день вашу лупу на тысячу кусочков, — объявил меж тем Бахус.

Бецкий был подслеповат и пользовался при чтении лупой, которую недавно действительно разбил, уронив себе под ноги. Бахус продолжал:

— *Ce buveur d'eau me desespère! Avec cet instrument qui lui sert de lunettes ne le voilà-t-il pas occupe sans cesse, le nez collé sur quelque institut de Marmots! Je oublie ce qu'il doit a mon divine existence. Je suis pétulant, la loupe fut cassée***.*

Кипя комическим гневом, Бахус вручил Бецкому новую лупу. Лицо старого вельможи, сохранявшее на протяжении всего монолога Бахуса удивленное выражение, прояснилось. Он две недели ежедневно репетировал с кадетами Сухопутного шляхетского корпуса и воспитанницами Смольного института сценарий маскарада и прекрасно знал, что такой сцены в нем не было. Сделав легкий поклон в сторону императрицы, Бецкий дал понять, что оценил сюрприз по достоинству.

Месяц Январь, его изображал щуплый мальчик, одетый в белое, вручил Павлу бриллиантовый перстень с портретом Екатерины.

«Здесь двусмысленность, — подумал Панин, стоявший рядом со своим воспитанником. — Январь — от двуликого бога Януса, а он олицетворяет способность монарха видеть как прошедшее, так и будущее и одновременно является символом лицемерия».

Тем временем маска месяца Февраля обратилась к самому Никите Ивановичу:

— Я предшествую весне и незаметно готовлю ее приход. Ваши труды, как и мои, обращены в будущее: вы заботитесь о том, чтобы

* «Красота имеет права на все сердца. Посмотрите на меня — и Вы увидите, что мое сердце принадлежит вам» (франц.).

** «Жестокая! Все узнают и о моей страсти, и о моем уважении к вам. Я — у ваших рук» (франц.).

*** «Этот любитель воды приводит меня в отчаяние! Вооружившись странным инструментом, который служит ему взамен очков, он целыми днями занимается какими-то институтами. Он забывает отдать должное тому, с чем связано мое божественное существование. Неудивительно, что я рассердился на него — и лупа разбилась» (франц.).

завтрашний день России был светлым и спокойным. В знак нашего сродства примите мой дар.

С этими словами Февраль вручил Никите Ивановичу бриллиантовую табакерку с вензелем императрицы.

— *Ensuite de quoi je Vous promet de devenir utile, car je suis admis dans toutes les Cours de l'Europe**.

Такую же табакерку Март, месяц воинственный, вручил Захару Чернышеву.

Апрель обратился к хорошенькой фрейлине Екатерине Зиновьевой:

— *Si Vous étiez Europe, tout de suite je Vous enleverai sur le taureau de mon emblème et Vous auriez la gloire d'avoir fixé le mois d'Avril, le plus inconstant de l'année***.

Протянув ей зеркало в золотой оправе с эмалью, он сказал:

— Вы будете счастливы. Поверьте, это не первоапрельская шутка, это правда.

Катенька Зиновьева, которой лишь недавно пошел тринадцатый год, с восторгом посмотрелась в зеркало, на обратной стороне которого была нарисована цыганка, предсказывающая судьбу. В тот миг она искренне верила, что будет счастлива. Могла ли она знать, что совсем скоро в жизни ее произойдут перемены трагические?

Стоявший рядом с Зиновьевой Григорий Орлов также вряд ли подозревал, что вскоре судьба свяжет его нерасторжимыми узами с этой хорошенькой девочкой.

Приняв из рук робкого кадета, объявившего по-французски, что он месяц Октябрь, осыпанную бриллиантами золотую вазу, на дне которой плескалась вода, он наклонился к Катеньке, бойко переводившей ему на родной язык:

— Позвольте преподнести вам эту вазу. Она наполнена водой реки, заставлявшей древних героев забыть о печали, которую они испытывали, когда обстоятельства мешали им блистать на поле боя.

Вот уже несколько месяцев Орлов просился в действующую армию, Екатерина и слушать не хотела о долгой разлуке.

Наконец все подарки были розданы. Общество перешло в соседний зал. По дороге рассмешили Церера и Бахус. Они разыскали в толпе гофмаршала Голицына и принялись прыгать вокруг него.

— Друг мой Изобилие, вы тоже надели маску, — сказала Церера.

— *L'Abondance, bonjour, allons-nous rejouir**** — поддержал ее Бахус.

— Бонсуар, — отвечал Голицын добродушно. Тучный и веселый, он был известен тем, что обладал способностью засыпать даже на балах.

— Вы забыли ваш рог изобилия, — обратился к Голицыну Бахус.

* «Обещаю впредь быть Вам полезным, так как я принят при всех европейских дворах» (франц.).

** «Если бы Вы были Европой, я немедленно похитил бы вас, увез на спине быка, который является моим знаком, и Вы прославились бы тем, что изменили бы характер апреля, самого непостоянного месяца года» (франц.).

*** «Привет, Изобилие, давай веселиться!» (франц.).

— Но, Бахус, мы, кажется, ошиблись, — подхватила Церера. — Это же не Изобилие.

— Но где же оно? Во многих странах Изобилие спит.

— Но не в России, — шепнул Генрих Екатерине, показывая взглядом на великолепное убранство бального зала.

— Как можно спать на балу, — возмутилась Церера. — Извольте бодрствовать!

И она вручила Голицыну бриллиантовую табакерку, полную нюхательного табаку.

Зал, в который императрица и принц вошли вслед за Аполлоном, был только что закончен отделкой. Придворный архитектор Антуан Ринальди украсил его деревянными панелями и убрал голубым штофом. Просторное, овальное в плане помещение освещали две с половиной тысячи свечей. В стенах были сделаны двадцать ниш, укрывавших накрытые для ужина столы. Ниши украшали причудливые декорации кисти профессора Академии художеств Козлова. Они изображали смену времен года. На галерее четыре оркестра исполняли музыку, специально сочиненную маэстро Трагто, придворным капельмейстером.

После ужина Диана с нимфами и времена года представили небольшой балет, поставленный месье Нэденом, придворным преподавателем танцев.

В полночь при звуках фанфар публике вновь явился Аполлон. Все взоры обратились к нему.

— Парте, — произнес Ушаков.

И начался бал. Пока молодежь танцевала, Екатерина с Генрихом смотрели в импровизированном театре французскую комедию «Оракул».

— Я поражен успехами, которые сделало просвещение в вашей стране, — заметил Генрих Екатерине после окончания пьесы.

— Вы весьма любезны, принц, — отвечала императрица. — Моя мечта — дать России новую породу людей, которые будут способны на самые великие дела.

Произнося эти слова, императрица показала рукой на неотлучно следовавшего за ней Аполлона. Что ж, в каком-то смысле она была права. Ушаков действительно оказался дельным малым. Через двадцать лет он успешно выступал в роли подручного Степана Ивановича Шешковского, придворного кнутобойцы.

Степан Иванович был им очень доволен.

В начале декабря Генрих снова засобирался в Берлин, но был отправлен в Москву.

Вернувшись в северную столицу в конце декабря, он нашел, что в его отсутствие произошли большие перемены. Из Константинополя пришел наконец ответ на письмо Румянцева к визирю, в котором султан продолжал настаивать на том, что мирные переговоры возможны лишь при условии посредничества со стороны Берлина и Вены. Однако упрямство турок только усилило решимость русского

двора договариваться напрямую. Прусско-австрийская медиация была решительно отвергнута.

Прочитав письмо Екатерины от 9 декабря, в котором императрица вполне определенно развеяла надежды Фридриха вклиниться в ход мирных переговоров, король обратил особое внимание на следующий пассаж:

«Я должна здесь обратить особое внимание вашего Величества на то, что возвращение моего министра Обрескова должно последовать прежде открытия переговоров, даже прежде всякого приступа к делу. Давши мне это удовлетворение, необходимее для моей личной славы и для блага моей страны, если турки захотят отправить своих уполномоченных в какую-нибудь местность Молдавии или Польши, то я отправлю туда своих и буду смотреть как на добрую услугу Вашего Величества, если Вы прикажете Вашему министру в Константинополе расположить Порту к этому».

В письме излагались также русские условия мира.

— У меня волосы встали дыбом, когда я получил русские мирные предложения, — воскликнул король, прочитав письмо Екатерины.

Генрих бросился к Панину, но Никита Иванович резонно отвечал, что русские условия мира еще в октябре были доведены до сведения Берлина и тогда у Его Величества не только не встали волосы дыбом, но он изволил признать их весьма умеренными.

— Что пугает Вас? — вопрошал Панин, мягко улыбаясь. — Присоединение Крыма? Незначительные ректификации границы на Кавказе? Свобода мореплавания по Черному морю?

— Судьба Молдавии и Валахии, — отвечал Генрих. — Его Величество мой брат считает, что уступка России Дунайских княжеств будет сочтена Австрией вредной для своих интересов.

— Но никто не говорит о присоединении Дунайских княжеств к России, — отвечал Панин. — Молдавия и Валахия должны стать независимыми от турок.

Генрих промолчал. Расстались холодно.

Принц приуныл. Однако Фридрих не заслуживал бы своей репутации искусного дипломата, если бы для третьего акта пьесы, которую он разыгрывал, у него не оказался припасенным совершенно новый поворот в сюжете. Сначала полунамеками, потом все более прямо Сольмс и Генрих начали подводить разговор к обсуждению польской смуты. Заняв Ципское графство, Австрия уже подала пример, почему бы другим европейским державам не последовать ему и не удовлетворить свои интересы за счет Польши?

Реакция русских озадачила Генриха.

Императрица по своему обыкновению уклонялась от прямого разговора, сводя все к шутливым речам.

Захар Чернышев с солдатской прямоотой говорил:

— А почему бы и Вам не взять епископство Вармийское? Надо уж всем взять что-нибудь.

Что касается Никиты Ивановича Панина, то он своего недовольства поступком австрийцев не скрывал.

31 декабря 1770 г. Сольмс с прискорбием сообщал королю:

«Говорил я также с этим министром о территории, занятой австрийцами в Польше. Он очень смеялся над призрачностью этого факта, будучи того мнения, что если венский двор и позволяет себе подобные выходки, то Вашему Величеству и России скорее должно помогать ему, чем следовать его примеру; что касается его, то он никогда не даст своей государыне совета завладеть имуществом, им не принадлежащим. Наконец, он меня просил не говорить в этом деле во всеуслышание и не поощрять в России идеи приобретения на основании того, что поступать так удобно».

Фридриха не смутила сдержанность Панина. Он прекрасно знал, кто определял политику в Петербурге. В письме к Генриху Фридрих писал: «Что касается до захвата епископства Вармийского, то я от этого воздержусь, потому что игра не стоит свеч. Эта порция так ничтожна, что не вознаградит за тот шум, который из-за нее поднимется. Но польская Пруссия — это, пожалуй, стоит работы, даже если Данциг не будет в нее включен, потому что мы будем иметь Вислу и свободное сообщение в королевстве, что составляет нечто существенное. Если для этого нужны деньги, можем дать и деньги, и даже щедро дать; но пустяков брать не стоит».

19 января в полночь принц покинул Петербург и пустился в обратный путь через Дерпт, Ригу, Миттаву.

Г л а в а XIII

ДЕМОТИКА — КИЕВ.

Осень 1770 — осень 1771 г.

В тот день, когда принц Генрих покидал гостеприимную землю России, в далекой Демотике Алексей Михайлович Обресков сидел в креслице домика, который делил с Левашовым. За окном, выходящим на унылую крепостную стену, опускались промозглые зимние сумерки. Ветер, усилившийся к вечеру, пригоршнями бросал в стекло капли дождя.

Обресков и Левашов расположились в креслах у прокопченного камина, в котором жарко потрескивали сосновые поленья, объятые желто-оранжевыми языками пламени. В комнате было тепло, но Алексей Михайлович кутался в подбитый мехом кафтан. Тяготы и лишения двух с половиной лет жизни в турецком плену пагубно отразились на его здоровье. Лицо его еще более обрюзгло, приобрело нездоровый землистый оттенок, под глазами залегли темные тени — следствие бессонных ночей. Одна рука, скрюченная подагрой, недвижно покоилась в шерстяной повязке на груди. Другая, здоровая, держала смятый клочок бумаги, который Обресков поминутно подносил к свече, силясь разобрать текст, написанный корявым почерком переводчика Куруты. То была пересланная Лашкаревым из Константинополя запись беседы реис-эфенди с английским и австрийским послами и прусским посланником, состоявшейся в ночь с 1 на 2 декабря.

«Что касается освобождения русского министра Обрескова, — читал Алексей Михайлович внимательно слушавшему его Левашо-

ву,— которого русский двор требует в качестве предварительного условия, то Порты не отказывается от его исполнения. Она уже неоднократно давала знать Его Величеству королю прусскому о причинах, по которым это условие до настоящего времени не выполнено. Она заявляет еще раз: как только русский двор искренне выступит за восстановление мира и примет медиацию венского и берлинского дворов, Порты незамедлительно освободит русского министра».

При этих словах Павел Артемьевич не мог удержаться от одобрительного восклицания. Обресков, нахмутив брови, продолжал:

— «Оба вновь просят Ее Императорское Величество снабдить упомянутого Обрескова полномочиями для того, чтобы он мог при посредничестве держав-медиаторов вести переговоры здесь, в Константинополе, и добиться, таким образом, должного примирения. Если русский двор настаивает на созыве специального конгресса для переговоров, то Порты обещает доставить с соблюдением соответствующих почестей упомянутого Обрескова к границам и освободить его. Однако поскольку никто лучше, чем он, не знает о делах, которые явились причиной настоящей войны, то Порты была бы признательна русскому двору, если бы он назначил его в этом случае одним из своих полномочных министров».

Дочитав до конца, Обресков тяжело опустил руку с зажатым в ней листком бумаги и задумался. Между тем Павел Артемьевич с чувством произнес:

— Слава Всевышнему! Судьба наша, кажется, определилась.

Обресков медленно поднял взгляд на Левашова и скрипучим, неприятным голосом, который появлялся у него в минуты крайнего раздражения, сказал:

— Не советую торопиться, сударь мой. В нынешних, столь благоприятных для России обстоятельствах принимать медиацию союзных дворов непозволительно как в рассуждении чести и достоинства империи, так и наших военных успехов, которые одни только усиливают стремление турок к миру. Друзья наши алчностью своей сегодня хуже врагов сделали. И король прусский, и вдовствующая императрица только о корысти своей заботятся. Мира России не в Берлине и Вене искать надобно, а на полях сражений. Боюсь, долго еще нам с тобой, любезный Павел Артемьевич, в обозе турецкого войска таскаться придется.

Левашов счел за лучшее промолчать. В последнее время отношения его с Обресковым вновь осложнились. Споры иной раз возникали по самому незначительному поводу — бывало, и не раз, что Алексей Михайлович и Павел Артемьевич не разговаривали днями, не сойдясь во мнениях о погоде.

Потом уже, возвратясь в Петербург, Павел Артемьевич не раз поминал недобрым словом тяжелый характер Обрескова. И действительно, нрав Алексей Михайлович имел крутой, суждения высказывал прямо, порой в обидной для собеседника форме. Но не в этом все же была главная причина его размолвок с Левашовым. Если взглянуть глубже, в самую, так сказать, суть непростых взаимоотно-

попущений Алексея Михайловича с Павлом Артемьевичем, то следует признать, что, несмотря на шесть с лишним лет совместной работы, Левашов так и остался для Обрескова чужаком. Левашов живо интересовался нравами и обычаями турок и как-то даже поделился с Алексеем Михайловичем задумкой написать об этом книгу. Однако, по глубокому убеждению Обрескова, на события в Турции Павел Артемьевич смотрел глазами заезжего визитера. Обрескову, проведенному на Востоке большую часть жизни, суждения Павла Артемьевича о турецкой политике казались поверхностными и легковесными. Конечно, он и сам любил повторять, что послу в Константинополе надобен лисий хвост и волчий рот, однако сам тон слегка пренебрежительного высокомерия, в котором Левашов иногда отзывался о политической наивности турецких сановников, беспрестанно вспоминая при этом о своей службе в Вене, Берлине и Регенсбурге, будил в душе Обрескова беса противоречия.

Это был извечный конфликт. Дипломаты, аккредитованные при европейских дворах, отличались в силу традиций русской дипломатической службы от работавших на Востоке не только профессиональными навыками, но и социальным происхождением. Дипломатические должности в Европе были излюбленной синекурой для отпрысков аристократических фамилий. Это определяло весь стиль работы и дух жизни российских посольств в Париже, Лондоне, Вене, кишевших богатыми бездельниками. Отправляясь за рубеж, они, в сущности, лишь меняли салоны Петербурга на дипломатические гостиные европейских столиц. Вращаясь в высших сферах общества, большинство из них дела толком не знало, да и мало кто, сказать по правде, ждал от них профессиональной работы.

Павел Артемьевич, начавший свою карьеру по протекции влиятельного дяди, был в глазах Обрескова одним из тех дипломатических мотыльков,¹ к которым его коллеги, работавшие на Востоке, питали скрытую, но оттого не менее острую неприязнь. В Константинополь никто из этих эфирных созданий отроду не залетал, так как работа на Востоке считалась в высших сферах чем-то вроде ссылки. Справедливости ради следует признать, что Левашов по натуре своей мало чем походил на великосветского шалопаю. Еще будучи в Регенсбурге, он удивлял начальство редким прилежанием, любознательностью и склонностью к путешествиям. Не менее серьезно он отнесся и к своему назначению в Турцию. Однако манера поведения, усвоенная с юности, — он будто стеснялся своей прилежности и трудолюбия — больно уязвляла Обрескова, привыкшего всего в жизни добиваться подвижническим трудом.

Одним словом, не сошлись характерами Алексей Михайлович с Павлом Артемьевичем, и это немало мешало им в их вынужденном совместном житье-бытье.

Осень и зима 1770—1771 гг., которую они провели в Демотике, выдались тревожными. Чем больше крепостей и городов Молдавии и Валахии занимала армия Румянцева, тем нервнее становились турки. Узники Демотики всерьез опасались за свою жизнь. Приходящиеся на это время записи в дневнике Левашова отрывочны и скупы. Однако они остаются единственным и потому бесценным

для нас источником, воссоздающим атмосферу тех дней. Обратимся еще раз к свидетельству Павла Артемьевича:

«Октября 6 прибыл в Демотику требунчужный паша родом из армян Капы-Кыран, который сослан туда в заточение. Он был янычар-агою за несколько уже лет пред сей войною; потом определен требунчужным пашою в Виддин, и по дошедшей к султану об нем славе, что он человек храбрый и в состоянии привести в порядок янычар, которые прежде нигде почти себя иначе не оказывали, как только скорым и проворным бегом ради спасения живота своего, велено было ему принять над ним начальство, и коль скоро он сие исполнил, тотчас начали говорить, что второй поход будет удачнее первого, потому что Капы-Кыран непременно должен россиян победить, что утверждали и нашей орты чиновники. Когда я у одного из них спросил, почему нового сего янычар-агу столько превозносят и приписывают ему отличные способности, когда он на роду своем еще и на войне не бывал и нигде не имел случая оказать своей храбрости, то он мне отвечал, что в храбрости и искусстве его отнюдь не должно сомневаться, поелику-де он величав, статен и отменно добротен, имея притом и бороду, простирающуюся даже до пояса. Таковой отзыв крайне бы удивил меня, если бы многократно уже не испытывал, что турки вообще уважают великорослых, статных и длиннобородых людей. Впрочем, как имя одного янычар-аги Капы-Кыран означало дверелом, то и сие не оставлено без внимания, и все думали, что он действительно пробьет русскую стену, какую бы твердою грудью она ни была укреплена; однако ж, невзирая на то, мнимый их чудодей был при Кагуле нашими совсем разбит и одним только бегом спас жизнь свою, как о том сами же турки после нам рассказывали, признавая за неслыханную странность, чтобы муж толь знаменитый объят был робостью, за которую, собственно, и заточен он в Демотику.

Ноября с 8 по 9 число около полуночи была тут пресильная буря, которая поломала деревья и с корнем из земли вырвала, также сбросила едва не со всех домов кровли, в том числе и у наших. Падавшие везде черепицы причиняли столь великий треск и шум, что проснувшиеся вдруг люди пришли в смятение и ужас и оставляли свои дома, спасаясь, чтоб не быть в них погребенными, и думая, что то было землетрясение. Мы также принуждены были удалиться из своих покоев в стоявшую на дворе людскую избу и там дожидались, покуда пройдет сия необыкновенная буря, продолжавшаяся около двух часов с чрезвычайными порывами и потом мало-помалу утихшая, после чего мы в свои бескровельные тогда хижины возвратились и нашли оные наполнены ломаными черепицами.

В то же почти время получено тут известие из Константинополя, что там свирепствовало пресильно моровое поветрие, так что по всем улицам ничего иного не видно было, кроме трупов человеческих и полумертвых лиц.

Декабря 26 в ночь на 27 число в одиннадцать часов и девять минут было в Демотике жестокое землетрясение, но, по счастью, недолго продолжалось и состояло только в двух или трех самых

ильных ударах, от которых все здания вдруг затрещали, как бы нарочно кто оныя ломал, и дома колебались на все стороны подобно колыбели, отчего мы все с постелей вскочили и выбежали во двор».

Землетрясение, потрясшее Адрианополь и Демотику рождественской ночью 1770 г., взволновало умы. Турки видели в нем знамение грядущей военной катастрофы, русские дипломаты — указание на то, что наступающий 1771 год станет счастливым для русского оружия и позволит им вконец вернуться на родину. Так оно и случилось. Однако, как и предполагал Алексей Михайлович, на протяжении зимы и весны 1771 г. велась упорная дипломатическая борьба вокруг условий созыва мирного конгресса.

В конце января прусский посол в Константинополе Зегеллин известил Обрескова, что Порта дала согласие на созыв мирного конгресса при посредничестве прусского и австрийского дворов. Алексей Михайлович, знавший уже благодаря вездесущему Лашкареву об итогах конференции, состоявшейся у реис-эфенди, счел тем не менее своим долгом поблагодарить Зегеллина. В ответном письме, отправленном с тем же нарочным, Обресков просил посла позаботиться о его детях, оставленных в Константинополе, и при первой возможности отправить их в Демотику.

Основания для беспокойства у Алексея Михайловича были нешуточные. Отношения его с английским послом Мурреем, протектировавшим русским подданным, к этому времени серьезно осложнились. Получив из Лондона суровый реприманд за то, что сент-джемский двор не оказался в числе медиаторов, посол решил выместить гнев на шурине Обрескова Джордже Абботе. Под горячую руку он вычеркнул его вместе со всеми родственниками из списка британских подданных, пользовавшихся протекцией посольства. Это не могло не встревожить Алексея Михайловича, так как дети его по-прежнему жили в семье Аббота.

Между тем Муррей не прекращал своих домогательств. Правительство Вильяма Питта-младшего стремилось заручиться поддержкой России в своей войне против американских колоний, и было бы весьма кстати, если бы она оказалась обязанной Великобритании заключением мира с Портой. Однако Берлин и Вена не собирались делиться с Лондоном хотя бы частью выгод, которые они ожидали от заключения русско-турецкого мира. В начале февраля Алексей Михайлович был извещен австрийским интернунцием Тугутом о том, что султан решил наконец-то отпустить русских дипломатов на родину. Турецким наместникам в Белграде и Землине было отдано приказание обеспечить их безопасность.

В ответном письме Тугуту Обресков просил передать туркам его настоятельное требование: все русские подданные, находившиеся в Константинополе, должны быть немедленно отправлены в Демотику. Возвращаться на родину надлежало всем вместе. Однако турки придумали новый маневр. В конце марта Тугут сообщил Обрескову, что детей его решено оставить в турецкой столице в качестве заложников. Конечно, напрямую об этом коварном замысле не говорилось. Тугуту было лишь предложено передать, что доставить де-

тей Обрескова со всей свитой из Константинополя в Демотику и, возможно, так как население тех мест, через которые они будут проезжать, неминуемо поймет, что русского посла отпускают на родину, а это произведет на народ невыгодное впечатление.

Негодованию Алексея Михайловича не было предела. Вступив в прямые сношения с реис-эфенди, он категорически заявил, что шагу из Демотики без детей и всех русских подданных до единого человека не сделает. Туркам пришлось уступить.

«Появился блеск надежды быть освобожденным», — писал Обресков Панину в конце апреля 1771 г.

22 апреля 1771 г. из ворот российского посольства в Константинополе выехал громоздкий обоз. Путь до Адрианополя был неблизкий, и Лашкареву пришлось изрядно похлопотать, прежде чем он раздобыл достаточное количество лошадей и подвод. Помог Джордж Аббот. Но из 60 присланных им подвод добрые 50 были заняты вещами и дворовыми людьми Обрескова и Левашова. Из-за оставшихся мест вспыхнули, как водится, ожесточенные споры, и Луке Ивановичу не без труда удалось пристроить свой немудреный скарб, который поместился в трех кипарисовых сундучках.

Для сопровождения отъезжающих и их защиты от разбойников, которых немало развелось в военные годы в окрестностях турецкой столицы, турки отрядили нескольких янычар. От реис-эфенди были присланы четыре скрипучие двухколесные повозки, которые посольский люд за их непривычный для русского глаза вид прозвал ящиками. В первой из них нашлось место для Луки Ивановича. Покидая посольское подворье, он в отличие от большинства своих спутников, которыми владело приподнятое настроение, оставался печален и молчалив. Накануне Джордж Аббот, производя окончательный расчет, вновь отказался выплатить Луке Ивановичу причитающиеся ему 100 рублей законного жалованья.

На восемнадцатый день пути добрались до красивого, многолюдного Адрианополя, а оттуда до Демотики было уже рукой подать.

Обресков встречал прибывших на пороге своего дома. Когда брат Джорджа Аббота Феодосий подвел детей к Обрескову, Алексей Михайлович первым делом протянул руки к пятилетней Катеньке. Девочка, два с половиной года не видевшая отца, не узнала его и пугливо прижалась в Абботу. Михаил, которому недавно исполнилось 11 лет, и девятилетний Иван почтительно поцеловали руку отца. Петр, девятнадцатилетний юноша, держался поодаль, стараясь не выдать обуревавших его чувств.

— Слава тебе Господи, — шептал Обресков, обнимая детей, — теперь нам ничто не страшно.

Руку Сергея Лазаревича Лашкарева Обресков пожал особенно крепко. Лицо молодого дипломата, поросшее густой курчавой бородой, хранило невозмутимое спокойствие. И только глаза светились гордостью от сознания честно выполненного долга. Вряд ли мог представить себе в тот миг Сергей Лазаревич, как много еще испытаний предстоит ему преодолеть на жизненном пути.

На Луку Ивановича Обресков взглянул приветливо, улыбнулся и склонно его полушутливому поздравлению со всеми праздниками, бывшими за два с половиной года.

Неделя, проведенная в Адрианополе, промелькнула в счастливой суете. Вчерашние пленники с трудом привыкали к вновь обретенной свободе.

В путь отправились 9 мая, в Николин день, что Лукой Ивановичем было сочтено за счастливое предзнаменование. Два посольских обоза в 120 подвод медленно потянулись через Болгарию на Белград. По пути следования турки оказывали русским дипломатам подчеркнутое внимание. Однако Алексей Михайлович уклонялся от многих почестей, опасаясь распространявшегося по Европе морового поветрия.

Через Дунай переправились на турецких барках у Белграда. На берегу их уже ждали девять карет, которые направил австрийский губернатор Землина в распоряжение Обрескова и его спутников. Однако Алексей Михайлович и сам в карету не сел, и другим не позволил — в Землине предстояло выдержать сорокадневный карантин, и он не пожелал лишать на это время губернатора экипажей. В сопровождении обер-коменданта он пешком направился к карантинному лагерю, палатки которого виднелись возле соседней рощи. Там путники провели положенные сорок дней.

По истечении половины карантинного времени из Петербурга прибыл курьер, вручивший Алексею Михайловичу рескрипт императрицы. В тот же день Обресков, велев собрать российских подданных, объявил им высочайшую волю. Всем сотрудникам посольства, находившимся в плену, независимо от звания и должности, было пожаловано по 10 тысяч рублей. Алексей Михайлович также одарил каждого золотыми или серебряными часами и табакерками.

Лука Иванович получил из рук президента золотые часы, но о возмещении причитавшегося ему жалованья Обресков и разговаривать не захотел. Обида батюшки была тем злее, что самому Обрескову рескриптом императрицы было пожаловано 60 тысяч рублей, а Левашову — 35 тысяч.

Вечером, сидя с Мельниковым за чашой адрианопольского лучшего в Леванте вина, Лука Иванович раздраженно сказал:

— А и разъелись вы на турецких хлебах, господа, ну ровно как тельцы.

Мельников вздохнул укоризненно, но по деликатности не решился объяснить Луке Ивановичу, что тот принял водянку за дородность — спутницу привольной жизни. Эта болезнь развилась у Обрескова и его спутников за годы жизни в неволе.

Посол в Вене князь Дмитрий Михайлович Голицын предлагал Обрескову добираться до России кружным путем: через Вену, Дрезден, Данциг и Кенигсберг. Алексей Михайлович не прочь был погостить в Европе, поправить здоровье на минеральных водах, но, пораздумав, понял, что такое путешествие со всей свитой будет стоить знатного кошту, и решил следовать через Яссы, столицу молдавского господаря, в Киев. Левашов, стосковавшийся по Европе, не преминул выразить особое мнение. В Петербург князю Голицыну

полетела записочка, в которой Павел Артемьевич сетовал, что не может незамедлительно лично доложить добытые им в Турции важные военные сведения.

Обресков по каким-то ведомым лишь ему одному причинам в столицу явно не спешил. Когда пришло время сниматься из-под Землина, прибыли присланные фельдмаршалом П. А. Румянцевым 20 гренадеров под командой полковника Христофора Ивановича Петерсона. Он передал Обрескову приглашение посетить ставку главнокомандующего. Алексей Михайлович не мог отказать себе в удовольствии обнять старого корпусного товарища и, оставив обоз в Яссах, заглянул в штаб-квартиру 1-й армии.

Двухдневное пребывание в ставке Румянцева дало возможность Обрескову быстро войти в курс последних военных событий.

Главной целью кампании 1771 г. было овладение Крымом. Задача эта была поставлена Советом еще в ноябре 1770 г. при обсуждении плана будущей кампании. Дискуссии о ее характере обнаружили растущие разногласия среди членов Совета. Григорий Орлов предложил нанести мощный двойной удар — с сухопутного и морского пути — в направлении Константинополя, чтобы смелыми и неожиданными действиями принудить Порту заключить мир по воле победителей. Панин высказывался более осторожно. Учитывая реальную опасность вовлечения Австрии в войну на стороне Турции, он советовал в летнюю кампанию 1771 г. не переходить Дунай, а ограничиться укреплением русских позиций в завоеванных Молдавии, Валахии и Бессарабии.

После жарких споров Совет склонился к паллиативному решению. Второй армии под командованием В. И. Долгорукого было приказано «учинить сильное предприятие в Крыму, если обитающие на сем полуострове татары еще останутся в упорстве и не пристанут к отложившимся уже от Порты Оттоманской ортам». Первой армии П. А. Румянцева надлежало действовать по собственному усмотрению, не допуская, однако, неприятеля переходить на левую сторону Дуная.

В 1771 г. 1-я армия провела несколько успешных, хорошо скоординированных операций, очистив от турок весь левый берег Дуная. В руках неприятеля оставалась лишь сильно укрепленная крепость Журжа, взятая русскими войсками в феврале, но в конце мая сданная туркам из-за малодушия командира ее гарнизона майора Гензеля. Только к осени Журжа была занята войсками генерал-поручика Эссена (он заменил Н. В. Репнина, получившего увольнение за границу для лечения).

Действия 1-й армии были значительно успешнее. В середине июня русские завладели Перекопской линией, которую защищали 50 тысяч татар и 7 тысяч турков под предводительством крымского хана Селим-Гирея. Екатерина была в восторге: «Вчерашний день (17 июня), — писала она В. И. Долгорукому, — обрадована была Вашими вестниками, кои приехали друг за другом следующим порядком: на рассвете конной гвардии секунд-ротмистр кн. Иван Одо-

взятием Кафы, в полдень — гвардии подпоручик Щербинин с занятием Керчи и Еникаля и пред захождением солнца — артиллерии поручик Семенов с ключами всех сих мест и Вашими письмами. Признаюсь, что хотя Кафа и велик город, и путь морской, но Еникале и Керчь открывают вход г. Сенявину водою в тот порт, и для того они много меня обрадовали. Благодарствую Вам и за то, что Вы не оставили мне дать знать, что Вы уже подняли русский флаг на Черном море, давно не казался, а ныне веет».

Итак, по выражению С. М. Соловьева, «легкое дело — покорение Крыма — было кончено, начиналось самое трудное — утверждение так называемой независимости его». Не мешкая, Долгорукий приступил к выкупу пленных, которых было немало в Крыму. Солдатам, особенно из гусарских и инженерных полков, расселенных вдоль границы, случалось находить между ними своих жен и детей. В августе под защитой русских войск оказалось около 9 тысяч беженцев из татарского плена.

Между тем с новым крымским ханом — Селим-Гиреем — начались споры об оставлении русских гарнизонов в крымских крепостях для защиты от турок. Хан с готовностью подтверждал независимость Крыма от Турции, однако снабжать русские гарнизоны провиантом и топливом отказывался, ссылаясь на то, что в ближайшее время никакой опасности с турецкой стороны не ожидается.

В Крым в качестве русского поверенного в делах при хане был направлен известный нам канцелярии советник Веселицкий. Прибыв в Бахчисарай, он немедленно начал переговоры о подписании договора о вечной дружбе и неразрывном союзе между Российской империей и независимым Крымом. Россия была готова дать хану свои гарантии независимости и защиты от Порты при условии, если он уступит России города Керчь, Еникале и Кафу. Переговоры шли трудно. В начале ноября совет крымских улемов объявил передачу крепостей России противной мусульманскому закону. Веселицкий, однако, разговаривал с татарами твердо. «Если бы, — писал он Долгорукому, — у меня знатная денежная сумма была, то все бы затруднения, преткновения и упорства и самый пункт веры были бы преодолены и поправлены, ибо этот народ по корыстолюбию своему в пословицу ввел, что деньги — суть вещей, дела совершающая, а без денег трудно обходиться с ними, особенно с духовными их чинами, которые к деньгам более других падки и лакомы».

Определенные надежды на продвижение вперед в трудных переговорах в Петербурге связывали с визитом калги Шахин-Гирея, второго человека в крымской иерархии. Принят он был со всеми почестями, полагавшимися ему по чину. Однако при самом прибытии турецкого вельможи в северную столицу не замедлили, как водится, явиться трудности протокольного характера. Шахин-Гирей требовал, чтобы Н. И. Панин первым нанес ему визит. Коллегия иностранных дел, ссылаясь на правила дипломатического церемониала, на это не соглашалась.

— Народ татарский благодарен Российской империи за то, что она сделала его свободным от Порты Оттоманской, — говорил Шахин-Гирей. — Он надеется, что Россия его возвысит, а не унижит,

не сделает презренным. Не надо сравнивать меня с послами других держав. Я потомок древней крымской династии, ведущей начало от Чингисхана, и даже в Константинополе великий визирь всегда носил визит хану первым.

— Ханам, но не султанам, — возразил Панин.

Однако Шахин-Гирей твердо стоял на своем.

— Всепокорнейше прошу, — хмуро говорил он, — чтобы российский двор в подтверждение своих добрых намерений уступил мне в следующих двух пунктах: чтобы сделан мне был визит первенствующим министром, а на аудиенции у Ее Императорского Величества не принуждали меня снимать шапку.

Дело дошло до Совета, который принял соломоново решение: Шахин-Гирею была пожалована в подарок шапка с таким объявлением: «Ее Императорское Величество, освободив татарские народы от независимости Порты Оттоманской и признавая их вольными и ни от кого, кроме единого Бога, не зависимыми, изволит жаловать им при дворе своем по особому своему благоволению и милости тот самый церемониал, который употребителен относительно других магометанских областей, т. е. Порты Оттоманской и персидского государства. По этой причине жалует она Калге шапку, позволяя в то же время и всем вообще татарам являться отныне везде с покрытыми головами, дабы они в новом своем состоянии с другими магометанскими народами пользовались совершенным равенством».

Шахин-Гирей прожил в Петербурге до осени 1772 г.

«У нас теперь здесь Калга-Султан, — сообщала Екатерина Вольтеру, — брат независимого крымского хана; это молодой человек 25 лет, чрезвычайно умный и желающий образоваться. Этот крымский дофин — самый любезный татарин; он хорош собою, умен, образован не по-татарски, пишет стихи, хочет все видеть и все знать; все полюбили его».

Шахин-Гирей, получавший для проживания в русской столице по 100 рублей в день, имел все основания быть довольным приемом, оказанным ему в Петербурге. Панин же опасался, что деньги были израсходованы напрасно. Превратить плоды блестящих военных побед в сухие статьи дипломатического трактата оказалось делом несравненно более трудным, чем представлялось Екатерине и ее ближайшему окружению.

В Петербурге между тем медлительность Обрескова начала вызывать раздражение. Румянцеву пришлось оправдываться. «В проезде его (Обрескова. — П. П.) через Молдавию старался я всеми способами уготовить ему возможные выгоды, сколь в том позволить могла здешняя во всем скудость, и предварил приказанием в Польше стоящие наши команды о выгоднейшем его равномерном препровождении по дороге до Киева. Во время свидания моего, паче же при отъезде из армии, я ему предлагал ко всему мои услуги, но ни слова он не сказал мне ни о деньгах, ни о другом чем-либо, что имеет нужду», — сообщал он Екатерине в августе с курьером.

На землю Украины Обресков и его спутники вступили 15 августа. Линию в Васильчикове миновали без задержек, так как киевский генерал-губернатор Воейков в знак уважения к Обрескову отдал приказ об отмене обязательного для всех карантина. Услышав впервые за долгие годы родную малороссийскую речь, увидев на Васильковском рынке кринки со сметаной, да еще по умеренной цене, Лука Иванович задрожал от радости. Да и не он один. В тот день не было ни толмача, ни рейтара в посольской свите, кто бы не пришел с рынка, объевшись, как кот, густой украинской сметаны.

Однако под Киевом, где всем свитским, за исключением Обрескова и Левашова, пришлось все же просидеть полсрока в карантине, Лука Иванович вновь дал выход накопившемуся в его душе раздражению.

— Зачем его крутонравное превосходительство, — выговаривал он Мельникову, — полез в Киев? Ведь заведомо было известно, в городе чума и уже отдан приказ жечь дома заболевших. Ведь Павел Артемьевич еще в Землине нашел дорогу в Петербург прямес и чище.

Из Киева обоз с посольскими вещами по чьему-то явному недосмотру был направлен в охваченную чумой Москву. На дорогах было беспокойно, озорничали разбойники. Под Тулой неизвестные мужики, сбив замок с окованного железом сундука, где хранилась вся посольская казна, унесли 700 голландских червонцев.

Впрочем, об этом печальном происшествии Алексею Михайловичу стало известно значительно позднее. Из Киева он направился прямо в Петербург, где его с нетерпением ждал Никита Иванович Панин, стремившийся как можно скорее начать мирные переговоры.

Подробности приема, который ожидал Обрескова осенью 1771 г. в северной столице, нам достоверно неизвестны. Скупые архивные документы сообщают лишь о том, что за мужество и стойкость, проявленные в турецком плену, он был награжден орденом Александра Невского и назначен членом Коллегии иностранных дел.

Г л а в а XIV

МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ФОКШАНЫ.

Сентябрь 1771 — август 1772 г.

Осенью 1771 г. северная столица находилась в сильнейшей ажитации. Город был обложен карантинными кордонами, в лавках пропал уксус, все говорили о моровом поветрии — бедствии, которого Россия не знала уже больше века.

Еще весной 1770 г., когда русская армия возобновила кампанию в Молдавии, она встретила со страшным врагом — чумой. В конце лета чума распространилась по Малороссии и появилась на границах России. Чтобы предохранить Москву, в Совете было решено воспретить въезд в столицу, но московский главнокомандующий фельдмаршал Петр Семенович Салтыков воспротивился этому.

«В таком великом городе множество людей, которые питаются привозным харчем. Помещики и те получают товары из своих деревень и везут их через Москву: мясо, рыба и все прочее через здешний город идет. Низовые города, Украина, со всех сторон едут — запретить въезд в Москву никак невозможно», — писал он Екатерине.

В декабре 1770 г. первые признаки грозного заболевания обнаружилось в Лефортове, в малом госпитале на Введенских горах. Однако наступившие холода приостановили распространение болезни, и 8 января 1771 г. в Совете была зачитана реляция Салтыкова о прекращении «оказавшейся в Москве заразной болезни». Однако по весне на большой суконной фабрике, находившейся в Замоскворечье, близ Каменного моста, начали умирать люди. Погребали их тайно в ночное время. Посланные врачи удостоверили, что умерли 130 человек и больны 21.

— Болезнь сия есть гниющая, прилипчивая, заразная и очень близко подходит к моровой язве, — доложили Салтыкову.

Тот немедленно собрал Сенат и решил закрыть фабрику, отправить больных за город, а здоровых перевести в наемный дом на Мещанской улице, оцепить его и прервать сообщение. Узнав об этом, более двух тысяч фабричных, работавших на фабрике, разбежались по городу, разнося заразу.

Получив тревожное сообщение из Москвы, в Совете принялись судить да рядить: кому поручить охранение первопрестольной от заразы? Остановились на кандидатуре генерал-поручика Еропкина, человека энергичного и решительного. 25 марта вышел указ, поручивший ему заведовать народным здравием в городе Москве.

Еропкин принялся за дело рьяно. Были назначены особые смотрители, в ведение которых отданы полиция и доктора. Служители, одетые в вощаное платье, стали перевозить больных в Угрежский монастырь. Вокруг монастыря выставили караулы, а обывателям было рекомендовано курить в комнатах можжевеловым для отвращения заразы. Одновременно разыскивали разбежавшихся фабричных и свозили оных в Данилов и Покровский монастыри. Главный же карантин был устроен в Симоновом монастыре, вскоре наполнившемся народом. Еропкин уговорил заводчиков и купцов закрывать фабрики и устраивать лазареты, но приказы, отдаваемые властями, ввиду неминуемых больших убытков исполнялись неохотно. Священники с амвонов просвещали народ, читали наставления, как бороться с заразой, однако большого толку от этого не было.

Въезд в Москву ограничили. Из восемнадцати главных застав оставили семь, остальные закрыли.

Еропкин творил чудеса распорядительности, сам ходил в Симонов монастырь осматривать больных, отдавал распоряжения.

— Билет на мою кончину еще не выписан, — говорил он докторам, умолявшим не прикасаться к больным руками.

Преградой ему была народная косность.

Московские обыватели боялись не столько чумы, сколько карантин и больниц и не желали отречься от освященных веками

церковных обычаев. Покойных лобызали «последним целованием», обмывали — и заражались. Люди побогаче устремились за город, на сельский воздух, оставляя челядь без надзора. Начались грабежи.

Между тем размеры несчастья день ото дня увеличивались. В апреле в Москве умерли 778, в мае — 880, в июне — 1099, в июле — 1708, в августе — уже 7268 человек.

«Каждое утро, — писал очевидец, — фурманщики в масках и воцпанных плащах длинными крючьями таскали трупы из выморочных домов, другие поднимали их на улицах, клали в телеги и везли за город; у кого рука в колесе, у кого ноги, у кого голова через край висит, безобразно мотается; человек по 20 взваливали на телегу».

Вскоре, однако, и фурманщики начали заражаться. Пришлось обратиться к преступникам и каторжникам, находившимся в московских тюрьмах. Для этих «мортусов» были отведены специальные номера при каждой полицейской части. Несчастные получали от казны все: еду, одежду, рукавицы и, самое главное, надежду на свободу и прощение, если останутся живы.

Москву охватила страшная паника. Дела в присутственных местах остановились. Все, кто мог, бежали из Москвы. Сами власти в этот критический момент опустили руки.

14 сентября Салтыков обратился к императрице с просьбой позволить ему «отлучиться, пока чума по холодному времени может утихнуть», и в тот же день, не дожидаясь ответа, удалился в Марфино, в свою подмосковную резиденцию. «Болезнь, — писал он, — так умножилась и день ото дня так усиливается, что никакого способа не остается оную прекратить, кроме чтобы всяк старался себя охранить».

Екатерина, придя в ярость от подобного малодушия, назвала Салтыкова «пережившим свою славу старым хрычом».

В Москве водворилось полное безначалие.

Способность действовать сохранял лишь Еропкин, но что он мог сделать, когда расквартированный в Москве Великолуцкий пехотный полк был выведен по приказу Салтыкова из столицы на летние квартиры и находился за 30 верст от Москвы?

Отчаяние и ропот овладевали народом.

Нависла опасность народного возмущения. Она усиливалась еще и тем, что архиепископ московский Амвросий, в миру Андрей Степанович Бантыш-Каменский, не пользовался расположением пастыря. Выходец из Молдавии, выпускник Киевской духовной семинарии, он был одним из образованнейших людей своего времени. Амвросий возродил захиревший после Никона Новый Иерусалим, служил епископом в Переяславле и Дмитрове, а с 1768 г. был переведен в Москву, где по поручению Екатерины взялся за восстановление Успенского, Благовещенского и Архангельского соборов.

Прибыв в Москву, Амвросий принялся по своему разумению переделывать уклад жизни московского духовенства. Испокон веку у Спасских ворот Кремля толкались попы без прихода, которых каждый мог нанять отслужить обедню, панихиду, отпеть покойного в церкви. Амвросий отменил поганое торжище, чем вызвал в Москве

ропот недовольства. С началом чумы он приказал священникам не поведовать и причащать умирающих, не прикасаясь к ним, через двери и окна домов. А при крещении священникам запрещалось брать детей на руки, в купель младенцев было позволено окунать кормилицам. Амвросий не разрешал хоронить умерших при церквях и велел возить их прямо на кладбище, не заезжая в церковь.

Отменил он и крестные ходы. Однако московские священники, одержимые корыстолюбием, учреждали по своим приходам ежедневные крестные ходы, где мешались больные, зараженные и здоровые, и только когда сами служители церкви стали умирать, заражаясь от своей паствы, бросили они хождение по Москве с крестами.

В середине сентября в Москве умирало уже человек 900 в день. Отчаяние достигло предела. Казалось, лишь чудо могло спасти Москву, и такое чудо произошло.

С давних пор над Варварскими воротами Китай-города висел старинный образ Боголюбской Божьей матери. Он был не особенно почитаем, но в один прекрасный день явился перед ним неизвестный священник церкви Всех Святых, что на Кулишках, и принялся разглашать, что недавно фабричному Илье Афанасьеву было видение. Явилась к нему во сне Богоматерь и сказала:

— Тридцать лет прошло, как у моего образа на Варварских воротах не только никогда и никто не пел молебна, но даже свечи под образом не теплились. За это хотел Христос послать на Москву каменный дождь, но я упросила, чтобы вместо одного быть только трехмесячному мору.

В подтверждение истинности своих слов священник сослался на неких Илью Афанасьева и Семеновского полка солдата Савелия Бякова.

Собиравшийся вокруг священника набожный народ рассуждал о том, как умилоустивить Богородицу, заступницу за страждущих.

Уже на другой день вся площадь перед Варварскими воротами была забита народом, не жалевшим ничего для спасения живота своего. Священники производили молебны. Сотни свечей загорелись под образом Боголюбской Божьей матери. А под ним сидели Илья Афанасьев, Савелий Бяков и священники церкви Всех Святых, что на Кулишках, и призывали народ:

— Радейте, православные, Богоматери на всемирную свечу!

В два дня денежные приношения наполнили целый сундук, стоявший тут же подле образа.

Московская полиция, как ни слаба была, старалась разогнать народ, но безуспешно. Отчаявшись, московский полицмейстер обратился к Амвросию.

Архиепископ сидел из предосторожности взаперти в кремлевском Чудовом монастыре, но, узнав о столпотворении у Варварских ворот, счел своим долгом принять неотложные меры.

Решено было удалить от Варварских ворот священников, служащих молебны и всенощные, а образ перенести во вновь построенный тут же у ворот храм Кира и Иоанна. Собранные деньги Амвросий приказал употребить на богоугодные дела.

Однако посланные от архиепископа вернулись ни с чем. Узнав, зачем их призывают в консисторию, священники, расположившиеся со своими пожитками перед воротами, не только отказались туда идти, но и угрожали присланным побить их камнями. Посоветовавшись с Еропкиным, Амвросий решил повременить со снятием и перенесением иконы, а к собранному сундуку с деньгами приложить консисторскую печать, чтобы предотвратить расхищение. Для этого к Варварским воротам послали нескольких солдат.

Происшедшие затем события описаны многими очевидцами: Николаем Николаевичем Бантыш-Каменским, племянником архиепископа Амвросия, служившим в то время в Московском архиве Коллегии иностранных дел, Андреем Тимофеевичем Болотовым и др. Было проведено и специальное следствие о зачинщиках мятежа, материалы которого сохранились. В самом кратком изложении события 15—17 сентября в Москве, ставшие грозным прологом к потрясшему всю империю Пугачевскому восстанию, выглядят так.

Когда шестеро солдат с архиерейским подьячим подошли вечером 15 сентября к Варварским воротам, их встретила разъяренная толпа. Многие были вооружены кольями. Раздался клич:

— Ребята, не допустим оградить Божью мать, — и разъяренная толпа бросилась на солдат и обер-полицмейстера Бахметьева.

Под колокольный звон толпа хлынула в Кремль громить дом архиепископа Амвросия. Еропкин при всей ~~то~~ распорядительности был бессилён навести порядок: в Великолуцком полку оставалось лишь 50 человек, остальные из предосторожности находились в 30 верстах от Москвы. Толпа ограбила винные погреба купца Птицына.

Амвросия, к счастью, успели предупредить, и он укрылся в Донском монастыре. Однако на следующий день, 16 сентября, его нашли прячущимся за иконостасом Большого собора и забили кольями у задних ворот монастыря так, что, по свидетельству очевидца, «ни виду, ни подобия не осталось».

Тем временем разъяренная толпа осаждала Кремль. Еропкину, собравшему за его стенами около полутора сотен солдат и гвардейцев, присланных из Петербурга, пришлось пустить в ход пушки. Бунт пошел на убыль только к вечеру 17 сентября, когда в город вступил Салтыков во главе поднятого по тревоге Великолуцкого полка.

Только к середине сентября в Петербурге начали представлять себе масштабы событий, происходивших в Москве. 19 сентября в Совете было зачитано письмо Салтыкова, доносившего, что из Москвы «все разбежались и съестное с нуждою доставать можно». Необходимо было без промедления предпринять чрезвычайные меры. Решили направить в Москву Г. Г. Орлова. 21 сентября Совет одобрил «заготовительное для дачи посылаемому в Москву генерал-фельдцейхмейстеру полную мочь в делании там всего, что за нужное найдет к избавлению оной от заразы».

Каким образом выбор Совета пал на Орлова, в подробностях неизвестно. Вызвался ли он ехать в Москву добровольно, как Екатерина сообщила впоследствии Вольтеру, или был послан в Москву

Советом, сказать трудно. Известно лишь, что положение Орлова при дворе в ту пору чрезвычайно осложнилось. Английский посланник Кэткарт доносил в Лондон, что Орлов «открыто пренебрегает законами любви» по отношению к императрице. В городе у него много любовниц, с которыми он проводит свободное время. Не могло пройти мимо внимания иностранных дипломатов и то, что в спорах, по-прежнему разгоравшихся на заседаниях Совета между Орловым и Паниным, императрица все чаще поддерживала Никиту Ивановича. Панин, горячий сторонник немедленного начала мирных переговоров с Турцией, считал завоевательные планы Орлова губительными для России и всеми силами старался не допускать осуществления его «сумасбродных» мыслей по подготовке похода на Константинополь.

Как бы то ни было, манифестом от 21 сентября Екатерина объявила, что посылает в Москву «персону от нас доверенную, графа Григория Григорьевича Орлова», избранного «по довольно известной его ревности, усердию и верности его к нам и Отечеству».

Орлов выехал в Москву в день объявления манифеста и, несмотря на распутицу, 26 сентября прибыл на место.

Накануне отъезда генерал-фельдцейхмейстер имел разговор с лордом Кэткартом.

— Все равно, есть ли чума или нет, — говорил он английскому посланнику, — во всяком случае я давно и с нетерпением ждал возможности оказать существенную услугу императрице и Отечеству. Убежден, что главное несчастье в Москве состоит в паническом страхе, охватившем жителей, а также в беспорядке и недостатке правительственных распоряжений.

— Лучшее лекарство от панического страха, — ответил ему Кэткарт, — есть вид человека бесстрашного.

Орлов решительно приступил к исполнению возложенной на него миссии. Вслед за объявлением манифеста о своей «полной мочи во всех делах, касающихся учреждения надлежащего порядка», он собрал две комиссии: противочумную и следственную об умерщвлении архиепископа Амвросия.

Приезд в столицу, покинутую почти всеми начальствующими лицами, столь известного и влиятельного вельможи ободрил москвичей. Орлов сам ходил по больницам, строго наблюдал за пищей, лекарствами, заставлял в своем присутствии сжигать платье и постели умерших от чумы. На расходы не скупился. Было увеличено число карантинных и больниц, причем Григорий Григорьевич отдал под больницу и свой родовой дом на Вознесенской улице. На казенный счет были учреждены приюты для воспитания сирот. Сверх двойного жалованья врачам выдавали также ежемесячно содержание с обещанием в случае смерти положить значительную пенсию их семьям. По окончании службы больничных служителей ждала воляность. Зная, что испокон веку на Руси больше боялись больниц, нежели самих болезней, Орлов разрешил лечение на дому. Были открыты особые кладбища, на которых спешно возводились временные деревянные церкви. Позаботился Орлов и о том, чтобы в Москве было достаточно пропитания, дал заработок нуждавшимся.

Насыпали Камер-Коллежский вал, исправляли дороги, очищали город от грязи, всякой «рухляди», таивших в себе заразу, уничтожали бродячих собак.

Распоряжения Орлова были разумны и полезны. Из его донесений императрица впервые узнала, что в Москве «трудно завести дисциплину полицейскую, трудно различить, что Москва, а что деревня и на каких кто правах живет, особливо слободы».

Быстро завершила свою работу и следственная комиссия. Дворовый человек полковника Александра Раевского по имени Василий Андреев и московский купец Иван Дмитриев, признанные виновниками в убиении архиепископа, были повешены на месте его смерти.

Современники оценивали результаты деятельности Орлова в Москве довольно сдержанно. А. Т. Болотов в своих воспоминаниях записал: «Жили в императорском огромном белокаменном дворце, бывшем за Немецкой слободою, и имели несчастье видеть оный от топления камина загоревшимся и весь оный в немногие часы превратившийся в пепел.

Но помогли ли они чем-нибудь несчастной Москве и поспешествовали ли, со своей стороны, чем прерванию чумы, о том как-то ничего не было слышно; а начала она уже сама собой при наступлении зимы сперва мало-помалу утихать, а потом вдруг, к неопisanному обрадованию всех, пресеклась».

В начале ноября вспышка чумы значительно ослабла, и Орлов начал подумывать о возвращении в Петербург. Вместо него в Москву решили направить Михаила Никитича Волконского, которому приказали принять от Салтыкова место главнокомандующего.

«Пожалуйста, постарайся,— писала Екатерина своему секретарю Козьмину,— чтобы завтра бумаги для князя Волконского и Еропкина были готовы: совестно графа Орлова долее оставлять в Москве; пишет, что он только ждет себе смены, а все изрядно».

21 ноября Орлов выехал из Москвы. Перед возвращением в столицу ему предстояло выдержать шестинедельный карантин в Торжке, однако прискакавший из Петербурга шталмейстер Ребиндер привез письмо императрицы, освобождавшее его от карантина.

Въезд Орлова в Петербург обставили самым торжественным образом. По дороге в Гатчину были воздвигнуты деревянные ворота, на которых со стороны Царскосельского парка значилась следующая надпись: «Когда в 1771 г. на Москве был мор и народное нестройство, генерал-фельдцейхмейстер Григорий Орлов по его просьбе, получив повеление, туда поехал, установил порядок и послушание, сирым и нищим доставил пропитание и исцеление и свирепство язвы пресек добрыми своими учреждениями». Со стороны Гатчины на воротах красовался стих Майкова «Орловым от беды избавлена Москва». В честь Орлова была отчеканена медаль, на одной стороне которой изображен его портрет, а на другой — Курции, бросающиеся в пропасть, с надписью: «И Россия таковых сынов имеет».

Рассказывали, что сначала медаль имела другую надпись: «Такого сына Россия имеет», но, когда Екатерина вручила ее Орлову, тот встал на колени и сказал:

— Я не противлюсь, но прикажи переменить надпись, обидную для других сынов Отечества.

Медали были перечеканены. «Дворцовое эхо» пошло разносить по всем углам столицы весть о благородстве Орлова.

Впрочем, один из мемуаристов отмечал, что Орлова встречали в Петербурге с притворной радостью. Его враги не желали ликовать при встрече спасителя первопрестольной, но не смели показать своих подлинных чувств, сознавая силу временщика.

По возвращении в Москву Орлов нашел перемену в Совете, да и во взглядах самой Екатерины на турецкие дела. Мира желали не что бы то ни стало.

Пруссия и Австрия, встревоженные успехами Румянцева, настойчиво предлагали свое посредничество в мирных переговорах с Портой. 15 декабря 1771 г. в Совете была прочитана депеша из Берлина, в которой объявлялось, что Зегеллин склонил турок послать своих представителей на мирный конгресс с Россией.

Выслушав ее содержание, Екатерина обратилась к Панину со словами:

— Никита Иванович, подлинно ли турки желают послать полномочных на конгресс?

Панин ответил утвердительно, хотя два дня назад получил письмо от Алексея Орлова, в котором говорилось: «Порта к нему о мире не отзывалась».

Немедленно было решено сообщить туркам через прусского посланника, что Россия тоже согласна принять участие в мирном конгрессе.

Однако надежды на мир вскоре были омрачены поступившим сообщением об австрийских интригах в Константинополе. Выяснилось, что еще летом 1771 г. австрийский интернунций Тугут тайно подписал с реис-эфенди так называемый «субсидный договор», обнаживший все лицемерие австрийской политики. Согласно этому договору за субсидии от Турции в 11,5 миллионов талеров Австрия обязывалась добиться от России «путем переговоров или силой оружия» возвращения Турции «всех крепостей, провинций и территорий», занятых русскими войсками. Однако более полугода в Вене не решались легализовать действия своего посла. Молодой император и дряхлый канцлер никак не могли договориться, что выгоднее: поддерживать союз с Турцией в надежде заполучить Дунайские княжества или, заняв сторону России, принять участие в разделе Польши. Дело решила Мария-Терезия.

«Слишком грозный тон с Россиею, наше таинственное поведение с союзниками и противниками, — писала она сыну, — все это произошло оттого, что мы поставили правилом воспользоваться войною между Россиею и Портой для расширения наших границ и приобретения выгод, о которых мы не думали перед войною, хотели действовать по-прусски и в то же время удерживать вид честности».

Тугутский договор остался нератифицированным, но известие о коварном поведении австрийского союзника вызвало негодование в

Петербурге. 23 января 1772 г. Григорий Орлов вновь решительно призвал Совет добиваться мира у ворот Царьграда.

— Желание императрицы, — твердо заявил он, — состоит в том, чтобы окончательно решить, не следует ли ускорить заключение мира на выгодных для России основаниях прямым военным походом на Константинополь.

«Членам Совета надлежало самим догадаться, что назначение возглавить экспедицию на Константинополь желал получить сам Орлов», — заметил по этому поводу С. М. Соловьев.

На следующий день Совет собрался специально для обсуждения предложения Орлова. Захар Чернышев прочел по бумажке «мнение», сводившееся к тому, что «предпринять посылку войска к Константинополю раньше июня месяца нельзя».

— Хотя от Дуная до Константинополя только 350 верст, — говорил он, — однако поход не кончится раньше трех месяцев, потому что надобно будет везти с собой пропитание и все нужное.

Панин высказался против предложения Орлова, настаивая на немедленном начале мирных переговоров, Орлов же упорно твердил о необходимости нанести двойной — сухопутными и морскими силами — удар по турецкой столице, предлагая привлечь к этому запорожских казаков. Панин сомневался, чтобы последние могли найти достаточное количество судов.

Остальные члены Совета хранили молчание, понимая, что за широкой спиной Орлова незримо маячила тень императрицы. Екатерине хотелось окончить войну с блеском, присущим ее царствованию. Еще в 1770 г., когда Орлов впервые представил свой план Совету, он встретил сочувственное отношение императрицы.

«Что касается взятия Константинополя, то я не считаю его столь близким; однако в этом мире, как говорят, не нужно отчаиваться ни в чем», — писала она Вольтеру.

По мере того, как от Румянцева все чаще поступали победные донесения, план похода на Константинополь все основательнее овладевал мыслями Екатерины. Решено было приурочить его к кампании 1772 г.

Однако амбициозные замыслы императрицы и Орлова разбились о суровую реальность. Румянцев, которому план Орлова был сообщен еще в декабре 1771 г., отнесся к нему скептически.

«Для осуществления столь дерзкого проекта, — писал он Екатерине, — нужно по крайней мере удвоить дунайскую армию».

Между тем подкреплений взять было неоткуда: война с неумолимой методичностью поглощала казавшиеся еще вчера неисчерпаемыми ресурсы огромной империи.

Окончательную черту под спорами вокруг проекта Орлова подвели поступившие из Вены сообщения о том, что Австрия определила наконец свои планы, решив отказаться от тугутского договора. Вслед за Австрией сговорчивее сделалась и Турция. 30 марта 1772 г. в Совете было объявлено, что турецкий Диван уже назначил полномочных представителей на мирный конгресс.

Румянцеву и направленному ему в помощь для сношений с турками опытному дипломату Ивану Матвеевичу Симолину полетело

указание заключить перемирие до 10 сентября. Румянцев повиновался неохотно. Военные действия могли возобновиться в выгодный для неприятеля момент, когда турецкая армия была бы в полном сборе, в то время как в конце октября в лагере великого визиря начался «великий побег»: турки спешили пережить тяготы зимней распутицы на зимних квартирах. Из полномочий Румянцева исключили вопрос о заключении перемирия на Средиземном море. Решать этот вопрос поручили Алексею Орлову. Лишь в конце июля на острове Парос было подписано соответствующее соглашение со сроком действия до 1 ноября 1772 г.

Между тем развернулись жаркие споры о месте проведения конгресса. Турки предлагали устроить его в Яссах, но русское правительство не соглашалось. В Яссах находился штаб Румянцева, и переводить его в другое место было накладно. Орлов предлагал избрать Измаил, в котором «по удалению его полномочные не будут беспокоены иностранцами». Но Измаил также не подходил: в нем строились суда Дунайской флотилии, необходимые для похода на Константинополь. Впрочем, турки тоже высказывались против Измаила, ссылаясь на сырость этого места и обилие комаров. Действительные причины их отказа ни для кого не составляли секрета: мечети Измаила были заняты под русские церкви и военные склады.

Выбор пал на Фокшаны, небольшой городок, расположенный в 75 километрах от Галаца, на границе Молдавии и Валахии.

Полномочными послами на конгресс были определены с русской стороны Григорий Орлов и Обресков, с турецкой — нишанджи Осман-эфенди и шейх храма Айя София Яссинни-заде, который, по словам турецкого историка Васыфа, «имел специальную комиссию вести дискуссию по вопросам, имеющим отношение к религии». Подразумевался вопрос о Крыме, зависимость которого от Порты объяснялась турками религиозными связями Османской империи и Крымского ханства.

Обресков собирался на конгресс с легкой душой. Османа он хорошо знал по долгим годам службы в Константинополе. В течение трех лет перед объявлением войны он был реис-эфенди и на этом посту показал себя человеком сведущим и реалистически мыслящим. Обресков не раз с успехом обсуждал с ним щекотливые вопросы, касавшиеся польских дел.

Во избежание затруднений в церемониале было решено, чтобы русские послы в качестве хозяев отправились в Фокшаны раньше турок и приняли бы последних как гостей. Алексей Михайлович выехал из Петербурга в начале апреля и спешно, на почтовых лошадях, направился в ставку Румянцева в Яссах. С ним следовали Левашов, Лашкарев, Пиний, Мельников, на которых лежала ответственность за все приготовления для приема турецких послов.

Конгресс было решено обставить пышно и торжественно. Русское правительство приняло целиком на свой счет содержание турецких полномочных вместе со всей их свитой. Обрескову на расходы пожаловали 70 тысяч рублей.

Сборы Орлова к отъезду поразили всех невиданным великолепием. Ему преподнесли много дорогих платьев, из которых одно,

осыпанное бриллиантами, стоило, как говорили, миллион рублей. Свита, назначенная сопровождать Орлова в Фокшаны, составила целый двор. Тут были и маршалы, и камергеры, и пажи. Одних придворных лакеев, разодетых в парадные ливреи, насчитывалось 24 человека. Обоз посла составляли роскошно сформированная кухня, винные погреба, великолепные придворные экипажи.

«Мои ангелы мира, думаю, находятся теперь лицом к лицу с этими дрянными турецкими бородачами,— писала в июне Екатерина госпоже Бьельке.— Граф Орлов, который без преувеличения самый красивый человек своего времени, должен казаться действительно ангелом перед этим мужичьем; у него свита блестящая, отборная, и мой посол не презирает великолепия и блеска».

25 апреля пышное посольство выехало из Царского Села. 15 мая Румянцев доносил императрице из Ясс, что «имел удовольствие принимать графа Орлова и видеть его в добром здравии после понесенных трудностей и невзгод в далеком пути».

Однако вскоре выяснилось, что русские послы напрасно торопились. В Фокшанах им пришлось ждать встречи почти месяц. Только 8 июля Осман и Яссинни-заде переправились через Дунай. С русской стороны их встретили пушечная пальба, барабанный бой и музыка. Переправлялись долго. Свита турецких полномочных вместе с людьми Зегеллина и Тугута, тенью следовавшими за турками, состояла из пятисот человек.

— А наших-то поболее будет,— с удовлетворением отметил полковник Христофор Иванович Петерсон, отправленный Орловым поздравить турецких послов с прибытием и сопровождать их до места переговоров.

Христофор Иванович не был новичком в турецких делах. В 1763 г. он ездил с Долгоруким в Константинополь объявлять о восшествии Екатерины на престол. Воевал Петерсон также изрядно, отличился под Хотинем и Кагулом и был прислан Румянцевым в Петербург с известием о Кагульской победе с рекомендацией «как личный и испытанный офицер».

Турецкие послы не спешили. Лишь 19 июля они приблизились к Фокшанам. Здесь, в виду города, снова встали. Находившийся при турках астролог не советовал въезжать в Фокшаны в четверг — несчастливый для мусульман день.

Лишь в пятницу, 20 июня, Осман во главе торжественной процессии въехал в Фокшаны. Однако второго турецкого полномочного, Яссинни-заде, в его пышной свите не оказалось. На недоуменные вопросы Обрескова турки отвечали:

— Яссинни-заде как человек духовный в трактование дел вступать не будет.

— Зачем же он пожаловал?— резонно спрашивал Обресков. В ответ турки только загадочно улыбались.

За месяц в дубовой роще в шести километрах от Фокшан гренандеры Румянцева построили целый городок для мирных переговоров. Два лагеря, турецкий и русский, находились в километре один от

другого. Между ними поставили деревянный павильон, предназначенный для встреч послов.

В XVIII в. вопрос о месте переговоров, церемониале и старшинстве на них был предметом долгих препирательств дипломатов. Так, на Карловицком конгрессе 1698 г. притязания его участниками дошли до того, что после переговоров, длившихся более трех месяцев, послы готовились разъехаться, так ни разу и не повидавшись друг с другом. Турки нипочем не желали уступать первенствующего места, на которое претендовали австрийский посол и посредники — послы Англии и Голландии.

Конгресс был спасен лишь благодаря находчивости первого драгомана Порты, грека Маврокордато. На самой середине Карловицкой площади возвели деревянное круглое здание, в котором устроили специальные входы для каждого из участников конгресса. Послы находились в палатках, разбитых на одинаковом расстоянии от главного здания. В первый день конгресса они одновременно покинули свои палатки, разом вошли в деревянное здание каждый через собственную дверь, поклонились друг другу и сели за круглый стол, служивший для сидящих за ним со времен короля Артура символом равенства.

В Фокшанах турки не собирались изменять своим привычкам. Еще в дороге Осман принялся добиваться, чтобы переговоры проходили в огромном, великолепно украшенном шатре, который он вел в своем обозе. В шатре одновременно могли поместиться около ста человек. Турки называли его «Святой Иерусалим».

— Все находящиеся под сенью сего шатра, — толковал Осман Обрескову, — приобретают благополучие и спасение.

Русские дипломаты, не желавшие начинать переговоры с уступок, настаивали, чтобы переговоры проходили в их помещении.

«“Святой Иерусалим“, конечно, хорош, — доносил Обрескову Панину, — да только Осман волочет его за собой, дабы перед всем светом показать, что конгресс производится в месте, принадлежащем туркам».

Спор разрешился сам собой, как только турецкие послы увидели фокшанский городок, построенный русскими.

Петерсон, которому поручили вести дневник переговоров, записал после первого посещения турецких послов: «Осман очень выхвалял ставку Его Величества фельдцейхмейстера и расположение онсй, да и место нашего лагеря». Он был поражен, «увидя неожиданно в диком лесу преизрядно просеченные аллеи, песком усыпанные, и, впрочем, оный лес столь хорошо расчищен, что издали его за изрядный сад принять можно. Не меньше также, по-видимому, оба турецких министра внутренне удивлялись великолепному штату и богатому во всем убранству, а особенно как слышали они хор роговой музыки, к чему Осман-паша сказал, что он лагерь русский почитает за место, всякими веселостями наполненное, каких иногда и в большом городе сыскать трудно».

Роскошь и великолепие свиты, сопровождавшей Орлова, богатое убранство русского лагеря произвели на турок столь глубокое впечатление, что они немедленно начали настаивать на отмене всех

церемоний и обрядов во время мирных переговоров. Русские дипломаты, которым не терпелось заняться делом, с радостью согласились.

Однако с открытием конгресса пришлось подождать. Когда 23 июля Пиний и драгоман турецкого посольства Ризо представили копии верительных грамот русских и турецких послов, Обресков с удивлением обнаружил, что Яссинни-заде не имеет посольского ранга и именуется в грамоте просто полномочным министром. Теперь он понял, почему Яссинни-заде не принял участия в торжественном въезде турецкого посольства в Фокшаны.

Было сочтено предосудительным вступать в переговоры с лицами, одно из которых находилось не в равном с русскими послами дипломатическом «характере».

— Ничего не остается, как принять всем на себя звание полномочных министров. — сказал Обресков Орлову. Последний, больше заботившийся о прекрасной молдаванской охоте, чем о переговорах, не раздумывая согласился. Но тут оказалось, что у турецких послов есть полномочия на посольский «характер» и для Яссинни-заде.

Обресков счел это своей первой маленькой победой.

Однако сюрпризы не кончились. Открытие конгресса было назначено на 7 часов утра 27 июня. Накануне, пока Орлов развлекался охотой, Обрескова посетил Тугут и Зегеллин.

— Мы хотели бы знать, — сказал Зегеллин, — когда и как господа русские послы поедут на конференцию?

Обресков, почувствовав подвох, медлил с ответом. Тогда Зегеллин заявил без обиняков, что они с Тугутом как посредники намерены присутствовать на переговорах.

Это был уже вопрос не протокола, а принципа. Обресков твердо заявил, что Россия не просила иностранного посредничества в переговорах с Турцией и посему конференция будет проходить один на один.

— Министры «de bon office» («добрых услуг») — не то же самое, что медиаторы, — заявил он.

Зегеллин, помня, что для его короля главное поскорее прекратить выплачивать обременительные субсидии России, быстро сдался, Тугут же отмалчивался. Однако изменить что-либо оказалось выше его сил. 25 июля 1772 г. было подписано соглашение о разделе Польши. Самое большее, что он мог сделать, — оттянуть открытие конгресса на два часа.

25 июля 1772 г. в 9 часов утра русские и турецкие послы вступили одновременно в предназначенный для переговоров зал и, поклонившись друг другу, сели на поставленные один против другого канапе. После того как послы обменялись речами, свитские покинули зал. Там остались лишь послы, переводчики и секретари.

Впрочем, ничего важного, кроме подтверждения срока перемирия, на первой конференции не произошло.

Вечером, оставшись один в своей палатке, Алексей Михайлович писал Панину: «Когда мы ставили перемирие по 10 сентября, то тут у меня была великая борьба с полномочным министром». И действительно, с первого дня переговоров Орлов с неожиданным

высокомерию стоял на том, чтобы не закрывать альтернативу возобновления военных действий в любой момент, а перемирие «повременно протягивать». О перемирии в Архипелаге он и слышать не хотел, питая иллюзии о том, что русский флот в Средиземном море способен нанести удар в самое сердце Османской империи.

На второй конференции, состоявшейся 30 июля, Орлов взял переговоры в свои руки. Он начал с того, что предъявил турецким представителям текст «оснований, на коих мир построен быть может».

«1. Отнять все способы, раздор и неудовольствие производящие между двумя империями, и сделать мир на всегдашнее время прочным.

2. Получить удовлетворение за приключенные России убытки, ибо она противу воли своей введена в войну настоящую.

3. Чтобы связать узлом взаимных интересов подданных, дабы тем более каждый собственным своим интересом побужден был стараться в сохранении тишины и благоденствия двух империй, и чтоб сим способом уничтожить все попытки, могущие иногда произойти от внушения по разным стечениям обстоятельств людей, обеим империям недоброжелающих».

Туркам русские мирные условия были известны несколько в другой редакции. Третий пункт показался им многословным, и, что самое главное, в нем отсутствовало упоминание о торговле, при помощи которой в Петербурге и хотели «связать узлом взаимных интересов» подданных двух стран. Осман решил, что речь идет о союзном договоре, и, вспомнив, что Петр воевал с Персией, повел речь об этом. Вмешательство Обрескова поставило все на место.

На третьей конференции Осман-паша заявил:

— Русские условия для нас новые и походят на прелиминарии.

Обресков как мог разъяснил турецким послам существо прелиминарных пунктов и доказал, что врученные им условия не являются таковыми, а представляют собой только «фундамент возводимого здания».

— Как бы прежде сооружения здания на этом фундаменте не погибнуть, — заметил на это Осман.

Он говорил за себя и за своего друга, потому что Яссинни-заде сидел, будто в рот воды набрав. Когда Обресков посетил Османа, тот, раздраженный пассивностью Яссинни-заде, сказал:

— Он служит мне только для того, чтобы снабжать меня птицей. Если сомневаетесь — посмотрите.

Говоря так, он указал на многочисленные клетки с курами, стоявшие на повозках вблизи палатки Яссинни-заде.

Причиной раздраженного состояния Османа было не только странное поведение Яссинни-заде, но и неуместная прямолинейность Орлова, который, приступая к обсуждению русских условий мирного договора, заявил:

— Понеже история всех времен доказывает, что главнейшею причиной раздоров и кровопролитий между обеими империями были татары, то для истребления той причины надлежит признать сии народы независимыми.

Первый натиск Орлова турки отразили стойко. В протоколе от 3 августа было записано: «Турецкие послы, приняв с спокойными лицами сие предложение, возражали, что надобно прежде доказать, татары ли были причиною сей войны; что, правда, сии народы были беспокойны, но нынешний султан содержал их в тишине; что они беспорядками своими походят на гайдамаков и что впредь будут они строже наказаны и содержаны в повиновении».

Сдержанность турецких дипломатов объяснялась не в последнюю очередь тем, что в начале переговоров они надеялись привести их к успешному окончанию, согласившись на выплату значительной компенсации России. Турецкий историк и дипломат Ресми Ахмед-эфенди весьма живописно воспроизводит этот эпизод Фокшанского конгресса: «В течение сорока дней было три или четыре заседания. Орлов постоянно требовал, чтобы независимость татар была принята в основание переговоров, объявляя, что без нее ничего не будет. Осман-паша, удивительный мастер на аргументы, говорун, пустомеля, лицо зловещее, тщеславящееся быстродвижностью своих челюстей, питал, со своей стороны, надежду, что он, повторяя — “денег не берет?.. дело не пойдет!” — этого рода прибаутками московитянина утомит и переуверит. Но в подобных делах франки, т. е. европейцы, — народ чрезвычайно твердый и медлительный: хоть жернова верти им на голове, с толку не собьешь этих людей!»

Алексей Михайлович пытался подкрепить требования Орлова понятными туркам аргументами. В его распоряжении был приготовленный Левашовым богатый фактический материал о нападениях татар на Россию в прошлые века.

— Татары и во время прошедшего мира много обид, убытков и раздоров нам причиняли, и если из этого не последовало действительной остуды между обеими империями, то сие следует отнести на счет миролюбия русского двора, — утверждал он.

Орлов высказывался более определенно:

— Крым завоеван русским оружием, и императрица вправе даровать вольность и независимость татарам, — заявил он. Право завоевания (*uti possideris*) считалось в XVIII в. высшей правовой нормой международных отношений, и слова Орлова не могли не произвести сильное впечатление на турок.

Осман не нашел ничего лучшего, как заболеть. Переговоры были отложены.

4 августа Орлов зашел «навестить оного Османа, политической помощью одержимого». Оставшись наедине с Орловым, турецкий посол вновь пустился в длительные рассуждения, обосновывая невозможность независимости Крыма религиозными причинами.

— Султан — потомок халифов и несет ответственность за весь мусульманский мир, — говорил он. — Мы не можем покинуть единых и верных.

Орлов в ответ только хмурил густые брови. Отчаявшись переубедить его, Осман совершенно неожиданно для русских дипломатов попытался разжалобить надменного фаворита.

— Сжальтесь, Ваше Сиятельство, — вдруг запричитал он, — я был под штрафом почти двадцать шесть месяцев за то, что в удер-

жании взаимного между двумя империями согласия следовал наставлениям друга нашего Обрескова. Спросите, Ваше Сиятельство, Пиния, сколько употребил я старательства к воспрепятствованию войны. А если бы теперь, чего Боже избави, пришлось возвратиться без успеху, то лучше ехать в Англию или в Швецию.

— Нет, лучше в Петербург,— добродушно заметил Орлов,— и поехали бы вместе.

Однако шутка русского посла не развеселила Османа. Положение его было тяжелым. Согласиться на независимость татар он не мог, но и уехать из Фокшан ни с чем опасался. Орлов между тем твердо заявлял, что обсуждение других мирных условий может начаться только после решения вопроса о Крыме.

8 августа Осман нанес Орлову ответный визит.

— Того, что я буду говорить,— заявил он,— нет в моих инструкциях. Согласны ли вы на то, что в случае независимости Крыма султан сохранит за собой право утверждать избрание каждого хана крымского?

Присутствовавший при разговоре Обресков возразил, что «апробация претит совершенной независимости».

На этом и расстались. Переговоры окончательно зашли в тупик. В ответ на повторные требования независимости Крыма турки заявили, что они «вытрясли из мешка все, что в нем было, и им остается только покинуть конгресс».

Однако у Обрескова были крепкие нервы.

— Небось не уедут,— сказал он и послал к Осману спросить о количестве подвод, которые необходимы были для обратного пути.

Медиаторы всполошились. Зегеллин отправился к Осману, чтобы убедить его продолжать переговоры, но вернулся ни с чем.

Тугут и Зегеллин обратились к Орлову. 17 августа он передал медиаторам ультиматум по крымскому вопросу. Это означало фактический срыв мирных переговоров. 18 августа Орлов и Обресков сообщили в Петербург, что турецкие послы намерены «разорвать конгресс» и вернуться в Константинополь. 22 августа турецкие послы были официально отозваны великим визирем. Не дожидаясь их отъезда, Орлов первый покинул Фокшаны. Обресков, которому надлежало заняться отправкой турецких послов, остался.

28 августа турецкие послы тронулись в обратный путь. Через час их отъезда к Обрескову явился запыхавшийся Тугут и заявил, что он только что получил предписание своего правительства поддержать русский ультиматум по крымскому вопросу.

— Спустия лето — в лес по малину,— отвечал раздосадованный Обресков.

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ

Глава XV

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — БУХАРЕСТ.

Сентябрь 1772 — март 1773 г.

Депеша Орлова и Обрескова о «разрыве турками Фокшанского конгресса» была прочитана в Совете 1 сентября. Через два дня, 3 сентября, в Фокшаны полетел рескрипт, в котором Екатерина, одобряя действия Орлова, оставляла на его волю, «если он еще в армии находится, продолжить вверенную ему негоциацию по ее возобновлению и употребить себя между тем по его званию в армии под предводительством генерал-фельдмаршала Румянцева».

С этим же курьером Панин направил личное письмо Обрескову. Никита Иванович настоятельно рекомендовал «предать это письмо огню» сразу по прочтении, но по счастливой случайности оно сохранилось — будто специально для того, чтобы приподнять завесу над страстями, которые разгорелись в Петербурге.

«Сердечно сожалею, мой любезный друг, о настоящем Вашем положении. Видя из последних депешей Ваших, что новозародившееся бешество и колобродство первого товарища Вашего испортили все дело, — писал первоприсутствующий в Коллегии иностранных дел, — в сих прискорбных и досадных обстоятельствах могу я Вам по крайней мере принести уверения, побожась Вам честью моею и уверяя Вас, как истинного друга, что ни малейшим образом и ничто в сем несчастном происшествии насчет Вашей особы отнюдь не упало, напротив того, Ее Императорское Величество внутренне удостоверены, что Вам невозможно было ничего иного сделать в положении Вашем, как то, что Вы сделали. Поверьте, мой друг, что Вам вся справедливость отдается и Ваши прежние заслуги не помрачатся, конечно, от необузданности товарища Вашего. И в самом деле: всякому постороннему человеку нельзя тому не удивиться, как первые люди в обоих государствах, посланные для столь великого дела, съехались за одним будто словом и, сказав его друг другу, разъехались ни с чем. Но меня сие нимало не удивляет, зная совершенно те обстоятельства, которые Вам известны, и те, которые Вам еще неизвестны. Сколько же сей разрыв конгресса, следственно, и уничтожение надежды общей достигнуть мира терзает сердце мое и оскорбляет меня как министра и как человека, лю-

блящего всею душою свое Отечество, то Вы сами себе легко представить можете и по тому уже одному, когда вообразите себе, что мы поставлены теперь в наикритическое положение через сей разрыв, возобновляющий войну старую и ускоряющий войну новую, которая нам угрожать стала.

Вам препоручается извлечь Отечество из такого жестокого кризиса. Хотя по рескрипту к Вам Вы можете счесть, что прежний Ваш товарищ и теперь с Вами действительно будет, однако же я уповаю, что Вы один останетесь на деле, а он сюда прискачет. Да пускай бы, против моего чаяния, он еще там остался, то и в таком случае, конечно, Вам не будет больше нужды его мечтательные мысли сколько уважать, как прежде, ибо его прежний случай совсем миновался; а потому и Вы нужды более иметь не будете сокращаться Вашим в делах просвещением и искусством в единых соображениях и расположениях его необузданных мнений и рассуждений, а можете надежно, с большею твердостью держаться Ваших собственных и его к оным обращать».

Панин, хорошо знавший вспыльчивый характер Орлова, совершенно точно предугадал развитие событий. Через день после прибытия в Яссы, в ставку Румянцева, Орлов уже мчался, загоняя почтовых лошадей, в Петербург. Однако на подъезде к Петербургу Орлова ждал полицмейстер барон Корф, который вежливо, но твердо препроводил еще недавно всесильного фаворита в Царское Село.

Что же произошло в столице в отсутствие Орлова? Обратимся к еще одному документу, составленному внимательным и хорошо осведомленным современником происходивших событий. Прусский посланник в Петербурге граф Сольмс писал Фридриху II 3 августа 1772 г.: «Отсутствие графа Орлова обнаружило весьма естественное, но тем не менее неожиданное обстоятельство: Ее Величество нашли возможным обойтись без него, изменить свои чувства к нему и перенести свое расположение на другой предмет. Конногвардейский поручик Васильчиков, случайно отправленный в Царское Село для командования небольшим отрядом, содержащим караул во время пребывания там двора, привлек внимание своей государыни.

Частые посещения Васильчиковым Петергофа, заботливость, с которою она спешила отлучить его от других, более спокойное и веселое расположение ее духа со времени удаления Орлова, неудовольствие родных и друзей последнего, наконец, тысячи других мелких обстоятельств уже открыли глаза царедворцам. Хотя до сих пор все держится в тайне, но никто из приближенных не сомневается, что Васильчиков уже находится в полной милости у императрицы... Охлаждение к Орлову началось мало-помалу со времени отъезда его на конгресс.

Некоторая холодность Орлова к императрице за последние годы, поспешность, с которой он последний раз уехал от нее, не только оскорбившая ее лично, но и долженствовавшая иметь влияние на политику, подавая туркам повод усматривать важность для России предстоящего мира, наконец, обнаружение многих измен — все это, вместе взятое, привело императрицу к тому, чтобы смотреть на Орлова как на недостойного ее милости. Граф Панин, которому им-

императрица, может быть, поверила свои мысли и чувства, не считая нужным разуверять ее, и это дело уладилось само собой, без всякого с чьей-либо стороны приготовления... Наиболее выигрывает от этой перемены граф Панин. Он избавляется от опасного соперника, хотя, впрочем, и при Орлове он пользовался очень большим значением, но теперь он приобретает большую свободу действий как в делах внешних, так и внутренних».

Наблюдательный дипломат сумел подметить главное: конец «случая» Орлова серьезно изменил расстановку сил при дворе. Однако комментарии, которыми он снабдил добросовестно изложенные факты, мягко говоря, сомнительны. Надо сказать, что многие из иностранных послов при русском дворе мнили себя знатоками тайных пружин русской политики, хотя мало кому из них удавалось проникнуть в сокровенную суть происходивших событий. Отвлечемся ненадолго от истории с Орловым и вспомним конфуз, который приключился с британским послом в Петербурге лордом Кэткартом, тем более что он имеет самое непосредственное отношение к предмету нашего рассказа.

Летом 1771 г. перед британским послом была поставлена не легкая задача: ускорить заключение союзного договора между Россией и Англией, переговоры о котором тянулись уже несколько лет.

Лорд Кэткарт начал немедленно действовать. В Петербурге он жил третий год и все это время с ревностью наблюдал за интригами прусского и австрийского послов, стремившихся обратить к своей выгоде соперничество между Орловым и Паниным, честолюбие Чернышева, скептическое брюзжание Разумовского. Кэткарт был по натуре человеком восторженным. Его преклонение перед «Семи-рамой Севера» доходило до того, что свои первые впечатления от общения с ней он излагал в дипломатических депешах стихами Вергилия. К задуманному делу он также решил приступить не совсем обычным образом.

«Когда граф Панин и граф Орлов сходятся во мнении, то дело идет очень легко,— отписывал он в Лондон.— Но когда графу Орлову можно внушить другие цели, то выдвигается граф Чернышев и его друзья, Голицыны, особенно первый, и это обстоятельство, кроме всех других неудобств, как следствие несогласия, проволочивает время, пока императрица не помирит обоих графов».

Короче говоря, лорд Кэткарт решил утвердить английское влияние в Петербурге, примирив двух самых влиятельных лиц при русском дворе. При первом удобном случае посол принялся за дело. Орлов благосклонно принял похвалы Кэткарта в адрес Панина, но выразил сожаление, что близко не знаком с Никитой Ивановичем. Ведь у них разница в летах, занятиях, удовольствиях, они редко встречаются, пожалуй, только на совещаниях по особым делам, где обыкновенно Орлов по живости своего характера перебивает методическое изложение Панина, как скоро ему покажется, что понял, к чему тот клонит речь. В ответ Панин обычно хмурился, а Орлов умолкал — и таким образом дело останавливалось и мешало ходу других. Отдавая должное знаниям и способностям Панина, Орлов

всю вину за происходившие между ними разногласия принимал на себя, на собственную нетерпеливость, недостаток методы, уверяя после, что он весьма желал бы встречаться с Паниным чаще, без определенного повода. Кэткарт передал Панину свой разговор с Орловым. Никита Иванович очень обрадовался этим речам и благодарил Кэткарта за добрые слова.

Казалось, Кэткарт был на верном пути. При встречах Орлов и Панин кланялись ему подчеркнуто уважительно, да и отношения между соперниками, по наблюдениям посла, о которых он не замедлил донести в Лондон, стали ровнее. Граф Рошфор был так обнадёжен ловкостью Кэткарта, что считал заключение русско-английского союза делом обеспеченным. Кэткарту было предписано добиваться посредничества Англии в мирных переговорах с Турцией взамен добрых услуг Пруссии и Австрии.

Но шло время, весна сменила зиму, наступило лето 1772 г., а дело с заключением англо-русского договора не продвинулось дальше неопределенных обещаний и туманных намеков. В депешах Кэткарта зазвучали нотки озабоченности. Судя по его донесениям, примирение Орлова с Паниным не удавалось то из-за того, что императрица жила на даче, а граф Орлов в городе, то из-за хитрых людей (подразумевался Захар Чернышев), убедивших Орлова взять на себя ведение турецких и польских дел. В свою очередь, это привело к сильному столкновению между Орловым и Паниным, вследствие чего последний стал просить императрицу отстранить его от управления иностранными делами. Екатерина, разумеется, удержала его от этого шага.

Так дело тянулось до сентября 1772 г., когда Панин пригласил всех аккредитованных в Петербурге послов и объявил им о том, что полтора месяца назад, 25 июля 1772 г., Пруссия, Австрия и Россия подписали соглашение о разделе Польши.

Дипломатическая карьера Кэткарта была закончена. Всего за полгода до соглашения, решившего судьбу Речи Посполитой, он доносил в Лондон (со ссылкой на заверения Панина), что императрице «ничего не известно о намерениях короля прусского разделить Польшу и такое намерение не может ей быть приятно». Вскоре его сменил менее склонный к декламации Вергилия сэр Роберт Гуннинг. Однако и у Кэткарта есть заслуги перед историей. Благодаря ему мы представляем, какой тайной была окутана продолжавшаяся не менее года ожесточенная борьба вокруг Польши.

Действительно, циничны были политики в веке осмнадцатом, просвещенном.

Торговались яростно. Рвали Польшу на куски. Фридрих II, получивший по разделу львиную долю древних польских земель, примерялся и к Данцигу. Кауниц, Иосиф II, Мария-Терезия состязались друг с другом в лицемерии. Кауниц отмерял то одно, то другое староство польское под ламентации «святой Терезии», оплакивавшей судьбу Речи Посполитой.

Предварительное соглашение между Пруссией, Австрией и Россией по польским делам было достигнуто уже в начале 1772 г., а окончательно скреплено 25 июля 1772 г. К России отошла часть за-

идноукраинских и западнобелорусских земель, в свое время отторгнутых великими князьями литовскими.

Необходимость и закономерность восстановления западных границ русского государства никогда не вызывали сомнений у людей беспристрастных. Еще в конце прошлого века крупнейший авторитет в области исторической географии Европы Фриман писал: «Нужно помнить, что при всех трех разделах ни одна часть первоначального польского государства не досталась России. Россия получила обратно свою территорию, отнятую у нее Литвою, и соединила большую часть самой Литвы с областями, расположенными непосредственно на севере от нее. Древнее польское королевство делится между Пруссией и Австрией, а древнейшая Польша выпадает на долю Пруссии».

Однако средства, с помощью которых эта цель была осуществлена, вызывали и вызывают острую и справедливую критику. Основная ответственность за это в глазах общественного мнения ложилась на Панина, которому в силу его должности приходилось вести переговоры с пруссаками и австрийцами.

Между тем позиция Панина в польских делах была далеко не однозначной. Еще в конце 1769 г., когда Фридрих впервые выдвинул идею раздела Польши, Никита Иванович твердо высказался против. В конце февраля 1771 г. он говорил Сольмсу, что если в Совете встанет вопрос о присоединении некоторых частей Польши к России, то он будет возражать, хотя в конце концов ему придется, вероятно, согласиться, ведь значительное большинство членов Совета выступало за присоединение.

Так и произошло. Уже в середине мая 1771 г. голос Никиты Ивановича (не следует забывать пресловутую «эластичность», которую С. М. Соловьев считал главной чертой его характера) хорошо вписывался в общий хор сторонников раздела. Выступая в Совете, он заявил: «Заинтересовав сим образом венский и берлинский дворы, скорее можно будет заключить предполагаемый ныне мир с турками и успокоить польские замешательства».

Именно в это время и произошла с Григорием Орловым, заклятым недоброжелателем Никиты Ивановича, метаморфоза, которая, как мы полагаем, и решила его судьбу. Пока Панин твердо стоял против раздела, Орлов хранил молчание, хотя в душе был того же мнения. Когда же Панин, отчаявшись отыскать иные средства к началу мирных переговоров, переменил свои взгляды, Орлов принялся открыто осуждать сторонников раздела. В Фокшанах, узнав о подписании договора между Пруссией, Австрией и Россией, он прямо заявил, что составители его заслуживают смертной казни.

Вызывающее поведение Орлова в Фокшанах стало последней каплей, переполнившей терпение Екатерины. Она имела все основания связывать срыв фокшанского конгресса с оппозицией Орлова. Мысль о том, что уступка прусскому и австрийскому союзникам ни на шаг не приблизила ее к желанной цели — заключению мира с Турцией, — приводила императрицу в бешенство. Это, по всей видимости, и определило дальнейший ход событий.

Десятилетний союз Екатерины с Орловым был в немалой степени союзом политическим, поскольку обеспечивал Екатерине поддержку гвардии, роль которой в дворцовых переворотах XVIII в. хорошо известна. Однако, как только затянувшаяся связь стала помехой в государственных делах, императрица разорвала ее.

Бесновавшемуся в Царском Селе Орлову, который долго не мог смириться с мыслью о том, что «случай» его миновал, были жалованы пенсия в полтораста тысяч, а также сто тысяч на содержание дома, десять тысяч крепостных крестьян, не считая знаменитого Мраморного дворца в Петербурге, сервизов, мебели и прочих мелочей.

Среди условий об увольнении от двора опального фаворита, которые императрица обсуждала в сентябре 1772 г. через старшего и братьев Орловых, Ивана Григорьевича, пунктом первым и, очевидно, главным был назван следующий: «Все прошедшее я предаю совершенному забвению». Зная характер Екатерины, трудно предположить, что речь шла только об интимных подробностях разрыва. Если наше предположение верно и главную причину удаления Орлова следует искать в сфере политики, то этой причиной могло быть отношение Орлова к польским делам.

Осенью 1772 г. ни в турецком, ни в польском вопросе далеко не было ясности. Поляки ожесточенно сопротивлялись разделу. Кауниц и Фридрих II подталкивали Екатерину, чтобы завершить раздел и немедленно поделить оставшиеся польские земли. Однако Екатерина твердо возражала против претензий Пруссии на Данциг и увеличения доли Австрии за счет Львова. 3 декабря 1772 г. по инициативе России союзные державы подписали новый акт, предусматривающий сохранение оставшейся части Польши в качестве независимого государства. Только в начале 1773 г. польский сейм под жестким давлением трех союзных держав был вынужден согласиться с договором о разделе.

Между тем международная обстановка складывалась крайне неблагоприятно для России. В конце августа 1772 г. поступила весть о государственном перевороте в Швеции, таившем опасность военного конфликта на северных границах России. «Весьма сомнительные и опасные аспекты от сего соседа, обуздываемые по сию пору вероятностью скорого у нас мира с Портою, получают вящее себе приращение, а может быть, возмогут уже подвигнуть молодого короля и на действительные неприятства, когда он узнает, что с «разрывом конгресса» кончилась бесповоротно мирная негоциация и всякая к миру надежда по крайней мере на будущий год», — писала Екатерина Обрескову.

Рескрипт императрицы застал Алексея Михайловича в Яссах. Слог его был тревожен. «В случае затяжки войны дела империи будут находиться в самом важном и нежном кризисе, какого со времен императора Петра I для России не настояло», — признавала императрица.

На плечи Алексея Михайловича легла огромная ответственность. Волею обстоятельств он был выдвинут на передний рубеж дипломатической борьбы. Еще до «разрыва» Фокшанского конгресса Обресков по собственной инициативе и с согласия Румянцева зондировал почву относительно возможности продления перемирия и продолжения мирных переговоров. Договориться с турками, не заинтересованными в продолжении военных действий, оказалось нетрудно. 7 сентября 1772 г. Румянцев получил от великого визиря Мохсен-заде предложение продлить перемирие еще на шесть месяцев и возобновить прерванные переговоры. Румянцев немедленно дал согласие не возобновлять военных действий до 20 октября.

21 сентября Совет решил назначить Обрескова единственным представителем России на новом мирном конгрессе с Турцией. Ему были направлены инструкции, носившие компромиссный характер в главном, крымском вопросе. В обмен на признание за Россией права гарантировать «вольность и независимость» татарского народа Совет согласился на «некоего рода инвеституру» Порты на назначение новых крымских ханов. Уступка эта была плодом усилий Панина, стремившегося таким образом «поразвязать руки» Алексею Михайловичу. Понимая огромную сложность предстоящих переговоров, Панин предельно четко сформулировал задачу, стоявшую перед Обресковым: подготовить текст мирного договора к подписанию таким образом, чтобы «легчайшие артикулы всех трех базисов приносимы были на жертву одержания важнейшего артикула». Обрескову предписывалось «пройти порознь, одно по другому, все частные требования наши, дабы уступкою в одном облегчить одержание другого».

Некоторая свобода, обеспеченная заботами Панина, определила образ действий Обрескова. «Я, милостивый государь мой, не вступая в объяснение резонов, для чего я таким или иным образом каждое дело предлагаю, зная прямую цель, добираюсь до оной теми способами, которые мне способность моя дозволяет», — писал Обресков Панину из Бухареста.

Надо сказать, что Алексей Михайлович вполне справился с возложенной на него сложнейшей задачей. Бухарестские переговоры явились высшим достижением, пиком профессиональной деятельности Обрескова, звездным часом, который был подготовлен долгими годами самоотверженного труда. Конгресс, на котором приняли текст исключительно выгодного для России мирного договора, поставил имя Обрескова в число выдающихся русских дипломатов и дал ему право на благодарную память потомства.

Вести переговоры с турецкой стороны поручили реис-эфенди Абдур-Резаку. Отдавая должное природному уму и осведомленности турецкого дипломата, Обресков вместе с тем понимал, что этот человек, как и его предшественник Осман-паша, был скован по рукам и ногам Портой, к которой должен был обращаться по самому ничтожному поводу. «Реис-эфенди весьма осторожно поступает: после каждой конференции отправляет к визирю нарочного и обыкновенно через трое суток ответы получает, да и при себе имеет двух советников, приданных ему от Порты, без сношения с которыми ни на что не решается», — доносил Обресков Панину.

При проверке полномочий не обошлось без обычных в таких случаях недоразумений. И Обресков и Абдур-Резак имели «характер» полномочных послов, но Алексей Михайлович состоял членом Коллегии иностранных дел, а Абдур-Резак числился руководителем турецкой внешней политики. Визирь потребовал повышения Алексея Михайловича в чине. Обресков обиделся. «Я что по сие время не получил, то, конечно, не по посторонним каким-либо представительствам и домогательствам», — писал он в Петербург. Пании предписал Алексею Михайловичу объяснить туркам, что он — член Коллегии иностранных дел и равен Абдур-Резаку, который ведает иностранными делами под управлением великого визиря.

В качестве места проведения мирного конгресса турки предложили Бухарест. С русской стороны ввиду наступавших зимних холодов и благожелательного отношения Дунайских княжеств к русским войскам это возражения не вызвало.

15 октября 1772 г. Обресков прибыл к месту переговоров. Христофор Иванович Петерсон, вновь определенный к нему для исправления обязанностей церемониймейстера, записал в свой журнал: «При многочисленном всякого звания народе, как радостию, так и любопытством влекомом и карету его окружающем, ехал он с часу времени при непрестанном колокольном звоне и игрании на разных инструментах. Но как темнота начала прибавляться, то несены были пред каретою его факелы».

Абдур-Резак торопился в Бухарест из Рущука. Однако Обресков, рассчитывавший со дня на день получить известие о заключении договора с татарами, который должен был облегчить переговоры по крымскому вопросу, просил его «помешкать», дабы «дома в Бухаресте могли быть вполне готовы».

Абдур-Резак прибыл в Бухарест 26 октября. Через три дня открылись заседания мирного конгресса.

Обресков в карете, заложеной парадным цугом, в сопровождении многочисленной свиты выехал в 11 часов утра в резиденцию, отведенную для переговоров. У входа русского посла встречали советники посольства и переводчики, среди которых можно было видеть Левашова, Мельникова, Яблонского и других сотрудников константинопольского посольства. С раннего утра они занимались освидетельствованием полномочных грамот и сличением их копий с подлинниками. Вслед за Обресковым верхом на коне прибыл Абдур-Резак.

В «каморе отдохновения», отведенной для каждого посла, Обресков, знакомый с обычаем турок не снимать головного убора во время переговоров, «приказал всем его окружающим надеть шляпы, что и самим Его Превосходительством учтено было». Одновременно войдя в конференц-зал, послы «сели на приуготовленные для них две канапе, между которыми поставлен стол, покрытый красным сукном и золотым галуном обложенный. А свиты их стояли несколько уступя, одна против другой. Несмотря на столь великое число людей, в помянутом зале тогда находившихся, царствовала, однако ж, в оном великая тишина».

Приветственные речи говорили каждый на родном языке. Речь Абдур-Резака на итальянский переводил драгоман Порты Караджа.

Идя на старого знакомого, Алексей Михайлович невольно вспомнил день объявления войны, когда тот же Караджа никак не мог от волнения перевести ответ Обрескова великому визирю. Прошли долгих четыре года, полные лишений и смертельной опасности, а старый драгоман по-прежнему от нервного напряжения путал слова, поминутно поправлялся и уточнял смысл сказанного. Обресков старательно вслушивался в перевод речи Абдур-Резака и думал о том, какой рискованной была должность переводчика при Порте: любая ошибка могла стоить Карадже головы.

На первой конференции успели обсудить вопрос о продлении перемирия. Турки, у которых «великий побег» из армии продолжался до весны, настаивали на шестимесячном сроке. Обресков, имевший предписание заключить перемирие на короткий срок, пустился в долгие препирательства, но спорил нехотя, скорее для того, чтобы испытать упорство Абдур-Резака. Перед началом конгресса Румянцев информировал его о том, что русская армия также будет не в состоянии возобновить военные действия раньше марта. Изрядно помучив турецкого посла, Алексей Михайлович дал согласие продлить перемирие на шесть месяцев, а затем прибавил еще десять дней, предложив считать сроком окончания перемирия день месенного равноденствия. Суеверный, как все турки, Абдур-Резак сразу согласился, заявив, что «этот день почитается у мусульманских народов как счастливый».

К делу приступили на второй конференции, состоявшейся 3 ноября. Поудобней устроившись на канаве напротив Абдур-Резака, Обресков принял из рук Пиния грамоту, содержащую подготовленные в Совете «Основания мира», прокашлялся и зачитал их размеренным, твердым голосом:

«1. Отнять все причины, производящие худое согласие, да и самую вражду между двумя империями и сделать твердый и навсегда прочный мир.

2. Надлежит сделать удовлетворение со стороны Блистательной Порты за все убытки, причиненные России настоящею войною, без всякой законной причины объявленною.

3. Чтоб коммерция и кораблеплавание на морях были освобождены от порабощения, в коем они по сие время были, непосредственным сообщением между подданными обеих империй для вящей их пользы и взаимного благоденствия. Сие сделает сохранение мира тем более важным и необходимым для обоих народов и, следовательно, еще более драгоценным для тех, кто ими управляет».

Как и ожидал Алексей Михайлович, Абдур-Резак принялся решительно возражать против того, что зачинщицей войны была Турция. Он пустился в многословные рассуждения о польских делах, которые, по его словам, вынудили Порту объявить войну России. В ответ Обресков напомнил турецкому послу о договоренностях по польским делам, которые были достигнуты до объявления войны в Константинополе.

— Разве не допустила Порта обмануть себя нескладными обещаниями Польши уступить ей всю Подолию и город Каменец? — вопрошал Алексей Михайлович.

Абдур-Резак так расстроился, что Алексей Михайлович в конце концов предложил вопрос о виновнике войны «в нерешимости оставить».

— Чтобы не случилось второго тома Фокшанского конгресса, присовокупил он решительно и прикрыл ладонью лежавшие на низеньком столике «Основания мира». Будто точку поставил.

Последующие события показали, что Обресков взял правильную линию. Уже на четвертой конференции Абдур-Резак согласился, что Порта обязана дать умеренное вознаграждение России за расходы, понесенные в войне.

Почувствовав, что пришло время для серьезного разговора, Обресков немедленно предложил проект трех первых статей мирного договора.

Сравнительно быстро сошлись на том, что новый мирный договор между Россией и Турцией прекратит действие всех прошлых трактатов, заключенных между ними. Для русских дипломатов это был небольшой, но несомненный успех, лишавший Порту оснований ссылаться на унижительный для России Прутский договор.

Алексей Михайлович доносил Панину, что турецкий посол, не ожидавший, что Обресков начнет с второстепенных пунктов, «оказался податлив», не услышав из его уст упоминаний ни о Крыме, ни о черноморской торговле.

Обресков поставил также вопрос о возвращении Западной Грузии трех имеретинских крепостей — Кутаиси, Багдади и Шурапани. Захватив их, турки стремились распространить свое влияние на Грузию. Грузины же, не признававшие себя турецкими подданными, мужественно боролись за изгнание захватчиков из своих земель. Однако на всем, что касалось имеретинских крепостей, а также Большой и Малой Кабарды, Абдур-Резак стоял твердо. Категорически отверг он и предложение Обрескова отменить жестокую подать детьми, которой турки облагали местных правителей.

Единственная уступка, которую удалось в тот день отвоевать Алексею Михайловичу, касалась согласия Абдур-Резака на «генеральную амнистию на обе стороны всем в войне участие принявшим христианским и магометанским народам». Поскольку в России не было народов, которые во время войны перешли бы на сторону Турции, то понятно, что имелись в виду подданные Османской империи. Возражать против амнистии Абдур-Резаку, не желавшему подчеркивать внутреннюю слабость своего государства, было невозможно.

Податливость Абдур-Резака в вопросе об амнистии не вызвала у Алексея Михайловича иллюзии — главный разговор был еще впереди. Послы приступили к нему 12 ноября, на пятой конференции, когда Обресков предложил обменяться мнениями об Азове, о независимости Крыма и о черноморском судоходстве.

Начали с Азова.

По Белградскому договору Россия была лишена права возводить в нем укрепления, в силу чего «Азовский уезд» фактически оказался нейтральным.

— Раз мы согласились, что Белградский договор объявляется недействительным, — толковал Алексей Михайлович, — то и ограничения, наложенные им в отношении Азова, оказываются несуществующими. Азов не Порте, но России принадлежит.

При упоминании Азова лицо турецкого посла будто окаменело. Инструкцией султана ему строго-настрого было запрещено касаться этой больной для турок темы. Вопрос об Азове пришлось оставить открытым.

С суровым видом выслушал Абдур-Резак и предложенную Обресковым статью о независимости Крыма и «признании со стороны Порты тех в Крымском полуострове жителей и вне оною обитающих татарских орд и родов без изъятия вольными и независимыми народами, под собственным их самовластием и ни от кого не зависимым правительством; и об оставлении оным полной собственности всех ими обладаемых вод и земель».

Русскую редакцию статьи о «навигации», которая также была оглашена Обресковым, турецкий посол выслушал и вообще вполуха. Когда Алексей Михайлович дошел до того места, где говорилось, что «навигация освобождена должна быть от порабощения, в котором она поныне находилась, как в Черном, так и в других морях, в коих другим нациям она дозволена; також да постановится непосредственная между взаимными подданными торговля со всеми теми выгодами и преимуществами, коими в империи Оттоманской наидружественнейшие нации пользуются», Абдур-Резак даже крякнул от негодования.

Прощались холодно.

На шестой конференции Абдур-Резак представил письменные ответы на предложения Обрескова. Ознакомившись с ними, Алексей Михайлович удостоверился, что реис-эфенди не только не был готов обсуждать требования России, но и не собирался признавать уступки, сделанные на Фокшанском конгрессе Османом. Абдур-Резак твердо стоял на прежних жестких позициях в вопросах об инвеституре крымских ханов и сохранении Турцией за собой опорных пунктов в Крымском ханстве. Вспылив, Алексей Михайлович не выдержал и спросил:

— Я бы желал знать, что Порта переменяет в прежнем татар состоянии?

— Артикул о коммерции может быть награждением за уступки России в крымском вопросе, — отвечал Абдур-Резак.

Упомянутый послом артикул в турецкой редакции сводился лишь к частичному признанию Турцией права России на торговое судоходство в Черном море. При этом русским торговым судам по-прежнему запрещалось проходить через проливы.

* * *

Потерпев неудачу при первом приступе к важнейшим вопросам будущего мирного трактата, Обресков принялся искать обходные пути. На седьмой конференции он заявил, что требует внесения в мирный договор статьи о гарантии независимости татар со стороны

России. Спорить с этим Абдур-Резаку оказалось трудно. Крымский полуостров был завоеван русскими войсками еще в 1771 г., а в глазах турецкого посла, «право завоевания» было весомым аргументом. Не могли игнорировать турки и тот факт, что крымские татары были не только постоянным источником опасности для южных русских земель, но и серьезной преградой на пути развития черноморской торговли. Без предоставления России портов в Крыму артикул о коммерции оказался бы пустым звуком.

Время для начала обсуждения крымского вопроса было выбрано Алексеем Михайловичем не случайно. Большие надежды он возлагал на переговоры с крымскими татарами, которые с июля 1772 г. вел в Бахчисарае Евдоким Алексеевич Щербинин, губернатор Слободской Украины, назначенный полномочным послом для переговоров с Крымским ханством.

Переговоры Щербинина в Бахчисарае проходили трудно. 4 июля на торжественной аудиенции он вручил хану Сахиб-Гирею грамоту Екатерины, провозглашавшую независимость Крыма. Хан принял грамоту стоя, но от подарков императрицы, переданных ему Щербининым, — осыпанного бриллиантами пера и богато украшенной сабли — отказался, сославшись на то, что эти дары всегда были знаками подчинения Порте. Лишь через четыре месяца, 1 ноября, удалось Евдокиму Алексеевичу подписать договор о союзе и дружбе между Россией и Крымским ханством. Согласно его статьям, крепости Керчь и Еникале в Восточном Крыму передавались России. Татары подписали также декларацию о своем государственном отделении от Турции. «Ожидаем от справедливости и человеколюбия Блистательной Порты, — говорилось в декларации, — что не только будем с ее стороны оставлены в покое», но и по окончании войны «благоволит она формально признать Крымский полуостров с ногайскими ордами свободным, неподначальным и собственную его власть ни от кого не зависимою».

Курьер от Щербинина с известием о заключении договора с татарами прибыл в Бухарест в среду, 21 ноября, накануне созыва восьмой конференции. Алексей Михайлович возликовал. Он считал, что этот документ пришел в самый нужный момент, так как в ближайшие дни он готовился говорить о «вольности и независимости татарской». Несколько дней, прошедших в ожидании текста договора, Обресков «проволакивал время», рассуждая о возмещении Турцией военных убытков, о судьбе Дунайских княжеств, занятых русскими войсками, а также о положении в Архипелаге, большинство островов которого к моменту переговоров в Бухаресте перешло в русское подданство.

Однако сообщение Обрескова о подписании русско-крымского договора против ожидания не произвело должного впечатления на Абдур-Резака. Описывая восьмую конференцию, Обресков отмечал, что она была «гораздо жарче предыдущих». Абдур-Резак, которому Алексей Михайлович вручил декларацию татар, указав, что она «сообщена уже ко всем европейским дворам», воспринял это известие скептически и ни в какую не желал уступать в вопросе об инвеституре на избрание крымских ханов.

Начались затяжные и утомительные конверсации. Обресков настойчиво искал компромиссную формулировку, которая, с одной стороны, дала бы возможность Порте поднять свой престиж, а с другой — привела бы к уменьшению опасности новых набегов со стороны воинственного соседа на южнорусские земли. Абдур-Резак пытался было утопить существо переговоров в религиозной схоластике, но Алексей Михайлович быстро смекнул, что к чему, и выдвинул требование о передаче России не только Керчи и Еникале, но и Очакова и Кинбурна. С русской стороны была также заявлена претензия на земли, «между реками Бугом и Днестром лежащие, хотя оные пусты».

Почувствовав, что дело приобретает серьезный оборот, Абдур-Резак принялся представлять политику Турции в отношении Крымского ханства как оборонительную. Обресков легко опроверг аргументы турецкого посла, заявив:

— Положение татарских земель в рассуждении оттоманских владений есть наилучшая для Порты оборона; нет нужды в никакой другой. Россия же находится в ином положении, и для нее недостаточно Азова, чтобы гарантировать безопасность русских границ.

При этом Алексей Михайлович показал Абдур-Резаку на карте «обыкновенную дорогу татар к нападениям на российские границы». Азов находился от той дороги далеко. Неожиданно Абдур-Резак уступил. 10 декабря, на тринадцатой конференции, он сказал:

— Когда Блистательная Порта имела бы какую-либо другую крепость в тех странах или место к построению новой, то я никакого не учинил бы затруднения уступить России Еникале и Керчь.

Алексей Михайлович уединился было с Левашовым, чтобы проинформировать Петербург о важной перемене в ходе переговоров, однако вскоре явился посланец от Абдур-Резака, сообщивший, что посол берет свои слова относительно крымских крепостей назад и просит не сообщать в Петербург о содержании протокола тринадцатой конференции.

Беспрецедентные в дипломатической практике действия Абдур-Резака показали, что в своих уступках он дошел до «черты», положенной ему инструкциями из Константинополя. Под давлением Обрескова, до тонкостей знавшего предмет и обладавшего редкостным умением устанавливать личные отношения с турецкими сановниками, Абдур-Резак стал терять ориентировку. В журнале Петерсона есть немало описаний личных контактов Обрескова с Абдур-Резаком. В один из свободных вечеров Алексей Михайлович устроил для турецкого посла бал, на котором даже поставил комедию «на турецкий вкус». Абдур-Резак, не желая ударить в грязь лицом, привел с собой «собственную свою турецкую музыку, велев ей в продолжение стола играть».

К середине декабря Абдур-Резак настолько попал под влияние Обрескова, что полностью утратил инициативу в переговорах, не мог уже противопоставить требованиям Алексея Михайловича убедительных аргументов. Его линия на то, чтобы удержать Крым под властью Порты в обмен на артикул о коммерции, оказалась несостоятельной.

Да и тон его обращения к Обрескову изменился.

— О требованиях двора вашего разные в Константинополе держаны были советы и постановлено, чтоб когда дозволить России мореплавание, то удержать бы крепости,— робко говорил он Алексею Михайловичу.

Обресков отвечал ему вопросом:

— Я спрашиваю, где будут оставаться российские суда?

— Хоть в Константинополе.

— Все чужестранные корабли, которые плавают по морям и входят в пристани Блистательной Порты, имеют свое отечество или место приписки, где их строят, откуда они отъезжают. Где быть такому месту в России?

Абдур-Резак, совсем, видно, растерявшись, объявил, что Россия «может посылать свои корабли через Средиземное море в Черное». В ответ Обресков посоветовал турецкому послу взглянуть на «ландкарту», чтобы представить себе путь из Балтийского моря в Черное.

Стало ясно, что переговоры зашли в тупик. Абдур-Резак, снабженный инструкциями, категорически протестовал против допуска в Черное море русских кораблей. Алексею Михайловичу с трудом удалось добиться от него согласия на то, чтобы русские торговые суда, плавающие в Средиземном море, располагали «потребными пушками и военными снарядами к защищению себя от случающихся в тех морях разбойников».

Обресков не мог продолжать переговоры без новых инструкций из Петербурга. Абдур-Резак также считал необходимым послать в Константинополь доклад о состоянии дел. В ожидании указаний послы перешли к обсуждению менее важных вопросов.

* * *

Советский исследователь Е. И. Дружинина, автор труда по дипломатической истории русско-турецкой войны 1768—1774 гг., впервые обратила внимание, что в ходе переговоров по собственной инициативе Обресковым был выдвинут целый ряд статей, не предусмотренных правительственным проектом договора. Перечисление их (большинство были согласованы Обресковым и затем вошли в окончательный текст договора, подписанного в Кючук-Кайнарджи) свидетельствует о том, что Алексея Михайловича можно с полным основанием причислить к истинным творцам этого важнейшего в истории русско-турецких отношений дипломатического документа.

В частности, эти статьи касались суверенного права каждой страны на свои территории, взаимной выдачи преступников, обеспечения прав русских паломников в Святую землю, освобождения военнопленных, а также «невольников христианского вероисповедания», сооружения в Константинополе православной церкви и права России делать представления Порте в пользу константинопольской церкви, императорского титула Екатерины II, содействия Порты при заключении Россией торговых договоров с североафриканскими вассалами Турции. Особое значение для практики дипломатических соглашений с Турцией имела договоренность: в Константинополе

Россию должен представлять посол второго, а не третьего класса, что соответственно повышало его место среди послов и посланников, аккредитованных в турецкой столице.

Нетрудно убедиться, что многие положения будущего мирного договора были подсказаны Алексею Михайловичу опытом его многолетней работы в Константинополе. Называя их в письме Панину «артикулами невеликой важности», он явно скромничал. Никита Иванович хорошо понимал, насколько будут ценны выговоренные Обресковым уступки для работы русского посольства в Константинополе.

Протоколы Бухарестского конгресса показывают, что и Абдур-Резак отдавал должное познаниям и компетенции Алексея Михайловича в дипломатических делах. Большая часть предложенных им артикулов принималась турецким послом без существенных возражений. Так, 3 января 1773 г. Обресков заявил Абдур-Резаку:

— При последней конференции сделали мы артикул в пользу российских послов в Константинополе, а теперь можем учинить равную услугу и переводчикам, постановив, чтоб впредь не имели они отвечать за то, что по повелению принципалов своих принуждены говорить министерству Блистательной Порты.

Реис-эфенди с удивлением спросил:

— Разве случались переводчикам какие-либо от министров оскорбления за их переводы?

Алексей Михайлович привел ему немало примеров, имевших место во время его службы в Константинополе.

Далее в протоколе следует: «Реис-эфенди спросил:

— Есть ли еще какая другая держава, пользующаяся уже подобными для переводчиков своих постановлениями?

Российский посол отвечал, что для английских переводчиков такое постановление сделано.

— Так мы и для российских учредить сие можем, — сказал реис-эфенди».

В результате в проекте мирного договора появилась статья: «Переводчики, служащие при российских министрах, в Константинополе находящиеся, какой бы нации они ни были, поелику суть люди, в государственных делах упражняющиеся, следственно, и обеим империям служащие, должны быть уважаемы и трактуемы со всякой благосклонностью, а в налагаемых же на них от начальников их делах не должны они быть ответчиками».

Уступчивость турецкого посла вызвала необоснованные надежды в Петербурге.

«Я ни под каким видом не хочу, чтобы мне турки предписали, какой род кораблей мне иметь или не иметь на Черном море. Турки биты, не им России предписывать законы, в противном случае еще могут отвесть щастие, законов не хочу», — писала императрица в записке, направленной Совету 3 января 1773 г. Особое негодование у Екатерины встретил отказ турок признать Керчь и Еникале собственностью России: «Что касается до Керчи и Еникале, то мы их не от них получили, мы оное завоевали у татар. Они нам их после уступили трактатом. Зачем нам турецкое их согласие? Предать

этот артикул в трактате молчанию всего лучше и его более не предлагать. А если требовать будет турецкий посол, чтоб о нем трактовать, то Обресков может ему сказать, что они приказанием более не имеют».

В начале января ход бухарестских переговоров рассматривался в Совете. В рескрипте, отправленном на имя Обрескова 10 января 1773 г., ему предписывалось уступить Турции «все города и крепости на Кубани... исключая из того один остров Тамань*, который нужен к непосредственному сообщению крымских татар с ногайскими ордами». В случае, если Порты не удовлетворится этим, Обресков должен был «еще и на самом Таманском полуострове отдать в диспозицию и владение Порты в углу оною к Черному морю достаточное место к построению крепости и к снабжению оной нужными угожьями». Рекомендуя Обрескову «отпотчевать Порту одними кубанскими крепостями», Совет требовал проводить твердую линию в вопросе о мореплавании в Черном море: «Мы в свободе мореплавания никакого исключения дозволить не можем».

Впрочем, упреков в адрес Алексея Михайловича в Петербурге пока не высказывалось. «Апробуя придуманные Вами самими и реис-эфенди предложенные уже артикли сверх инструкции, охотно признаем мы в оных плод персонального Вашего усердия и отменного знания дел наших с Портою», — значилось в отправленном в Бухарест рескрипте.

* * *

Милостивые слова рескрипта императрицы не обрадовали Алексея Михайловича. За то время, пока курьеры ездили из Бухареста в Петербург и обратно, обстановка изменилась. В конце декабря Абдур-Резак получил новые инструкции, и поведение его резко изменилось. Неожиданно он взял назад все уступки, на которые пошел при обсуждении вопросов о крымских крепостях, об Азове и мореплавании на Черном море. В срочной депеше Панину Алексей Михайлович сообщал, что пятнадцатая конференция «была несколько похолоднее предыдущих, а самая последняя, шестнадцатая, — уже и совсем на прежние не походит».

Обресков, поддерживавший и в Бухаресте постоянную переписку с Зегеллином и Тугутом, счел, что турки изменили свое поведение в надежде на «диверсию шведской короны, которую находящийся там министр одного двора с помощниками других дворов представляет скорою и сильною, а притом станется, что сему споспешествовало еще дошедшее до знания Порты случившегося на Дону или же спознание турецким послом о выводе из здешнего края многих полков, из чего он может быть заключает быть большой нужде в других местах». Подозрения Обрескова были вполне обоснованны. Послы Австрии и Пруссии в Константинополе методично внушали Порте, что шведская угроза и осложнившиеся обстоятельства внутри страны вынудят Россию смягчить свои условия мира.

* Так в тексте.

Однако и между Австрией и Пруссией не было единомыслия. Пруссия стремилась к скорейшему окончанию русско-турецкой войны, но с наименьшими выгодами для России, Австрия же всячески старалась затянуть ее. Зегеллин не замедлил сообщить Обрескову мотивы, которыми руководствовался его австрийский коллега. «Иногда я подозреваю,— писал он Обрескову,— что его двор не будет возражать, если война продолжится, возможно, из собственных интересов, ибо Белград и Сербия — кусок, который им хотелось бы получить».

Однако имелись и другие обстоятельства, которые усиливали непримиримость Порты. После сожжения турецкого флота при Чесме турки не расставались с мечтой о реванше. Осенью 1772 г. они начали сосредоточивать свои военно-морские суда, разбросанные в Босфоре, в Мраморном и Адриатическом морях, у берегов вассального Туниса, с тем чтобы одновременно напасть на русский флот с двух сторон и прорвать блокаду Дарданелл. Но А. Г. Орлов и Г. А. Спиридов разгадали замысел турок и двумя ударами — в Патрасском заливе и в египетском порту Дамьетта — разрушили их. Правда, случилось это в конце октября 1772 г., и в декабре Абдур-Резак еще не мог знать о крушении этих коварных замыслов.

Естественно, в такой обстановке Алексея Михайловича не могла не тревожить чрезмерная уверенность высших петербургских сфер в успехе переговоров и скорейшем заключении мира. Двусмысленность создавшегося положения не прошла мимо внимания Румянцева, который, кстати сказать, весьма сочувственно относился к Обрескову и высоко ценил его дипломатические качества. «Там (т. е. в Петербурге.— П. П.) разумеют искреннюю склонность турков к нашим мирным предложениям и уже льстятся видеть вскоре момент счастливого оных утверждения. Судите, сколько вдали вещи в другом образе могут представляться, нежели как мы их ощущаем под глазами», — писал он Обрескову.

Алексей Михайлович также находил, что в столице смотрят на создавшееся положение слишком оптимистично. Особую тревогу вызывало у него распоряжение императрицы о переводе части войск из Дунайских княжеств на финляндскую границу. «Не надлежало бы,— писал он Румянцеву,— предводительствуемую Вашим Сиятельством армию уменьшать, дабы вы возмogli неприятеля по-прежнему на миролюбивые мысли возвратить и склонить на уступку того, на что теперь он с толикою претительностью взирает».

Обрескову оставалось надеяться лишь на собственную сноровку и осведомленность. Заметив, что Абдур-Резака тревожит приближающийся срок окончания перемирия, он всячески уклонялся от обсуждения этого вопроса. Когда же в конце января Абдур-Резак потребовал решительного ответа, будет ли продлено перемирие на срок после 9 марта, Обресков заявил:

— Мирный конгресс продолжаться может и во время военных действий. Немало случаев известно, когда в одном месте бывает конгресс и производится негоциация, а в другом действуют армии.

При этих словах Абдур-Резак даже в лице изменился, но обсуждать русские условия мира по-прежнему отказывался. Вплоть до

конца января 1773 г. он утверждал, что все еще не получал ответа от Порты на запрос, отправленный им одновременно с Обресковым.

31 января 1773 г., на двадцать шестой конференции, Алексей Михайлович решился для ускорения дела немного приоткрыть карты.

— Ежели для удостоверения безопасности блистательной Порты не довольно тех мест, коими она на Кубани владеет,— заявил он,— то сверх оных может она избрать равно на кубанском берегу, выключая Тамань, другое какое место и построить на оном крепость.

Подобное предложение ни в коей мере не удовлетворило турецкого посла.

— Нет такой крепости ниже такого места,— отвечал он,— которое могло бы равняться с Керчью и Еникале, и поэтому необходимо, чтобы они оставались во владении Порты для удостоверения собственной ее тишины и безопасности.

В итоге последовавших затем длительных, но бесплодных дискуссий Обресков объявил Абдур-Резаку последнюю уступку России.

— Я хотя и не имею на то повеления от двора моего,— сказал он,— а последуем только миролюбивым его намерениям, сам от себя предлагаю Блистательной Порте место для построения таковой крепости, лежащей между Таманским полуостровом и берегом Крыма.

Предвидя возражения турка, Алексей Михайлович напомнил ему:

— Ваше Превосходительство на тринадцатой конференции сами меня уверяли, что уступите России Еникале, если сыщется для Порты место, способное к построению крепости.

С этими словами Обресков просил Пиния принести протоколы тринадцатой конференции и прочитать соответствующее в них место. Однако Абдур-Резак остановил его следующими словами:

— Сие есть средство к обличению меня. Если узнает о нем двор мой, может причинить мне особенное предосуждение и я безвинно пострадать могу.

Алексей Михайлович только руками развел.

— Не вижу способа продолжать трактование,— заявил он Абдур-Резаку,— если важнейшие артикулы, прежде согласованные, вами отвергаемы будут.

Условились, что на двадцать седьмой конференции Обресков представит в письменной форме последние предложения России. 4 февраля Алексей Михайлович передал Абдур-Резаку русский ультиматум. Его важнейшие пункты сводились к требованиям предоставить независимость татарам с передачей им всего Крымского полуострова, за исключением Керчи и Еникале, которые должны были оставаться за Россией, признать Азов, «со всем его уездом» принадлежащим России, передать России Кинбурн, разрушить Очаков. Турецкой границей должен был стать Днестр, а границей России — Буг до его соединения с Днепром. Речь шла и о «свободном мореплавании всякого рода российских судов без малейшего притеснения по всем морям без изъятия, вмещающимися между областями

или омывающими берега Блистательной Порты», и о свободной торговле русских купцов в турецких областях и водах «с теми же привилегиями и выгодами, кои дозволены другим европейским народам». В случае удовлетворения этих требований Россия соглашалась предоставить Турции право построить крепость «на острове, лежащем между Таманским полуостровом и берегом Крыма». В ультиматуме говорилось также о возвращении «на некоторых кондициях» всех архипелагских островов, а также Дунайских княжеств; сообщалось о готовности пересмотреть и выдвинутые требования о компенсации за военные издержки.

Ультиматум был послан Абдур-Резаком в Константинополь. Последующие конференции вплоть до закрытия Бухарестского конгресса 9 марта 1773 г. «созывались только для единого вида».

В ожидании ответа Обресков совершал с Абдур-Резаком поездки на санях в окрестностях Бухареста. Абдур-Резак давал понять, что турки не склонны возобновлять военные действия. Он сообщил, что визирь отдал распоряжение всем командующим войсками «ничего без точных его приказаний не предпринимать». Алексей Михайлович слушал, но помалкивал. Он все более утверждался в мысли, что в Константинополе не думали о мире, а лишь стремились выиграть время в надежде на новые уступки с русской стороны. 28 февраля «на всякий непредвиденный случай» он уведомил Алексея Орлова о возможном прекращении переговоров.

Постоянным предметом бесед двух послов был и вопрос о положении в Молдавии и Валахии. Чем дольше Алексей Михайлович жил в Бухаресте и общался с местным населением, тем острее сознавал необходимость облегчить положение румын, молдаван и других местных народов, томившихся под игмом Порты. Учитывая неблагоприятную международную конъюнктуру, у России не было практической возможности добиться независимости Молдавии и Валахии. Однако попытаться ослабить их зависимость от Османской империи Обресков считал своим долгом. Среди кондиций, предъявленных им турецкому послу, был и артикул о предоставлении Молдавии и Валахии тех «выгод, коими пользовались они во время царствования достойной памяти султана Мехмеда IV, любезного родителя его султанского величества».

Дело в том, что после Прутского похода Петра I, когда обнаружилось сношения молдавского господаря Кантемира с Россией, Турция ликвидировала выборность молдавских господарей и стала назначать их из греков-фанариотов. В истории Дунайских княжеств началась мрачная эпоха произвола чужеродных господарей, видевших в своем назначении лишь источник личного обогащения. Возвращение к порядкам времен Мехмеда IV (1648—1687) означало бы для Молдавии и Валахии восстановление выборности господарей и упорядочение дани, отправляемой в Турцию.

Во время Бухарестского конгресса Обресков много раз имел возможность убедиться в глубоких симпатиях, которые питало местное население к России. 15 января Петерсон занес в свой журнал следующую любопытную запись: «Поутру в 11 часов с дозволения Его Превосходительства приехали к нему в дом преосвященный митро-

полит волошский со многими духовными и иные здешнего княжества знатные бояре с собственным их к Его Превосходительству прошением». В прошении волошского духовенства и знати говорилось, что население княжества «за доказанную ему ревность и привязанность к священной Всероссийской империи грозимы конечным истреблением и нигде не чают защиты, как только в спасении их Отечества». Учитывая это, Обресков настаивал, «чтоб по обстоятельствам обоих княжеств министры российского императорского двора, при Блистательной Порте находящиеся, могли говорить в пользу сих двух княжеств».

Однако Абдур-Резак был глух к доводам Алексея Михайловича. — Непослушный подданный, — говорил он, — помогает неприятелю и по требованию того же самого неприятеля имеет быть жалован от законного своего государя. Сие есть то же самое, что сказать им: «Вы и в другой раз так поступите и вместо наказания награждены будете».

Наконец из Константинополя пришел ответ на русский ультиматум, названный турецким послом «решительной резолюцией». 9 марта, в самый день весеннего равноденствия, Абдур-Резак огласил его Обрескову. «А состоял он в том, — докладывал Обресков, — что за все завоеванное и Порте возвращаемое заплатит она, Порта, 40 тысяч мешков (12 миллионов рублей), а за отстание от требований Еникале с Керчью и ограниченного кораблеплавания по Черному морю 30 тысяч мешков (9 миллионов рублей)».

Продолжение конгресса сделалось бессмысленным. Вопреки ожиданиям турецкого посла день весеннего равноденствия оказался несчастливым. Не желая, однако, окончательно рвать переговоры, Абдур-Резак предложил подписать конвенцию об их продолжении путем переписки. Алексей Михайлович, будучи уверен, что турецкий посол действовал по своей инициативе, доносил Панину: «Станется, что сей миролюбивой и благоразумной муж, видя колебания и нерешимость султанскую и окружающих его сбивающих с истинного пути, ищет предоставить время поодуматься и на полезнейшие мысли возвратиться».

11 марта Абдур-Резак покинул Бухарест. Обресков, помня о том, как был воспринят в Петербурге поспешный отъезд Орлова из Фокшан, предпочел задержаться. Пасху он провел в Бухаресте, а 4 апреля двинулся в Роман (на правом берегу Серета), где решил дожидаться инструкций из столицы.

Настроение у Алексея Михайловича было прескверное. Томили мрачные предчувствия. Месяц назад он был вынужден отправить в Петербург придворную карету и парадные сервизы, оставшиеся после Орлова. Обер-шенк Лев Нарышкин, по дошедшим до него сведениям, распускал в столице слухи о том, что вместо неустанного бдения о делах государственных Обресков проводил время в Бухаресте в праздниках и удовольствиях. На тревожные мысли наводил и изменившийся в последнее время тон писем Панина.

Действительно, предчувствия не обманывали Алексея Михайловича. Однако подлинных масштабов всех бед и несчастий, обрушившихся на его друга и покровителя, он не мог себе даже представить.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

28 сентября 1773 — 22 февраля 1774 г.

Осень 1773 г. выдалась в Петербурге слякотной. Уже в середине сентября легким морозцем прихватило лужи, но тут же промозглый ветер с залива наполнил улицы северной столицы вязким туманом, превратил выпавший было белый, словно вата, снег в чавкавшую под ногами прохожих и под колесами экипажей жижу.

28 сентября после полудня со стороны Ревельской заставы в Петербург въехала забрызганная грязью карета — дормез, — запряженная четверкой лошадей. В дормезе сидели двое: дородный молодцеватый мужчина в суконном плаще и шляпе с эмблемой генерал-аншефа и зябко кутавшийся в меховой полог человек в черном платье. Орлиный, с горбинкой нос придавал его изможденному, худому лицу встревоженное выражение хищной птицы. В первом из сидящих в карете случайные прохожие узнавали известного всему Петербургу обер-егермейстера Семена Кирилловича Нарышкина, дипломата, подолгу жившего за границей, изобретателя роговой музыки. Господин в черном платье, в котором тотчас можно было признать иностранца, в Петербурге был неизвестен.

Карета подкатила к подъезду нарышкинского дома на Исаакиевской площади. Прежде чем выйти, Семен Кириллович в чем-то долго убеждал своего попутчика. Однако тот, нервно жестикулируя, продолжал стоять на своем. Недоуменно пожав плечами, Нарышкин вышел из кареты и, сопровождаемый обступившей его дворней, исчез в подъезде.

Спустя некоторое время карету можно было видеть у дома скульптора Фальконе, седьмой год трудившегося в северной столице над конной статуей Петра Великого. В мастерской скульптора человек в черном платье находился недолго. Однако, когда через несколько минут он вновь подходил к карете, лицо его имело несколько растерянное выражение.

Карета по знакомому уже маршруту вернулась на Исаакиевскую площадь. В приемной Нарышкина незнакомец сбросил на руки швейцару черный плащ.

— Как прикажете доложить? — осведомился дворецкий с массивной серебряной цепью на шее.

— Дени Дидро, — ответил человек в черном платье.

Как ни курьезно это звучит, но знаменитый издатель Энциклопедии, приехавший в Петербург по настоятельному приглашению самой императрицы, в первый вечер с трудом нашел себе место для ночлега. Между тем в России его ждали. Еще десять лет назад, через несколько дней после вступления на престол, Екатерина впервые пригласила Дидро удостоить своим посещением русскую столицу. Зная, какие препятствия чинили ему католическая церковь и Версаль, императрица предложила Дидро продолжить издание Энциклопедии в России, обещая ему, как он сам впоследствии при-

знавался, все: свободу, свое покровительство, почести, деньги. Граф И. И. Шувалов, поддерживавший переписку с Вольтером, просил фернейского пустынноика порекомендовать Дидро принять приглашение Екатерины. Однако Дидро ответил отказом: он считал делом принципа завершить свой громадный труд на родине.

Только в 1772 г., через 21 год после появления в свет первого тома, издание Энциклопедии было завершено. К опубликованным ранее 17 томам текста присоединились 11 томов гравюр.

Энциклопедия имела громадный успех; над ней трудились Дидро и Даламбер, Вольтер и Монтескье, Руссо, Тюрго, Бюффон, Гольбах и другие европейские просветители. Убежденный, что все человеческие знания представляют собой нечто органически целое, Дидро собрал в одном издании новые идеи и открытия, слив их в единую энциклопедическую форму.

Вольтер называл Энциклопедию «складом человеческих знаний». Екатерина, по всей видимости, искренне восхищалась титаническим трудом Дидро. Для нее, не получившей систематического образования, энциклопедический лексикон Дидро был просто необходим. Как известно, она никогда не расставалась с Энциклопедией.

«Я не могу оторваться от этой книги, — писала она Фальконе в 1767 г., — это неисчерпаемый источник превосходных вещей».

Несмотря на то что в России было немало противников Энциклопедии, пытавшихся внушить императрице, что ее издание было предпринято с целью уничтожить всех королей и все религии, Екатерина оказала Дидро финансовую помощь, позволившую ему благополучно завершить свой труд.

В 1765 г. Дидро, оказавшийся по вине недобросовестных издателей на грани разорения, был вынужден продать свою богатейшую библиотеку. Ее хотел купить парижский нотариус, но русский посол князь Дмитрий Алексеевич Голицын устроил дело так, что Екатерина приобрела библиотеку за 15 тысяч франков, причем оставила ее у Дидро, назначив ему как своему библиотекарю тысячу франков жалованья в год. Вольтер считал, что без помощи Екатерины Дидро мог умереть с голоду. Покупка библиотеки, да еще в такой деликатной форме, поставила Екатерину чрезвычайно высоко в глазах всех энциклопедистов-философов.

«Вся литературная Европа, — писал ей Даламбер, — рукоплескала, государыня, отличному выражению уважения и милости, оказанной Вашим Императорским Величеством господину Дидро».

Жалованье, назначенное Дидро, нарочно забывали платить в течение двух лет, чтобы искупить «забывчивость», прислали 50 тысяч франков — сумму, причитающуюся ему за 50 лет вперед.

Это был исключительно умный ход со стороны Екатерины. Друзья Дидро — Вольтер, Даламбер, Гримм — возглашали Екатерине славу по всей Европе. Их стараниями общественное мнение было на стороне России не только в турецком, но и в польском вопросе. В переписке с Екатериной Вольтер называл польских конфедератов канальями, а в императрице видел чуть ли не апостола веротерпимости и пионера цивилизации по отношению к Польше. Бо-

лее того, внимательно следя за ходом русско-турецкой войны, он сочувствовал планам Екатерины и Орлова овладеть Константинополем и изгнать турок из Европы.

Вольтер и Дидро оказывали русской императрице разнообразные услуги. В частности, с помощью Дидро Екатерине удалось добиться того, чтобы чрезвычайно беспокоившее ее сочинение французского дипломата Рюльера о перевороте 28 июня 1762 г. осталось неопубликованным. По совету Дидро в Петербург был приглашен Фальконе, по его указаниям Екатерина, слабо разбиравшаяся в искусстве, купила немало картин Мурильо, Дау, Ванлоо, Маши, Вьена, других художников. Знаменитая галерея барона Тьера, в которой находились произведения кисти Рафаэля, Ван Дейка, Рембрандта, Пуссена, всего до 500 картин, была куплена ею за 460 тысяч франков. Дидро писал Фальконе:

«Ах, мой друг, как мы изменились! Среди полного мира мы продаем наши картины и статуи, а Екатерина скупает их в разгар войны. Науки и искусства, вкус, мудрость восходят к северу, а варварство со своим кортежем нисходит на юг».

Закончив печатание Энциклопедии, Дидро считал своим долгом лично засвидетельствовать русской императрице свою признательность и уважение. Путь из Парижа в Петербург был в то время сопряжен со многими неудобствами и даже опасностями. Выехав из французской столицы 25 мая 1773 г., Дидро направился в Гаагу, к своему другу, русскому послу князю Дмитрию Алексеевичу Голицыну. В гостеприимном доме Голицына, человека, близкого ему по взглядам, он задержался около четырех месяцев. Екатерина, внимательно следившая за путешествием Дидро, предполагала, что его задержка связана с намерением посетить Берлин. Однако Дидро поехал через Дюссельдорф и по пути два раза прихворнул. Императрица, зная о почтенном возрасте Дидро (в пути ему исполнилось 60 лет), решила, что он вовсе уже не приедет.

Словом, Дидро появился в Петербурге неожиданно, да к тому же, как мы вскоре увидим, далеко не в самое удачное время. В этих обстоятельствах ему ничего не оставалось, как положиться на гостеприимство Нарышкина, своего случайного попутчика в путешествии из Гааги в Петербург. Семен Кириллович принял старого философа радушно, предоставив в его распоряжение лучшую из гостевых комнат. В ней Дидро и прожил все время своего пребывания в Петербурге.

* * *

На следующий день после приезда, в воскресенье, 29 сентября, Дидро был разбужен колокольным звоном и пушечной пальбой. В столице начались празднования по случаю бракосочетания великого князя Павла Петровича с Гессен-Дармштадской принцессой Вильгельминой, нареченной при крещении Натальей Алексеевной.

От средних ворот Зимнего дворца по Луговой, Миллионной, Невской перспективе и вокруг Казанского собора были поставлены в две шеренги войска под командованием подполковника лейб-гвар-

дии Семеновского полка Федора Ивановича Ватковского. Торжественную литургию служили в домашней церкви Зимнего дворца. По окончании ее от Адмиралтейства вновь донесся пушечный гром. Придворные и дипломаты, с утра съехавшиеся во дворец, начали устраиваться для торжественного следования в Казанский собор. Первым под звуки труб и литавр на крыльце дворца появился церемониймейстер барон фон дер Остен-Сакен с позолоченным жезлом в руках. За ним строго по церемониалу следовали камер-юнкеры, камергеры, члены Совета и дипломаты.

Как только Екатерина, опираясь на руку дежурного генерал-адъютанта, поднялась в карету, на крыльце показалась великокняжеская чета. При небольшом росте Павел Петрович был безукоризненно сложен и приятен лицом. На губах его играла доброжелательная улыбка. Опираясь на его руку, шла Наталья Алексеевна. Она кланялась на обе стороны с тем заученным и повелительным выражением лица, которое ее редко покидало. Честь нести шлейф невесты доверили камер-юнкерам графу Шереметеву и князю Юсупову. За ними двигалась толпа — немецкая родня невесты из Гессен-Дармштадта.

Брак великого князя устроил барон Ассебург. С весны 1773 г. он разъезжал по немецким дворам в поисках невесты для Павла Петровича. Графиня Гессен-Дармштадская с тремя дочерьми — принцессами Амалией, Вильгельминой и Луизой — появилась в Петербурге в начале июня. Выбор Павла сразу остановился на Вильгельмине, которая ответила ему взаимностью. Екатерина, у которой были свои причины торопиться со свадьбой сына, не возражала. Как ни странно, брак, устроенный в такой спешке, оказался счастливым, хотя и непродолжительным. В апреле 1776 г. Наталья Алексеевна скончалась при родах.

Павел и великая княгиня сидели напротив Екатерины в парадной карете, запряженной восьмеркой лошадей цугом. Рядом верхом ехали Л. А. Нарышкин и Я. А. Брюс, за ними — кавалергарды с обнаженными палашами. Впереди кавалергардского корпуса на белом норовистом коне выступал его шеф Григорий Орлов в серебряной кирасе и шлеме с пышным пером, а в замке — Алексей Орлов, прибывший в Петербург из Ливорно в краткий отпуск.

При приближении к Казанскому собору грянул колокольный звон; камергеры и камер-юнкеры, спешившись, встали шпалерами.

Внутри церкви, справа от императорского места, покрытого зеленым балдахином, для их императорских высочеств были поставлены кресла под красным сукном с золотым позументом. У северных дверей столпились иностранные дипломаты. Екатерина, взяв Павла за правую, а Наталью Алексеевну за левую руку, отвела их под пение церковного хора на место для новобрачных. По совершении брачного таинства архиепископ псковский Иннокентий произнес проповедь.

В заключение состоялись обед и бал, во время которого послы поздравляли Екатерину.

Вечером небо над столицей расцветилось огнем фейерверков.

Прием, оказанный Екатериной «полномочному посланнику энциклопедической республики» по выражению П. А. Вяземского, был весьма теплым.

— Садитесь, потолкуем,— сказала ему императрица при первом свидании.

Дидро плохо чувствовал себя в Петербурге, невская вода вредно действовала на его желудок. Тем не менее на первых порах во дворце он бывал ежедневно. «Он никогда даже и не думал, что во дворец нельзя являться в том же костюме, в котором ходят в чулан, и отправлялся к императрице весь в черном»,— вспоминала впоследствии дочь Дидро.

Беседы императрицы и философа происходили в послеобеденные часы. Обычно Екатерина устраивалась в кресле с каким-нибудь рукоделием и просила Дидро занять место напротив. Беседы их продолжались по два-три часа, не прерываясь ни на минуту.

«Дидро берет руку императрицы и трясет ее, бьет кулаком по столу; он обходится с нею совершенно так, как с Вами»,— писал Мельхиор Гримм русскому послу в Потсдаме графу Нессельроде 2 ноября 1773 г. Екатерине, по всей видимости, нравилась непосредственность Дидро, которую она расценивала как признак искренности. Тем не менее, чтобы ограничить себя от последствий не в меру резких проявлений жестикуляции, она поставила между ними стол. «Ваш Дидро человек совсем необыкновенный: после каждой беседы с ним у меня бедра всегда помяты и черны; я была вынуждена поставить стол между им и мною, чтобы защитить себя и свои члены от его жестикуляции»,— писала Екатерина своей корреспондентке г-же Жоффрен.

Содержание бесед Екатерины с Дидро достоверно неизвестно. Можно, однако же, вполне определенно утверждать, что наибольшие споры между ними вызвал вопрос о государственном устройстве в России.

Дидро приехал в Петербург с багажом, который позаимствовал у своего друга философа и экономиста де ля Ривьера, бывшего губернатора Мартиники, который осенью 1767 г. посетил Россию по приглашению Екатерины.

— В России необходимо все еще устраивать,— утверждал де ля Ривьер.— Чтобы выразиться лучше, следовало бы сказать, что в России необходимо все уничтожить и все сделать. Произвол деспотизма, безусловное рабство и невежество не могли не насадить злоупотребления всякого рода, которые пустили очень глубокие корни, так как нет растения столь плодovitого, столь трудно искоренимого, как злоупотребление. Оно растет повсюду, где только невежество культивирует его.

В разговорах с Екатериной Дидро ставил вопросы об отношениях между помещиками и крепостными крестьянами, о влиянии крепостного строя на культуру земледелия, интересовался зерновыми хлебами, виноделием, лесами и скотом, шерстью и шелком. Естественно, что Екатерина не могла ответить на ряд этих вопросов и

предложила дать письменные ответы. Тогда Дидро представил ей 88 вопросов, на 28 из них Екатерина не смогла или не захотела ответить, отделавшись шутками.

Дидро саркастически улыбнулся, когда Екатерина на его вопрос о влиянии крепостного права на производительность и культуру сельского труда отвечала: «Я не знаю, есть ли страна, где земледelec более любил бы землю и свой домашний очаг, чем в России. Наши свободные провинции вовсе не имеют больше хлеба, чем провинции несвободные. Каждое состояние имеет свои недостатки, свои пороки и свои неудобства».

Вся философская партия разделяла взгляды де ля Ривьера на положение земледельцев в России как на положение рабов.

Можно представить, насколько должен был быть поражен Дидро переменами во взглядах Екатерины. Ему было хорошо известно, что всего несколько лет назад, составляя свой знаменитый «Наказ», она называла крепостных крестьян рабами. Позднее, уже после смерти Дидро, императрица обнаружила в его библиотеке тетрадку с замечаниями Дидро на ее «Наказ». «Это сущий вздор, в котором нет ни знания обстоятельств, ни благоразумия, ни осмотрительности. Если бы мой «Наказ» был во вкусе Дидро, он должен был бы перевернуть вверх дном все в России», — писала она Гримму в ноябре 1785 г.

Столь разительная разница во взглядах, которая обнаружилась в беседах Екатерины с Дидро, не могла не раздражать императрицу. В конце концов она вынуждена была положить конец этим разговорам, заявив:

— Господин Дидро, я с большим удовольствием слушала все, что внушил Вам Ваш блестящий ум. Но из всех Ваших великих принципов, которые я очень хорошо понимаю, можно составить хорошие книги или же дурное управление страной. Во всех своих преобразовательных планах Вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь только над бумагой, которая все терпит, она гладка, покорна и не доставляет препятствий ни Вашему воображению, ни перу Вашему, между тем как я, бедная императрица, работаю на человеческой шкуре, которая, напротив, очень раздражительна и щекотлива.

В середине ноября Дидро заболел и недели три не показывался из дому. Когда их беседы возобновились, все продолжалось по-прежнему: Екатерина больше молчала, занятая рукоделием, тогда как Дидро произносил страстные монологи о необходимости преобразования государственного строя в России. Впоследствии Екатерина вспоминала, что всякий свидетель ее бесед с Дидро принял бы его за строгого наставника, а ее — за послушную ученицу. Из переписки Дидро видно, что он и сам так смотрел на дело.

Между тем великий философ глубоко заблуждался. Впрочем, не будем винить Дидро. Кто другой на его месте мог бы предположить, что сидящая напротив него с вязанием в руках женщина, со спокойной улыбкой выслушивавшая его страстные филиппики, переживала в эти дни один из самых опасных кризисов своего царствования?

Ровно за неделю до бракосочетания Павла Петровича с Дармштадской принцессой произошло событие, которое в высших придворных сферах по справедливости сочли маленькой революцией.

22 сентября, в годовщину коронации, которая всегда праздновалась с особой пышностью, Никита Иванович Панин был отставлен от должности обер-гофмейстера. За труды по воспитанию наследника престола Никите Ивановичу было пожаловано:

1. Звание первого класса в ранге фельдмаршала с жалованьем и столовыми деньгами по чину канцлера.

2. 4512 душ в Смоленской губернии.

3. 3900 душ в Псковской губернии.

4. 200 тысяч рублей на обзаведение дома.

5. Ежегодный пенсион в 25 тысяч рублей сверх получаемого уже им пенсиона в 5 тысяч рублей.

6. Ежегодное жалованье по 15 тысяч рублей.

7. Повелено купить для него в Петербурге дом, который он сам выберет в городе.

8. Серебряный сервиз в 50 тысяч рублей.

9. Провизии и вина на целый год.

10. Экипаж и ливреи придворные.

Награды, пожалованные Панину, были значительно меньше, чем пенсион, положенный Орлову при удалении его от двора. Кроме того, хотя Панин формально не лишился должности первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел, в письме, собственноручно написанном ему в этот день Екатериной, говорилось, что она хочет, «дабы дни старости Вашей увенчаны были благословением Божьим и благополучием всеобщим после бесчисленных трудов и попечений». Это был явный намек на желательность полного самоустранения Панина от дел.

Никита Иванович выразил свое недовольство осторожным протестом, разделив пожалованных ему крестьян между своими секретарями: Я. Я. Убри, Д. И. Фонвизиним и П. В. Бакуниным. Этот поступок Панина был найден Екатериной вызывающим. Н. Н. Бантыш-Каменский в своем «Словаре» пишет, что, встретив Никиту Ивановича, императрица сказала ему:

— Я слышала, граф, что Вы расточали вчера свои щедроты подчиненным?

— Не понимаю, о чем Ваше Величество изволите говорить,— отвечал Панин.

— Как? Разве Вы не подарили несколько тысяч душ своим секретарям?

— Так это Вы называете моими щедротами? Ваши собственные, государыня. Награждая подданных, Вы столь обильно на них изливаете свои милости, что представляется им всегда способ уделять часть из полученного содействовавшим в снискании благоволения Вашего.

В ответе Никиты Ивановича слышалась горечь незаслуженной обиды. Он прекрасно понимал, что только место воспитателя великого князя давало ему возможность реального влияния на государ-

ственные дела. Еще в середине 60-х годов он говорил прусскому послу Сольмсу, что, пока его кровать стоит во дворце, посол может не беспокоиться об изменении русской внешней политики. Вплоть до своей смерти в 1783 г. Панин оставался фактическим руководителем Коллегии иностранных дел, пробыв на этом посту двадцать лет, однако прежнего значения уже не имел.

Падение Панина не явилось неожиданностью для людей, понимавших истинную подоплеку отношений между Екатериной и ее министром иностранных дел. «Обозревая некоторые черты царствования Екатерины, нельзя не отметить, что Панин хлопотал более об интересах государства, чем об ее особе, и поэтому она никогда не могла питать к нему особенной симпатии», — писал в эти дни прусский посол в Петербурге Сольмс. Английский посол Роберт Гуннинг, один из самых проницательных иностранных дипломатов при русском дворе, еще летом 1772 г. докладывал в Лондон: «Действительной причиной, побудившей ее (Екатерину.— П. П.) доверить ему (Панину.— П. П.) столь важное дело, как забота о воспитании великого князя, что, в сущности, значит вручить ему корону, состоит в том убеждении, что ему неостанет и способности, и решительности, и деятельности для того, чтобы попытаться возложить эту корону на голову молодого принца, если бы даже последний осмелился ее надеть, что до сих пор составляет вопрос нерешенный».

Отношения Екатерины с Павлом Петровичем всегда были непростыми. Еще в 1762 г., во время коронационных торжеств в Москве, Екатерина имела возможность убедиться, что Павел пользуется значительно большей популярностью, чем она. При каждом появлении его на московских улицах собирались огромные толпы народу, видевшие в Павле законного наследника престола, правнука Петра Великого. Народная любовь к Павлу с особой силой проявилась в июне 1771 г., когда он внезапно заболел горячкой. Состояние наследника престола внушало врачам серьезные опасения. Болезнь Павла воспринималась как государственное бедствие. По словам современника, «слух о Павловой болезни еще в самом начале ее, подобно пламени лютого пожара, из единого дома в другой пронесся мгновенно. В единый час ощутили все душевное уныние». По случаю выздоровления великого князя Фонвизин написал специальное «Слово», в котором привел его слова: «Мне то мучительно, что народ беспокоится моею болезнью». Примечательно, что 28 июня, когда у Павла был особенно опасный приступ болезни, Екатерина начала писать свои знаменитые воспоминания, в которых утверждала, что Павел не был сыном Петра Федоровича.

20 сентября 1772 г. Павлу исполнилось 18 лет. Совершеннолетие великого князя его сторонники, и в первую очередь Никита Иванович Панин, связывали с большими надеждами. Помня об обстоятельствах прихода Екатерины к власти, Панин был уверен, что великому князю отныне предстояло принять деятельное участие в государственных делах. Однако день 20 сентября прошел без особых торжеств, никаких наград и назначений не последовало. Вопреки ожиданиям достигший совершеннолетия наследник престола не был даже приглашен принять участие в заседаниях Совета.

Никита Иванович тяжело переживал фальшивое положение, в котором оказался Павел. С осени 1772 г. он стал осторожно намекать на свое желание удалиться от службы. Говорил он об этом и с датским послом, который приписывал себе заслугу в том, что он заставил Панина переменить свое мнение.

Брат Панина, Петр Иванович, живший после выхода в отставку в своем подмосковном селе Михалкове, менее стеснялся в выражениях. Екатерина, в свою очередь, называла его своим «первым врагом и персональным оскорбителем». Петр Иванович характером был горяч, на язык несдержан, и Екатерине быстро становилось известно, что он крайне неуважительно отзывается как о нравах при дворе, так и об образе ее действий в отношении великого князя. Московскому главнокомандующему князю Михаилу Никитичу Волконскому было поручено установить негласное наблюдение за опальным генералом. Михаил Никитич расстарался. «Все и всех критикует», — доносил он в Петербург. Даже чумной бунт он, по показаниям какой-то шальной унтер-офицерской вдовы, связывал с кознями Петра Панина.

Особое возмущение Екатерины вызвала дерзкая выходка, устроенная Петром Ивановичем по случаю смерти фельдмаршала П. С. Салтыкова. Узнав о смерти старого боевого товарища, Петр Иванович явился в Марфино, имение Салтыкова, где тот жил после отставки с поста московского главнокомандующего, и с обнаженным палашием встал при его гробе.

— До тех пор буду стоять при часах, пока не пришлют почетного караула для смены, — заявил он.

Екатерина была вне себя от гнева, но тронуть Паниных до поры не решалась: нарушать пошатнувшееся после удаления Григория Орлова политическое равновесие было опасно.

Выход из создавшегося крайне затруднительного для императрицы положения нашелся как бы сам собой. Вечером 23 декабря 1772 г. Орлов, живший после опалы в своем гатчинском имении, неожиданно явился в Петербург и остановился у своего брата, графа Ивана. На другой день после приезда он был принят Екатериной в присутствии Елагина и Бецкого. От императрицы он пришел вместе с Паниным в кабинет великого князя Павла Петровича и оставался с ним некоторое время один на один. Отобедав затем у брата, Григорий Орлов вернулся во дворец и присутствовал на всенощной по случаю наступающего Рождества. Придворные имели возможность убедиться собственными глазами, что предмет общих толков находился налицо. После всенощной Орлов сделал несколько визитов в городе, а вечером вновь был во дворце. Сольмс, наблюдавший за ним, отправил в Берлин донесение, что Григорий Орлов вел себя, как всегда, откровенно и дружелюбно. Разница состояла лишь в том, что императрица «как будто старалась не замечать его». Иностранные послы сделали на всякий случай визиты Орлову, который поспешил ответить им в тот же день.

В первых числах января 1773 г. Орлов уехал в Ревель, где рассчитывал остаться до лета. В это же время разительно меняются отношения между Екатериной и Павлом. Императрица, ранее избе-

гавшая сына, стала ежедневно приглашать его на обед, удерживала его большую часть времени около себя и никогда не выезжала без него из дворца.

Гуннинг весьма дальновидно оценил причины и последствия возвращения Орлова: «Вознамерилась снова вызвать его (Г. Г. Орлова — П. П.) вследствие, быть может, не одних сердечных, но и политических причин, ибо он и его родственники действительно суть единственные лица в империи, на которых она может положиться... Но при исполнении плана, ею составленного, возникли бесчисленные затруднения, решительное объяснение г-на Панина и некоторые выражения великого князя и его друзей потребовали всю ее ловкость для того, чтобы привести этот вопрос безопасным для себя образом, что, как кажется, в настоящую минуту она считает выполненным. Императрица рассчитывает в непродолжительном времени примирить (до некоторой степени) великого князя с семейством Орловых; в случае удачи это упрочило бы, хотя ненадолго, ее собственную безопасность и безопасность ее сына. Единственной жертвой такого оборота дела (если б оказывалась жертва), вероятно, будет г-н Панин».

Дальнейшие события подтвердили справедливость рассуждений Гуннинга. В начале марта Григорий Орлов снова удивил всех своим неожиданным появлением в Петербурге. Лишь немногие увязали это с «разрывом» Бухарестского конгресса, хотя именно в то время многочисленные недоброжелатели Никиты Ивановича вновь подняли голову. Орлов между тем вел светскую жизнь, появлялся на всех собраниях в городе. Казалось, он даже не думал мстить своим врагам, приветливо раскланивался с Васильчиковым, играл в шахматы с Паниным, хотя знал, что тот настойчивее других хлопотал о его удалении от двора.

21 мая 1773 г. неожиданно последовал высочайший указ о возвращении Орлова ко всем занимаемым им должностям «ввиду поправки здоровья».

Для Никиты Ивановича наступили тяжелые времена. Опасаясь нового возвышения Орлова, он начал действовать не самым лучшим образом. В дипломатической переписке сохранились многочисленные свидетельства пресловутой «эластичности» его моральных принципов. «Что же касается до поведения г-на Панина, то оно было совершенно противоположным тому (поведению Г. Г. Орлова. — П. П.), ибо он, имея в виду оклеветать князя, вступал в интриги, недостойные ни его звания, ни его характера. Рассчитывая слишком много на власть, которую это ему доставит, и не обладая достаточной твердостью при исполнении высказанного им намерения отказаться от должности в случае возвращения любимца, он в настоящее время в сильном унынии», — сообщал 28 мая 1773 г. в Лондон Гуннинг.

Летом 1773 г., после приезда в Петербург ландграфини Гессен-Дармштадской, Панин распустил слух о намерении Григория Орлова жениться на младшей из дармштадских принцесс и тем самым сравняться в положении с великим князем. Сольмс, неосторожно сообщивший об этом в Берлин, уже в конце июля был вынужден

оправдываться: «Граф Панин, опасаясь постоянных козней со стороны графа Орлова, видит зачастую вещи не в настоящем их виде; вражда к старому любимцу создает в его воображении такие планы, которых у Орлова никогда и не бывало».

Положение Никиты Ивановича усугубил и происшедший в то время инцидент по поводу неосторожных высказываний некоего Салдерна, голштинца, состоявшего на русской службе и занимавшего в 1771—1772 гг. пост русского посла в Варшаве. Будучи лицом приближенным к Павлу, он вовлек его в какие-то разговоры о соучастии в управлении. Весной 1773 г. Павел, отношения которого с матерью наладились, покаялся, что Салдерн склонял его к поступкам, не соответствующим его долгу относительно императрицы. В порыве гнева Екатерина будто бы сказала, что велит привести к себе злодея, связанного по рукам и ногам. Однако признанием своим великий князь сослужил медвежью услугу не только Салдерну, но и Панину. Екатерина была глубоко уязвлена, что Никита Иванович не доложил ей своевременно о происках Салдерна.

В отечественной исторической литературе установилась традиция связывать опалу, постигшую Н. И. Панина осенью 1773 г., с так называемым заговором Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина. Версия о наличии такого заговора, имевшего целью ограничить самодержавную власть конституционными началами, основывается на обнаруженном в архивах Д. И. Фонвизина отрывке под названием «Рассуждение о непременных государственных законах», а также на воспоминаниях его племянника, писателя-декабриста Михаила Александровича Фонвизина, написанных много лет спустя в сибирской ссылке.

В своих воспоминаниях М. А. Фонвизин писал: «Мой покойный отец рассказывал мне, что в 1773 или 1774 году, когда цесаревич Павел достиг совершеннолетия и женился на дармштадской принцессе, названной Натальей Алексеевной, граф Н. И. Панин, брат его, фельдмаршал П. И. Панин, княгиня Е. Р. Дашкова, князь Н. В. Репнин, кто-то из архиереев, чуть ли не митрополит Гавриил, и многие из тогдашних вельмож и гвардейских офицеров вступили в заговор с целью свергнуть с престола царствующую без права Екатерину II и вместо нее возвести совершеннолетнего ее сына. Павел Петрович знал об этом, согласился принять предложенную ему Паниным конституцию, утвердил ее своею подписью и дал присягу в том, что, воцарившись, не нарушит этого коренного государственного закона, ограничивающего самодержавие. Душою заговора была супруга Павла великая княгиня Наталья Алексеевна, тогда беременная.

При графе Панине были доверенными секретарями Д. И. Фонвизин, редактор конституционного акта, и П. В. Бакунин, оба участники заговора. Бакунин из чистолобивых, своекорыстных видов решился быть предателем: он открыл любовнику Екатерины князю Г. Г. Орлову все обстоятельства заговора и всех участников — стало быть, это сделалось известным и императрице. Она позвала к себе сына и гневно упрекала его за участие в замыслах против нее. Павел испугался, принес матери повинную и список всех заговор-

щиков. Она сидела у камина и, взяв список, не взглянув на него, бросила бумагу в огонь и сказала: «Я не хочу и знать, кто эти несчастные». Она знала всех по доносу изменника Бакунина. Единственной жертвою заговора была великая княгиня Наталья Алексеевна: полагали, что ее отравили или извели другим образом. Из заговорщиков никто, однако, не погиб: Екатерина никого не преследовала. Граф Панин был удален от Павла с благоволительным рескриптом, с пожалованием ему за воспитание цесаревича 5 тысяч душ и остался канцлером; брат его, фельдмаршал, и княгиня Дашкова оставили двор и переселились в Москву. Князь Репнин уехал в свое наместничество, в Смоленск, а над прочими заговорщиками учрежден тайный надзор».

В приведенном отрывке масса неточностей. В частности, хорошо известно, что в 1773 г. Н. В. Репнин находился на военной службе в армии Румянцева, а П. И. Панин и Е. Р. Дашкова оставили двор значительно раньше предполагаемого заговора. Беременность великой княгини Натальи Алексеевны, представленной душой заговора, относится к гораздо более позднему времени. Да и отношение Н. И. Панина к П. В. Бакунину осенью 1773 г. еще не изменилось. Мы видели, что Бакунин был в числе тех, кому Панин подарил пожалованные ему земли: весьма сомнительно, чтобы он действовал подобным образом, если считал бы Бакунина предателем.

Думается, что в воспоминаниях М. А. Фонвизина мы сталкиваемся со своеобразной аберрацией памяти, вполне, впрочем, объяснимой. М. А. Фонвизин писал свои мемуары более чем через полвека после описываемых им событий. Неудивительно, что в его рассказе смешались слухи о заговоре Салдерна, действительно имевшем место, конституционных разговорах, которые, вне всяких сомнений, велись в кругу Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина, а также широко обсуждавшиеся при дворе размолвки между Екатериной и великой княгиней Натальей Алексеевной, которая оказалась женщиной решительной и не желала сносить двусмысленность своего положения так же покорно, как ее супруг.

Возможно, что в позднейшем возникновении слухов о заговоре сыграла роль и предпринятая Павлом в 1774 г. попытка приблизиться к государственным делам, подав Екатерине составленную под влиянием братьев Паниных записку под названием «Рассуждения о государстве вообще, относительно числа войск, потребных для защиты оною, и касательно обороны всех пределов».

Кроме того, трудно и, пожалуй, даже невозможно допустить, что Н. И. Панин с его «эластичным» характером и далеко не радикальными конституционными убеждениями мог принять участие в заговоре, имевшем целью изменить существовавшую в России форму правления в тот момент, когда крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева набирала грозную для всей дворянской монархии силу. У нас еще будет возможность убедиться, что именно тогда братья Панины, сами крупнейшие землевладельцы, отставили в сторону свои разногласия с Екатериной и приняли активное участие в подавлении восстания Пугачева.

И наконец, самое существенное: текст конституции Н. И. Панина — Д. И. Фонвизина до сих пор не обнаружен, а «Рассуждения о непременных государственных законах», считающиеся вступлением к нему, датируются, как известно, 1783 годом. Если все же допустить, что конституционный заговор существовал, то его правильнее всего отнести ко времени, непосредственно предшествующему скоропостижной кончине Натальи Алексеевны (декабрь 1776 г.), в обстоятельствах которой действительно было немало странного, либо же, что еще более вероятно, к последним годам жизни Панина (1782—1783), когда Павел, вернувшись из заграничной поездки, с особой силой ощутил свое положение «русского Гамлета» и серьезно задумался о правах на престол.

Однако все это еще впереди. Осенью же 1773 г. Екатерина была чрезвычайно удовлетворена как окончанием «случая» Орлова, так и удалением Панина. Кончился так раздражавший ее в последнее время курц-галоп. Сообщая об этом г-же Бьельке, она писала: «Дом мой очищен или почти что очищен; все кривляния произошли, как я и предвидела, но, однако, воля Господня совершилась, как я также предсказывала».

* * *

Период с лета 1772 по осень 1773 г.— от первого раздела Польши, «разрыва» Фокшанского конгресса и удаления Орлова до бракосочетания Павла и опалы Панина — стал переломным в долгой, 34-летней истории екатерининского царствования.

— Только с 1774 года почувствовала я, что мои приказы исполняются беспрекословно,— призналась потом Екатерина своему доверенному секретарю Храповицкому.

Для этого же пришлось награждать, отправлять в Сибирь, лицедействовать, унижаться, сталкивать своих противников, писать законы и театральные пьесы, выиграть турецкую войну, казнить Пугачева.

Впрочем, всего не упомнишь...

Особенно тревожны были первые годы после воцарения на престоле. Недовольных было много. Заговоры следовали один за другим: Хрущев, Гурьев, Бениовский, Мирович... Смерть Петра Федоровича, последовавшая через неделю после переворота, многим показалась чересчур скоропостижной. Одни завидовали всемогущим Орловым, другие были недовольны недостаточным вознаграждением, третьи видели законного наследника престола в несчастном отпрыске Брауншвейгской фамилии, убитом в Шлиссельбурге.

Вот только один из десятков крупных и мелких заговоров, отметивших первые двадцать лет царствования Екатерины II. С. М. Соловьев обнаружил его следы в архивах канцелярии генерал-прокурора.

...27 мая 1772 г. капрал Преображенского полка Оловенников и солдаты того же полка Исаков и Карпов встретились на берегу Невы за Конногвардейскими конюшнями с гренадерами Филипповым, Мурзиным и Михайлой Ивановым.

— Слышно, будто гвардию хотят сделать армейскими полками, а на место гвардии ввести гренадерские полки,— говорил Оловенников собравшимся.— Это все дела Орлова, надо думать, что он затем, верно, и в Фокшаны поехал, чтобы сделать себя молдавским князем, а то и императором.

— Может, ему этого сделать и не удастся и мы Его Высочеством поскорее императором сделаем,— отвечали гренадеры.

— А ежели Его Высочество на это согласится, так что тогда делать с государынею?

— Государыню в монастырь, хотя она ничего дурного не делает, а все это творит Орлов,— отвечал Исаков.— Все по-своему ворочает. Теперь поехал в армию уговаривать солдат, чтобы они ему так присягнули. А как присягнут и он будет царь, то приведет сюда петербургский полк, а нас, всю гвардию, отсюда выведет.

Однако одно дело говорить, а другое — найти фундатора для составления заговора. Заговорщики обсуждали различные кандидатуры. Назывались имена и графа Панина, и князя Михайлы Щербатова, но обратиться к ним не решились. Оловенников о князе Щербатове говорил:

— Он такой, каналья, гордый, к тому же воспитан в пышности, в роскоши, так как его возвести? Он никакой солдатской и мужичьей нужды не знает, так и будет думать, что все для него созданы.

Решились открыться камергеру князю Барятинскому, которого знали гренадеры. Барятинский тут же доложил императрице, на том дело и кончилось.

Уже в июне виновных били кнутом, прогоняли сквозь строй и отправили кого на каторжные работы, кого солдатами в дальние гарнизоны.

Заговорщики исчезали в Сибири, но слухи о них достигали европейских столиц. «Что касается до важного известия о намерении свергнуть с престола русскую императрицу, то я узнал, что мнение это основано на недовольстве народа, которое, как полагают, достигло крайних размеров»,— писал 24 июля 1772 г. руководитель британской внешней политики герцог Суффолк своему послу в Петербурге.

Ответ Гуннинга заслуживает быть приведенным почти полностью:

«Что бы ни говорили в доказательство противного, императрица здесь далеко не популярна и даже не стремится к тому; она несколько не любит своего народа и не приобрела его любви, чувство, которое у нее пополняет недостаток этих побуждений, есть безграничное желание славы, а что достижение этой славы служит для нее целью гораздо выше истинного благосостояния страны, ею управляемой, это, по моему мнению, можно основательно заключить из того состояния, в котором, в беспристрастном рассмотрении, оказываются дела этой страны. Она предпринимает огромные общественные работы, основывает коллегии, академии в широких размерах и ценой крупных расходов, а между тем не доводит ни одного

из этих учреждений до некоторой степени совершенства и даже не оканчивает постройку зданий, предназначенных для них. Несомненно, что таким образом растрачиваются громадные суммы, принося стране лишь весьма малую долю истинной выгоды, но, с другой стороны, несомненно и то, что этого достаточно для распространения славы этих учреждений между иностранцами, которые не следят и не имеют случая следить за дальнейшим их развитием и результатом».

К 1773 г. даже благосклонные к Екатерине иностранцы принялись открыто предрекать финансовый и экономический крах России в случае продолжения войны. И действительно, если в 1769 г. государственные доходы России составили без малого 17 миллиардов рублей при дефиците около 1 миллиарда, то в 1773 г. лишь недоимки прошлых лет — 4,5 миллиарда рублей, а в течение того же года они увеличились еще на 4 миллиарда.

Совет вынужден был вплотную заняться вопросами финансов.

— Денег как можно более собирать, ибо деньги суть артерия войны, — повторила Екатерина при начале войны знаменитые слова Петра.

Способы к увеличению доходов были известны. Множились налоги, росли пошлины на купеческие товары. В октябре 1769 г. были повышены цены на спиртное. Вино было велено продавать по 3 рубля за ведро, а на французскую водку прибавлена пошлина по 3 рубля за анкер.

Сразу же вслед за объявлением войны был учрежден первый в России Ассигнационный банк. «Теневая сторона этого не замедлила обнаружиться», — писал С. М. Соловьев. В июне 1771 г. Панин по поручению императрицы был вынужден заниматься делом о подделке 25-рублевых ассигнаций на 75-рублевые. В 1772 г. большой шум наделало дело братьев Пушкиных. Один из них привез из-за границы штемпеля и литеры для печатания фальшивых ассигнаций, но был схвачен на границе. В начале 1774 г. сенат получил указ об обращении в империи ассигнаций на сумму не более 20 миллионов рублей.

Однако ненасытный молох войны требовал не только денег, но и людей. 19 августа 1773 г. при обсуждении в Совете вопроса о новом рекрутском наборе у императрицы вырвалось красноречивое признание:

— Вы требуете от меня рекрутов для комплектования армии? От 1767 года сей набор будет, сколько память мне служит, шестой. Во всех наборах близ 300 тысяч рекрут собрано со всей империи. Я согласно с вами думаю, что оборона государства того требует, но со сжиманием сердца по человеколюбию набор таковой всякий раз подписываю, видя наипаче, что оные для пресечения войны по сю пору бесплодны были...

Еще в начале войны Екатерина вынуждена была издать весьма непопулярный указ о призвании в армию детей священнослужителей. Однако и этого оказалось недостаточно. Смертность среди рекрутов, плохо обученных, вынужденных воевать в непривычном для них климате, была ужасающей.

Год от года множились случаи преступлений помещиков против крепостных. Приводя длинный «скорбный лист» дел об убийствах, изнасилованиях и притеснениях крестьян во время первой турецкой войны, С. М. Соловьев объясняет их скороспелым указом Петра III о вольности дворянства. Дворянин «имел возможность в молодые летах вырваться из-под служебной дисциплины и поселиться в деревне; из подчиненного, трепетавшего перед гневным взглядом старшего офицера он становился полновластным господином над рабствующим, безгласным населением; чем более он был принижен на службе, ибо находился в низших чинах, тем более он должен был разнуздываться теперь; господином становился раб. Совершенная праздность, невежество, неумение заняться чем-нибудь умственным и нравственно развивающим, отсутствие общества, которое могло бы развивать, в этих отношениях вели к нравственному падению».

Крестьяне отвечали поджогами, убийством своих мучителей. Участились случаи массового неповиновения, как, например, на петровских Олонецких заводах летом 1770 г. На дорогах появились шайки разбойников. Особенно тревожно было на Волге, Каме и на реке Белой, где грабили даже железные караваны Демидовых и Твердышева. Непокойно было на Дону, в Воронежской губернии, в Уфимской и Галицкой провинциях. Власти были бессильны, а городские гарнизоны ослаблены отправкой войск на войну.

И вот наконец случилось то, что должно было случиться. В конце мая 1773 г. из-под стражи в Казани бежал казак станицы Зимовейской Емельян Пугачев. Для него народная беда и тяготы длившейся пятый год войны были неразделимы. Пугачев воевал в Семилетнюю войну, служил в Польше, участвовал во взятии Бендер в армии Петра Ивановича Панина. На исходе лета 1773 г. он объявил себя императором Петром III и разослал воззвание, в котором говорилось, что «император принял царство, и кто будет ему служить, тех он жалует крестом, и брадою, и рекою, и землею, травами, и морями, и денежным жалованьем, и провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностию».

17 сентября Пугачев обратился к народу с первым указом, а в начале октября осадил Оренбург. Гарнизоны Южного Приуралья сами сдавались Пугачеву, начальное ядро повстанческого войска быстро пополнялось добровольцами. В середине октября он имел уже до 3 тысяч пехоты и конницы, более 20 пушек, 7 крепостей. До Петербурга доходили известия, что «разные чужеземные проходимцы, и в особенности, ссыльные поляки» ревностно поднимались помогать пьяному мужику и служили ему инженерами и артиллеристами.

15 октября впервые прозвучало в Совете имя Пугачева. Президент Военной коллегии граф Чернышев в присутствии Екатерины прочел полученный накануне рапорт оренбургского губернатора «о возмущении принявшего на себя имя покойного императора Петра III беглого донского казака Пугачева».

И вновь — в который раз! — перед мысленным взором императрицы будто встала из могилы фигура покойного супруга.

Впрочем, в Петербурге в октябре еще явно не понимали масштабов народного восстания. Первое известие о нем, поступившее в день свадьбы Павла Петровича, огласке не предавалось. С ним ознакомили только Екатерину, Чернышева и двух-трех членов Совета. Панин сначала также считал, что бунт в заволжских степях — лишь искра по сравнению с восстанием атамана Ефремова на Дону в 1772 г.

Совет признал меры, предпринятые генерал-майором Каром, достаточными. «Рассуждаемо было, что это возмущение не может иметь следствий, кроме что расстроить рекрутский набор и умножить ослушников и разбойников», — значилось в протоколе заседания.

Однако уже к ноябрю члены Совета убедились, что местными силами с восстанием не справиться. 28 ноября в район Оренбурга направили опытного военачальника генерала А. И. Бибикова, которому вверялась вся полнота гражданской и военной власти. Накануне этого дня в Совете был оглашен проект манифеста о самозванце, изготовленный для прочтения в церквях. В нем Пугачев сравнивался с Гришкой Отрепьевым.

По окончании чтения со своего места поднялся Орлов:

— Не много ли чести делаем беглому казаку, уподобляя его Гришке-расстриге? Во времена древнего нашего междоусобия все государство было в смятении, а ныне одна только чернь, да и то в одном месте. Такое сравнение может только возгордить мятежников.

Екатерина отвечала:

— Мне пришло на мысль велеть сделать такое уподобление, дабы более возбудить омерзение к возмутителю, и я изволю еще раз просмотреть тот манифест.

28 ноября императрица, присутствуя в Совете, объявила о направлении в Оренбург новых войск. Чернышев доносил, что «посылается туда один гренадерский, один карабинерный и один гусарский полк да 500 чугуевских казаков, кои возвращены будут из Польши». Екатерина, уже заметно встревоженная, выразила сомнение, что Оренбург сможет долго продержаться против возмутителей по причине скудости продовольственных припасов. Чернышев отвечал, что город, по его расчетам, продержится два месяца, а к тому времени придут казаки.

Затем на заседание был приглашен Бибиков. В его присутствии еще раз зачитали манифест, который он должен обнародовать по прибытии своем, инструкцию, снабжавшую его полной властью относительно способов укрощения мятежа, а также открытый указ ко всем духовным, воинским и гражданским властям, которым повелевалось повиноваться его приказам.

Во время обсуждения манифеста Орлов и Чернышев вновь возражали против сравнения Пугачева с Отрепьевым. На это Бибиков ознакомил членов Совета с заготовленным им обращением к народу, в котором тому, кто доставит злодея Пугачева, живого или мертвого, было обещано награждение.

— Награду следует обещать только за живого, — возразила Екатерина. — Я не хочу, чтобы этой наградой был дан повод к убийст-

ву. Впрочем, если хотите, можете издать это обращение от своего имени.

Пройдет совсем немного времени и — Екатерина заговорит по-другому. На подавление восстания будут брошены отборные части.

«Не Пугачев важен, да важно всеобщее негодование», — напишет в январе 1774 г. А. И. Бибииков.

* * *

Историки, внимательно изучившие обширную переписку, которую Дидро вел во время своего пребывания в Петербурге, с удивлением обнаружили, что в его письмах нет ни одного намека на впечатление, которое произвела на него северная столица. Прожив четыре месяца в России, великий философ не заметил Петербурга. Не менее любопытно и то, что впоследствии он ни словом не обмолвился о бурных событиях, которые разворачивались перед его глазами осенью 1773 г.

Другие были более наблюдательны.

«Мы в очень плачевном состоянии. Все интриги и все струны настроены, чтобы графа Панина отдалить от великого князя, даже до того, что под претекстом перестраивать покои во дворце велено ему опорожнить те, где он жил. Князь Орлов с Чернышевым злодействуют ужасно графу Панину», — писал в эти дни Д. И. Фонвизин.

Орлов праздновал победу. В течение осени Григорий Орлов неоднократно дежурил в Царском Селе. В 20-х числах ноября по старой памяти он участвовал в маленьком маскараде, где женщины, начиная с великих княгинь, нарядились в мужское платье, и наоборот. Екатерина, питавшая пристрастие к подобного рода грубоватым забавам, расхаживала среди ряженых, потешаясь от души. Владимир Орлов, президент Российской академии наук, вспоминал: «Я в женщинах лучше всех был. Так щеки себе нарумянил, что и папенька меня не узнал бы. Федор был передо мною ничто».

Трудно представить себе, что все это происходило в те дни, когда войска Пугачева вступали уже в пригороды Оренбурга. 24 ноября в Царском Селе праздновали тезоименитство императрицы. По этому случаю было сделано большое производство в армии и флоте. Придворным чинам розданы награды. Григорий Орлов преподнес Екатерине огромный алмаз, который впоследствии украсил императорский скипетр. Он был вывезен за несколько лет до того из Персии и хранился в Амстердамском банке. Говорили, что Орлов купил его у армянского купца Лазарева за 400 тысяч рублей. Мало кто знал, что большая часть стоимости алмаза Орлова была оплачена самой Екатериной.

Уволив Панина с должности обер-гофмейстера, Екатерина назначила состоять при великом князе генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. Выбор был сделан не случайно. Салтыков был ловким и беспринципным царедворцем, «поэтом дворцовой интриги», по выражению В. О. Ключевского. Павел встретил Салтыкова недружелюбно: состоявший в его свите камергер Дмитрий Михай-

лович Матюшкин намекнул великой княгине, что Салтыков был назначен для наблюдения за каждым шагом павловского двора. Павел разгневался и со свойственной ему импульсивностью передал слышанное императрице. Она написала обер-гофмаршалу князю Николаю Ивановичу Голицыну: «По отъезде моем съездите к Дмитрию Матюшкину и старайтесь, чтобы муж с женой вместе были, и скажите камергеру Матюшкину при жене его моим словом, что он, имея жену и детей, столь дерзок, что осмелился невестке и сыну моему и кое-кому другим говорить, опорочивая и осуждая волю мою в определении генерала Салтыкова, что я оставляю на его размышление, чтобы государи, прежде меня царствовавшие в России, за то с ним учинили бы. Что он кладет руку между коркою и деревом и идет ссорить мать с сыном и государыню свою с наследником. На сей раз я его прощаю, но при том запрещаю на глаза ко мне казаться, пока я буду в Царском Селе».

Лишенный благотворного для него общения с Паниным, едва ли не единственным человеком при дворе, к которому он питал полное доверие, Павел стал все более сосредоточиваться на себе. В характере великого князя развивались подозрительность и мнительность, сыгравшие впоследствии роковую роль в его судьбе. Он начал опасаться за свою жизнь, боялся отравы и многим говорил об этом, в частности генерал-прокурору Вяземскому. В конце ноября Гуннинг доносил в Лондон: «В последнее время несколько ребяческих и неосторожных выражений, употребленных великим князем, внушили императрице сильнейшее беспокойство. Незадолго до отъезда из Царского Села ему подали за ужином блюдо сосисок, кушанье, до которого он большой охотник, и в нем он нашел множество осколков стекла; в первую минуту гнева он поспешно встал из-за стола и, взяв с собою блюдо, отправился прямо к императрице и с величайшим раздражением высказал ей, что этот случай доказывает ему намерение отравить его. Императрица была чрезвычайно поражена этим подозрением, так же как и небрежностью прислуги, послужившим единственным поводом к тому».

В таком же духе выдержаны донесения и других послов, отправленных из Петербурга на исходе предпоследнего года войны.

Да и не только послов.

— Развращенность здешнюю описывать излишне. Ни в каком скаредном приказе нет таких стряпческих интриг, какие у нашего двора сиюминутно происходят, — подвел итог гнилой петербургской осени 1773 г. автор «Недоросля» и «Бригадира».

* * *

Впоследствии Дидро следующим образом вспоминал свой последний разговор с императрицей: «Едва я приехал в Петербург, как негодяи стали писать из Парижа, а другие негодяи распространять в Петербурге, что под предлогом благодарности за прежние деяния явился выпрашивать новых; это оскорбило меня, и я тотчас же сказал себе: “Я должен зажать рот этой сволочи”. Поэтому-то,

откланиваясь Ее Императорскому Величеству, я представил нечто вроде прошения, в котором говорил, что прошу ее убедительнейше, и даже под опасением запятнать мое сердце, не прибавлять ничего, так-таки ровно ничего, к ее прежним милостям. Как я и ожидал, она спросила меня о причине такой просьбы. “Это,— ответил я,— ради Ваших подданных и ради моих соотечественников; ради Ваших подданных, которых я не хотел бы оставить в том убеждении, о котором они имели низость намекать мне, будто не благодарность, а тайный расчет на новые выгоды побудили меня к путешествию. Я хочу разубедить их в этом, и необходимо, чтоб Ваше Величество были столь добры поддержать меня; ради моих соотечественников, перед которыми я хочу сохранить полную свободу слова, чтоб они, когда я буду говорить им правду о Вашем Величестве, не предполагали слышать голос благодарности, всегда подозрительный. Мне будет гораздо приятнее заслужить доверие, когда я стану превозносить Ваши великие достоинства, чем иметь более денег”. Она возразила мне: “А Вы богаты?” “Нет, государыня,— сказал я, но я доволен, а это гораздо важнее”.— “Что ж мне сделать для Вас?” — “Многое: во-первых, Ее Величество не пожелает ведь отнять у меня два-три года жизни, которыми я ей же обязан, и уплатить расходы моего путешествия, пребывания здесь и возвращения, приняв во внимание, что философ не путешествует знатным барином”. На что она отвечала вопросом: “Сколько Вы хотите?”— “Полагаю, что полтора тысяч будет довольно”.— “Я дам Вам три тысячи”.— “Во-вторых, Ваше Величество, дадите мне какую-нибудь безделку, ценную лишь потому, что она была в Вашем употреблении”.— “Я согласна, но скажите мне, какую безделку Вы желаете?” Я отвечал: “Вашу чашку и Ваше блюдечко”.— “Нет, это разобьется и Вас же опечалит; я подумаю о чем-нибудь другом”.— “Или резной камень”. Она возразила: “У меня был один только хороший, да я отдала его князю Орлову”. Я отвечал: “Остается вытребовать у него”.— “Я никогда не требую обратно того, что отдала”.— “Как, государыня, Вы настолько совеститесь с друзьями?” Она улыбнулась. “В-третьих, дать мне одного из Ваших служащих, который проводил бы меня и доставил здоровым и невредимым в мой дом или скорее в Гаагу, где я пробуду месяца три ради служения Вашему Величеству”.— “Это будет сделано”.— “В-четвертых, Вы разрешите мне прибегнуть к Вашему Величеству в том случае, если я впаду в разорение вследствие операций правительства или по какой-нибудь другой причине”. На этот пункт она отвечала мне: “Мой друг (то ее слова), рассчитывайте на меня; Вы найдете во мне помощь во всяком случае, во всякое время”. Она прибавила: “Но Вы, значит, скоро уезжаете?”— “Если Ваше Величество позволите”.— “Да вместо того чтобы уезжать, почему Вам не выписать сюда Ваше семейство”.— “О государыня,— отвечал я,— моя жена женщина престарелая и очень хворая, и с нами живет ее сестра, которой близится уже восемьдесят лет!” Она ничего на это не отвечала. “Когда же Вы едете?”— “Как только позволит погода”.— “Так не прощайтесь же со мною; прощание наводит грусть”».

До самой смерти Дидро остался благодарен Екатерине.

В начале 1786 г., после смерти великого энциклопедиста, его библиотека была получена и выставлена в Эрмитаже. Судьба ее поучительна. После смерти Екатерины никто ею не интересовался. Она стояла в Эрмитаже как молчаливый, но неприятный укор. Наконец, просто надоела и была передана в публичную библиотеку, где была тогда же размещена на разных полках, в разных шкафах, и теперь следы ее найти невозможно.

Еще более любопытна метаморфоза, происшедшая в отношении Екатерины к Вольтеру. В ответ на известие о смерти некогда боготворимого ею философа Екатерина подписалась на сто экземпляров его произведений.

— Дайте мне сто полных экземпляров произведений моего учителя, чтобы я могла разместить их повсюду.

Однако, когда было объявлено об издании Полного собрания сочинений Вольтера, Екатерина написала Гримму: «Ну послушайте, кто же в состоянии прочесть 52 тома сочинений Вольтера? Когда издание выйдет в свет, купите на мой счет еще два экземпляра для Ваньяра, отправьте их ему от моего имени и скажите ему, чтобы он отметил в одном из экземпляров, что справедливо и что несправедливо, и переслал бы мне этот экземпляр».

Г л а в а XVII

ЯССЫ — КЮЧУК-КАЙНАРДЖИ — МОСКВА.

Весна 1773 — декабрь 1775 г.

После разрыва Бухарестского конгресса новая военная кампания стала неизбежной реальностью.

«Вся надежда на Ваше Сиятельство», — писал весной 1773 г. Румянцеву Обресков.

По всему было видно, что турки также решились на возобновление военных действий.

Румянцев начал готовиться к новой кампании. Войска, переброшенные в Финляндию на случай шведской войны, уже примаршировали назад в Молдавию, однако Петр Александрович не мог быть доволен состоянием армии — дивизии не были укомплектованы, не хватало оружия и обмундирования.

«Ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет сил учинить какое-либо знаменитое предприятие, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских», — писал Румянцев Обрескову.

В Петербурге между тем словно не понимали положения, в котором оказалась армия Румянцева. Григорий Орлов, вновь занявший свое место в Совете, превозносил до небес морские победы, одержанные Коняевым и Алексиано в Патрасской бухте и под Дамьеттой. Витийствования отставного фаворита, вновь призывавшего закончить войну двойным ударом на Константинополь, произвели свое действие — 28 февраля Румянцев получил приказ перейти на правый берег Дуная и атаковать главную турецкую армию.

Петр Александрович пробовал было протестовать, строчил в Петербург обстоятельные депеши, которые и генералов своих — Салтыкова, Потемкина и Вейсмана — заставлял подписывать, но в конце концов смирился, понял, что плетью обуха не перешибешь. Оставалось одно: постараться нанести противнику максимальный ущерб, сократив количество жертв в русских войсках до минимума. Румянцев хорошо понимал, что достичь этой цели можно лишь при поддержке населения правого берега Дуная. С помощью Обрескова было составлено воззвание, в котором жители призывались содействовать русской армии. В канцелярии Алексея Михайловича воззвание перевели на греческий, болгарский и сербский языки.

Передовые части 1-й армии перешли Дунай в апреле 1773 г. Войска сражались блестяще. Бригадир Александр Васильевич Суворов, переведенный в Дунайскую армию в мае 1773 г., дважды, 10 мая и 17 июня, форсировал Дунай и овладел Туртукаем.

В Совете ликовали. Григорий Орлов громогласно заявлял, что Румянцев осуществляет «согласное с его мыслями». Надеясь на неминуемое окружение основных сил турецкой армии, он не сомневался, что можно будет, «отревожив самую столицу неприятеля, побудить его к скорому соглашению на желаемый нами мир».

Однако военные действия вскоре приняли совсем не тот оборот, о каком мечтал Орлов. Только 11 июня 13-тысячная армия Румянцева завершила переправу через Дунай. Лагерем стали у Силистрии. Взять крепость, несмотря на 30-тысячный гарнизон, оказалось нетрудно, однако на помощь туркам из Шумлы выступил свежий корпус. На военном совете 24 июля Румянцев настоял на спешном возвращении на левый берег.

«Дорога на Константинополь не так широка и не так-то легка, как иногда себе представляют», — писал он Обрескову.

Неудача кампании 1773 г. отрезвила тех, кто надеялся на легкую победу.

— Войне конца не видно — так резюмировал Д. И. Фонвизин настроения в придворных кругах. Румянцеву был отправлен рескрипт, в котором производство действий за Дунаем возлагалось на его «благоусмотрение».

Впрочем, не все обстояло так просто...

* * *

Бойкое перо Румянцева было хорошо известно в Петербурге. Реляции его составлялись ловко. Военные успехи в них преподносились с приличной скромностью, но по всему было видно, что по натуре Петр Александрович — большой дипломат. В реляции от 30 июня, в которой он объяснял императрице причины обратной переправы армии через Дунай, он превзошел самого себя. Она была написана на 19 листах убористым почерком переписчика. В ней он в мельчайших подробностях излагал переход армии за Дунай.

Документы

*Извлечение из реляции П. А. Румянцева Екатерине II
от 30 июня 1773 г.*

«Счастливым я себя признаю, Всемилостивейшая Государыня, что, перенесши оружие за реку Дунай, удостоился к славе оного приобрести там новые успехи, но не меньше к счастью моему обращаю и то, что без всякой потери учинил я обратную переправу и стою уже на своем берегу. Не мог я гоняться по местам непроходимым за особою одного верховного визиря. Предположения Ваши были, Всемилостивейшая Государыня, чтоб разбить визирскую армию, доколе она не будет еще в полном собрании на той стороне. Сие я и учинил, победив те войска, которые он против меня отряжал и коих более уже не имел у себя».

В июле 1773 г. до Румянцева дошли слухи о том, что в Петербурге его обвиняют в бездействии. В письме Орлову он писал, что неудовольствие публики изгоняло из Рима и Греции лучших полководцев, но поскольку в России нет такого парламента, каким был Ареопаг, он не знает как оправдаться: он ли должен России, либо она ему должна. Надеется, что Орлов не участвует в толках на его счет.

*Письмо Екатерины II П. А. Румянцеву
от 18 июля 1773 г.*

«Граф Петр Александрович! Любя истинное благо империи и для того желая не менее многих восстановления мира, чистосердечно вам скажу в ответ на ваше партикулярное ко мне письмо из лагеря при деревне Жигалея от 30 июня сего года, что известие о возвратном вашем перешествии через Дунай не столь мне приятно было, нежели первое о вашей с армиею переправе через сию реку, с которою я вас искренне поздравила письмом моим от 28-го числа прошедшего месяца; ибо мню, что возвращение ваше на здешний берег не будет служить к ускорению мира, оставляя, впрочем, без всякого уважения все пустые по всей Европе вести, коими несколько месяцев сряду уже набиты будут: сии сами собой, конечно, упадут, причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удовольствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ваших персональных неприятелей, о коих вы ко мне упоминаете, что они вас выводят на пробу жестокою, тогда как силы, вам вверенные, приведены в великое ослабление, и для того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай живое описание делаете; то входя во все ваши обстоятельства, колико возможно подробнее, откровенно вам скажу: во-первых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю и об них, кроме от вас не слышала, да и слышать мне об них было нельзя; ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, уши — надувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетнескладчиков, кои людей вестями, ими же часто выдуманнами, приводят в несогласие, терпеть не могу; сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют к приобретению себе уважения, а кроме таковых подлых».

*Реляция П. А. Румянцева Екатерине II
от 8 августа 1773 г. Лагерь при Разломице*

«Всевысочайшее и своеручное Вашего Императорского Величества от 18 июля, в котором благоугодно было по свойственному великой душе Вашей легкосердному образу покровительство и доверенность Вашу к ободрению моему подтвердить, я с глубочайшим благоговением 30-го того же месяца принять удостоился.

Чувствую, Всемилостивейшая Государыня, премного отрад от слов и милостей Ваших, но боль во мне душевная не может исчезнуть, с которой приступить я был принужден на обратный переход за Дунай, не находя возможности достигнуть больших предположений. Злословия недоброхотов избежать бы не можно, в которую бы пору не случилась обратная наша переправа, ибо твердой ноги своей мы там удержать не могли по неимению пропитания. Все, однако ж, и сам неприятель сознают, что мы перешли на свой берег не от силы нудящей, но быв победителями над его войсками, от нас троекратно разбитыми».

*Письмо Вольтера к Екатерине II
от 10 августа 1773 г.*

· «Я хотел бы спросить, где Фальконе-Фидий поставит статую Екатерины II, единой истинной Екатерины, — на одной из Дарданелл или в ат-Мейдане Стамбула?»

*Письмо Екатерины II Вольтеру
от 15 сентября 1773 г.*

«Г. Румянцев, вместо того чтобы утвердиться в ат-Мейдане Стамбула, по вашим желанием, счел нужным вернуться назад, потому что, как он говорит, ему нечем было пообедать в окрестностях Силистрии, а визирский котел был в Шумле. Это — дело возможное, но он должен был предвидеть по крайней мере, что мог обедать на авось».

*Письмо Екатерины II г-же Бьельке
от 7 июля 1773 г.*

«Вы, я думаю, знаете уже, что фельдмаршал Румянцев перешел Дунай, покривлявшись, как Цезарь при переходе Рубикона».

«Покривлявшись» — одно слово, но как точно расставляет оно все по своим местам в отношениях между Екатериной и Румянцевым.

* * *

11 ноября 1773 г. в Совете была оглашена депеша Зегеллина из Константинополя «об усматриваемой им из разговоров реис-эфендия возможности уступки Кинбурна, если Еникале и Керчь нами оставлены будут». С новой силой вспыхнули дискуссии. Панин ука-

звал, что Кинбурн в силу своего местонахождения у входа в днепровско-бугский лиман, может быть полезен «как для всегдашнего содержания на Черном море флотилии, так и для наведения в этой стороне торговли не токмо с турками, но и с Польшею». Орлов возражал, утверждая, что Кинбурн использовать в качестве морского порта невозможно.

«При Кинбурне нет не токмо пристани, но также отстоя по причине великих мелей, далеко в море и в залив распространившихся», — писал по этому поводу Обресков.

Вызывала сомнение также идея оставить Керчь и Еникале туркам. Это немедленно свело бы на нет пресловутую татарскую «вольность», которой добивалась русская дипломатия. Впрочем, и здесь стали звучать новые нотки. С ноября от Никиты Ивановича можно было слышать следующие высказывания о независимости татар:

— На совершенное татар от турков отделение потребно еще много времени и трудов.

— Отнюдь невозможно утвердить вдруг независимость татар.

Григорий Орлов же, выступая в Совете, заявил, что приобретение Кинбурна «не может не токмо заменить наши уступки туркам, но неже принести малую часть выгод». Допуская под влиянием настроения большинства членов Совета, что придется пожертвовать Керчью и Еникале, он предложил потребовать у турок, кроме Кинбурна, Очаков и «всю принадлежащую туркам между Днепром и Днестром землю и не допускать татар селиться в Бессарабии».

На это императрица заметила:

— Нечаятельно, чтобы турки согласились на отдачу Очакова.

Дискуссия затянулась. В итоге трехдневного обсуждения Екатерина «изволила повелеть, чтобы через прусского министра внушено было туркам, дабы они, вместо желаемого ими оставления нами татарам Еникале и Керчи, предоставили нам Очаков и Кинбурн».

Панин остался при особом мнении. 23 ноября он представил императрице докладную записку, в которой еще раз предложил ограничиться Кинбурном и не требовать Очакова. Он полагал, что Порта станет сговорчивее, если убедится, что русские не стремятся увеличивать свое влияние в Крыму.

— Татары, получая в свои руки все нынешние крепости на Крымском полуострове, могут сделаться через это совсем особливим и отдельным народом, — доказывал Никита Иванович.

Однако такое решительное изменение первоначальных условий мира не встретило одобрения Совета в ноябре 1773 г. Лишь в начале марта 1774 г. план Панина был принят Советом в качестве основы для дальнейших мирных переговоров.

Впрочем, это никого не удивляло: осень 1773 г. от весны 1774 г. отделяла целая эпоха. За шесть месяцев казачий бунт превратился в крупнейшую в русской истории крестьянскую войну. Пока главная армия Пугачева была прикована к Оренбургу, образовалось множество новых очагов восстания, имевших собственных руководителей. В декабре 1773 г. восстание полыхало уже в Оренбургской, Пермской и Симбирской губерниях; затем оно охватило всю Башкирию и подавляющую часть уральских заводов.

15 марта 1774 г. Бибииков просил в помощь опытного генерала Собирались послать Суворова, однако против этого решительно возражал Румянцев. Суворов нужен был на Дунае. Его откомандирование из действующей армии в самом начале новой военной кампании произвело бы невыгодное впечатление на противника, тем более что в Турции и без того уже распространялись известия о внутренних волнениях в России. Только значительно позже, в начале осени 1774 г., Суворов явится на Урал и примет самое деятельное участие в разгроме крестьянского восстания. Пока в Совете судили да рядили, Бибииков умер.

Тем временем восстание поднялось на еще более высокую ступень. Снятие осады с Оренбурга не ослабило, а усилило войска Пугачева. Везде, где они появлялись, в их ряды вливались новые массы крестьян. В мае 1774 г. Пугачев предпринял поход на Урал и овладел рядом крепостей в верхнеяицкой линии. Движение распространилось на запад и на север. При осаде Казани, начавшейся 28 июня 1774 г., армия Пугачева насчитывала в своих рядах 20 тысяч человек.

Екатерина решила сама возглавить действия по подавлению крестьянского восстания. В протоколах Совета от 21 июля 1774 г. значится такая запись: «Ее Императорское Величество изволили объявить намерение свое ехать в Москву, дабы в нынешних обстоятельствах сохранить там тишину своим присутствием».

В этот отчаянный момент Никита Иванович Панин, забыв прошлые обиды, оставив в сторону фрондерство и брюзжание, решительно заявил, что «такая поездка, увелича вне и внутри империи постоянную опасность более, нежели есть она еще в самом деле, может ободрить и умножить мятежников и повредить делам нашим при других дворах».

Под Казань отправился Петр Иванович Панин, вчера еще числившийся «вралем и персональным оскорбителем» императрицы. Исступленная, безграничная жестокость, проявленная им при подавлении восстания, — из песни слова не выкинешь — навсегда ляжет темным пятном на его память.

Вернемся, однако, к весне 1773 г.

Новые мирные условия Никита Иванович сформулировал следующим образом:

— Удовольствоваться получением вместо Еникале и Керчи Кинбурнской крепости, с тем чтоб и Порты оставила татарам все крепости в Крыму, на Тамани и на Кубани; согласиться на свободу мореплавания только для торговых судов, поскольку оные в случае нужды в военные всегда превращены быть могут.

Екатерина, еще недавно категорически требовавшая свободного плавания русских военных кораблей в Черном море, была вынуждена поддержать Панина. Совет, «рассуждая по тому, был во всем согласен». Впрочем, сдавать позиции следовало постепенно. Негоциаторам предписывалось настаивать на Очакове и Кинбурне и только в случае, если турки запрямятся, удовлетвориться одним Кинбурном.

К тому времени в Турции произошли важные перемены, укрепившие надежду на быстрое прекращение войны. В январе 1774 г. умер султан Мустафа III. На престол вступил его престарелый брат Абдул Хамид I, который провел всю жизнь во дворце и был совершенно не способен заниматься государственными делами. Управление государством попало в руки великого визиря Мохсен-заде, опытного и трезвого политика. Он не скрывал своего стремления закончить войну как можно скорее. Кроме реальной оценки соотношения сил им руководило и желание поскорее вернуться в Константинополь, чтобы предотвратить интриги в серале, которые угрожали его позициям.

Мохсен-заде добился от султана «полной мочи» на ведение мирных переговоров с Россией. По примеру Порты такими же полномочиями наделили и Румянцева. Рескрипт об этом был послан ему 14 февраля 1774 г.

Таким образом, вся полнота ответственности за исход мирных переговоров легла на плечи Петра Александровича Румянцева.

* * *

В военных делах Румянцеву советники не требовались, но по части дипломатической без опытного помощника обойтись ему было трудно. Поэтому он обратился к Обрескову, которого искренне считал автором уже составленного вчерне текста мирного договора и, употребляя его собственное выражение, «строителем всего дела».

«Язык и сердце мое не знают против вас двоякости, и я чужой труд, а тем меньше особы, которую привык почитать, нимало не хочу обращать в славу себе собственную», — писал Румянцев Обрескову 21 марта 1774 г.

Надо ли говорить, как огорчился Алексей Михайлович, узнав, что он фактически отстранен от ведения мирных переговоров. В письме к Панину он с горечью сообщал о том, что считал это тяжелой, незаслуженной обидой. В ответных письмах Никита Иванович уверял Обрескова, что назначение Румянцева состоялось лишь потому, что турки поручили вести переговоры великому визирю — главнокомандующему своей армией, а Петр Александрович — «человек, персоне которого в рассуждении турок составляет теперь репрезентацию всей нашей империи».

По всей видимости, дело обстояло именно так. Екатерина высоко ценила компетентность Обрескова, его умение общаться с турками, в полной мере проявившиеся как в Фокшанах, так и в Бухаресте. Однако обстоятельства требовали сосредоточить в руках Румянцева функции полководца и дипломата. Тут уж было не до личных обид, тем более что прошло совсем немного времени, прежде чем обоснованность такого решения стала для всех очевидна.

Полностью оправдались и предположения о том, что новый великий визирь будет «податлив» к требованиям скорейшего заключения мира: Мохсен-заде первый обратился к Румянцеву с предложением прекратить кровопролитную войну. Румянцеву, принявшемуся было отстаивать прежние русские требования, в конце апреля

пришлось изменить линию поведения. 12 апреля он получил от Панина уведомление о готовящемся новом рескрипте, а вскоре и сам рескрипт Екатерины от 10 апреля, в котором содержались последние кондиции, выработанные Советом.

Румянцев должен был договориться с великим визирем о сближении мест их пребывания, подписать прелиминарии, а затем, «не отписываясь сюда, уполномочить от себя в каком-либо месте особых комиссаров и велеть им без дальних отлагательств составить сам трактат по точной силе прелиминарных артикулов».

Читая полученные Румянцевым инструкции, Алексей Михайлович досадовал, что ему самому никогда не предоставлялась такая свобода рук. Понимал ли он, что настойчивое желание Совета как можно скорее выйти из состояния войны объяснялось необходимостью перебросить войска для подавления восстания Пугачева? Понимал ли, что положение Никиты Ивановича Панина изменилось? Трудно сказать наверное.

Во всяком случае, в решающий момент переговоров Обресков позволил чувству обиды заглушить голос разума. В марте — апреле Румянцев чуть ли не каждую неделю отписывал ему, советуясь по всем вопросам предстоявших переговоров. Он настойчиво приглашал Алексея Михайловича к себе в Яссы. Румянцев писал Обрескову: «Нужен мне совет Ваш как мужа, испытанием и искусством одаренного в сих делах, как друга моего».

Однако лишь 23 апреля, после получения новых инструкций из Петербурга, Обресков посетил ставку Румянцева. Совместно они «учредили» меморандум великому визирю, начав с «первой степени уступок», т. е. не предъявляя сразу тех последних кондиций, на которые следовало дать согласие только в крайнем случае. Уступая Керчь и Еникале татарам, Румянцев и Обресков требовали взамен «город Очаков с замками Кинбурном и Гаджибеем». В вопросе о предоставлении независимости Крымскому ханству они ограничились самой общей формулировкой: татары «в рассуждении Его Султанского Величества, якобы верховного калифа магометанского закона, имеют сообразоваться правилом закона, им предписанного». Согласились и с тем, чтобы Россия имела на Черном море только купеческие, а не военные корабли.

Меморандум заканчивался напоминанием о том, что русские войска находятся в более выгодной «локальной» позиции. Несмотря на это, великий визирь вновь категорически отверг русские условия мира.

Так Мохсен-заде совершил ошибку.

В начале мая 1774 г. отдельные части русских войск перешли Дунай. Корпус генерал-полковника Каменского встал у Карасу, корпус Суворова — у Гирсова: за Дунаем было много укреплений, которые упорно защищали турки. Планируя предстоящую кампанию, Румянцев считал необходимым избегать войны. В противоположность мнению Совета, полагавшего главной задачей взятие Варны и Силистрии, он был убежден, что турецкие гарнизоны в них могут выдержать длительную осаду, и поэтому стремился к разобщению турецких частей, их последующему окруже-

нию и разгрому. Выманить турецкие гарнизоны из занимаемых ими крепостей и разбить в открытом поле — задача, которую поставил Румянцев Суворову, Каменскому и другим генералам первой армии.

Петр Александрович был уверен в скором успехе военных действий. 15 мая он писал Обрескову:

«Прошу Вас, вселюбезный мой друг, сколько можно поспешить сюда Вашим приездом, взяв с собою чинов Вашей канцелярии; ибо нужно нам, пройдя общим рассуждением предложения с турецкой стороны, учинить отповедь верховному визирю, основываясь на последних предписаниях, которые от двора я имею».

Однако Обресков почему-то медлил с приездом. Вряд ли мог он предполагать, что в начале июня разлившийся от весеннего паводка Дунай встанет между ним и ставкой Румянцева непреодолимой преградой.

2 июня Каменский взял Базарджик, важный стратегический пункт, откуда турки вели наблюдение за всеми движениями русских войск на нижнем Дунае. Румянцев с главной армией переправился через Дунай и двинулся по направлению к Шумле.

К Базарджику навстречу Каменскому было послано визирем 40-тысячное войско под командованием Абдур-Резака, переменившего полномочия дипломата на функции военачальника. Корпус Суворова, который соединился с войсками Каменского, шел в авангарде по направлению к Козлуджи. На узкой лесной дороге он столкнулся с турецким авангардом. После двухчасового упорного боя русский авангард очистил лес от турок. Части Суворова вышли на поляну перед Козлуджи. Здесь на высотах располагались основные силы турок. Хотя русский корпус насчитывал всего 8 тысяч человек, Суворов начал наступление. Вслед за обстрелом турецкого лагеря из полевых орудий пехота и конница решительно атаковали высоты, занятые противником. Турки обратились в бегство.

9 июня 1774 г. в битве при Козлуджи турки понесли огромные потери. В Шумле при визире оставалось не более тысячи человек. Румянцев понимал, что нужно скорее наступать на Шумлу, чтобы не дать визирю возможности собрать разбитые части своей армии. 17 июня русские войска были уже в пяти верстах от Шумлы, а отдельные части действовали за Балканами.

20 июня визирю пришлось отправить Румянцеву послание с предложением о перемирии. Он также просил «прислать верную и знатную особу, дабы договариваться с оной о мире».

Ответ Румянцева вошел в историю.

«О конгрессе, а еще менее о перемирии, я не могу и не хочу слышать, — писал он. — Ваше Сиятельство знает нашу последнюю волю: если хотите мириться, пришлите полномочных, чтобы заключить, а не трактовать главнейшие артикулы, о коих уж столь много толковано было. Доколе сии главнейшие артикулы не утверждены будут, действия оружия никак не престанут».

Мохсен-заде ничего не оставалось, как направить в главную квартиру русской армии двух послов, уполномоченных вести мир-

ные переговоры. Первым из них был назначен видный турецкий дипломат и публицист нишанджи Ресми Ахмед-эфенди, вторым — реис-эфенди Ибрагим-Нюниб.

* * *

4 июля турецкие уполномоченные прибыли в деревню Бюйюк-Кайнарджи, отстоявшую в трех-четыре верстах от деревни Кючук-Кайнарджи, где находилась ставка Румянцева. Встречать их Петр Александрович отрядил полковника Х. И. Петерсона, приобретшего репутацию знатока дипломатического протокола, и эскадрон карабинеров под командованием майора князя Кекуатова.

В девятом часу утра Петерсон появился в турецкой ставке. Узнав, что Румянцев ожидает их в Кючук-Кайнарджи, турки безропотно согласились провести переговоры в штаб-квартире главнокомандующего русской армией.

С самого начала стремясь подчеркнуть деловой характер предстоявших переговоров, Петерсон объявил:

— Его Сиятельство граф Петр Александрович предлагает избегать всех министеральных излишеств этикета, в военных лагерях не приличествующих.

Турки не упорствовали. Согласились они и с требованием оставить при себе минимальное количество охраны и прислуги; Ресми Ахмед-эфенди — 21 официанта, 12 чегодарей и 40 слуг, при реис-эфенди осталось 10 официантов, 10 камердинеров, 10 чегодарей и 30 слуг; при бейлегчи-эфенди — 5 чегодарей и 15 слуг.

Все было готово, и чауши, как было принято у турок, громко прокричали, что послы отправляются в путь. В виду русского лагеря процессия остановилась, нишанджи-эфенди и реис-эфенди вышли, умылись и переменили платье. Появиться в каретах в русском лагере Петерсон не позволил. Последние пятьдесят шагов, оставшихся до передовых постов ставки Румянцева, послы проделали пешком. У входа в палатку Румянцева их ожидал генерал-поручик Николай Васильевич Репнин. Отдав приветствие, он подвел послов к фельдмаршалу. Турецких дипломатов пригласили к столу, который уже был сервирован кофе и сладостями.

Лишь после этого приступили к переговорам. Продолжались они с 11 часов утра до двух часов пополудни.

Румянцев не без основания считал, что подавляющее военное преимущество, достигнутое русской армией, позволяет ему не особенно церемониться в выражениях. Он не скрывал от турецких послов, что не намерен откладывать начатого продвижения к ставке великого визиря в Шумле, и изъявил согласие вести переговоры при условии, что мирный договор будет подписан не позднее чем через пять дней, т. е. 10 июля.

Эта дата была выбрана не случайно. 10 июля исполнялась годовщина несчастного Прутского мира, память о котором Румянцев готовился окончательно перечеркнуть выгодным для России новым договором.

Туркам ничего не оставалось, как согласиться на предъявленный ультиматум.

На следующий день переговоры продолжились. Конференц-зал, в котором они проходили, находился в особом павильоне, разбитом слева от штабной палатки Румянцева. Там за столом, покрытым красным сукном, сидели Николай Васильевич Репнин, уполномоченный Румянцевым вести переговоры с турками, по обеим сторонам его — турецкие послы. За спиной нишанджи-эфенди примостился бейлегчи-эфенди. Несколько в стороне расположились на табуретках граф Семен Романович Воронцов, назначенный для участия в переговорах по своему знанию итальянского языка, и полковник Петр Васильевич Завадовский, употреблявшийся по канцелярской части. Имелся также столик для секретарей, которым было поручено вести протокол заседания.

Первые полтора часа переговоры вел Румянцев, затем его сменил Репнин. Уже к вечеру 6 июля удалось договориться по всем основным вопросам. Пока Петр Александрович диктовал письмо великому визирю, сопровождающее согласованный текст мирного договора, нишанджи- и реис-эфенди прямо в конференц-зале, на коврике, разостланном секретарями, сотворили предписанную Кораном благодарственную молитву.

В ночь на 7 июля к великому визирю отправили курьера с депешами о достигнутых результатах. В письме великому визирю Румянцев следующим образом перечислил прелиминарные пункты подготовленного к подписанию договора: татарская независимость утверждалась в том виде, как это было сформулировано в соответствующем разделе русских предложений; Россия получала Керчь, Еникале и Кинбурн вместе с участком между Бугом и Днепром; все остальные крепости «в Крыму, на Кубани и на Таманском полуострове и прочие земли», бывшие владения Крымского ханства, оставались татарам. О торговле по Черному и Средиземному морям и по Дунаю говорилось в общей форме: «взаимным образом они дозволены обеим империям». Турция обязывалась уплатить России четыре с половиной миллиона рублей контрибуции.

Со своей стороны, Россия соглашалась вернуть Порте город Очаков «с древним его уездом», Бессарабию, Молдавию и Валахию, все острова в Архипелаге, выговорив для их жителей свободное отправление веры, облегчение в податях и сохранение привилегий. Было условлено, что 28 артикулов, согласованных Обресковым на Бухарестском конгрессе, утверждались без дальнейших переговоров.

По существу, письмо Румянцева являлось ультиматумом визирю, поставленному на грань военной катастрофы. Об этом недвусмысленно свидетельствовала следующая приписка: «Как только от Вашего Сиятельства я получу надлежащие благопризнания на мирные артикулы, Вашими полномочными установленные, то в ту же минуту и корпусу генерал-поручика Каменского и в других частях прикажу удержать оружие и отойти из настоящего положения».

В тот же день Румянцев устроил обед для турецких послов. Накануне по его приказанию в русский лагерь был доставлен турецкий повар для приготовления привычных для послов кушаний.

Перед тем как сесть за стол, Петр Александрович позволил себе сделать дружественный жест по отношению к бывшему реис-эфенди Абдур-Резаку, представлявшему Турцию на Бухарестском и Фокшанском конгрессах. Он объявил об освобождении и передаче туркам слуги Абдур-Резака, взятого в плен под Козлуджи.

Обед был сервирован в столовой Румянцева. По левую руку от фельдмаршала сидел Репнин, по правую — принц Гессен Дармштадтский. Турки расположились на противоположной стороне стола. Тихо играла полковая музыка, звякали серебряные приборы о фарфор тарелок. Турки, как отметил Петерсон, «вели себя смиренно, воздержанно и умеренно, показывая почтение к особе Румянцева».

Для турецкого драгомана, по чину не имевшего права обедать вместе с послами, был сервирован стол в палатке Воронцова. Там же находился и Мельников, служивший переводчиком Репнину.

Ровно через час после начала обеда Петр Александрович встал из-за стола и пригласил послов в конференц-зал, где за кофе, явно стремясь сделать фельдмаршалу приятное, они попросили его представить им сына, Михаила, о котором они были «премного наслышаны».

На следующий день в восьмом часу утра Михаил Петрович Румянцев со свитой посетил турецкий лагерь. Он был принят со строгим соблюдением всех тонкостей турецкого этикета. Табак, сладости и кофе сменяли друг друга в палатке нишанджи-эфенди. Не обошлось и без обязательных в таких случаях подарков. От Ресми-Ахмед-эфенди сыну фельдмаршала преподнесли чистокровного турецкого жеребца, а реис-эфенди подарил ему богато вышитые турецкие шелка.

Затем началось окончательное оформление текста мирного договора. Послы трудились до пяти часов вечера. Секретари и драгоманы засиделись допоздна, перебеливая переведенные экземпляры. Грек Ман, турецкий переводчик, к концу дня едва держал в руке перо.

Наконец наступил решительный день — 10 июля. В седьмом часу утра из ставки великого визиря вернулись курьеры.

В своем ответе великий визирь пробовал возражать против передачи татарам крепости на Таманском полуострове и на Кубани. Однако требование это не было категоричным. Условия мира диктовал Румянцев. У турок надежды на удачный исход войны не оставалось. Отборные турецкие войска были разбиты при Козлуджи, а рассчитывать на подкрепление не приходилось. Считавшиеся неприступными турецкие крепости Силистрия, Руцук и Шумла блокировались русскими войсками. Сообщение между ними было прервано. С часу на час следовало ожидать штурма Шумлы корпусом Каменского, что было чревато личной опасностью для находившегося в крепости великого визиря.

Ознакомившись с полученными депешами, турки, «посылав неоднократно к Его Сиятельству своего драгомана, ходили потом и сами в его ставку». Однако Румянцев оставался тверд и ни в чем не отступил от изложенных им требований.

В 7 часов вечера мирный договор с русской стороны подписали Н. В. Репнин, с турецкой — Ресми Ахмед-эфенди и Ибрагим-Ню-

ниб. Включенная дополнительно статья договора предусматривала, что Румянцев и великий визирь должны утвердить статьи мирного договора. Разменять подписанные экземпляры договора предстояло не позднее чем через пять дней с момента их подписания.

Курьер с подписанным Репниным текстом договора отправился в ставку великого визиря вечером 10 июля. Немедленно после этого русский лагерь покинули сын Румянцева Михаил Петрович с майором Гаврилой Гагариным, отправленные в Петербург с известием о заключении мира.

В рапорте на имя Екатерины от 11 июля 1774 г. Румянцев писал: «От самого войны начала предводя оружие, мне вверенное против неприятеля, имел счастье силою оного одержать и мир ныне». Описывая ход мирных переговоров, он заметил: «От меня взяты были к одержанию того кратчайшие способы, сходствуя к положению оружия». Еще более четко выразил свою мысль Румянцев в депеше от 17 июля: «Подписание мира свершилось без всяких обрядов министеральных, а единственно скорою ухваткою военною, соответствуя положению оружия, с одной стороны, превозмогающего, а с другой — до крайности утесненного».

11 и 12 июля послы отдыхали от трудов в своем лагере.

13 июля в одиннадцатом часу утра турецкие послы приехали к Румянцеву. В конференц-зале Петр Александрович представил им прибывшего накануне Обрескова. Более трех часов провели «в разговорах партикулярных».

На следующий день послы вновь собрались в ставке Румянцева. Навстречу им был выслан эскадрон сумских гусар, встретивший турок за двести шагов от лагеря. В Кючук-Кайнарджи вступили под барабанный бой. Караульные офицеры «учиняли послам приличную салютацию».

В палатке Репнина турки провели некоторое время в разговорах с Обресковым и генерал-майором Муромцевым, а затем отправились в конференц-зал, где была совершена ратификация мирного договора Румянцевым. Нишанджи-эфенди вручил грамоты, извещавшие войска о заключении мира и запрещавшие продолжать военные действия, девяти чегодарям, отряженным специально для этой цели.

В четвертом часу пополудни послов принял Румянцев, и они поднесли ему подписанную великим визирем копию мирного договора на турецком языке. Румянцев, поздравив их, вручил свою. Экземпляр договора на итальянском языке был передан Румянцеву Воронцовым, а на русском — Завадовским. Приняв их, Румянцев отдал оба документа турецким послам. В тот же миг по знаку Петерсона начался салют из 101 залпа.

* * *

23 июня Михаил Румянцев и князь Гагарин, направленные с известием о заключении мирного договора, добрались до Петербурга. Екатерина и двор находились в Ораниенбауме. «Вчерашний день здесь у меня ужинал весь дипломатический корпус, — писала импе-

ратрица А. Г. Орлову 28 июля 1774 г., — любо было смотреть, какие были рожи у друзей и не друзей». С послом в Варшаве бароном Штакельбергом императрица была еще более откровенна: «Я видела в Ораниенбауме весь дипломатический корпус и заметила искреннюю радость в одном английском и датском министрах; в австрийском и прусском менее. Ваш друг Браницкий смотрел сентябрем; Гишпания ужасалась; Франция, печальная, безмолвная, ходила одна, сложив руки; Швеция не может ни спать, ни есть. Впрочем, мы были скромны в рассуждении их и не сказали им почти ни слова о мире; да и какая нужда говорить об нем? Он сам за себя говорит».

Действительно, Румянцев заключил мир на значительно более выгодных условиях, чем ожидали в Европе. Приобретение Керчи и Еникале не только лишало возможности Турцию восстановить свои позиции в Крыму, но и позволяло России решить задачу построения собственного военного Черноморского флота. В этом смысле было важно, что в отличие от Белградского договора в Кючук-Кайнарджийском мирном трактате не содержалось запрета или ограничения на строительство и плавание русских военных кораблей в Черном море. Распространение же на черноморское судоходство России тех прав, которыми пользовались в Средиземном море Англия и Франция, означало косвенное признание права на неограниченное мореплавание в Черном море.

Екатерина ратифицировала мирный трактат уже 11 августа, всего через три дня после того, как князь Н. В. Репнин привез в Петербург его текст, скрепленный подписями П. А. Румянцева и великого визиря. К этому Екатерину побуждали и внутренние дела: одновременно с известием об успешном окончании Румянцевым переговоров с турками в Петербург пришло сообщение, что Пугачев начал осаду Казани.

Султан Абдул Хамид I был настолько удручен невыгодным для Турции мирным договором с Россией, что скрывал его содержание и от собственного народа, и от послов иностранных держав, аккредитованных в Константинополе. Великий визирь Мохсен-заде, скрепивший своей подписью текст договора, умер через несколько дней после его подписания. Ресми-эфенди, опасаясь сурового наказания, предпочел не возвращаться в Константинополь. Муфтий, одобривший своей фетвой подписание Кючук-Кайнарджийского мира, был вынужден расстаться с постом.

Турки не только не спешили с ратификацией мирного трактата, но и сразу же после его подписания предприняли ряд действий, которые шли вразрез с его содержанием. В июле 1774 г. на побережье Крыма высадился турецкий сераскер Али-бей с крупным отрядом. Хан Сахиб-Гирей, раболепствовавший перед Портой, поспешил выдать ему Веселицкого, русского резидента в Бахчисарае. Только после затянувшихся более чем на год переговоров, а затем и введения русских войск в Перекоп удалось заставить турок и крымцев соблюдать условия мирного договора.

Христофор Иванович Петерсон, направленный в сентябре 1774 г. в Константинополь в качестве русского поверенного в делах,

жаловался, что турки «проволакивают» обмен ратификационными грамотами, стремясь оттянуть вступление договора в силу.

Не успел еще новый визирь, Иззад-Мехмед, с остатками армии дойти до Константинополя, как Порта обратилась через Зегеллина к прусскому королю с просьбой посредничать в смягчении условий Кючук-Кайнарджийского мира. Об этом же хлопотали и послы Австрии, Франции, Англии, опасавшиеся роста военно-политического могущества России.

Румянцев, к которому великий визирь обратился с письмом с просьбой о пересмотре договора, не только категорически отверг притязания турок, но и потребовал его немедленной ратификации. Действия Румянцева были полностью поддержаны в Петербурге. Для Екатерины и членов Совета не составляло секрета, что внутренние и внешние дела Турции осенью 1774 г. серьезно осложнились. Австрийские войска неожиданно оккупировали северную область Молдавии — Буковину с городами Черновцы и Сучава. Напряженное положение сложилось на границе Турции с Персией. Непросто все складывалось и внутри страны, где настроения недовольства и разочарования военными поражениями султанской армии становились все сильнее.

Лишь в конце октября Петерсон согласовал с реис-эфенди форму ратификации договора султаном. Одновременно турки подтвердили свое намерение как можно скорее завершить эвакуацию войск из Крыма, передать крепость Кинбурн России и начать выплату контрибуции.

13 января 1775 г. Петерсон и великий визирь Дервиш Мухаммед-паша произвели в Константинополе размен ратификационных грамот Кючук-Кайнарджийского мира. Через три месяца, 19 марта 1775 г., был опубликован манифест Екатерины, в котором «для всерадостного торжествования мира с Оттоманской Портой по всей Российской империи был назначен десятый день июля месяца 1775 г.».

Празднование состоялось в Москве. Накануне знаменательного дня, в четверг, Екатерина отстояла всюнощную в кремлевском Успенском соборе. После того как императрица приложилась к ризе Господней, преосвященный Гавриил, архиепископ Санкт-Петербургский и Новгородский, помазал ее мирром. В память о торжественном для России дне императрица пожертвовала в патриаршую ризницу золотые потир и дискос, украшенные бриллиантами.

В 6 часов утра 19 июля по пушечному сигналу гвардия и полевые полки заняли улицы, ведущие к Успенскому собору от Пречистенского дворца, где остановились Екатерина и великокняжеская чета. Со всех концов первопрестольной празднично одетые толпы валили к Кремлю. Полиция удвоила рогаточные караулы на улицах, ведь ровно полгода назад, 10 января, покатались с плахи головы мужицкого царя Емельяна Пугачева и четырех его товарищей, и московский полицмейстер князь Волконский счел, что лишние предосторожности не повредят.

В 10 часов утра Екатерина в императорской мантии и малой короне, предшествуемая герольдами и церемониймейстерами, просле-

довала в Успенский собор. Пурпурный балдахин с золотыми кистями над головой императрицы поддерживали четыре генерал-майора и восемь генерал-поручиков. Шлейф мантии несли шесть кавалергардов в красных с золотом мундирах и в серебряных шлемах со страусовыми перьями. По левую руку от императрицы шел генерал-фельдмаршал П. А. Румянцев в парадной форме, по правую, чуть впереди, — дежурный генерал-адъютант. В свите находились также чины первых пяти классов, соперничавшие друг с другом покроем богатых, подражавших французским и прусским образцам придворных костюмов, разноцветными орденскими лентами, причудливой игрой сверкавших на солнце бриллиантов.

Когда пышная процессия вступила на Ивановскую площадь, на колокольне Ивана Великого гулко ударил большой колокол. По его сигналу все сорок сороков московских церквей рассыпались разноголосым праздничным благовестом.

У входа в Успенский собор Екатерину встретило духовенство, облаченное в праздничные одежды.

После службы тем же порядком проследовали в Грановитую палату, где состоялась торжественная церемония награждения персон, отличившихся во время войны.

Екатерина с двумя орденскими лентами через плечо восседала на троне, поставленном на небольшом возвышении. Слева от трона на небольшом столике покоились скипетр и держава. Справа лежали покрытые парчой награды. Место за тронем заняли четыре генерал-фельдмаршала и генерал-прокурор Вяземский.

Речь Вяземского, обращенная к Екатерине, была длинна и высокопарна. Екатерина слушала вполуха, ее задумчивый взгляд скользил по украшавшим стены Грановитой палаты древним фрескам, изображавшим историю Прекрасного Иосифа.

— Гремящею во все концы земли побед твоих славою возвеличенная, — чеканил между тем Вяземский, — в пределах своих распространенная и приятнейшими полезного мира плодами наслаждающаяся Россия, представая к престолу твоему, приносит тебе жертвенный дар благодарности за матернее о ней попечение...

Среди придворных в Грановитой палате находился и Обресков — чин тайного советника давал ему на это право. Слова Вяземского докатывались до того отдаленного места, где он стоял с прочими членами Коллегии иностранных дел, словно бы волнами и порой казались невнятными...

— Твои, великая государыня, наставления и примеры...

— Твое матернее сердце...

— Матернее твое о безопасности нашей попечение...

— И мы матернего нас помысла твоего достойными быть научились...

«Экая дубина, — невольно подумалось Алексею Михайловичу, — матернее да матернее, заклинило его с этим словоблудием».

От высочайшего имени Вяземскому кратко отвечивал вице-канцлер граф Остерман. Затем действительный тайный советник Олсуфьев читал роспись о милостях и награждениях, которые Ее

Императорское Величество по случаю счастливого окончания войны с Турцией пожаловать изволили.

Фельдмаршал князь Голицын «за очищение Молдавии» был награжден шпагой с алмазами и серебряным сервизом.

Румянцев, главный герой войны, получил «похвальную грамоту с прописанием его службы в прошедшую войну», украшенную бриллиантами булаву, символ высшей воинской власти, шпагу с золотым эфесом, лавровый венец за одержание победы и масличную ветвь за подписание мира. Кроме того, Петру Александровичу были пожалованы знаки ордена Андрея Первозванного, специально отчеканенная в честь Кючук-Кайнарджийского мира медаль «в назидаение потомству и для увеселения его», 5 тысяч душ в Белоруссии, 100 тысяч деньгами, драгоценные картины и серебряный сервиз на устройство дома.

Остальным вышли награды поскромнее.

Петр Иванович Панин удостоился грамоты «за усердие при утешении бывшего внутреннего бунта», ордена Андрея Первозванного, золотой шпаги да 60 тысяч деньгами.

Такие же знаки милости были пожалованы В. И. Долгорукому и А. Г. Орлову, которому сверх того в память о славной морской победе было дано право называться Орловым-Чесменским.

В длинном реестре награжденных значились десятки фамилий. Казалось, никто не был обойден монаршим вниманием. Князь Александр Вяземский, кланяясь, униженно благодарил за пожалованные ему 2 тысячи душ в новоприобретенных белорусских губерниях. Вслед за Потемкиным, удостоенным наградной шпаги и портрета императрицы, осыпанного бриллиантами, к императрице легкой, подпрыгивающей походкой приблизился герой Измаила генерал-поручик Александр Суворов, получивший из ее рук шпагу с украшенным алмазами эфесом. Один за другим у трона появлялись Щербинин и Петерсон, Остерман и Голицын. Не были забыты и чины Коллегии иностранных дел — братья Бакунины, переводчики Петр Курбатов и Лев Никитин.

В списке награжденных отсутствовало лишь два имени: Никиты Ивановича Панина и Алексея Михайловича Обрескова.

* * *

Праздничные торжества продолжались две недели и устроены были с невиданным размахом. Народ поили, кормили и увеселяли так, будто хотели утопить в хмельном загульном угаре воспоминания не только о шести тяжелых военных годах, но и о тех недалеких еще днях, когда на Москву из-за Волги повеяло свежим ветром вольности и громы пугачевских пушек будоражили слободской и фабричный люд, заставляли ежиться обитателей дворцов и помещичьих усадеб.

На улицы и площади города выкатывали бочонки с вином и водкой, на огромных вертелах, вращавшихся над тлеющими углями, дымились туши жареных быков. Бухарцы с длинными шестами ходили по натянутым над улицами канатам, сбивенщики и много-

численные торговцы разнообразным товаром веселыми криками зывали покупателей. Григорий Александрович Потемкин каждый вечер ездил среди гуляющего, орущего и пьющего народа в дворцовой карете и горстями бросал в толпу серебряные и медные монеты. Каждому, стоявшему в строю в местах народных гуляний, пожаловали по памявному жетону.

Петр Борисович Шереметев был удостоен чести принимать императрицу в своем подмосковном имении Кусково. На устроченный им с баснословной пышностью маскарад съехалась вся Москва. Старая Рязанская дорога от Таганского холма до Кускова была иллюминирована масляными фонарями.

Вечерами небо расцветивалось фейерверками. На Ходынском поле, украшенном построенными по проекту Михаила Казакова павильонами, гудела огромная ярмарка. Нескончаемой чередой шли маскарады, в которых участвовали тысячи приглашенных и просто любопытствующих. Надолго запомнилось московским обывателям грандиозное представление взятия русскими войсками Азовской крепости и сражение военных кораблей, устроенное на Москве-реке.

В те дни на улицах Москвы можно было видеть сурового вида вельможу в придворном кафтане с пурпурной Анненской лентой через плечо. Однако мало кто знал, что этому человеку — Алексею Михайловичу Обрескову — Россия в немалой степени обязана днем своего торжества.

Нетрудно представить, как глубоко была уязвлена гордость Алексея Михайловича, обойденного при праздновании чинами и наградами. Однако несравненно более обидным оказалось то, что во главе торжественного посольства, которому было поручено вручить султану ратификационную грамоту Кючук-Кайнарджийского мира, назначили князя Н. В. Репнина.

2 июля 1775 г. у Хотина на специально построенном посредине Днестра плоту состоялся «размен» послов. Сопровождавший Репнина генерал-аншеф Воейков «вручил посла, взяв его правою рукою», хотинскому наместнику Мехмед-паше. Тот, со своей стороны, вручил Воейкову посла турецкого — требунчужного пашу беглер-бея Румелийского Абдул Керима. Под звуки пушечной пальбы и сто-кратные залпы ружей послы сели в приготовленные для них барки и направились к противоположным берегам Днестра.

1 декабря 1775 г. Н. В. Репнин торжественно передал султану Абдул-Хамиду I грамоту Екатерины, в которой она ратифицировала Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

Двумя неделями позже в московском Пречистенском дворце состоялась торжественная церемония «отпуска» на родину турецкого посла Абдул-Керима. День этот стал памятным для Алексея Михайловича. Обряд приема посла императрицей он расписал собственноручно, тщательно скопировав его с церемониала, принятого в Константинополе. Около полудня генерал-аншеф и разных орденов кавалер граф Яков Александрович Брюс, назначенный для препровождения посла, прибыл в дворцовой карете в резиденцию Абдул-Керима. Караул, стоявший во дворе, отдал Брюсу честь ружьями.

Посол встретил графа у лестницы и провел в комнату, где был сервирован чай. Проходя по посольским апартаментам, Брюс зорко следил за тем, чтобы держаться справа от посла, как наставлял его Алексей Михайлович.

Расположившись, Брюс объявил Абдул-Кериму, что прислан сопровождать его на высочайшую аудиенцию. Посол изъявил благодарность. Принесли трубки, кофе и шербет. Слуга-турок, поминутно кланяясь, опрыскал гостя розовой водой и окурил благовониями.

Точно в рассчитанный срок явился офицер. Он доложил, что все готово к торжественному маршу.

Собралась толпа народа поглазеть на диковинное зрелище, которое представлял собой посольский кортеж. Его возглавляла рота конной гвардии с обнаженными палашами, штандартами, трубами и литаврами. Затем следовали разные лица посольской свиты, верхом по два. Унтер-шталмейстер и двое конюших вели под уздцы заводских посольских лошадей в богатых уборах. Карета графа Брюса была окружена обер-офицерами конной гвардии. За ней в турецких экипажах ехали главные лица посольской свиты: наифи-эфенди, кягая-бей, диван-эфенди и казандар-ага. Далее в дворцовой карете следовали посол и граф Брюс, предшествоваемые шестью конюхами, четырьмя скороходами и двумя дюжинами лакеев в дворцовых ливреях. По бокам кареты шли четыре гайдука и 27 чегодарей в чалмах, шароварах и длинных платьях, опоясанных кривыми турецкими саблями. В толпе придворных и кавалергардов, замыкавших пышную процессию, выделялся своей высокой собольей шапкой драгоман Порты Караджа. Он ехал верхом.

У дворца посла встретил караул из двух рот гренадеров лейб-гвардии с музыкой и барабанным боем. Здесь церемониймейстер Алексей Иванович Мусин-Пушкин представил послу ожидавшего его тайного советника Алексея Михайловича Обрескова, которого сопровождали камер-юнкеры Квашнин-Самарин и Александр Долгорукий.

В «светлицу отдохновения», устроенную наподобие турецкой, посла препроводил обер-церемониймейстер Матвей Федорович Кашталицкий. Ожидание не без умысла затянулось — Абдул-Кериму напоминали о долгих часах, проведенных русскими послами в ожидании аудиенции у султана. Алексей Михайлович потчевал посла конфетами и кофе. Наконец вернулся Нарышкин, удалявшийся известить императрицу о прибытии посла.

Екатерина встретила Абдул-Керима в аудиенц-зале, сидя на троне под балконом. На голове ее была малая корона. За тронном находились обер-шенк Александр Нарышкин и вице-канцлер Голицын.

Слева от трона стояли недавно «вошедший в случай» генерал-адъютант, Военной коллегии вице-президент и разных орденов кавалер Григорий Александрович Потемкин. Далее расположились придворные, одетые в парадные платья фрейлины и иностранные послы.

По знаку, данному Нарышкиным, Обресков и Мусин-Пушкин провели турецкого посла в приемный зал, придерживая его за обе

руки. За ними мелкими шажками двигались наифи-эфенди, кягая-бей, диван-эфенди, казандар-ага и Караджа.

Первый поклон Абдул-Керим сделал возле дверей, в середине зала — второй, а подойдя к трону и остановившись на некотором от него расстоянии — третий.

Речь посол произносил по-турецки. Генерал-рекетмейстер Николай Иванович Маслов читал с листа перевод.

— Нынешний глава престола султанской столицы, освятитель короны великолепного престола, государь двух земель и морей, хранитель двух священных храмов, светлейший и величайший государь, достоинством царь царей, прибежище света, султан Абдул-Хамид, сын султана Ахмеда, просит позволения его послу удалиться из пределов Российской империи.

Вице-канцлер Иван Андреевич Остерман прочитал ответ императрицы, в котором она обязывалась «утверждать счастливо восстановленное между империями тесное согласие на основании священных обязательств блаженного мира».

Затем послу была прочитана отпускная грамота. Обернутый в золотую парчу экземпляр мирного договора с подписью Екатерины посол принял обеими руками и принялся пятиться от трона, кланяясь в тех же местах, что и при входе. Обресков и Мусин-Пушкин, стоявшие рядом с послом во все время аудиенции, крепко держали его под руки.

На следующий день турецкий посол отправился в обратный путь.

* * *

Рождество 1775 г. Обресков решил провести в Москве. За детей он был спокоен: Петр начал службу в Преображенском полку, Михаил и Иван были определены в Сухопутный кадетский корпус, Катенька училась в Смольном институте. Никита Иванович последнее время подолгу болел. На заседаниях Коллегии иностранных дел, на которых Алексею Михайловичу приходилось постоянно присутствовать, у него все чаще случались столкновения с Остерманом и Бакуниным. Последний день ото дня набирал силу. Задержаться в Москве Алексея Михайловича побуждали и личные дела. Весной 1775 г. он познакомился и близко сошелся с Варварой Андреевной, дочерью генерал-майора Андрея Егоровича Фаминцина. Стал думать о женитьбе.

Под вечер 25 декабря в прихожей дома Обрескова на Пречистенке появился посетитель, одежда которого выдавала в нем лицо духовного звания. Вызванный швейцаром дворецкий Федор Долгий признал в нем отца Леонтия. Товарищи по турецкому плену обнялись без церемоний.

В Москву Леонтия привело овладевшее им с недавних пор страстное желание вновь попасть в Турцию. По возвращении из Константинополя он жил в Киеве, в Лавре, где ему по прошению Обрескова предоставили приличную квартиру. Жизнь монашеской обители Леонтию на первых порах очень понравилась. Свободно вла-

дея разговорным итальянским и греческим языками, он занялся преподаванием, что приносило вполне сносный заработок. Кормился из общего котла, в трапезной, с домашними делами забот не знал — их выполнял приставленный к нему послушник Ирадион. Через полгода, правда, Леонтий сменил его по причине крайней глупости и лени. Новый послушник, малороссиянин по имени Иван Башмак, был сметливым и услужливым парнем.

В Лавре Леонтий, любивший занимать монахов рассказами о Святой земле, быстро сделался популярной фигурой. Его самолюбие льстило, что он был принят не только в апартаментах игумена, но и в доме киевского генерал-губернатора Воейкова, супруга которого, Елена Петровна, была набожной и любознательной женщиной.

Долгие часы проводил он в знаменитой библиотеке Лавры, где зимой 1773 г. ему и пришла в голову мысль заняться переводом греческих пьес и латинских сонетов. До весны он терпеливо трудился над переводом пухлой книги под названием «Политический театр». Закончив перевод, он отдал переписать его набело Ивану Башмаку, а затем показал одному из самых уважаемых лаврских старцев — Гавриилу-типографу. Гавриил перевод похвалил, но сказал, что он уже был переведен с латинского оригинала Иоанном Максимовичем, епископом Черниговским. Посетовав на судьбу, Леонтий утешился, погрузившись в чтение многочисленных журналов и альманахов, которые во множестве появились в Москве и Петербурге в годы его странствований по чужим краям.

Обзаведясь в Лавре полезными знакомствами, Леонтий весной 1773 г., на Пасху, когда киевский митрополит удостоил Лавру своим посещением, рискнул обратиться к нему, надеясь уладить старые неурядицы с консисторией.

В спальне митрополита, куда он был допущен по протекции отца Гавриила, Леонтий долго и путано объяснял, что выехал за границу из Полтавского Крестовоздвиженского монастыря с паспортом и поручением разыскать и вернуть в Россию двух беглых монахов. Особенно напирал он на то, что поручение, данное ему монастырским игуменом, исправил успешно, а паломничество в Иерусалим и к Гробу Господню решил совершить по данному в юности обету. Объясняя свои обстоятельства, он сетовал на то, что сопровождавший его в странствиях послушник Наркисс, служивший, как он выяснил, в Миропольском монастыре, отправился за границу без паспорта, а он, Леонтий, с паспортом, но до сих пор еще числится в консистории в беглых монахах.

Митрополит, выслушал Леонтия, воздел руки вверх и крикнул за ширму, которая разгораживала спальню на две части: «Отец Исая, он же выехал с паспортом, а Наркисс — без паспорта. Ну так Боже его благослови, да и делу конец!»

Отец Исая пробурчал из-за ширмы что-то невнятное. Тогда митрополит повернулся к Леонтию и сказал:

— Зимой виделся с господином Обресковым, который отзывался о тебе недурно. Если есть на то твое желание, напишу о тебе владыке, и возвращайся с Богом в Константинополь.

Со слезами радости Леонтий бросился в ноги к митрополиту.

Вскоре из консистории пришла официальная бумага, утвердившая Леонтия в сане архимандрита.

Однообразная монашеская жизнь вскоре наскучила Леонтию. За три года, проведенные в Киеве, он лишь дважды покидал стены Лавры. Зимой 1774 г. Леонтий посетил Наркисса в Миропольском монастыре, а летом к нему неожиданно пожаловал Степан Васильевич Мельников, попросивший съездить с ним в Сумы, где он собирался жениться на уже сговоренной дочке сотника Ямпольского. Леонтий согласился с удовольствием, так как со времен жизни в турецком плену питал к доброму и безответному Мельникову самые теплые чувства.

Сотник Ямпольский, в доме которого они остановились, являл собой обычный для екатерининского времени тип форгуната, сделавшего карьеру от лакея, служившего в гетманской резиденции в Батурине, до сотника. Став ясновельможным паном, Ямпольский, горький пьяница, возлюбил обличать людские пороки. Эта особенность характера сотника обернулась для Леонтия крупной неприятностью. На именины дородной сотницкой супруги Елены Ивановны, которые пришлись как раз на Святую неделю, он неосторожно позволил себе оскоромиться, соблазнившись шумным застольем, во время которого горилка лилась рекой. Ямпольский, обладавший громогласным голосом, войдя после третьей четверти в большой кураж, во всеуслышание заявил, что во время великого поста священнику место в церкви, а не за столом.

Оскорбившись, Леонтий выложил все, что думает о негостеприимном хозяине. Произошел шумный скандал, и в тот же вечер Леонтию пришлось съезжать к Наркиссу в Миропольский монастырь, благо он находился поблизости. Монастырь был захудалым, братия, да и сам игумен жили на хлебе и воде. Наркисс постарел, сник, но Леонтию обрадовался искренне, до слез. Леонтий прогостил в монастыре без малого неделю, вспоминая странствия и приключения на Синае и в Иерусалиме. Расставались трудно. Понимали, что вряд ли придется еще свидеться.

Поездка в Сумы разбередила душу Леонтия. В это время и попалась ему в руки рукопись знаменитого «пешеходца» Василия Григоровича-Барского, исколесившего полсвета, да к тому же еще расписавшего и зарисовавшего все диковинное, что пришлось ему увидеть в чужих краях. Над рукописью Григоровича окончательно утвердился Леонтий в мысли описать свои путешествия в назидание потомству.

Словом, в Москву Леонтий приехал с твердым намерением любой ценой добиться обещания Обрескова взять его с собой в турецкую столицу.

Разговор его с Алексеем Михайловичем обернулся, однако, совсем не так, как хотелось Леонтию.

Обресков принял его в гостиной, сидя в кресле, поставленном у изразцовой голландской печи. С первого взгляда на посла Леонтий понял, что тот пребывает в обычном для себя состоянии желчного раздражения, когда, как знали все его сотрудники, от Левашова до

истопника, Алексея Михайловича настырными просьбами лучше не тревожить.

Однако Леонтия будто бес попутал. Смешавшись, он не нашел ничего лучшего, как вновь напомнить о невыплаченном ему жалованье за первую треть 1771 г.

В воздухе повисло неловкое молчание. Затем, пожевав губами и сведя брови к переносице, Обресков осведомился, каких это денег требует от него Леонтий.

И вновь началась старая канитель с поминанием прежних обид и обещаний, а также какого-то письма Джорджа Аббота, которое Леонтий почитал верным удостоверением того, что причитается ему к выплате сто рублей ассигнациями.

— Неужто запамятовали, Ваше Превосходительство, ведь на французском языке письмо! — выложил Леонтий последний довод.

Чаша терпения посла переполнилась.

— Как на французском, так и на русском языке не доводится тебе, беглец, ни копейки. Скажи спасибо, что от консисторского суда тебя избавил, — в крайнем раздражении произнес он и, поднявшись с кресла, покинул гостиную не оборачиваясь.

Так лишился Леонтий законных ста рублей, причитавшихся ему за непорочную службу.

Новая обида занозой засела в сердце, и каждый раз, когда доводилось потом Леонтию слышать имя Обрескова, морщился он произвольно, как от зубной боли. Одно утешало страдания Леонтия — возрадовался он душевно, узнав месяца через два, что не Обресков, а некий Стахийев назначен возглавить константинопольское посольство после отъезда князя Репнина.

Воистину непостижима душа человеческая!

ЭПИЛОГ

Годы русско-турецкой войны оказались кульминацией жизни и дипломатической карьеры Алексея Михайловича Обрескова. Из тридцати лет, проведенных в Константинополе, четверть века он будто готовился к нелегким испытаниям, выпавшим на его долю в турецком плену и в труднейших переговорах, увенчавшихся подписанием мирного договора, который по праву считается одним из высших достижений русской дипломатии.

После 1775 г. жизнь его как бы покатила под откос. Правда, Алексей Михайлович женился на Варваре Андреевне Фаминциной и в новом браке был, судя по всему, счастлив. В 1778 г. он переехал из Санкт-Петербурга на постоянное жительство в Москву, где служил членом московской конторы Коллегии иностранных дел. В 1779 г. он стал сенатором, а в 1784 г., через год после присоединения Крыма к России, пожалован чином действительного тайного советника. Однако эти знаки монаршей милости были не более чем запоздалой оценкой прошлых заслуг. После опалы Панина прежнего значения в делах внешнеполитических Обресков уже не имел. Он умер в 1787 г., 69 лет от роду. В 1790 г. дети Обрескова от первого брака разделили по суду с мачехой Варварой Андреевной и ее малолетним сыном Николаем немалые к тому времени родовые имения в Московской, Новгородской и Ярославской губерниях.

Сыновья Алексея Михайловича на поприще государственной службы оказались удачливее отца. Петр был даже статс-секретарем в короткое царствование Павла I. Михаил занимал видное место в сенате, но, как и отец, имел репутацию человека крутого и своенравного. Современники отзывались о нем дурно.

Никита Иванович Панин до конца жизни — умер он в 1783 г. — сохранил за собой пост первоприсутствующего в Коллегии иностранных дел. Ни для кого, однако, не секрет, что это — лишь форма почетной отставки. До конца жизни Павел сохранил теплые чувства к своему воспитателю и навещал его во время все чаще случавшихся с Никитой Ивановичем болезненных приступов.

Последние годы жизни Никита Иванович посвятил воспитанию сына своего брата, Никиты, которого взял в свой дом в 1775 г. в пятилетнем возрасте. Никита Петрович, получивший блестящее образование и безукоризненно воспитанный, впоследствии стал видным государственным деятелем. При Павле короткое время он занимал должность вице-канцлера. По иронии судьбы Никита Петрович женился на дочери младшего из Орловых, Софье Владимировне. Отец его, Петр Иванович, забыв старую вражду, сам сделал предложение ее отцу.

Григорий Орлов так и не смог восстановить свое былое влияние при дворе. В 1777 г., будучи 43 лет от роду, он женился на своей двоюродной сестре, 19-летней Екатерине Николаевне Зиновьевой. Из-за близкой степени родства этот брак в Совете хотели признать незаконным. Орлову грозило заточение в монастырь, но Екатерина вступилась за своего бывшего фаворита. Остаток жизни он провел за границей, куда выехал для поправки расстроенного здоровья. Осенью 1782 г. в одночасье скончалась Екатерина Николаевна; Орлов, страстно любивший молодую жену, тяжело заболел. Он умер весной 1783 г., почти одновременно со своим старым недоброжелателем Никитой Ивановичем Паниным.

Алексей Орлов прожил до 1808 г. Он оказал крупную услугу Екатерине, арестовав в Ливорно и отправив на военном корабле в Петербург известную самозванку княжну Тараканову, выдававшую себя за незаконнорожденную дочь императрицы Елизаветы Петровны. Екатерина высоко ценила его и неоднократно пыталась вернуть к государственной деятельности. Однако Орлов предпочел добровольную ссылку в Москву, где он предавался разведению знаменитых рысаков, кулачным боям и буйным загулам с цыганами.

Павел Артемьевич Левашов пережил Обрескова на 33 года. Он скончался 11 июля 1820 г. в своем имении Старое Село в шестнадцати верстах от Могилева. Последние три десятилетия его жизни были несчастными. Одно время он состоял в штате Г. А. Потемкина, затем был определен в свиту великих князей Александра и Константина Павловичей. Написал несколько книг, в том числе «Плен и страдания россиян у турок, или обстоятельное описание бедственных приключений, претерпенных ими в Царь-граде при объявлении войны и при войске, за которым влачили их в своих походах, с приобщением записок о воинских их действиях в прошедшую войну и многих страшных, редких и забавных приключений». В «Царьградских письмах», вышедших в 1790 г., Павел Артемьевич дал прекрасное для своего времени описание Константинополя. Кроме того, опубликовал он и обстоятельный труд о крымских татарах и их набегах на южнорусские земли. Однако ни славы, ни богатства литературные труды ему не принесли. Последнее его сочинение, «Любопытная история славного города Одессы», полно жалоб на судьбу. Перечисляя свои заслуги перед Отечеством, к которым он относит и мысль об основании Одессы, якобы подсказанную им Г. А. Потемкину, Левашов подвел горький итог прожитых лет: при дворе он не прижился, служба не принесла желаемого достатка, опубликованные книги остались, в сущности, незамеченными, начавшаяся тяжба с родственниками из-за белорусских имений отнимала остатки сил. На своем долгом веку ему довелось еще стать свидетелем славных событий 1812 г., мог он быть знаком с Пушкиным, декабристами... Но это была уже другая жизнь.

Сын екатерининской эпохи, он пережил свой век.

Несравненно благосклоннее оказалась фортуна к Сергею Лазаревичу Лашкареву. Знание восточных языков и блестящие дипломатические способности обратили на него внимание.

В 1772—1773 гг. он ездил на Архипелаг с секретным поручением Румянцева. Лашкарев сопровождал в Константинополь Петерсона, где немало потрудился для возвращения на родину русских военнопленных. В 1776 г. его усилиями была организована отправка на поселение в Таганрог жителей островов Архипелага, опасавшихся репрессий со стороны турецких властей.

В Константинополе Лашкарев женился на красавице дочери генерального консула Швейцарской республики Дюнанта. Свадебные расходы оплатила Екатерина, причем церемония эта была обставлена столь пышно, что на нее инкогнито ездил смотреть сам султан.

Лашкарев был любимцем Екатерины, ласково называвшей его за маленький рост и могучее сложение «богатырем». Сергей Лазаревич сделал блестящую карьеру. Он был консулом в Синопе, помогал Г. А. Потемкину устраивать крымские дела, состоял в свите хана Шахин-Гирея, основал первую в России школу изучения восточных языков. На склоне лет в чине тайного советника занимал видный пост генерального консула России в Молдавии и Валахии.

Отец Леонтий все-таки вернулся в Константинополь в свите поверенного в делах Стахиева. До конца жизни — он умер в 1801 г. — оставался настоятелем посольской церкви. В Россию Леонтий на короткое время приезжал в 1787—1791 гг., в период второй русско-турецкой войны екатерининского царствования. Свои последние годы он посвятил страстной, но безнадежной борьбе с распространением французского свободомыслия. Запершись в своей каморке, долгими южными вечерами Леонтий сочинял трактаты, в которых полемизировал с Вольтером, Гельвецием, Дидро и даже И. А. Крыловым, чей журнал «Почта духов» очень осуждал.

Тринадцать томов воспоминаний отца Леонтия, аккуратно переписанные и переплетенные в свиную кожу, хранят бесценные подробности жизни и быта русских дипломатов в Константинополе. Воспоминания эти, итог долгой и полной приключений жизни, он в подражание своему знаменитому предшественнику назвал «Младший Григорович».

В этот сентябрьский день 1980 года Стамбул был прекрасен, как 200 лет назад. Грузные купола знаменитых мечетей, обрамленных островерхими минаретами, утопали в густой зелени платанов и кипарисов. Старинные стены сераля, здания легкой, ажурной архитектуры, террасами спускающиеся с пологих склонов холма Перы, разноязыкое многоголосие вечно оживленной Галаты рождали ожидание встречи с городом, так хорошо знакомым по книгам.

Наш теплоход пристал к причалу напротив Топханы, примерно в том месте, где, если верить отцу Леонтию, Алексей Михайлович садился в каик, отправляясь на решительную встречу с великим визирем. К нашему удивлению, этот причал и сегодня, как и два века назад, носит название Касым-паша Скеlesi.

Так началось наше знакомство, нет, не знакомство, а узнавание города, любовно описанного десятками русских путешественников и

дипломатов. Узнавание — потому что Стамбул, как всякий древний восточный город, многослоен. Под современной, дымной, гудящей тысячью клаксонов, заплеванной, загаженной миллионами туристов оболочкой легко открываются приметы его многовековой истории.

С тех пор сколько судьба ни заносила нас в Стамбул — а случалось это не так часто, как хотелось бы, но все же нередко, — мы пытались пройти маршрутами Алексея Михайловича Обрескова.

Впрочем, не всегда это удавалось. Российское генеральное консульство находится в наши дни на улице Истикляль — деловой и торговой артерии огромного города. Оно построено в первой половине прошлого века, в эпоху Николая I. Двух старых зданий, в которых оно размещалось после пожара 1767 г., не сохранилось. Генеральный консул, показавший нам здание консульства, пояснил, что, по легенде, оно построено на земле, привезенной из России. В его просторном кабинете висели две картины кисти Айвазовского, долго жившего в Константинополе. К сожалению, ни мебели, ни картин XVIII в. в консульстве не сохранилось.

Зато загородному дому русского посольства в Буюкдере повезло больше. Он не только дошел до нас в том же виде, каким мы знаем его по гравюрам XVIII в., но и частично отреставрирован. Из города до Буюкдере минут 40 езды на автомобиле. Фасад со знакомой террасой, обрамленной двумя флигелями, выходит на Босфор. Воздух в старинном парке, примыкающем к дому, напоен ароматом липы и лавра. По асфальтированной дорожке, взбирающейся по некрутому косогору, обходим парк, как бы узнавая его по описаниям Левашова и отца Леонтия.

В султанском дворце Топ-Капе, превращенном ныне в один из лучших в мире музеев, гид подвел нас к «светлице отдохновения», где послы дожидались аудиенции у великого визиря, и показал зал заседаний Порты. Вот церковь св. Ирины, в которой сейчас размещается выставка старинных пушек, напротив — купола султанских поварен, знаменитые ворота, обрамленные круглыми островерхими башнями.

Дорога вела вдоль древних, усиленных контрфорсами и поросших плющом стен св. Софии к скверу, отделявшему праматерь православных церквей от соперничающей с ней в величественности Голубой мечети. Отсюда мы отправились в Едикуле, Семибашенный замок.

По нынешним временам до замка не более четверти часа на такси. Мы ехали по улице Ак-сарай в сторону Мраморного моря, затем автомобиль резко повернул направо. Миновали какие-то переулки и вскоре оказались возле башни, сложенной из грубо отесанного серого камня. Массивные, с зубцами по краю стены Едикуле до сих пор производят внушительное впечатление. Высокий арочный вход, ведущий во внутренний двор, запирается двустворчатой металлической дверью. С внешней стороны к стенам замка вплотную подступают дома: большинство из них деревянные, двухэтажные, чем-то напоминающие здания провинциальных русских городов.

— Четыре года назад замок был реставрирован, — сказал водитель такси. — Сейчас на его территории музей.

Впрочем, о том, что мы находились в музее, напоминали лишь входные билеты. Здесь нет ни гидов, ни пояснительных табличек.

Мы вошли в ворота, поскрипывавшие так же зловеще, как во времена Обрескова, и оказались в просторном, неправильной формы дворе, поросшем пыльной травой. Посредине — какое-то утлое сооружение, похожее на печку с круглой трубой. Перед входом — старинный платан, в тени которого стоял большой глиняный сосуд, наполненный водой. Протопанная вдоль стены дорожка вела к главным воротам замка, которые, как мы узнали позднее, называются Золотыми. Мы остановились возле двери, ведущей в массивную центральную башню, сделанную по канонам византийской архитектуры — восьмерик на четверике. В стены ее вмурованы керамические таблички с надписями византийской эпохи.

Сначала по некрутым кирпичным ступенькам мы спустились вниз. За дверью, справа от входа, виднелась старинная лестница, спиралью поднимающаяся вверх. Внутри башня круглая, в диаметре достигает метров шести. В стенах сохранились бойницы, широкие изнутри и сужающиеся снаружи. В куполе зияли провалы, в настоящее время застекленные. Верхние бойницы облюбовали голуби — на земляном полу грязный пух и перья. В современном виде башня с надписями производит малоприятное, но не леденящее душу впечатление.

Огромный внутренний двор Едикуле, поросший бурьяном и лопухами, щедрое сентябрьское солнце, запах моря, доносящийся со стороны Золотых ворот, — все это посеяло в наших душах некоторое сомнение относительно достоверности свидетельств Павла Артемьевича и Леонтия, описывавших данное место как первый круг Дантова ада. Наши подозрения лишь усилились, когда мы поднялись на стену замка. Перед нами, насколько хватал глаз, открылось море красных черепичных крыш, утопающих в густых зарослях зелени.

Однако вскоре выяснилось, что мы поторопились обвинить Левашова и Леонтия в необъективности. Подойдя к Золотым воротам, мы поняли, что именно они, очевидно, в XVIII в. служили главным входом в Едикуле. Этим путем вступали в замок Обресков, Левашов и Леонтий. За воротами, между внешней и внутренней стеной, слева от входа, находится небольшое кладбище, поросшее кустарником, а рядом — вход в башню Золотых ворот. В ответ на просьбы разрешить пройти внутрь нам с грехом пополам на ломаном английском объяснили, что из-за неполадок с электричеством экскурсии в башню не допускаются. Однако опыт путешествий на Востоке и турецкая лира быстро помогли открыть тяжелую дверь Золотой башни.

На нас пахло сыростью могильного склепа. Признаться, двигаться в кромешной темноте по запутанным переходам с каждым шагом становилось все менее приятно, хотя наш проводник, бормоча что-то по-турецки, светил под ноги карманным фонариком. Внезапно луч фонаря выхватил из темноты надпись: «Место исполнения приговоров».

Мы оказались в довольно просторном помещении, стены которого покрыты строительными лесами. Проводник указал на дыру в полу, она была забрана железной решеткой. По его словам, туда падали отрубленные головы казненных преступников. Все сразу встало на свои места. Не обманул отец Леонтий, точно описал подземелье, в котором первое время находились Обресков с товарищами, а затем провели две ночи обитатели посольского подворья.

Мы долго добивались у нашего провожатого, молодого турка, не говорившего ни на одном иностранном языке, в какой башне содержали иностранных послов: в башне с надписями или в башне Золотых ворот. В конце концов он понял арабское слово «сафир» и радостно закивал, показывая на башню Золотых ворот, которую мы только что покинули. Я спросил у него по-арабски:

— Русский посол Обресков сидел здесь?

Он радостно закивал головой и быстро-быстро заговорил:

— И русский, и немецкий, и австрийский, и французский, все здесь были.

Действительно, каких только славных имен не помнят древние стены Семибашенного замка! Из наших соотечественников в XVIII в. здесь побывали Толстой, Шереметев, Шафиров, Вешняков, Обресков, Левашов, а после них, в 1787 г., в начале второй русско-турецкой войны, Я. И. Булгаков, друг Фонвизина и Вяземского, переведший за годы заточения несколько пухлых томов французского исследования по географии «Всемирный путешественник». Все они вели себя в высшей степени мужественно и, без натяжки можно сказать, героически, до конца выполнили свой долг перед Отечеством.

Но почему в этой плеяде наших славных соотечественников имя Обрескова хочется поставить на первое место? Сколько их было, таких, как он, скромных, незаметных тружеников русской дипломатической службы?

Может быть, именно поэтому сегодня мы вспоминаем Алексея Михайловича Обрескова, посла III класса, с чувством особого уважения и глубокой признательности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	3
Часть I Посол III класса	
Глава I. Константинополь. 25 сентября 1768 г.	15
Глава II. Буюкдере. 25 сентября 1768 г.	35
Глава III. Санкт-Петербург. Октябрь — ноябрь 1768 г.	49
Глава IV. Константинополь — Едикуле. Сентябрь — октябрь 1768 г.	68
Глава V. Константинополь. На подворье русского посольства. Сентябрь — октябрь 1768 г.	79
Глава VI. Санкт-Петербург. 2—17 ноября 1768 г.	88
Часть II «Отечество дражайшее...»	
Глава VII. Константинополь. Октябрь 1768 — март 1769 г.	106
Глава VIII. Бахчисарай — Новая Сербия. Декабрь 1768 — март 1769 г.	121
Глава IX. Константинополь — Едикуле — Демотика. Март 1769 — осень 1770 г.	135
Глава X. Пиза — Ливорно — Черная Гора. Осень 1768 — октябрь 1769 г. ..	156
Глава XI. Кронштадт — Чесма. Июль 1769 — Июнь 1770 г.	171
Часть III Политические конъюнктуры	
Глава XII. Санкт-Петербург. Сентябрь 1770 — январь 1771 г.	185
Глава XIII. Демотика — Киев. Осень 1770 — осень 1771 г.	201
Глава XIV. Москва — Санкт-Петербург — Фокшаны. Сентябрь 1771 — август 1772 г.	211
Часть IV Полномочный представитель России	
Глава XV. Санкт-Петербург — Бухарест. Сентябрь 1772 — март 1773 г.	227
Глава XVI. Санкт-Петербург. 28 сентября 1773 — 22 февраля 1774 г.	247
Глава XVII. Яссы — Кючук-Кайнарджи — Москва. Весна 1773 — декабрь 1775 г.	267
Эпилог	290

Литературно-художественное издание

Перминов Петр Владимирович
ПОСОЛ III КЛАССА

Утверждено к печати
Институтом востоковедения
РАН

Зав. редакцией Я. Б. Гейшерик. Редактор Э. О. Секар. Младший редактор Л. В. Исаева. Художник Б. Л. Резников. Художественный редактор Э. Л. Эрман. Технический редактор В. П. Стуковнина. Корректоры Е. В. Карюкина, Н. В. Морозова

ИБ № 16730

Сдано в набор 17.05.91. Подписано к печати 23.12.91. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Усл. п. л. 18,5. Усл. кр.-отт. 18,75. Уч.-изд. л. 22,43. Тираж 30 000 экз. Изд. № 7187. Зак. № 827.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
Главная редакция восточной литературы 103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21.

4-я типография издательства «Наука». 630077, Новосибирск, ул. Станиславского, 25.

